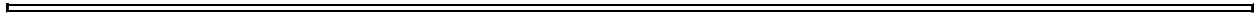


- [Джон Фаулз. ЧЕРВЬ.](#)



Джон Фаулз. ЧЕРВЬ.

ПРОЛОГ

Слово «Maggot», вынесенное в заглавие этой книги <поскольку в русском языке не существует слова, совмещающего в себе все значения английского слова «Maggot», для перевода названия книги переводчику пришлось ограничиться лишь одним его значением; перевод этого слова в самом романе варьировался в зависимости от контекста с максимальным соблюдением смысла, приданного ему автором>, означает «червь, личинка», которая со временем должна преобразиться в крылатое существо. Всякий сочиненный текст – такая личинка; по крайней мере, так хотелось бы думать сочинителю. Прежде это слово имело еще одно, почти забытое сейчас значение: «прихоть, фантазия».

В конце XVII – начале XVIII века оно употреблялось в переносном смысле для обозначения музыкальных произведений – танцев и напевов, – не имевших четкого жанрового названия: «фантазия мистера Бевериджа», «фантазия милорда Байрона», «фантазия Карпентеров». Описанные ниже события приходятся как раз на эту эпоху, и на создание моей литературной фантазии меня подвигла та же причина, по которой создавались «фантазии» того времени: тема не шла из головы. На протяжении нескольких лет в моем воображении часто возникала одна и та же картина: горстка безликих спутников движется без видимой цели навстречу неким событиям. Дело, скорее всего, происходит в далеком прошлом, потому что едут они верхом; путь их лежит по безлюдной местности. Такой вот расплывчатый образ, ничего более определенного. Я не знал, откуда они, почему эта картина так настойчиво всплывает из подсознания. Они едут, едут, их путешествию не видно конца.

Просто череда всадников на горизонте – словно прокручивается склеенная в кольцо киноплёнка; или словно чертится, чертится неизменная строка – единственная уцелевшая строка забытого предания.

Но однажды черты одного всадника обрели отчетливость. Мне в руки случайно попал выполненный карандашом и акварелью портрет молодой женщины.

Своего имени художник не поставил, зато в углу виднелась короткая

чернильная помета. Это была дата, написанная по-итальянски и не слишком разборчиво: «16 июля 1683». Такая точность пришлась мне по душе чуть ли не больше самого портрета. Кстати сказать, особыми достоинствами он не отличался, однако в лице этой давно умершей девушки, в ее взгляде проступала такая неизъяснимая сила, что казалось, будто она жива и сейчас, будто она не желает покидать наш мир. И портрет стал неотвязно меня преследовать. Возможно, из-за этого неприятия смерти мое воображение и связало женщину с портрета с другой женщиной, которая жила гораздо позже и которой я уже давно восхищался.

Эта книга – вовсе не биографическое повествование о той второй женщине, хотя заканчивается моя история именно в ту пору, которая считается датой ее рождения, и как раз в тех местах, где она родилась. Я дал новорожденному младенцу имя этой исторической личности; и все же не стоит считать мою книгу историческим романом. Это – «фантазия».

Джон Фаулз. 1985 г.

Последний день далекого от нас апреля. По глухой пустоши на юго-западе Англии продвигается цепочка всадников. На эту угрюмую возвышенность весна еще не добралась, небо затянуто беспросветной хмурию, и от спутников веет гнетущей тоской, понятной всякому, кто совершал путешествия в это унылое время года. Торфяник, через который пролегает тропинка, оцетинился мертвыми стеблями вереска. Поодаль пустошь круто обрывается, и внизу открывается долина, сплошь поросшая лесом; листья на деревьях еще не начали распускаться. Дальше местность теряется в сизом тумане, цвет которого под стать неярким одеждам путников. Воздух застыл в томительном безветрии. Только далеко на западе в небе сияет тонкая желтая полоска, внушая надежду на перемену погоды.

Во главе безмолвной кавалькады мужчина лет под тридцать. На нем темно-коричневый сюртук, сапоги и треуголка с заломленными краями, обшитыми неброской серебристой тесьмой. Панталоны всадника и ноги его гнедого коня запачканы грязью, грязь и на одежде его спутников: как видно, путь их сегодня лежал через болотистые места. Всадник слегка ссутулился, отпустил поводья и невидящими глазами смотрит на тропинку. За ним на гладкой приземистой лошадке едет мужчина постарше. Он одет в

серый сюртук и черную шляпу – проще, чем у первого. Этот второй ездок тоже не глядит по сторонам; дав своей смирной лошадке полную волю, он уткнулся в маленькую книжицу, которую держит в свободной руке. Следом выступает крепкий, выносливый жеребец, на него взгромоздилось сразу двое ездоков. На одном – кожаные штаны и куртка поверх короткого камзола из плотной ткани; голова его непокрыта, длинные волосы сзади завязаны в узел. Правой рукой он поддерживает молодую женщину, которая сидит на коне боком, прислонившись к груди спутника. Она кутается в коричневую епанчу с капюшоном, из-под епанчи видны только глаза и нос. Жеребец тащит за собой в поводу вьючную лошадь. Поклажа – свертки и узлы – кучей уложена на деревянной раме под веревочной сеткой; с одного бока к раме приторочен кожаный дорожный баул, с другого – деревянный сундучок с медными наугольниками. Изнемогая под тяжким грузом, лошадь опустила голову и с трудом переставляет ноги. Она-то и задает шаг всей кавалькаде.

Всадники едут в молчании, и все же их появление не осталось незамеченным. На другом краю долины, над грудями валунов и невысокими утесами у подножия круч, разносятся зловещие гортанные крики, будто кто-то негодует на чужаков, вторгшихся в его владения. Эти грозные звуки – карканье потревоженного воронья. В наше время ворона встретишь не часто, сегодня это птица-одиночка, однако в ту пору многочисленные вороны сбивались в стаи; они водились даже в городах, а уж в глухих местах просто кишмя кишели. Черные точки усеяли утесы, кружат над долиной, и хоть от них до всадников добрая миля, от их тревожного карканья и зоркой враждебности всем делается не по себе. Сколь разными ни казались бы путники, хриплый вороний грай пробуждает в душе у каждого тайное чувство страха. Всем им ведома дурная слава ворона.

На первый взгляд два джентльмена и пара простолюдинов (по виду мастеровой с супругой) – всего-навсего случайные попутчики, решившие в этих пустынных местах из соображений безопасности держаться вместе.

Достаточно взглянуть на первого всадника, чтобы убедиться: путешественники в те времена и впрямь не забывали о грозящих опасностях, причем исходивших вовсе не от воронов. Из-под полы коричневого сюртука выглядывает кончик шпаги в ножнах, другая пола оттопырена, из чего можно заключить, что к седлу привешен пистолет. Мастеровой тоже вооружен пистолетом, его медная ручка торчит из чехла у задней луки седла: так проще выхватить. А к скарбу, который тащит на себе заморенная лошадь, сверху привязан длинный мушкет. Лишь второй

всадник – тот, что постарше, – оружием, как видно, не запасся. По тем временам это дело небывалое. И все же, будь это случайная компания, два джентльмена не преминули бы завязать разговор, благо тропинка достаточно широкая и два всадника свободно могут ехать по ней бок о бок. Однако они молчат. Молчит и пара на одном коне. Похоже, всю дорогу каждый глубоко погружен в свои мысли.

Наконец тропа начинает косо спускаться по крутому склону к опушке ближайшего леса. Лес растянулся примерно на милю, за ним открываются поля, а еще через милю, в другой долине, можно неясно различить скопления домов и внушительную башню церкви, подернутые дымком жилья. На западе в пасмурном небе обозначились янтарные проталины. Впору бы вздохнуть с облегчением, переброситься хоть парой слов. Но путники по-прежнему хранят молчание.

Вдруг из-за деревьев на опушку выезжает еще один всадник. Он поднимается по склону навстречу путникам. Рядом с ними он выделяется ярким пятном: алый, пусть и выцветший мундир, головной убор, какие носят драгуны. Сзади у седла висит длинная сабля с загнутым концом, из жесткого чехла высовывается тяжелый приклад карабина. Это человек неопределенного возраста, крепкого сложения, с большими усами. Уж не подобной ли встречи опасались путники? Действия незнакомца словно подтверждают эту догадку: едва завидев кавалькаду, он пускает коня быстрой рысью, как будто собирается напасть на всадников. Но те не выказывают ни волнения, ни испуга. Разве что пожилой джентльмен преспокойно закрывает книгу и сует ее в карман сюртука. Новоприбывший осаживает коня ярдах в десяти от едущего впереди молодого человека, прикладывает руку к шляпе и пристраивается рядом. Он что-то говорит, молодой человек кивает, даже не удостоивая его взглядом. Пришелец вновь притрагивается к шляпе, останавливает коня и ждет. Поравнявшись с ним, пара на жеребце тоже останавливается. Пришелец нагибается и отвязывает от их седла повод вьючной лошади. Но и эти путешественники встречают его молчанием, точно они незнакомы. Пришелец берет вьючную лошадь за повод и присоединяется к кавалькаде. Теперь он просто-напросто еще одно безмолвное звено в безучастной цепочке.

Всадники въезжают в лес. Тропа меж голых деревьев становится каменистой, забирает вниз еще круче: каждую зиму дожди превращают ее в русло ручья. Кони все чаще звякают копытами о камни. В одном месте тропа размыта до того, что напоминает лощину, торчащие из земли валуны образуют уступы. Здесь и пешему-то пройти нелегко. Однако всадник во главе будто не замечает препятствия. Конь опасливо топчется на месте, но

все же начинает осторожно-осторожно спускаться. Оступается на заднюю ногу – того и гляди упадет, придавит собой всадника. По счастью, и ему, и покачивающемуся в седле человеку удастся сохранить равновесие. Конь замедляет ход, отчаянно грохоча копытами, преодолевает еще один уступ. Дальше тропинка ровнее.

Конь фыркает и негромко ржет. Всадник продолжает путь, даже не повернувшись посмотреть, как там остальные.

Пожилой джентльмен останавливает своего конька и оглядывается на едущую за ним пару. Мужчина, похожий на мастерового, крутит пальцем и указывает на землю, словно советует джентльмену спешиться и вести коня под уздцы.

Человек в алом мундире, который проезжал этой тропой совсем недавно, уже привязывает повод вьючной лошади к торчащему из земли корню. Пожилой джентльмен слезает с седла. Всадник в куртке с поразительной ловкостью выдергивает ногу из стремени, перебрасывает через голову коня и спрыгивает наземь – все одним махом. Он протягивает руки женщине, та нагибается, он снимает ее с седла и ставит на землю.

Пожилой джентльмен с величайшей осторожностью спускается по лощине, ведя своего конька в поводу. За ним – мужчина в куртке со своим конем.

Дальше, чуть приподняв подол юбки, следует женщина. Замыкает шествие человек в выцветшем алом мундире. Выбравшись на ровную тропку, он протягивает повод своего скакуна мужчине в куртке и, кряхтя, карабкается вверх по уступам за лошадью с поклажей.

Пожилой джентльмен не без труда забирается в седло и трогает с места.

Женщина откидывает капюшон, распускает льняной шарф, скрывавший нижнюю часть лица. Лицо ее бледно, темные волосы зачесаны назад и крепко стянуты на затылке. На ней шляпа с плоской тульей, плетенная из ивовой стружки.

Голубые ленты шляпы завязаны под самым подбородком так туго, что плотно прилегают к щекам, а поля шляпы по бокам пригнуты книзу, отчего она походит на чепец. Такие шляпы из стружки или из соломки носят самые бедные английские крестьянки. Внизу под епанчой видна узкая белая полоска: край фартука. Девушка скорее всего состоит у кого-то прислугой.

Развязав тесемки епанчи и ленты шляпы, девушка сходит с тропы, обгоняет своего спутника и склоняется над семейкой еще не отцветших душистых фиалок. Левой рукой она проводит по зеленым сердцевидным

листочкам, под которыми прячутся цветы, а в правой держит только что сорванный стебелек с несколькими темно-лиловыми венчиками. Спутник оглядывается на ее склоненную фигуру, следит за ее скупыми движениями и явно недоумевает.

У этого человека удивительно непроницаемое лицо. Трудно понять, что стоит за этим бесстрашием – непроходимая тупость, слепая покорность судьбе, почти такая же, как у тех двух коней, которых он держит под уздцы, – а может, нечто более глубинное: какая-то неприязнь к красоте, недобрые чувства мракобеса при виде хорошенькой девушки, которая предается столь суетному занятию – собирает цветы. Однако лицо это поражает правильностью и соразмерностью черт. Надо добавить, что мужчина ловок, статен и силен, поэтому весь облик его отдает чем-то классическим, приводит на память фигуру Аполлона. Нелепейшее сходство для человека такого заведомо низкого происхождения. Самое же странное в этом несостоявшемся эллине – глаза. Они голубые, отсутствующие, точно у слепого, хотя в его зрячести сомневаться не приходится. Именно из-за них лицо и кажется столь непроницаемым; взгляд его безучастен и неподвижен, будто мыслями он далеко-далеко отсюда. Не глаза, а два объектива, кинокамеры.

Девушка возвращается к своему спутнику, на ходу нюхая крохотный букет.

Торжественно протягивает лиловые цветики с рыжими и серебристыми крапинками к его лицу, словно предлагает понюхать и ему. На миг их взгляды встречаются. У девушки цвет глаз более обычный, они карие, с желтоватым отливом, а взгляд смелый и лукавый, хотя она и не улыбается. Девушка подносит цветы совсем близко к носу напарника. Тот нюхает, кивает и, давал понять, что они попусту теряют время, вскакивает в седло – все так же сноровисто и проворно, – даже не выпустив из рук повод второго коня. Глядя на него снизу вверх, девушка поправляет сползший белый шарф. Букетик она аккуратно засовывает за край шарфа, так что цветы оказываются под самым ее носом.

Тем временем всадник в мундире возвращается, ведя за собой вьючную лошадь, – он задержался наверху помочиться. Приняв поводья своего скакуна, он приматывает к луке повод вьючной лошади. Девушка дожидается у холки своего коня, которая укрыта попоной, заменяющей второе седло. Военный подходит к ней, нагибается и сплетает пальцы рук, чтобы посадить наездницу. По всему видно, что это для него дело привычное. Девушка ставит ножку ему на руки, отталкивается от земли и, с легкостью вспрыгнув на коня, усаживается перед своим напарником. Она

смотрит вниз, букетик фиалок нелепо топорщится у нее под носом, точно усы. Военный в небрежном салюте касается шляпы кончиками пальцев и подмигивает всаднице. Та отводит глаза. Заметив эту сцену, ее напарник всаживает каблуки в конские бока и пускается с места сбивчатой рысью. Но тут же резко осаживает коня, и девушка откидывается ему на грудь. Тогда он пускает коня шагом. Человек в мундире, подбоченясь, смотрит им вслед, потом взбирается в седло и едет за ними.

Тропинка вьется по лесу. До слуха военного долетают негромкие звуки.

Девушка впереди напевает или, вернее сказать, мурлычет под нос какую-то мелодию. Эта задумчивая народная песня, «Дафна», уже в те годы считалась старинной. Но пение среди долгой тишины звучит не задумчиво, а едва ли не кощунственно. Всадник в мундире убыстряет ход, чтобы лучше слышать певунью. Звучит голос, стучат копыта, поскрипывает время от времени упряжь, тонко позвякивает уздечка, внизу журчит поток; да еще совсем издалека, с другого конца долины, еле слышно доносится песенка дрозда, такая же прерывистая, как приглушенное пение девушки. Впереди сквозь голые ветви светится ясное золото: закатное солнце нашло наконец прогалину в облаках.

Журчание все громче. Тропинка приближается к стремительному и бурному потоку. Растительность здесь более пышная: фиалки, первые папоротники, первоцвет, кислица, изумрудные побеги ситника, трава. Всадники оказываются на поляне, где тропинка идет по самому берегу, а потом сворачивает бродом прямо в ручей. Поток в этом месте спокойнее. На другом берегу два джентльмена поджидают отставших; теперь уже ясно: это господа в ожидании нерасторопных слуг. Пожилой проехал чуть дальше спутника и нюхает табак.

Девушка обрывает песню. Спотыкаясь на каменистом дне, три коня шлепают через ручей вдоль торчащих из воды камней для пешей переправы. Молодой джентльмен пристально смотрит на девушку, на ее цветочные усики – смотрит так, будто заминка произошла по ее вине. Девушка не поднимает на него глаз, только крепче прижимается к своему напарнику: сидя между его вытянутых рук, ей проще сохранять равновесие. Кони, всадники и поклажа благополучно достигают другого берега, и лишь тогда молодой джентльмен поворачивает коня и продолжает путь, а за ним в прежнем порядке и в прежнем же молчании следуют остальные.

Несколько минут спустя угрюмая кавалькада из пятерых всадников выбралась из леса. Перед ними снова открылся простор: долина тут была куда шире. Тропинка бежала по длинному лугу чуть под уклон. В те годы основой всего сельского хозяйства западной Англии было овцеводство, отсюда – нужда в пастбищных землях. В сельских районах обширные единые пажити были тогда такой же привычной картиной, как сегодня – мелкие отдельные поля, делающие нашу местность похожей на лоскутное одеяло. Вдали виднелся городишко, церковь которого путники заметили раньше с высоты. По лугу разбрелись три-четыре овечьих стада. За ними присматривали три-четыре пастуха в бурых плащах из толстой ворсистой байки – точно из камня вытесанные фигуры с клюками в руках, ни дать ни взять епископы первых веков христианства.

Рядом с одним бегало двое детишек. Это семейство пасло овец эксмурской породы, густорунных, но помельче и потощее нынешних. Слева от путешественников, у подножия холма, размещался выгул, обнесенный массивной каменной оградой, в отдалении – еще один.

Молодой джентльмен придержал коня, чтобы пожилой спутник мог его нагнать. Они поехали рядом, но и тут ни один из них не проронил ни слова.

Между тем пастушата со всех ног мчались к тропинке по общипанному скотиной лугу. Они застыли у обочины далеко впереди кавалькады и вперились в приближающихся всадников, словно те были не обычные люди, а сказочные существа. Босой малыш и его сестренка держались так, будто не рассчитывали, что их заметят. Они ни словом, ни жестом не поприветствовали странников, да и те не собирались их приветствовать. Молодой джентльмен даже головы не повернул в их сторону, пожилой всего лишь скользнул по ним взглядом. Слуга на жеребце тоже не обратил на них внимания. Военный в алом мундире, которому даже двое маленьких зевак показались достойной аудиторией, напустил на себя важность, приосанился и проехал мимо с видом заправского кавалериста, устремив взгляд вперед. Только молодая путешественница посмотрела на девочку и улыбнулась.

Ярдов триста дети шагали рядом с процессией, изредка срываясь на бег.

Впереди луг пересекала земляная насыпь, усаженная поверху

кустарником; тропинка упиралась в ворота этой живой изгороди. Мальчишка обогнал путников, рывком отодвинул засов и распахнул ворота, потом устоял в земле и протянул руку. Порывшись в кармане сюртука, пожилой джентльмен достал фартинг и швырнул пастушонку. Монета покатила по земле.

Пастушата, отталкивая друг друга, кинулись за ней. Мальчишка оказался проворнее сестренки. Теперь уже оба малыша, склонив головы, застыли на обочине с протянутыми руками. Девушка на коне левой рукой вытащила из букета пучок фиалок и бросила девочке. Цветы упали на руку малышки, осыпали ее, без сомнения, завшивленные волосы и попадали на землю. Опустив руку, девочка ошарашенно устояла на этот ненужный, непонятный дар.

Через четверть часа пятерка всадников въехала на окраину крошечного городишки К. Не будучи городом в нынешнем понимании, он носил тем не менее это звание – во-первых, благодаря тому, что жителей в нем оказалось на сотню-другую больше, чем в любой из деревень этого малонаселенного края.

Во-вторых, благодаря старинной хартии, дарованной ему четыреста лет назад, когда его будущее рисовалось еще в розовом свете. Как ни смешно, по праву, предоставленному той же хартией, вечно сонный градоначальник и крохотный городской совет до сих пор избирали двоих из числа своих земляков в палату общин. В городе проживало несколько торговцев и ремесленников, каждую неделю открывался рынок, имелся постоянный двор, а при нем – два-три питейных заведения, торгующих пивом и сидром. Была здесь даже старая-престарая школа – если можно назвать школой семерых мальчишек да преклонных лет учителя, который служил еще и псаломщиком. Вот и все городские достопримечательности. В остальном это была сущая деревня.

Преувеличенное представление о значительности города могло сложиться лишь при виде средневековой церкви, ее величавой башни с зубчатым карнизом и высоким шпилем. Но местность, которая открывалась с высоты башни, была уже не такой благополучной и процветающей, как три века назад, когда возвели эту церковь, и башня говорила скорее о былом могуществе, чем о нынешнем преуспеянии. Сохранился тут один помещичий дом, однако дворяне появлялись в городе разве что наездами. Городишко стоял в захолустье, и, как и во всех захолустных уголках тогдашней Англии, здесь не было ни дорожных застав, ни укатанных дорог, по которым мог проехать экипаж. Не манили эти места и ценителей красот природы: в ту пору таких ценителей было слишком мало, да и те на родине

отдавали должное лишь регулярным садам в итальянском или французском вкусе, а за границей – пустынным, но гармоничным (благодаря человеческому вмешательству) классическим пейзажам Южной Европы.

Образованный английский путешественник не находил ничего романтического и живописного в дикой природе своей страны, а в исконно английской архитектуре скученных городков вроде К. – и подавно. Всякий, кто почитал себя за человека со вкусом, просто пренебрег бы такой глухоманью.

Нетронутая первозданная природа в ту эпоху была не в чести. Она казалась воинствующей дикостью, служила неприятным и неотступным напоминанием о грехопадении человека, навеки изгнанного из райского сада. Дикостью тем более воинствующей, что в глазах корыстолюбивых пуритан на пороге торгашеского века она не имела никакой практической ценности. Люди того времени (за исключением считанных книжечеев и ученых) не интересовались и историей – если не считать греческих и римских древностей. Даже естественные науки, такие, как ботаника, хоть и успели утвердиться в своих правах, но дикую природу не жаловали; с их точки зрения, природа была тем, что надлежало укротить, классифицировать, сделать источником выгоды. Весь вид подобных городков – тесные улицы и закоулки, тюдоровские особняки и бесхитростные домишки со множеством надворных построек – все это по тем временам отдавало первобытным варварством, внушало те же чувства, какие мы сейчас испытываем в диких чужих краях – в африканской деревне, на арабском базаре.

Случись нашему современнику попасть в то время и взглянуть на городок глазами кого-нибудь из двух высокородных путешественников, въезжавших на окраину, он бы решил, что ветры истории сменились безветрием и он застрял в каком-то медвежьем углу, в эпохе глухого безвременья. Кажется, сама муза истории Клио остановила здесь свой бег и, почесывая взлохмаченную голову, раздумывает, куда же, черт возьми, теперь податься. Этот год, этот день – последний день апреля – стал точкой во времени, равно отстоящей и от 1689 года, самого разгара Английской революции, и от 1789 года, начала революции Французской, мертвой точкой солнцестояния, застоєм, который и сегодня предрекают те, кто рассматривает историческое развитие как колебание между идеалами эти двух великих революций. Страна изжила исступленный радикализм предшествующего века, но в затишье уже зрели зерна грядущих мировых потрясений (и кто знает, не стал ли таким зерном фартинг, брошенный пастушатам, или рассыпавшийся пучок фиалок). Англия, разумеется,

предалась любимому с незапамятных времен занятию: англичане замыкались в себе, и объединяло их лишь одно – застарелая ненависть ко всяким переменам.

Впрочем, как нередко бывает в подобные эпохи при всей их внешней косности, шести миллионам англичан, даже простонародью, жилось не так уж плохо. Пусть маленькие попрошайки, которые повстречались путникам, и ходили в латаных-перелатанных обносках, зато с голоду они явно не умирали.

Заработная плата рабочих еще никогда не достигала такого высокого уровня, как в те годы, вновь поднять ее до этого уровня удалось лишь два века спустя. Графство Девоншир, где происходили описываемые события, благоденствовало, признаки упадка еще только начинали обозначаться. Целых пять столетий процветание, если не существование городов, деревень, портов и морской торговли Девоншира зависело от одного товара – шерсти. Однако за каких-нибудь семьдесят лет положение изменилось: промысел этот стал сокращаться, а потом и вовсе заглох. Англичане начали отдавать предпочтение более легким тканям, производством которых прославились более предприимчивые северные графства. И все же в ту пору пол-Европы и даже Американские колонии и Российская Империя рядились в платья из «девонширской дюжины» – так называли произведенную в графстве саржу или перпетуану, поскольку продавалась она обычно рулонами по двенадцать ярдов в каждом.

В городе К. этот промысел проник едва ли ни в каждый домишко с соломенной кровлей. Достаточно было заглянуть в любую открытую дверь, в любое распахнутое окно: пряли женщины, пряли мужчины, пряли дети.

Прядильщики так набили руку, что за работой глаза и языки могли досужничать сколько влезет. Кто не пряд, тот либо чистил либо чесал шерсть. Кое-где в сумрачных комнатах можно было увидеть или услышать ткацкий станок, однако главным занятием оставалось все-таки ручное прядение. Прядильная машина «дженни» появится еще через несколько десятков лет, так что самым мешкотным отрезком ткаческой работы, от начала до конца выполнявшейся вручную, неизменно было изготовление пряжи. Затем пряжа в невероятных количествах отправлялась в Тивертон, Эксетер и другие крупнейшие центры ткацкого производства и торговли мануфактурой, чьи зажиточные портные не сидели без дела... Ни ручные прядки, ни бесконечное постукивание педали и кружение колеса, ни самый запах шерсти не произвели на путников ни малейшего впечатления. Ведь тогда не было, пожалуй, ничего привычнее и обыденнее этой домашней, семейной промышленности.

На равнодушные – или слепоту – приезжих город отвечал пристальным вниманием. По дороге перед кавалькадой тащилась телега, запряженная волами, такая громоздкая, что не объехать, и всадникам поневоле приходилось сбавлять ход; привлеченные стуком копыт, прядильщики, оторвавшись от работы, выходили на порог, приникали к окнам, прохожие останавливались. Горожане оглядывали путников с тою же странной отчужденностью, как пастушата в долине: так смотрят на не внушающих доверия иностранцев. В этих людях уже зарождалась сословная неприязнь, они становились политической силой. Недаром, когда пятьдесят лет назад в соседних графствах Сомерсет и Дорсет вспыхнул мятеж Монмута <герцог Джеймс Монмут (1649-1685) – побочный сын Якова II, первого из английских королей после реставрации Стюартов в 1660 г.; объявил себя законным претендентом на английский престол и в 1685 г. вторгся из Голландии, где скрывался, с войском союзников-протестантов в Англию; войско Монмута было разбито, а сам он казнен>, к нему не примкнул ни один из тамошних помещиков, зато ткачи и прядильщики составляли едва ли не половину мятежников, а другой мощной силой, поддержавшей восстание, были крестьяне. Само собой, о создании профсоюзов еще и речи не было, и недовольные ремесленники здесь еще не сбивались в толпы вроде тех, какие уже наводили страх в городах покрупнее. Однако на всякого, кто не имел отношения к мануфактурному делу, поглядывали косо.

Оба джентльмена старательно не замечали цепких взглядов. Держались они так гордо и неприступно, что никто не дерзнул приставать к ним с приветствиями и расспросами, тем паче отпускать колкости по их адресу.

Юная всадница несколько раз с робостью поглядывала по сторонам, но ее лицо, наполовину закутанное шарфом, чем-то смущало зевак. Только военный в алом мундире вел себя как и подобает путешественнику: он без стеснения глазел вокруг и даже приложил руку к шляпе, заметив в дверях какого-то дома двух девиц.

Вдруг из ниши в глинобитной опоре, которая поддерживала стену покосившегося домика, выскочил парень в длинной рубахе распояской. Он подлетел к военному, потрясая свернутой в кольцо лозинкой, на которой болтались убитые птицы. На лице парня играла плутоватая ухмылка не то площадного шута, не то деревенского дурачка.

– Купите, сударь! Пенни за штуку, пенни за штуку!

Военный только отмахнулся. Парень отступил в сторонку, по-прежнему протягивая всаднику свой товар. На прут были за шею нанизаны снегири с коричневыми крылышками, черной как смоль головкой и

малиновой грудкой. В те годы приходские советы, можно сказать, объявили награду за голову каждого снегиря – хотя платили, конечно, за их тушки.

– Куда, сударь, путь держите?

Всадник проехал еще два-три шага и бросил через плечо:

– Проведать блох на вашем паршивом постоялом дворе.

– По делу приехали?

Всадник опять помолчал и, не повернув головы, огрызнулся:

– Не твоя забота.

Ехавшая впереди телега свернула во двор кузницы, и кавалькада двинулась бойчее. Ярдов через сто она оказалась на небольшой покато́й площади, мощенной темными каменными плитками. Солнце уже село, однако небо на западе порядком расчистилось. В медвяно-золотом просвете розовели волокнистые хлопья облаков, и темный полог туч над головой окрашивался где в розоватые, где в аметистовые тона. Площадь окружали здания повыше и позатейливее. Посреди площади красовался огромный навес: рынок. Массивные дубовые столбы подпирали островерхую кровлю из каменных плиток. На площади размещались мастерские портного, шорника, дубильщика, лавка зеленщика, аптека, заведение цирюльника, которого по роду занятий можно считать предшественником нынешних врачей. Вдалеке за навесом кучка людей украшала лежавший на земле длинный шест: ему предстояло стать чем-то вроде тотемного столба на завтрашнем празднике <празднование 1 мая в Англии (как и во многих странах Европы) восходит еще ко временам язычества; центр всего празднества – майский столб («майское дерево»); празднование сопровождалось избранием и коронацией «майской королевы»>.

У передних столбов навеса детвора шумно забавлялась игрой наподобие наших салок и в пелоту – прообраз современного бейсбола. Тот возмутились бы поклонники бейсбола, если бы увидели, что среди игроков в пелоту девчонок гораздо больше, чем ребят (и каково было бы их удивление, узнай они, что наградой самому ловкому был не контракт на миллион долларов, а всего лишь пудинг с пижмой). Парни постарше, а с ними и взрослые мужчины по очереди метали узловатые палки из остролиста и боярышника в валяющуюся на мостовой красную тряпицу, набитую соломой; несуразная потрепанная мишень отдаленно походила на птицу. Путников это зрелище ничуть не удивило: горожане упражнялись, готовясь к завтрашнему состязанию – старинной благородной забаве, известной по всей Англии. Цель этого состязания, которое называлось «битье кочета», состояла в том, чтобы насмерть забить петуха, швыряя в него дубинки со свинцовыми набалдашниками. Обычно кочета забивали на

Масленицу, но уж больно полюбилась эта забава девонширскому простонародью – ведь вон и помещики уважали петушинные бои, – поэтому состязание стали проводить и в другие праздники. Пройдет несколько часов – и вместо красного чучелка у навеса одну за одной начнут привязывать перепуганных птиц, и на каменную мостовую брызнет кровь. Такое жестокосердие к животным доказывало истинно христианские чувства человека XVIII столетия. Ибо кто как не богопротивный петух троекратным криком приветствовал отречение апостола Петра? А значит, что может быть благочестивее, чем вышибить дух из какого-нибудь петушиного отродья?

Джентльмены придержали коней, словно пришли в некоторое замешательство, неожиданно оказавшись на широкой площади перед оживленной толпой. Петушьи супостаты оставили свое занятие, дети оторвались от игры. Молодой джентльмен обернулся к военному, тот указал на северную сторону площади, где стояло ветхое каменное здание. На вывеске над дверьми был грубо намалеван черный олень, арка рядом с домом вела на конный двор.

Цокая копытами, кони двинулись через площадь. Майский шест был забыт; предвкушая более занятное зрелище, люди на площади присоединились к кучке зевак, которая сопровождала кавалькаду еще на улицах. У постоялого двора странников дожидалась толпа человек в семьдесят – восемьдесят. Всадники остановились. Молодой джентльмен учтивым жестом предложил старшему спутнику спешиться первым. Из дверей выскочил румяный пузатенький хозяин, за ним горничная и трактирный слуга. К гостям торопливо подковылял конюх.

Он взял под уздцы коня пожилого джентльмена, который неловко слезал с седла. Молодой человек последовал его примеру – его коня придержал трактирный слуга. Хозяин постоялого двора отвесил поклон.

– Милости просим, судари мои. Позвольте представиться: Пуддикумб. Хорошо ли изволили доехать?

Пожилой джентльмен ответил на вопрос и в свою очередь спросил:

– Все готово?

– Все, как ваш человек наказывал. Точка в точку.

– Тогда покажите нам наши комнаты. Мы изрядно утомились.

Хозяин, пятясь, повел гостей в дом. Однако молодой человек задержался и проводил взглядом остальных троих спутников, въезжавших прямо на конный двор. Пожилой джентльмен пристально посмотрел на него, покосился на толпу любопытных и не без раздражения отчеканил:

– Пойдем, племянник. Довольно нам быть средоточием взоров

посреди пустыни.

С этими словами он вошел в дом, племяннику оставалось последовать за ним.

Дяде и племяннику отведены лучшие покои наверху. Оба постояльца в своей комнате только что отужинали. Горят свечи в стеннике – настенном подсвечнике возле двери, в оловянном канделябре на столе – еще три. Стол поставлен недалеко от широкого, не закрытого ничем камина, в котором пылают ясеновые поленья, – и по старой просторной комнате, наполненной трепетными тенями, разносится легкий чад. Против камина у стены – кровать с задернутым пологом на четырех столбиках, рядом столик с кувшином и тазом для умывания. У окна – еще один стол и стул. По сторонам камина стоят два допотопных кресла с кожаными сиденьями и деревянными подлокотниками, источенными червем; кресла повернуты друг к другу. У изножья кровати – сработанная еще в прошлом веке длинная скамья. Вот и вся меблировка.

Закрытые ставни на окнах заперты на засов. На стенах никаких драпировок, никаких картин – только над камином гравированный, в раме, портрет королевы Анны, правившей еще до отца нынешнего монарха. Да еще тот самый стенник у двери, а рядом с ним потускневшее маленькое зеркало.

На полу возле двери стоит сундучок с медными наугольниками, тут же – чемодан с одеждой, крышка его откинута. Пламя в камине пляшет, и дрожащие тени отчасти скрывают убогость обстановки, а старые деревянные панели, которыми кое-где обшиты стены, и гладкий дощатый пол, пусть и не покрытый ковром, хорошо сохраняют тепло.

Племянник наливает себе мaderas из фарфорового графина с синей росписью, встает, подходит к камину и задумчиво смотрит на пламя. Он уже снял скрепленный пряжкой шейный платок и надел поверх длинного камзола и панталон ночную рубашку из шелковой, с разводами, ткани (у людей того времени ночная рубашка была чем-то вроде домашнего халата). Теперь он без парика, и даже в полумраке комнаты заметно, что голова его обрита наголо – если бы не костюм, он вполне сошел бы за теперешнего «бритоголового».

Куртка для верховой езды, длинный выходной камзол и короткий, по моде, дорожный парик развешаны на крючках у двери, под ними – ботфорты и прислоненная к стене шпага. Зато второй джентльмен все еще при полном параде. Он так и сидит в шляпе и парике. Парик у него пышнее, чем у племянника, сзади длинные волосы разобраны надвое и каждая половина стянута на конце узелком. Внешне дядя и племянник мало походят друг на друга. Племянник худощав, по его лицу, освещенному пламенем камина, можно догадаться, что этот человек отличается утонченным вкусом и сильным характером. У него орлиный нос, тонкие губы; вообще его черты не лишены привлекательности, однако заметно, что молодого человека не оставляют гнетущие думы. По всему видно, что он получил хорошее воспитание, и хотя он еще довольно молод, но уже точно знает свое место в жизни и тверд в своих убеждениях. Им определенно владеет какая-то идея, ко всему прочему он равнодушен.

Сейчас, когда он погружен в размышления, особенно бросается в глаза его несходство с дядей. Тот – дородный, властный, с нависшими бровями, тяжелой челюстью и выражением ученого мужа, у которого с годами портится характер.

Правда, сейчас он чем-то смущен и озабочен больше, чем его спутник, который застыл у камина, повесив голову. Дядя взглядывает на племянника пытливо, слегка насмешливо и с оттенком нетерпения; видимо, хочет что-то спросить, но вместо этого опускает глаза и смотрит в тарелку. И тут молодой человек подает голос. Спутник тут же вновь устремляет на него взгляд: очевидно, за ужином, как и в пути, они не перемолвились ни словом и дядя рад, что племянник наконец нарушил молчание, хотя обращается тот больше к пламени очага.

– Спасибо, Лейси, что вы столь безропотно меня терпите. Меня и мою васиа <букв.: «пустота» (лат.)>.

– Вы, сэр, честно меня предупредили. И честно заплатили.

– Пусть так. И все же для человека, которому слова доставляют хлеб насущный, я, увы, спутник негожий.

Этот разговор не похож на беседу дяди и племянника. Пожилой джентльмен достает табакерку и бросает на собеседника лукавый взгляд из-под насупленных бровей.

– За слова меня, бывало, жаловали гнилой капустой. А уж денежные награды с вашею и вовсе не сравнить. – Пожилой джентльмен нюхает табак. – Иной раз денег не было вовсе – одна капуста.

Молодой человек оглядывается и чуть заметно улыбается.

– Бьюсь об заклад, такой роли вы еще не игравали.

– Ваша правда, сэр, такой подлинно не игрывал.
– Благодарствую за старания. Вы с ней справляетесь превосходнейшим образом.

Пожилой джентльмен кланяется – нарочито угодливо, насмешливо.

– Я бы справился еще лучше, если бы... – Он умолкает и разводит руками.

– Если бы мог больше доверять сочинителю пьесы?

– Понять, как он мыслит себе развязку, мистер Бартоломью, не во гнев вам будь сказано.

Молодой человек снова отворачивается к камину.

– Кто же на свете не мечтает узнать развязку. *In comoedia vitae* <комедия жизни (лат.)>.

– Истинно так, сэр. – Актер достает кружевной платочек и утирает нос. – Но таковы уж все люди моего ремесла. Все-то нам хочется, чтобы наши завтрашние выходы были расписаны заранее. Сама природа нашего искусства того требует. Иначе нам не выказать и половины своего умения.

– По вашей игре не скажешь.

Актер опускает глаза, улыбается и закрывает табакерку. Молодой человек не спеша подходит к окну, лениво отодвигает засов и приоткрывает один ставень. Он поглядывает вниз, будто ожидает кого-то увидеть. Но на темной рыночной площади ни души. В одном-двух домах мерцают свечи. На западе еще брезжит свет, последний отблеск ушедшего дня, и высыпавшие звезды поблескивают почти над самой головой – верный признак того, что тучи уползают на восток. Молодой человек затворяет ставень и поворачивается к сидящему за столом спутнику.

– Завтра отправимся по той же дороге. Ехать нам не более часа, а там наши пути расходятся.

Пожилой актер, не глядя на спутника, чуть поднимает брови и кивает опущенной головой, будто нехотя соглашается. У него вид шахматиста, который волей-неволей вынужден признать превосходство соперника.

– По крайности лыщусь вновь увидеться с вами при более благополучных обстоятельствах.

– Бude на то воля фортуны.

Актер смотрит на собеседника долгим взглядом.

– Помилуйте, сэр, сейчас, когда все складывается нельзя лучше... Не вы ли сами на днях смеялись над суевериями? А теперь говорите так, словно вы с фортуной в разладе.

– Вера в случай – не суеверие, Лейси.

– Вера в то, что кость упадет так, а не иначе? Так ведь ее и

перебросить недолго.

– Можно ли перейти Рубикон дважды?

– Но юная леди...

– Сейчас. Или никогда.

После недолгой паузы актер произносит:

– Осмелюсь заметить, сэр, вы смотрите на вещи чересчур мрачно. Вольно вам считать себя Ромео из пьесы, прикованным к колесу Фортуны. Все это суть не что иное, как измышления поэтов, ищущих поразить воображение публики. – Он умолкает и, не дождавшись ответа, продолжает:

– Что ж, предположим, ваша затея, как уже случалось, не возымеет успеха. Отчего бы тогда не попробовать еще раз, как и подобает всем истинно влюбленным? Вон и старая мудрость говорит о том же.

Молодой человек возвращается к столу, садится и вновь вперяет взгляд в пламя очага.

– А что, если это пьеса, где нет ни Ромео, ни Джульетты? Если у нее иной финал, беспросветный, словно мрак ночи? – Он поворачивается к собеседнику, глаза, смотрящие в упор, зажигаются вдруг решимостью и прямоотой. – Что тогда, Лейси?

– Сравнение это лучше приложить к нам с вами. Когда вы пускаетесь в такие рассуждения, то я сам словно блуждаю во мраке.

Молодой человек опять медлит с ответом, потом наконец говорит:

– Вообразите такой изрядно не правдоподобный случай. Вот вы только что пожелали, чтобы ваше завтра было расписано заранее. Представьте же, что к вам – к вам одному – приходит некто, утверждающий, будто он проникает тайны грядущего. Не грядущего царствия небесного, но будущего нашего земного мира. И этот некто сумел вас убедить, что он не ярмарочный шарлатан, но воистину имеет способность исполнить сказанное, употребив свои познания в тайных науках, математике, астрологии, да мало ли в чем еще. И он открывает вам будущее, рассказывает, что случится завтра, через месяц, через год, через сотню, тысячу лет. Описывает все наперед, как события пьесы. Разгласите ли вы то, что узнали, по всему свету или станете держать язык за зубами?

– Сперва удостоверюсь, что я в своем уме.

– А если он положит конец вашим сомнениям неоспоримыми доказательствами?

– Тогда предупрежу друзей и близких. Чтобы они нашли средства оборониться от напастей.

– Хорошо. Предположим далее, что в грядущем, как уверяет пророк,

мир ожидают чума, пожары, смуты, неисчислимые бедствия. Что тогда? Вы и тогда изберете тот же образ действий?

– В толк не возьму, сэр, как такое возможно. Какие могут тому быть доказательства?

– Не принимайте мои слова за чистую монету. Я всего лишь дал волю воображению. Но положим, такие доказательства нашлись.

– Уж больно это мудреные материи для моего ума, мистер Бартоломью. Если по звездам выйдет, что в мой дом ударит молния, воля ваша, я этому воспрепятствовать не в силах. Но раз звездам было угодно, чтобы я о том проведал загодя, так я непременно съеду со двора от греха подальше.

– Но если молния все равно вас поразит – беги не беги, хоронись не хоронись? Много вам будет проку от бегства! Лучше и с места не трогаться.

Вдобавок, может статься, провидец не сумеет указать каждому в отдельности срок, когда его ждет беда, но знает лишь, что рано или поздно она постигнет большую часть человечества. Ответьте же, Лейси: если таковой прорицатель пожелает с вами говорить, но прежде, дабы вы успели поразмыслить и перебороть природное любопытство, известит вас, о каких предметах намерен толковать, то не благоразумнее ли вовсе уклониться от этого разговора?

– Пожалуй, что так. В этом я с вами соглашусь.

– А если прорицатель окажется добрым христианином и истинным человеколюбцем и если даже его пророческая наука покажет обратное – что этот растленный и жестокий свет рано или поздно сподобится вечного мира и изобилия, – то не поступит ли прорицатель разумнее, удержав свое открытие в тайне? Ибо кто станет радеть о достоинстве и добродетели, когда уверится, что райская жизнь и без того наступит?

– Я уразумел общий смысл ваших рассуждений, сэр. Но вот чего я никак не уразумею, почему вы заговорили об этом именно сейчас.

– Так вот, Лейси. Представьте, что вы и есть тот человек, который способен предвидеть грядущие бедствия. Не посчитаете ли вы за лучшее стать их единственной жертвой? Не утихнет ли праведный гнев Господень на дерзнувшего поднять завесу будущего, если вы согласитесь заплатить за это святотатство своим молчанием – и даже больше, собственной жизнью?

– Не знаю, что и ответить. Вы касаетесь до таких предметов... Не нам домогаться власти, которая дана лишь Создателю.

Молодой человек, не отрываясь от огня, сдержанно кивает.

– Я просто рассуждаю. У меня и в мыслях не было богохульствовать.

Он умолкает, словно раскаивается, что вообще затеял этот разговор.

Но актер, видимо, не собирается ставить на этом точку. Он медленно подходит к окну, заложив руки за спину. С минуту он разглядывает закрытые ставни, потом вдруг, еще крепче сжав руки, оборачивается и обращается к бритому затылку, силуэт которого темнеет посреди комнаты в отблесках камина:

– Поскольку завтра нам предстоит расстаться, должен я поговорить с вами начистоту. Ремесло мое учит угадывать человека по наружности. По сложению, походке, чертам лица. Я взял смелость составить о вас собственное мнение.

Мнение, сэр, в высшей степени доброе. Если забыть об уловке, которую мы нынче вынуждены употребить, я почитаю вас за джентльмена честного и добропорядочного. Думаю, вы тоже успели меня узнать и согласитесь, что я нипочем бы не стал вашим соумышленником, не будь я уверен, что правда на вашей стороне.

Молодой человек не поворачивает головы. В голосе его появляется желчная нотка.

– Но?

– Что вы утаили от меня некоторые побочности нашего дела – за это я на вас сердца не держу. Видно, были у вас на то свои причины, осмотрительность того требовала. Но что, прикрываясь этими причинами, вы sluкавили относительно самой сути дела, уж этого я никак не могу простить.

Так вы себе и знайте. Можете сколько угодно попрекать меня мнительностью, но мне сдается...

Молодой человек стремительно, словно бы в бешенстве, вскакивает с места. Но вместо вспышки гнева он всего лишь смотрит на актера все тем же пристальным взглядом.

– Слово чести, Лейси. Да, я непокорный сын; да, я не открыл вам всего.

Если это грехи, то каюсь: грешен. Но честью вам клянусь, в моей затее нет ровно ничего незаконного. – Он подходит к актеру и протягивает ему руку:

– Верьте мне.

Поколебавшись, актер берет его руку. Молодой человек глядит ему прямо в глаза.

– Видит Бог, Лейси, я именно таков, каким вы меня сейчас изобразили. И что бы ни случилось дальше, помните об этом.

Он опускает глаза и снова отворачивается к огню, но тотчас оглядывается на стоящего возле стула актера.

– Я порядком вас обморочил. Но, поверьте, поступил так и для вашего же блага. Так вас посчитают не более как слепым орудием. Буде придется держать ответ.

Актер по-прежнему смотрит исподлобья.

– Так-то оно так, но, стало быть, предприятие ваше состоит не в том, о чем вы сказывали?

Молодой человек переводит взгляд на огонь.

– Я ищу встречи кое с кем. В этом я не солгал.

– Такого ли рода встреча, как вы мне представили?

Мистер Бартоломью отмалчивается.

– Дело чести?

Мистер Бартоломью чуть заметно улыбается.

– Для этой оказии я бы взял в спутники близкого друга. И какой мне расчет отправляться в этакую даль за делом, которое можно сладить в окрестностях Лондона?

Актер хочет еще что-то спросить, но в это время на лестнице раздаются шаги и в дверь стучат. Молодой человек приглашает войти. Появившийся в дверях хозяин постоянного двора Пуддикумб обращается к мнимому дяде:

– Извините, что побеспокоил. Там, мистер Браун, один джентльмен желает засвидетельствовать вам свое почтение.

Актер бросает внимательный взгляд на молодого человека у камина. По лицу «племянника» понятно, что это не та встреча, которую он ждет. Однако не успевает актер ответить, как молодой человек нетерпеливо спрашивает:

– Кто таков?

– Мистер Бекфорд, сэр.

– Кто он, этот мистер Бекфорд?

– Священник здешнего прихода, сэр.

Молодой человек чуть ли не с облегчением опускает глаза и тут же поворачивается к актеру:

– Вы уж не обессудьте, дядя, я устал. Но вы на меня не смотрите.

Актер хоть и не сразу, но без труда входит в роль.

– Передайте преподобному джентльмену, что я с радостью побеседую с ним внизу. Племянник же просит не прогневаться: утомился с дороги.

– Хорошо, сэр. Я мигом. Мое почтение.

Пуддикумб исчезает. Молодой человек слегка морщится.

– Крепитесь, друг мой. Это уж будет последняя наша плутня.

– Наш разговор не кончен, сэр.

– Развяжитесь с ним сколь быстро, столь и учтиво.

Актер тянется за шейным платком, прикасается к шляпе, оправляет сюртук.

– Добро.

Он отдает легкий поклон и направляется к двери. Но едва он берется за ручку, как молодой человек снова его окликает:

– Да попросите нашего почтенного хозяина прислать еще этих дрянных огарков. Я буду читать.

Актер молча кланяется и выходит. Молодой человек у камина продолжает неотрывно глядеть в пол. Потом переставляет столик от окна к своему креслу и ставит на него канделябр с обеденного стола. Из кармана камзола он достает ключ и отпирает сундучок у двери. В сундучке лежат только книги и кипа исписанных бумаг. Молодой человек, порывшись, выбирает пачку листов, усаживается в кресло и принимается за чтение.

Немного погодя раздается стук в дверь. Входит здешняя горничная с подносом, на котором стоит еще один зажженный канделябр. По знаку постояльца она ставит его на столик и начинает собирать оставшуюся после ужина посуду. Мистер Бартоломью не обращает на нее ни малейшего внимания, точно она живет не два с половиной века назад, а лет через пятьсот после нас, когда всю нудную черную работу будут выполнять машины. Прихватив поднос с тарелками, она идет к дверям, но на пороге оборачивается к погруженному в чтение постояльцу и неуклюже приседает. Молодой человек даже не смотрит в ее сторону, и девица, не то трепеща (потому что читать – все равно что нечистого тешить), не то разобидевшись (потому что на постоялых дворах в те времена страхолюдин в горничных не держали), спешит удалиться без единого слова.

Наверху, под самой крышей, в комнате поплоче, на низенькой узкой кровати, укрывшись своей коричневой епанчой, лежит молодая путешественница. Льняной шарф, который закрывал ее лицо в дороге, сейчас расстелен на шершавой подушке. Девушка, кажется, спит. В комнате только одно окно – маленькое слуховое окошко, вместо потолка – стропила и кровля.

Освещена комната единственной свечой, стоящей на столе, и дальний

угол, где помещается кровать, тонет в полумраке. Девушка лежит, поджав ноги, почти на животе, согнутая рука покоится на подушке. В ее позе, в ее облике в эту минуту – чуть курносый нос, закрытые глаза – сквозит что-то детское.

В полуразжатой левой руке – то, что осталось от букетика фиалок. Под столом расшуршалась мышь: снует, ищет поживы, принюхивается.

На спинке стула у кровати висит знакомая плетеная шляпа, на нее надет другой головной убор; судя по всему, до сих пор хозяйка бережно хранила его в большом узле, который сейчас развязан и лежит на полу. Это плоский чепец из белого батиста, поля его спереди и по бокам собраны в частые складочки. С чепца свисают две белые ленты длиной в целый фут – носившие такой чепец обычно заправляли их за уши. В этой невзрачной обстановке чепец кажется удивительно воздушным и даже как будто нелепым. В разные эпохи такие головные уборы – правда, без лент – считались принадлежностью то горничных, то официанток, но в те времена ими не гнушались даже в большом свете, в них щеголяли и знатные дамы, и их камеристки. То же, впрочем, относилось и к передникам. Мужскую прислугу узнать можно было сразу – по неизменной ливрее, но что до служанок, то они привыкли ничем себя не стеснять, как ворчал один современник, вздумавший исправить это упущение. Немало джентльменов в чужой гостиной попадали в неловкое положение: приняв какую-нибудь особу за хозяйку дома или ее близкую подругу, они приветствовали ее галантным поклоном, а потом выяснялось, что они расточали свою галантность на прислугу <"современник", о котором говорится выше, – писатель Даниель Дефо (ок.1660-1731); в своей книге «Наставник в домашних делах» и целом ряде очерков он касается вопроса о распущенности прислуги; описанная сцена в гостиной приводится в его очерке «Забота всякого – ничья забота»>.

Однако хозяйка этого изящного двусмысленного чепчика не спит. Едва с лестницы доносятся шаги, она открывает глаза. Шаги замолкают возле двери, чуть погодя раздаются два глухих удара: кто-то пинает дверь. Девушка сбрасывает епанчу и встает с кровати. На ней темно-зеленое платье с застежками на груди, края выреза чуть отвернуты и видна желтая подкладка.

Отвернуты и рукава, спускающиеся чуть ниже локтя. На талии повязан белый передник до полу. Талия девушки стянута шнуровкой, отчего торс выше пояса самым противоестественным образом превращается в перевернутый конус без всяких выпуклостей. На ногах у девушки чулки. Она сует ноги в заношенные шлепанцы и идет отпирать.

На пороге стоит слуга, ехавший с ней вместе на коне. В одной руке он держит большой медный кувшин с теплой водой, в другой – глиняный таз, покрытый охряной глазурью. Разглядеть вошедшего в потемках трудно, лицо его скрыто тенью. При виде юной спутницы он замирает, но она отступает в сторону и указывает на стол в дальнем конце длинной комнаты. Мужчина подходит к столу, на котором горит свеча, ставит кувшин и таз и снова застывает, отвернувшись к стене и опустив голову.

Девушка перекладывает развязанный узел с пола на кровать. В узле обнаруживается кое-какая одежда, ленты, хлопчатый шарф с вышивкой. Среди них – узелок поменьше, а в нем всякая мелочь: керамические баночки, закрытые бумагой и затянутые бечевкой точно так же, как нынешние банки с вареньем, заткнутые пробкой флакончики синего стекла, щетка, гребешок, ручное зеркальце. И тут девушка замечает неподвижность гостя и поворачивается к нему.

Какое-то мгновение она не двигается с места. Потом подходит, берет его за руку и тянет за собой. Лицо мужчины словно окаменело, но поза выражает одновременно обиду и муку. Молчаливый, страдающий, он походит на затравленного зверя, совсем не по-звериному недоумевающего: за что?

Девушка держится решительно. Она качает головой, и он, избегая взгляда ее карих глаз, безучастно смотрит мимо нее на дальнюю стену. Только поворот головы – и больше ни одного движения. Девушка берет его за руку, рассматривает ее, прикасается к ней, поглаживает. Так они и стоят с полминуты, неподвижные, безмолвные, точно чего-то ожидают. Наконец девушка отпускает руку спутника и, пройдя через комнату, запирает дверь.

Оглядывается. Мужчина не спускает с нее глаз. Она показывает на пол рядом с собой, словно собачонку подзывает – ласково, но не без твердости.

Спутник повинует. Он все пытается заглянуть ей в глаза. Девушка снова берет его за руку, но на сей раз лишь коротко ее пожимает. Затем возвращается к столу и принимается развязывать передник. Вдруг, словно спохватившись, она переходит к кровати, роется в узелке и достает баночку, флакон и кусок потертого холста – должно быть, временное полотенце. У стола она подносит пузырек поближе к свече и молча разматывает бечевку.

Вслед за тем она начинает раздеваться. Сначала скидывает передник и вешает на один из грубо выструганных колышков, которые рядком вбиты в стену у окна. Потом снимает зеленое платье с желтой подкладкой. Под ним – стеганая шерстяная юбка (такие юбки проглядывали у женщин того времени между полами платья). Темно-фиолетовая юбка необычно лоснится: дело в том, что при изготовлении такой ткани в пряжу

добавлялся шелк. Девушка распускает завязанную на поясе тесемку, сбрасывает юбку и вешает на другой колышек. За юбкой следует корсаж. На девушке остается лишь короткая белая исподница – нижняя рубашка. Казалось бы, стыдливость заставит девушку на этом и остановиться, однако она стягивает исподницу через голову: длинные волосы ручейком уползают в вырез рубашки. Исподница вешается рядом с корсажем. Теперь на девушке нет ничего, кроме двух нижних юбок – льняной и фланелевой.

Девушка раздевается быстро, без стеснения, как будто в комнате больше никого нет. Наблюдающий за ней мужчина ведет себя непонятно. Не в силах устоять на месте, он переминается с ноги на ногу, пятится и вжимается в стену, словно хочет просочиться сквозь штукатурку и деревянные балки.

Девушка наливает воду в таз, достает из стеклянной баночки кусок левкоевого мыла, умывается, моет руки, шею, грудь. Свеча горит перед ней, язычок пламени вздрагивает от малейшего движения. Иногда при легком повороте или взмахе руки по влажной коже пробегают отблески, темно-бурый силуэт спины обведен белесым отсветом. А между стропил кривляются вытянутые паучьи тени, передразнивая этот бесхитростный, обыденный обряд.

Сейчас уже совершенно ясно, что девушка левша. Моясь, а затем вытираясь, она нет-нет и оборачивается, и молчаливый спутник отводит глаза от полуобнаженного тела.

Наконец девушка берет стеклянный флакончик, смачивает содержимым край холщового полотенца и протирает кожу по сторонам шеи, вокруг подмышек и кое-где на груди. По комнате разливается аромат «венгерской воды»

<настойка цветов розмарина на очищенном винном спирте>.

Она протягивает руку за исподницей и надевает ее. Только теперь она отворачивается от стола и со свечой в руке идет к кровати, возле которой замер мужчина. Присев на кровать, она достает фарфоровую баночку и ставит рядом со свечой (обсохшее мыло уже лежит на прежнем месте). В баночке свинцовые белила – белая мазь, которая тогда была распространенным косметическим средством, хотя, в сущности, это смертоносный яд. Девушка берет мазь указательным пальцем и круговыми движениями начинает растирать ее по щекам, затем по всему лицу. Затем натирает шею, плечи. Из узла извлекаются зеркало и крошечный синий флакончик, заткнутый пробкой.

Девушка смотрится в зеркало, но свеча горит слишком далеко от импровизированного туалетного столика. Тогда девушка берет подсвечник

и, повернувшись к мужчине, знаками просит его посветить.

Мужчина подходит поближе и держит склоненную свечу возле лица спутницы.

Та расстилает на коленях холщовое полотенце и бережно открывает последнюю баночку, наполненную карминной помадой. Глядясь в зеркало, девушка кладет мазочек помады на губы и размазывает сперва языком, потом кончиком пальца.

Снадобье служит ей не только губной помадой, но и румянами: время от времени она притрагивается накрашенным пальцем к скулам и растирает краску. Наконец краска наложена как надо, девушка откладывает зеркало и закрывает баночку, после чего, легонько оттолкнув руку спутника, согласившегося заменить собой канделябр, берет синий флакончик. Изнутри в пробку воткнут обрезок ствола гусиного пера. Девушка откидывает голову и закапывает в каждый глаз по капле бесцветной жидкости. Бесцветной и, как видно, едкой: после каждой капли девушка часто моргает. Но вот флакончик снова закупорен, и лишь теперь девушка поднимает глаза на своего спутника.

Блеск глаз, расширенные от действия белладонны зрачки, преувеличенно яркие губы и румянец (кармин ведь мало похож на естественный алый цвет)...

Теперь нетрудно догадаться, что горничная на самом деле никакая не горничная, хотя едва ли это лицо куклы способно пробудить в ком-то чувственность. Карие, с золотниками, глаза – вот и все, что напоминает о девушке, которая пятнадцать минут назад дремала в постели. Уголки красных губ слегка ползут вверх, и эта полуулыбка до того невинна, словно девушка всего лишь по-сестрински исполняет безобидную прихоть уставившегося на нее спутника. Не опуская лица, она закрывает глаза.

Другой бы подумал, что она ожидает поцелуя, однако молчаливый спутник только приближает свечу к ее лицу и освещает его то с одной стороны, то с другой. Он как будто изучает каждый дюйм этого воскового лица, каждую складку, каждую черточку, надеясь отыскать что-то утерянное, какой-то знак, ответ на вопрос. Удивительный у него взгляд – отчужденно-сосредоточенный. Такая несказанная невинность бывает написана на лицах людей, страдающих врожденным слабоумием; мужчина словно бы проникает в душу своей спутницы глубже, вычитывает в ней больше, чем нормальные люди. Впрочем, в его чертах нет и следа ненормальности. Это правильное, даже приятное лицо – особенно хороши твердые точеные губы; лицо, выражающее безграничную серьезность и непричастность к этому миру.

С минуту девушка позволяет безмолвному спутнику себя разглядывать.

После некоторого колебания мужчина ласково прикасается к ее правому виску.

Кончики пальцев скользят по щеке вниз, к подбородку, будто лицо ее и в самом деле не плоть, а воск, раскрашенный мрамор, посмертная маска.

Девушка снова закрывает глаза. Пальцы все скользят по лицу. Лоб, брови, веки, нос. Мужчина касается губ девушки. Губы не шевелятся.

И тут он падает перед ней на колени, ставит свечу на пол и замирает, уткнувшись в ее платье – словно не в силах больше видеть лицо, которое только что осязал, но готов во всем ему покорствоваться. Девушка не отшатывается, не выказывает удивления. Она долгим взглядом смотрит на голову, лежащую у нее на коленях, потом левой рукой принимается поглаживать завязанные в узел волосы. Тихо-тихо, точно разговаривая сама с собой, она шепчет:

– Ах, Дик. Бедный ты мой, бедный.

Мужчина не отвечает, не двигается. Девушка бережно гладит его, треплет по волосам. Оба молчат. Наконец девушка легонько отстраняет его и поднимается, но лишь затем, чтобы достать из узла нежно-розовую ночную рубашку и юбку. Она расправляет их, собираясь надеть. Мужчина по-прежнему стоит на коленях с опущенной головой. Поза его выражает не то смирение, не то мольбу. Однако при свете стоящей на полу свечи видно: то, на что устремлен его взгляд – столь же замороженный, как и при созерцании лица девушки, – то, во что он вцепился обеими руками, как утопающий в проплывающую мимо ветку, говорит вовсе не о мольбе или смирении. Штаны его расстегнуты, а в неподвижных руках он сжимает не ветку, а большой, обнаженный, торчащий пенис. Заметив эту непристойность, девушка не вспыхивает, не возмущается. Она только откладывает ночную рубашку, бесшумно подходит к кровати, где на шершавой подушке рассыпаны фиалки, собирает их и, приблизившись к коленопреклоненному спутнику, небрежно, почти шаловливо швыряет цветы к его ногам. Фиалки сыпятся на руки мужчины, на чудовищный, набухший кровью член.

Мужчина скидывает голову и вздрагивает, как от боли, при виде аляповато размалеванного лица. На миг взгляды спутников встретились.

Девушка обходит мужчину и, приблизившись к двери, распахивает ее, словно велит Дик убраться. Придерживая расстегнутые штаны, Дик встает с колен и плетется к двери. Он даже не привел в порядок одежду. Девушка берет свечу и шагает было следом за дверь – посветить ему на

темной лестнице. Но сквозняк грозит задуть огонек, и она спешит обратно в комнату, заслоняя пламя ладонью. Сейчас она словно сошла с полотна Шардена. Закрыв дверь, она прислоняется к ней спиной и немигающим взглядом смотрит на кровать, где разложен розовый парчовый наряд. Капли белладонны в ее глазах мешаются со слезами, но этого никто не видит.

Пока Дик оставался наверху, о нем успели посудачить за длинным столом на кухне. Вход на кухню постоянных дворов был никому не заказан, здесь собирались проезжающие невысокого разбора и слуги постояльцев познатнее.

Кухня тут была таким же средоточием жизни, как и на фермах. Правда, кушанья в ней не такие изысканные, как в трактирном зале или отдельных покоях, зато уж и не такие холодные, да и компания теплее. Слуги с жадностью выслушивали новости, сплетни и прибаутки своей ровни из чужих краев. В тот вечер на кухне «Черного оленя» вниманием присутствующих всецело завладел человек, который вошел с конского двора, неся под мышкой карабин в чехле и саблю. Снимая шляпу, он одновременно ухитрился обласкать взглядом всех служанок на кухне, кухарку и горничную Доркас. Этим гостем был знакомый нам всадник в алом мундире – сержант Фартинг, как он отрекомендовался с порога.

И с порога же он завел такие речи, что стало ясно: гость принадлежит к тому сорту людей, который известен, сколько существует род человеческий или по крайней мере сколько ведутся войны. Римские комедиографы окрестили этого персонажа *miles gloriosus*, хвастливый воин, отпетый пустобрех. В Англии XVIII века солдаты, даже скупые на похвальбу, были не в почете. Это монархи и их министры неустанно твердили о необходимости постоянной армии, для всех же прочих армия была как кость в горле (или, если она состояла из иностранных наемников – как плевок в лицо). Ее считали непосильным бременем для всей страны и в особенности для той горемычной местности, где солдаты размещались на постой. Но Фартинг об этом вроде как позабыл – зато свои подвиги помнил превосходно. Он, мол, отставной сержант морской пехоты (хоть мундир на нем и драгунский), он еще мальчишкой служил барабанщиком на флагманском судне адмирала Бинга во время достопамятной баталии у

мыса Пассаро в восемнадцатом году <битва у мыса Пассаро (известная также как Мессинская битва) произошла 31 июля 1718 г.; в этой битве английский флот под командованием сэра Джорджа Бинга (1663-1733) одержал победу над испанской эскадрой>, когда англичане задали перца испанцам; сам адмирал Бинг отличил его за храбрость (не тот Бинг, которого изрешетили пули при Портсмуте, а его отец); а ведь он, Фартинг, был в ту пору «не старше вот того мальчонки» – парнишки, прислуживающего в трактире. Что-что, а привлечь к себе внимание Фартинг умел, а привлекая, удерживал прочно. Да и кого в кухне можно было поставить рядом с этим, судя по его рассказам, лихим воякой, тем паче побывавшим в дальних краях! Вдобавок он то и дело без стеснения поглядывал на слушательниц, ибо, подобно всем людям того же пошиба, знал: чтобы завоевать аудиторию, надо первым делом захватить женские сердца. Ел и пил он в три горла и, что ни возьмет в рот, все нахваливал; едва ли не самая правдивая фраза, которую он произнес за весь вечер – это то, что по части сидра он великий знаток.

Разумеется, слушатели засыпали его вопросами, в том числе и о цели их путешествия. С его слов выходило, что молодой джентльмен и его дядя едут навестить некую леди, которая доводится сестрой одному и теткой другому.

Леди эта – хворая старуха, богата, как черт, замужем ни разу не бывала, но унаследовала столько земель и прочего добра, что впору герцогине. Как бы в пояснение своего и так понятного рассказа Фартинг на разные лады подмигивал и постукивал себя пальцем по носу. Он намекнул, что молодой джентльмен вовсе не сроду был таким смиренником – он и посейчас еще кругом в долгах. Девушка, ночующая наверху, – горничная из лондонского дома старой леди, ее везут прислуживать хозяйке. А он, Тимоти Фартинг, согласился сопровождать дядю, старого своего знакомца, поскольку тот неспокоен в рассуждении разбойников, грабителей и вообще всякой живой души, какая может повстречаться, чуть отъедешь подальше от собора св.Павла. Однако ж вон в какую даль забрались – и ничего: бдительный Фартинг служил спутникам не менее надежной защитой, чем рота солдат.

Что за человек этот дядя? Человек со средствами, зажиточный торговец из лондонского Сити. Имеет детей, которые живут на его иждивении. Брат его, отец молодого джентльмена, несколько лет назад скончался, не оставив состояния, и дядя сделался опекуном и наставником племянника.

Эта беседа, сбивающаяся на монолог, оборвалась лишь раз – когда Дик

пришел из конюшни и как бы в растерянности остановился в дверях безучастный, не улыбкающий. Фартинг сложил пальцы в щепоть, поднес к губам и указал на свободное место в дальнем конце стола. Потом подмигнул хозяину постоянного двора Пуддикумбу.

– Не слышит, не говорит. Глух и нем с рождения, мистер Томас. Да еще и простенок в придачу. Но добрая душа. Вы на одежду не смотрите – он всего-навсего слуга молодого джентльмена. Присаживайся, Дик, отужинай. Нас с самого Лондона еще нигде так славно не потчевали. Так на чем я остановился?

– Как вы припустились за испанцами, – осмелился напомнить трактирный мальчуган.

Глухонемой принялся за еду, а Фартинг продолжал рассказ, поминутно вставляя: «Так я говорю, Дик?» или «Ей-ей, Дик бы вам и не такое порассказал, не будь у него язык связан и ум в помрачении».

Эти замечания оставались без ответа. Дик будто и не понимал, что обращаются к нему, даже когда Фартинг задавал вопрос, глядя прямо в невидящие голубые глаза. Однако Фартингу всенепременно хотелось блеснуть еще одной добродетелью – снисходительностью к убогим. Служанки же взглядывали на глухонемого все чаще, движимые не то любопытством, не то сожалением: такой молоденький, лицо хоть и безразличное, зато ладное и в общем-то приятное – а вот умом ровно дитя малое.

Ближе к концу ужина Фартингу пришлось еще раз прервать свое повествование: в дверях, ведущих во внутренние покои, показалась «девица сверху». Она несла поднос с остатками своей трапезы. Девушка поманила горничную Доркас. Та подошла к ней, и они вполголоса перекинулись парой слов. При этом Доркас обернулась и поглядела на глухонемого. Фартинг пригласил свою дорожную знакомую присоединиться к застолью, но та отказалась, и довольно резко:

– Благодарствую, вы мне про свои душегубства все уши прожужжали.

Она сделала небрежный реверанс, столь же вызывающий, как и ее слова, и покинула кухню.

Подкрутив правый ус, сержант обратился за сочувствием к хозяину:

– Видали, мистер Томас, что Лондон с людьми делает? Совсем, поди, недавно была такая же приветливая да румяная, как ваша Доркас. А нынче вон как офранцузилась. Одно имя чего стоит! Оно у нее верно ненастоящее. И все-то она ломается, бледная немочь. Как говорится, чопорная, как монашкина курица. «Далеко мой ненаглядный, не над кем куражиться», – передразнил он писклявым голосом. – Ломаки – они всегда

так. Ей-богу, у иной леди обхождение в десять раз любезнее, чем у горничных вроде Луизы.

Луиза! Ну что это, скажите на милость, за имя для англичанки? А, Дик?

Дик молча смотрел на Фартинга.

– Бедняга. Целый день терпит ее несносные ужимки. Верно, дружище?

Он ткнул большим пальцем в сторону двери, за которой только что исчезли «несносные ужимки», потом, растопырив два пальца, изобразил двух всадников на одном коне, вздернул пальцем нос и вновь указал на дверь. Глухонемой смотрел на него застывшим взглядом. Фартинг подмигнул хозяину.

– Право слово, чурбан – и то понятливее.

Однако чуть погодя глухонемой оживился. Он заметил, что Доркас сняла с плиты котелок и переливает горячую воду в медный кувшин, как видно предназначенный для девушки из верхних покоев. Глухонемой подошел к горничной и замер в ожидании. Потом приблизился к полке, с которой Доркас сняла глиняную миску. Взяв кувшин и миску, он даже кивнул горничной в знак благодарности. Доркас неуверенно посмотрела на Фартинга.

– Да он знает ли, куда снести?

– Знает, знает. Он сам управится. – Фартинг закрыл один глаз и постучал по веку пальцем. – Глаз у Дика орлиный. Сквозь стены видит.

– Быть того не может.

– Отчего же не может, душа моя? Он все стены до дыр проглядел. – Фартинг подмигнул, давая понять, что это шутка.

Пуддикумб выразил предположение, что от такого слуги джентльмену едва ли много прока. Малоумный разве сумеет услужить? Как ему приказывать, как втолковать, что и куда отнести?

Фартинг покосился на дверь, придвинулся поближе к хозяину и, понизив голос, произнес:

– Вот что я вам скажу, мистер Томас. Хозяин-то со слугой под одну статью. В жизни не видывал такого молчуна. Дядя сразу предупредил: такой уж у него нрав. Что ж, его дело, я не в обиде. – Он ткнул пальцем чуть не в самое лицо Пуддикумба. – Только хотите верьте, хотите нет, а он с Диком разговаривает.

– Как же это?

– Знаками, сэр.

– И что же это за знаки такие?

Фартинг подался вперед, ткнул себя пальцем в грудь и поднял сжатый

кулак. Сидевшие за столом глядели на него так же недоуменно, как глухонемой. Фартинг повторил жесты и пояснил:

– "Принеси мне... пунша".

Доркас прикрыла рот рукой. Фартинг похлопал себя по плечу, потом поднял руки, растопылив пальцы на одной и вытянув один палец другой. Помолчав, он снова объяснил:

– "Разбуди меня ровно в шесть".

Затем он выставил ладонь, побарабанил по ней пальцами другой руки, сложил каждую руку в горсть и прижал к груди и под конец поднял четыре пальца. Озадаченные слушатели ждали объяснения.

– "Дождись..." Это, изволите видеть, игра слов: «дождит» – «дождись»...

«Дождись меня у дома леди в четыре часа».

Пуддикумб с некоторым недоверием кивнул:

– Теперь понятно.

– Могу показать еще десяток. Да что там – сотню! Так что Дик у нас только с виду простофиля. Я вам, сэр, еще вот что расскажу. Только это между нами. – Фартинг снова оглянулся и заговорил тише. – Случилось нам вчера заночевать в Тонтоне. Места лучше по дороге не встретилось. Нам с Диком досталось лечь на одной кровати. И вот среди ночи просыпаюсь я ни с того ни с сего, глядь – нет Дика. Втихомолку улизнул. А мне что за дело – может, по нужде отлучился. Оно и лучше: на кровати просторнее будет. Хотел я было опять уснуть, и тут, мистер Томас, – голос. Точно кто во сне бормочет. Да не слова выговаривает, а только горлом выводит, вот этак. – Фартинг изобразил горловой звук, потом помолчал и повторил его. – Поднимаю голову, а парень в ночной рубаше стоит на коленках подле окна и словно бы молится. И добро бы по-христиански, Господу нашему. Так нет! Луне, сэр. А луна на небесах так и сияет, и все вокруг него в лунном свете. Потом встал на ноги, приник к стеклу, а сам все «гу-гу-гу». И смотрит так, словно взлететь хочет. Ну, думаю, Тим, всякого ты навидался: и дробь-то тебе приходилось выбивать под испанскими пушками, и смерть-то тебе в лицо глядела, и уж с какими только лихими людьми судьба не сводила, но, лопни мои глаза, в такую переделку ты еще ни разу не попадал. Парень-то, видать, в уме поврежден. Сейчас как бросится и растерзает. – Фартинг сделал паузу для пущего эффекта и обвел взглядом застолье. – Истинно так, люди добрые, я не шучу. Посули мне кто сотню фунтов, я бы и тогда не согласился снова пережить этот час. Ни за сто, ни за тысячу.

– Отчего же вы его не упредили?

Фартинг улыбнулся снисходительной улыбкой видавшего виды человека.

– Сдается мне, сэр, что вам в Бедлам захаживать не доводилось. А вот я наблюдал там одного. Ледащий заморыш, смотреть не на что, а как разбушует с безумных глаз – десять дюжих молодцов не удержат. При луне всякий сумасшедший – что твой тигр, мистер Томас. Как говорится, перегекторит Гектора. Силы и ярости на двадцать человек хватит. А Дик, сами видите, какой здоровяк, даром что не буйный.

– Как же вы поступили?

– Так и лежал, будто мертвый. Лежу и держусь за рукоять сабли, что стояла возле кровати. Окажись на моем месте кто-нибудь из робкого десятка, он бы уж точно позвал на помощь. Я же, к чести своей должен признаться, робости не поддаюсь. У меня, мистер Томас, достало духу лежать смирно.

– А потом?

– Что ж, припадок миновал. Он снова забрался в постель, захрапел. Он – но не я. Чтобы я уснул? Ни Боже мой! Тим Фартинг знает, в чем его долг.

Сна ни в одном глазу, саблю наголо, сажусь в кресло и жду: если на него опять найдет этакое или что-нибудь похуже, раскрою пополам. Честью клянусь, друзья мои, пробудись он хоть на миг, я бы его в капусту изрубил – в капусту, ей-богу. Так до утра и просидел. А утром все как есть рассказал мистеру Брауну. Он обещал потолковать с племянником. Но тот нимало не встревожился: за Диком, дескать, и впрямь водятся странности, но он не опасен, так что лучше оставить происшедшее без внимания. – Фартинг наклонился и потрогал усы. – Только я, мистер Томас, на этот счет иного мнения.

– Понятное дело.

– И карабин держу под рукой. – Он перевел взгляд на Доркас. – Не бойтесь, душа моя, Фартинг не выдаст. Здесь этот полоумный никого не тронет.

Девушка невольно подняла глаза к потолку.

– И там тоже, – заверил Фартинг.

– Три лестничных пролета – совсем рядом.

Фартинг откинулся на спинку стула, скрестил руки на груди и ухмыльнулся.

– Да она уж, верно, задала ему работу.

Девушка недоуменно вскинула брови.

– Какую работу?

– А такую, невинница моя, которую ни один мужчина за работу не

считает.

Он язвительно прищурился, и девушка, поняв наконец намек, закрыла рот ладошкой.

Фартинг повернулся к хозяину.

– Я же говорю, мистер Томас, Лондон – сущий вертеп. Служанки знай себе подражают хозяйкам. Пока во всех непотребных хозяйкиных туалетах не пощеголяют, не уймутся. А слюбится хозяйка с распутным лакеем, так и эта вертихвостка тут как тут: чем, мол, я хуже? Днем стану эту скотину тиранить почем зря, а на ночь – пожалуйста в постельку.

– Полно, мистер Фартинг. Будь здесь моя жена...

– Молчу, сэр. Больше слова о нем не скажу, будь он похотливее заморской обезьяны. Но пусть ваши служанки поостерегутся. Как-то по пути забрел он в одну конюшню... Счастье, что я оказался рядом и успел вмешаться. О прочем – молчок. Он, не тем будь помянут, только то в мыслях имеет, что все женщины сластолюбивы, как сама Ева. Так же охочи задирать юбку, как он – спускать штаны.

– Дивлюсь я, как хозяин не задаст ему добрую порку.

– Истинно так, сэр, истинно так. Но будет о нем. Как говорится, умному и полсловечка все скажет.

Они заговорили о другом, но когда минут через десять глухонемой снова спустился вниз, по кухне словно пронесся холодный сквозняк. Глухонемой все с тем же непроницаемым выражением, не глядя ни на кого, сел на прежнее место. Сотрапезники украдкой заглядывали ему в лицо, надеясь приметить хоть легкую краску стыда, хоть какие-то следы раскаяния. Но глухонемой потупился, голубые глаза пристально смотрели в одну точку возле самой тарелки. Дик отрешенно ожидал новых глумлений.

– Вас, верно, до смерти заговорили?

– Его жилище, его паства, совет прихожан, церковный староста – будь они прокляты во веки веков, вдоль и поперек. На завтра вы приглашены на обед, где разведут те же рацеи. Я от вашего имени от приглашения отговорился.

– Не было ли каких расспросов?

– Не более как для приличия. Один лишь предмет, одно существо

почитает он в мире достойным внимания. Дела других людей до этого предмета не относятся.

– Нынче вам все больше подворачиваются зрители, не достойные ваших талантов. Вы уж не взыщите.

Актер хмуро смотрел на обложившегося бумагами мистера Бартоломью, сидящего по другую сторону камина. Было ясно, что шутливый тон собеседника не заставит его забыть о главном предмете разговора.

– Полно, дорогой мой Лейси. Я сказал сущую правду. В моих поступках нет никаких злоумышлений, никаких злодеяний. Никто не сможет и не посмеет вас попрекнуть за эту помощь.

– Однако намерения ваши не таковы, как вы мне представили. Ведь так, мистер Бартоломью? Нет, дайте досказать. Я готов поверить, что вы меня обманывали для моего же блага. Но вот что сомнительно: озаботились ли вы собственным благом?

– Если поэт говорит, что его посещают музы, обманывает ли он кого-нибудь?

– Посещение муз есть всем известное иносказание.

– Но считать ли его ложью?

– Нет.

– В этом смысле и я вам не лгал. Я пустился в путь, чтобы увидеть того, с кем страстно желаю свести знакомство, кого чту, как почитал бы невесту – или музу, будь я поэт. Того, с кем рядом я буду смотреться так же, как Дик рядом со мной, – нет, еще ничтожнее. И от встречи с кем меня удерживали столь истово, как если бы на то была воля ревнивого опекуна. Ложь моя – ложь лишь по обличью, но не по сути.

Актер покосился на бумаги.

– Отчего же, коли ваши помыслы невинны, вы решили свидеться с ученым незнакомцем в такой великой тайне и в таких глухих краях?

Мистер Бартоломью откинулся в кресле, и на губах его заиграла саркастическая улыбка.

– А может, я приспешник северных смутьянов? Новый Болингброк <Болингброк, Генри Сент-Джон (1678-1751) – политический деятель и публицист; в результате интриг своих противников в 1715 г. бежал из Англии, спасаясь от ареста, и занял должность государственного секретаря при дворе находящегося во Франции претендента на английский престол Якова Стюарта; в 1725 г. вернулся в Англию, где возглавил внепарламентскую оппозицию тогдашнему правительству вигов; в 1735 г. снова покинул Англию>.

И в бумагах этих тайнопись. Или хуже того: они на французском или испанском языках. А сам я составляю заговор с тайным поверенным Якова Стюарта <Яков Эдуард Стюарт (1688-1766) – английский принц, сын Якова II; в детстве был отправлен во Францию и номинально считался вступившим на английский престол как Яков III; в 1715 г. он и его сторонники (якобисты) возглавили восстание, которое окончилось неудачей; в истории известен как «Старший Претендент»>.

Актер смутился, словно собеседник угадал его мысли.

– У меня, сэр, кровь стынет в жилах.

– Взгляните. Это и вправду род тайнописи.

Мистер Бартоломью протянул актеру одну из бумаг. Пробежав ее, Лейси поднял голову.

– Что это? И не разберу.

– Чем не чернокнижие? И я, конечно, ехал сюда, чтобы в глухой чащобе встретиться с выучеником Эндорской колдуньи <упомянутая в Библии волшебница, вызвавшая по просьбе даря Саула дух пророка Самуила (I Книга Царств, 28)>. И променять свою бессмертную душу на тайны иного мира. Ладно ли скроена байка?

Актер вернул ему бумагу.

– На вас, сэр, напала охота озорничать. Не время бы.

– Хорошо. Пустословие побоку. Я и в мыслях не предпринимал причинить зло ни государю, ни его державе, ни единому из его подданных. Я не замышляю ничего такого, что повредило бы моей душе или телу. Разве что разуму, но разум каждого – его собственное достояние. Вздор ли это, нелепые ли мечтания – Бог весть. Тот, с кем я ищу встречи... – Он осекся и положил бумагу на столик вместе с остальными. – Оставим это.

– Эта особа скрывается от чужих глаз?

Мистер Бартоломью задержал на нем взгляд.

– Хватит, Лейси, прошу вас.

– Должен же я дознаться, для какой цели меня обморочили.

– Не вам бы спрашивать, мой друг, не мне бы отвечать. Не вы ли сами весь свой век морочите публику?

Такое обвинение озадачило Лейси.

Его собеседник поднялся с кресла, подошел к камину и продолжал, стоя спиной к актеру:

– Но кое-что я вам открою. Моя судьба была предначертана от самого рождения. То, что я поведал вам о вымышленном моем отце, в полной мере относится до моего истинного отца. Тот, право же, еще хуже, старый дуралей. Такого же дурня и на свет произвел – моего старшего брата. Мне,

как возможно и вам, предуготовлена роль в пьесе, и отвергнуть ее есть проступок непростительный. Прошу заметить, сколь несходно мое и ваше положение. Ваш отказ будет стоить вам всего лишь обещанной награды. Меня же постигнет потеря... сверх всякого вероятия. – Мистер Бартоломью повернулся к актеру. – Чтобы принадлежать самому себе, я, Лейси, должен прежде исхитить себе волю. Чтобы, как нынче, отправиться, куда захочу, я принужден делать это тайком от тех, кто не желал бы выпустить меня из подчинения. Вот и все. И больше я ничего не добавлю.

Актер нахмурился, дернул плечами и кивнул, словно сознавая, что так ничего и не понял. Собеседник, не сводя с него глаз, продолжал уже более спокойным тоном:

– Завтра мы все вместе двинемся дальше. Всего через несколько миль достигнем места, где нам придется расстаться. Вы и ваш человек отправитесь по дороге, что лежит между Кредитоном и Эксетером. Гоните в Эксетер во весь опор. Оттуда можете вернуться в Лондон, когда и каким путем – на ваше усмотрение. Единственное, о чем я вас прошу – молчать обо мне и всех обстоятельствах нашего путешествия. Как и было между нами договорено.

– Девушка поедет с нами?

– Нет.

– Да, вот еще что. – Актер помолчал. – Джонс, то бишь Фартинг, мнит, что уже видал ее прежде.

Мистер Бартоломью отвернулся к окну.

– Где? – не сразу отозвался он.

Актер глядит ему в спину.

– Она входила в двери борделя. Фартингу сказали, будто она в нем и состоит.

– И что вы на это ответили?

– Я не дал веры его словам.

– Правильно. Фартинг обознался.

– Вы, однако, сами признали, что она вовсе не горничная той леди...

Мой долг сообщить вам еще и то, что ваш человек не в себе. И, послушать Фартинга, есть от чего. Его чувства не остались без взаимности. – Актер замялся. – По ночам он пробирается в ее опочивальню.

Мистер Бартоломью окинул актера таким взглядом, будто тот стал позволять себе лишнее, но в тот же миг на его лице сверкнула ядовитая ухмылка.

– Неужто мужчине возбраняется проводить ночи с собственной женой?

Актер снова оторопел от неожиданности. Он уставился на мистера Бартоломью, потом опустил глаза.

– Пусть так. Я лишь сказал то, что считал должным сказать.

– А я и не порицаю ваше усердие. Итак, скоро делу конец, и завтра мы с вами распрощаемся. Позвольте напоследок изъяснить вам благодарность за помощь и терпение. Прежде мне почти не доводилось знаться с людьми вашего ремесла. Если они все таковы, то я много потерял, пренебрегая знакомством с ними. Вы можете сколь угодно сомневаться в моей искренности, но уж этим словам прошу поверить. Как бы мне хотелось, чтобы наша встреча случилась при менее хитросплетенных обстоятельствах.

Актер одарил его кислой улыбкой.

– Бог даст, еще встретимся, сэр. Вы разожгли во мне дьявольское любопытство, несмотря на все мое беспокойство.

– Первое извольте погасить, а что до второго, то беспокоиться не о чем.

Эта история подобна рассказу – лучше сказать, пьесе, в каких вы не раз играли. Статочное ли дело разыгрывать последний акт вперед первого, как бы вы ни мечтали, чтобы ваше завтра было расписано заранее? Позвольте асе и мне приберечь разгадку под конец.

– Но на театре это непозволительная роскошь: актер должен знать развязку с самого начала.

– Я не в силах вам ее открыть, ибо она еще не написана. – Мистер Бартоломью улыбнулся. – Доброй вам ночи, Лейси.

Актер в последний раз бросил на мистера Бартоломью испытующий, но смущенный взгляд, хотел было что-то добавить, но вместо этого отвесил поклон и двинулся к дверям. Открыв дверь, он удивленно замер и обернулся.

– Тут ожидает ваш слуга.

– Пусть войдет.

Актер замешкался, покосился на безмолвную фигуру в сумраке коридора и, небрежным знаком приказав слуге войти, удалился.

Глухонемой слуга входит в комнату и прикрывает за собой дверь.

Стоит у двери, не сводя глаз с хозяина. Тот оборачивается. Взгляды их встретились.

Они долго, пристально смотрят друг другу в глаза. Слуга даже не выказал господину должного почтения. Если бы эта сцена продолжалась одну-две секунды, в ней не было бы ничего удивительного. Однако она так затягивается, что простой случайностью ее не объяснишь. Слуга и господин словно разговаривают, не открывая рта. Вот так – безмолвно, одними взглядами – объясняются муж и жена или братья-близнецы, робеющие говорить о сокровенном при посторонних. Но там достаточно и мимолетного взгляда, эта же сцена все тянется и тянется, и на лицах обоих мужчин не видно даже намека на какие-то потаенные чувства. Точно переворачиваешь страницу книги, предвкушая диалог или хотя бы описание действия, жеста, а дальше ничего нет: пустой лист, как в «Тристраме Шенди» <Лоренс Стерн в романе «Жизнь и мнения Тристрама Шенди» часто пользуется приемами типографской игры: например, в I томе после главы 12-й, где говорится о смерти сельского пастора Йорика, следует зачерненный лист>, или – по недосмотру переплетчика – вообще никакого листа. Так они и стоят, глаза в глаза, как человек перед зеркалом и человек в зеркале.

Наконец оба, как по команде, зашевелились – так оживают люди на экране после стоп-кадра. Дик оборачивается к стоящему у дверей сундучку. Мистер Бартоломью снова опускается в кресло и наблюдает, как слуга перетаскивает сундучок поближе к камину. Поставив его, слуга тут же принимается доставать из него пачки исписанных листов и швырять на рдеющие угли. Все это спокойно, без оглядки на хозяина – можно подумать, он просто-напросто избавляется от кипы старых газет. Бумаги вспыхивают почти мгновенно. Дик становится на колени и берется за книги в кожаных переплетах. Они разделяют участь бумаг. Из сундучка одно за одним вынимаются полуфолио, большие кварто, томики поменьше. У многих на переплетах золотом вытиснен герб. Дик раскрывает их и бросает кверху переплетом в разгорающееся пламя.

Одну-две он раздирает пополам, прочие швырять целиком и либо сгребает их в кучу, либо грубо сработанной кочергой ворошит страницы тех, что никак не разгорятся.

Мистер Бартоломью поднимается, берет забытую на столе пачку бумаг и бросает вместе с остальными. Затем становится за спиной склонившегося к огню слуги. У камина сложены поленья. Дик берет пять или шесть, укладывает друг на дружку поверх горящих бумаг и вновь замирает. Мужчины взирают на это маленькое варварство точно так же, как только

что глядели в глаза друг другу. По голым стенам мечутся густые дрожащие тени: куда свету свечей до пламени в камине. Мистер Бартоломью заглядывает в сундучок – не завалялось ли там что-нибудь еще. Очевидно, сундучок пуст, и мистер Бартоломью закрывает крышку. Потом опять садится в кресло и ждет, когда завершится это непостижимое жертвоприношение, когда каждый клочок, каждый листок, каждая страница обратится в пепел.

Через несколько минут бумаги почти догорели. Дик поднимает глаза на господина, и на губах у него брезжит улыбка – улыбка человека, который знает, ради чего все это, и не скрывает радости. Не улыбка слуги – улыбка закадычного друга, сообщника: «Ну, вот и все. Теперь совсем другое дело, правда?» В ответ – загадочная улыбка хозяина. Они опять впиваются друг в друга глазами. Первым выходит из оцепенения мистер Бартоломью. Подняв левую руку, он соединяет большой и указательный пальцы и решительно сует в это колечко вытянутый палец другой руки, словно пронзает что-то.

Дик подходит к длинной скамье у изножья кровати, берет эту скамью, переносит и ставит футов в десяти от теплящегося камина. Затем отдергивает полог кровати и, не оглянувшись на хозяина, удаляется.

Мистер Бартоломью задумчиво разглядывает огонь. Но вот дверь снова отворяется. На пороге – девушка из чердачной комнаты. Ее раскрашенное лицо серьезно, неулыбчиво. Присев в реверансе, она делает два-три шага вперед.

За ее спиной вырастает Дик, он закрывает дверь и остается стоять у стены.

Мельком взглянув на них, мистер Бартоломью вновь отворачивается к огню; может показаться, что он раздосадован тем, что его отвлекают. Но взгляд его снова обращается на девушку. Он озирает ее с холодным любопытством, как зверушку: платье из дымчато-розовой парчи, между полами – того же цвета юбка, спускающиеся чуть ниже локтя рукава с пышными кружевными манжетами, тугая шнуровка, превращающая торс в перевернутый конус, корсаж, в котором вишневый цвет перемежается с цветом слоновой кости, неестественный румянец, белый воздушный чепец с двумя длинными лентами. На шее у нее ожерелье из сердоликов цвета запекшейся крови. А все вместе не то чтобы некрасиво, а как-то до боли несуразно: простота и изящество, испорченные манерностью и вычурами. Девушка в новом наряде кажется не краше, а даже зауряднее.

– Что же мне делать с тобой, Фанни? Отослать обратно к Клейборнихе и велеть, чтобы она тебя выпорола за непокорство?

Девушка стоит молча и неподвижно; ее, как видно, не удивило, что мистер Бартоломью называет ее Фанни, а не Луиза, как Фартинг.

– Не затем ли я тебя нанял, чтобы ты доставляла мне всяческие удовольствия?

– За тем, сэр.

– На всякий бы лад доставляла – и на французский, и на итальянский.

Явила бы все свои срамные ухватки.

Девушка молчит.

– Стыдливость пристала тебе не больше, чем навозной куче шелковый убор.

Сколько мужчин предавалось с тобой блуду за последние шесть месяцев?

– Не знаю, сэр.

– И как именно предавались, тоже не знаешь? Прежде чем мы с Клейборнихой ударили по рукам, я все про тебя выспросил. Даже французская болезнь гнушается твоим шелудивым телом. – Он внимательно смотрит на девушку. – Сколько ни есть в Лондоне охочих до греческой любви, каждому ты позволяла с собой содомничать. Даже рядилась в мужское платье, утоляя их похоть. – Снова испытующий взгляд. – Отвечай же. Так или нет?

– Да, я рядилась в мужское платье, сэр.

– Ну так гореть тебе за это в геенне огненной.

– Я буду гореть не одна, сэр.

– Только тебя-то опалит поболее других, ибо на тебе грехи их. Уж не мнишь ли ты, что Господь равно наказует и падших, и тех, кто привел их к падению? Что Он не делает различия между слабодушием Адама и злокозненностью Евы?

– Я, сэр, того не разумею.

– А я тебе растолкую. И то еще растолкую, что деньги за тебя уплачены, и хочешь ты или не хочешь, но отработаешь сполна. Статочное ли дело, чтобы наемная кляча указывала ездоку?

– Я вам, сэр, во всем покорствую.

– Для видимости. Но строптивость твоя временами проглядывает столь же ясно, как и твоя нагая грудь. Или ты думаешь, что я слеп и не приметил твоего взгляда там, у брода?

– Всего-то навсего взгляд, сэр!

– А пучок цветов под носом – всего-навсего фиалки?

– Да, сэр.

– Лживая тварь!

– Нет, сэр!

– То-то что «да, сэр». Я догадался, к чему этот взгляд, что за смрад источали твои треклятые фиалки.

– Просто они мне приглянулись, сэр. У меня и в мыслях не было ничего дурного.

– И ты можешь в том поклясться?

– Да, сэр.

– Преклони колена. Вот здесь. – Мистер Бартоломью указывает на пол, на место возле скамьи.

Помедлив мгновение, девушка подходит к нему, опускается на колени и склоняет голову.

– Не прячь глаза.

Девушка поднимает голову, взгляд ее карих глаз устремлен в его серые.

– Повторяй за мной: «Я публичная девка».

– Я публичная девка.

– "Отданная вам внаймы".

– Отданная вам внаймы.

– "Дабы услужать вам во всем".

– Дабы услужать вам во всем.

– "Я дочь Евы и всех ее грехов".

– Я дочь Евы.

– "И всех ее грехов".

– И всех ее грехов.

– "И повинна в своенравии".

– И повинна в своенравии.

– "От коего отныне отступаюсь".

– От коего отныне отступаюсь.

– "И в том клянусь".

– И в том клянусь.

– "А нарушу зарок – да поглотит меня геенна огненная".

– Геенна огненная.

Мистер Бартоломью не отрываясь смотрит в глаза девушки. В лице этого человека с бритой головой проступает что-то демоническое. Нет, лицо не пышет яростью или страстью – напротив, от него веет холодом и полнейшим безразличием к жалкому созданию, стоящему перед ним на коленях. Так обнаруживается одна доселе скрытая черта его натуры – садизм (при том что маркизу де Саду предстоит родиться в темных лабиринтах истории лишь четыре года спустя). Черта столь же неестественная, что и едкий запах паленой кожи и бумаги, наполняющий

комнату. Если б понадобилось изобразить лицо, которому чуждо всякое человеческое чувство, более верного – ужасающе верного – образца не найти.

– Отпускается тебе грех твой. А теперь обнажи свое растленное тело.

Девушка на миг опускает глаза, встает и принимается распускать шнуровку. Мистер Бартоломью с холодной беззастенчивостью наблюдает из своего кресла. Слегка отвернувшись, девушка продолжает раздеваться.

Наконец одежда уложена на скамью, и девушка, присев на дальний конец скамьи, стягивает чулки со стрелкой. Теперь на ней лишь сердоликовое ожерелье и чепец. Она сидит, сложив руки на коленях и уткнувшись взглядом в пол. На вкус мужчин того времени, фигура ее оставляет желать лучшего: слишком маленькая грудь, слишком хрупкое и бледное тело, хотя никаких признаков недуга, который приписывал ей мистер Бартоломью, на нем не заметно.

– Желаешь ли, чтобы он тебе угождал?

Девушка молчит.

– Отвечай.

– Душа моя тянется к вам, сэр. Но вы меня отвергаете.

– Не ко мне – к нему. И его срамному уду.

– На то была ваша воля.

– Да, я хотел полюбоваться на ваши сладострастные забавы. Но я не приказывал вам миловаться напоказ, как голубок с голубицей. Не стыдно ли тебе, прежде водившей знакомства с особами столь блестящими, нынче пасть так низко?

Опять молчание.

– Отвечай.

Но, как видно, отчаяние придало девушке твердость. Она не отвечает, и в этом молчании чувствуется вызов. Мистер Бартоломью озирает ее понурую фигуру и переводит взгляд на замершего у дверей Дика. И снова, как до прихода девушки, их взгляды встречаются, снова – загадочная пустота чистого листа. На этот раз не надолго. Дик неожиданно поворачивается и исчезает, хотя хозяин не подал никакого знака удалиться. Девушка удивленно косится на дверь, однако немой вопрос в ее взгляде так и остается невысказанным.

Девушка и хозяин теперь один на один. Мистер Бартоломью подходит к камину. Он нагибается и кочергой подгребает недогоревшую бумагу к пылающим поленьям. Затем выпрямляется и взирает на дело своих рук. Девушка у него за спиной медленно поднимает голову. По глазам видно, что он о чем-то размышляет или что-то замышляет. После недолгого

колебания она встает и, тихо переступая босыми ногами, приближается к безучастной фигуре у камина.

На ходу она вполголоса что-то приговаривает. Чего она домогается, угадать нетрудно: подойдя к хозяину, она вкрадчивым, но привычным жестом пытается обнять его за талию и слегка прижимается обнаженной грудью к его спине, словно сидит позади его седла.

Человек у камина тут же хватается за руки – без гнева, с тем только, чтобы избежать объятий. Удивительно ровным голосом – без тени злости или укоризны – он обращается к девушке:

– Ты неразумная лгунья, Фанни. Я ведь слышал, как ты стонала, когда в последний раз ему отдавалась.

– Это было одно притворство, сэр.

– А ты бы рада отдаться ему и непритворно.

– Нет, сэр. Вас и только вас я чаю удовольствовать.

Мистер Бартоломью молчит. Девушка украдкой высвобождается и снова пытается его обнять. Но он решительно отталкивает ее руки.

– Одевайся. И я научу, как меня удовольствовать.

Девушка не отступает:

– Я для вас души не пожалею, сэр. Доверьтесь мне – и естество ваше поднимется, как жезл глашатая, и уж тогда употребите меня ему в угоду.

– Сердца у тебя нет. Да прикрой же ты свой срам! Прочь от меня!

Мистер Бартоломью по-прежнему стоит лицом к камину. Девушка с задумчивым видом начинает одеваться. Одевшись, садится на скамью. Проходит время. Не выдержав долгого молчания, она окликает хозяина:

– Я одета, сэр.

Тот, словно очнувшись от грез, едва поворачивает голову и снова вперяет взгляд в огонь.

– В каких летах ты сделалась блудодейкой?

Не видя его лица, уловив необычную интонацию и подивившись неожиданному проблеску любопытства, девушка с запинкой отвечает:

– В шестнадцать лет, сэр.

– В борделе?

– Нет, сэр. Меня совратил хозяйский сын в доме, где я служила в горничных.

– В Лондоне?

– В Бристоле. Откуда я родом.

– И у тебя был ребенок?

– Нет, сэр. Но однажды хозяйка обо всем проведала.

– И наградила за труды?

– Да, если палку от метлы можно почесть за награду.
– Что же привело тебя в Лондон?
– Голод, сэр.
– Разве Господь не дал тебе родителей?
– Они не пожелали принять меня обратно в свой дом, сэр. Они из «друзей».

– Каких еще друзей?
– Люди их называют квакерами <радикальное течение в протестантизме, основанное в 50-х гг. XVII в. Джорджем Фоксом (1624-1691); квакеры (в буквальном переводе – «трепещущие») – презрительное название, данное секте ее противниками, сам Фоке называл себя и своих последователей «друзьями истины»; во имя свободы человека квакеры отрицали какую бы то ни было внешнюю церковь, единственным условием спасения они считали «внутренний свет», который свидетельствует о присутствии Христа в человеке и указывает праведный путь; все члены общества вели строгую жизнь, носили одинаковые костюмы, чуждались светских развлечений>, сэр. Хозяин с хозяйкой тоже были «друзья».

Мистер Бартоломью поворачивается и стоит, широко расставив ноги и заложив руки за спину.

– Что было дальше?
– Прежде чем дело вышло наружу, молодой человек подарил мне перстенок.

Он, сэр, украл его у матери из шкатулки. А как все открылось, я и смекнула, что хозяйка непременно всклепает на меня, потому что ничему дурному про сына она не верила. Продала я перстенок и подалась в Лондон.

Там определилась на место и уже было решила, что все беды позади. Так нет: вздумалось хозяину утолить со мной похоть. Я боялась потерять место, пришлось уступить. Дошло это до моей новой хозяйки, и опять я оказалась на улице. Волей-неволей начала христарадничать: что же остается, если честной работы не найти? Придешь наниматься в горничные, а хозяйка поглядит на тебя и откажет. Чем-то им мое лицо было не по нраву. – Она прерывает рассказ и, помолчав, добавляет:

– Если бы не нужда, не занялась бы я этим промыслом. Да и мало кто занялся бы.

– Мало кто делается потаскухой из нужды.
– Знаю, сэр.
– Стало быть, ты распутна по природе?
– Да, сэр.

– И стало быть, родители не зря от тебя отвернулись, даром что держатся ложного учения?

– По грехам моим – так, сэр. Только вышло, что вся вина лишь на мне одной. Хозяйке вспало на ум, что я навела на их сына порчу. А это не правда: он первый меня поцеловал, а я не давалась, и перстенок он похитил без моего ведома, и в остальных его делах я не повинна. Но мои родители не поверили. Сказали, что я отреклась от внутреннего света. Что я не их дитя, но дочь сатаны. Что я и сестер своих совращу с пути истинного.

– Что за «внутренний свет»?

– Свет Христов. О нем говорит их учение.

– Их? Больше не твое?

– Нет, сэр.

– Ты не веруешь во Христа?

– Не верую, что увижу Его в этом мире. Ни также в мире ином.

– А в мир иной веруешь?

– Да, сэр.

– Не ожидают ли там тебя и тебе подобных адские муки?

– Да минует меня такое наказание, сэр.

– Но разве это не так же ясно, как то, что это вот полено обратится в пепел?

Девушка не отвечает, только еще ниже опускает голову. Тем же ровным голосом мистер Бартоломью продолжает:

– И не менее ясно, что тебе и на этом свете не уйти от адских мук – когда ты истаскаешься и тебя выставят из борделя. И кончишь ты жизнь простой сводней или скрюченной каргой в богадельне. Если к тому времени тебя не приберет французская болезнь. Или ты надеешься преуспеть, умножая свои грехи, и на склоне лет сделаться второй Клейборнихой? Тебя и это не спасет.

Мистер Бартоломью выжидающе молчит. Но его слова остаются без ответа.

– У тебя что, язык отнялся?

– Мне мой промысел ненавистен, сэр. А промысел мистрис Клейборн тем паче.

– Ну конечно, ты бы хотела стать добродетельной супругой. И чтобы за подол цеплялся целый выводок писклявых пострелят.

– Я бесплодна, сэр.

– Ну, Фанни, ты воистину бесценный клад.

Девушка медленно поднимает глаза и ловит его взгляд. Она не столько оскорблена этими издевками, сколько озадачена и словно старается

прочесть в лице хозяина то, что не поняла из его слов. И тут происходит еще более непонятное: ледяное лицо мистера Бартоломью озаряется улыбкой. Пусть не слишком сердечной, зато это именно улыбка, а не язвительная или глумливая ухмылка. Удивительнее всего, в ней заметно что-то очень похожее на сочувствие. Чудеса на этом не кончаются: молодой человек делает три-четыре шага, склоняется перед девушкой и на миг подносит ее руку к губам. Затем выпрямляется и, не отпуская ее руки, все с той же улыбкой всматривается в ее лицо. Сейчас обритый мистер Бартоломью и накрашенная Фанни напоминают фигуры с картины Ватто, изображающей галантные празднества – кавалера и даму в костюмах итальянской комедии масок. Вот разве что обстановка неподходящая. Так же неожиданно мистер Бартоломью выпускает руку девушки и возвращается в свое кресло. Девушка столбенеет.

– Зачем вы это, сэр?

– Разве вам неизвестно, зачем джентльмены целуют женщинам руки?

Новая неожиданность – учтивое «вы» – окончательно подкосило девушку.

Она, понурившись, качает головой.

– За то, что вы для меня сделаете, моя агница, ничего не жаль.

Изумленная девушка вновь заглядывает ему в глаза.

– Что же я должна сделать, сэр?

– Близ этих мест бьют те самые ключи, о коих я вам рассказывал, что жду от них исцеления. Завтра мы свидимся с хранителями тех вод. В их власти приблизить исполнение сокровенных моих надежд. И я задумал в знак почтения принести им дар. Не деньги, не самоцветы – к этому добру они равнодушны.

Даром этим станете вы, Фанни. – Мистер Бартоломью окидывает девушку внимательным взглядом. – Что вы на это скажете?

– То, что велит мне долг, сэр. Что я обязалась повиноваться мистрис Клейборн и поклялась непременно воротиться.

– Обязательство, данное черту, ни к чему не обязывает.

– Может, оно и так, сэр, но с беглыми она обходится хуже черта. Иначе бы давно все разбежались.

– Не вы ли минуту назад уверяли, что промысел этот вам ненавистен?

Девушка чуть слышно бормочет:

– Не сделаться бы себе еще ненавистнее.

– Но когда мы с ней сговаривались, разве не велела она вам всеусердно мне угождать?

– Так, сэр. Но чтобы угождать другим, о том и слова не было.

– Я купил вас на три недели, ведь так?

– Верно, сэр.

– Стало быть, я вправе еще две недели удерживать вас себе на потребу.

И я приказываю вам исполнить то, что мне потребно, – то, для чего я вас купил, и притом недешево. Особ, которых я завтра уповаю встретить, извольте удовольствоваться как должно.

Девушка склоняет голову, давая понять, что покоряется против воли.

Мистер Бартоломью продолжает:

– Запомните все, что я вам скажу, Фанни. Не делайте ложных заключений о повадках и наружности хранителей вод. Они чужеземцы и прибыли в наши края лишь недавно. Страна, откуда они родом, лежит далеко отсюда, и на нашем языке они не говорят.

– Я немного знаю французский. И еще несколько слов по-голландски.

– Ни то ни другое не пригодится. С ними надобно изъясняться, как с Диком. – Он умолкает и оглядывает сникшую собеседницу. – Я вами доволен, Фанни. Гнев мой был простым притворством – я хотел испытать, готовы ли вы к исполнению истинного моего замысла. Слушайте же со вниманием. В стране, о которой я веду речь, занятия, подобные вашему, не в обычае. Вы же славитесь умением изображать не знавшую мужчин недотрогу. Таковою желательно мне видеть вас и завтра. Прочь притирания, пышные наряды и лондонские ужимки. Никаких скоромных взглядов, чтобы и приметить нельзя было, кто вы есть на самом деле. Явите им себя стыдливой смиренницей, выросшей в деревенской глуши и девственную чистоту сохранившей.

Обращайтесь к ним с почтением, а не с ухватками искушенной блудницы, какими хотели употчевать меня полчаса назад, а прежде услаждали не одну сотню мужчин. Понятно ли вам?

– Должна ли я возлечь с ними, если они того пожелают?

– Исполняйте все, что бы они ни повелели.

– Даже если это мне неприятно?

– Говорю вам, исполняйте их волю, как мою. Разве Клейборниха позволяла вам щепетильничать, точно вы знатная леди?

Девушка опять наклоняет голову. Молчание. Мистер Бартоломью наблюдает за ней. Куда подевалась насмешка, презрение и недавняя беспощадность в его взгляде? На лице его написано удивительное терпение и спокойствие.

Ошибшийся эпохой «бритоголовый» уступает место еще более неожиданному гостю – буддийскому монаху. На диво уравновешенный, степенный, всецело поглощенный самосозерцанием. Однако в его глазах

мелькает чувство, которое никак не вяжется с его прежним поведением: он явно чему-то рад. Вот так же радовался его слуга Дик, когда в камине пылали бумаги. Молчание продолжается почти целую минуту. Наконец мистер Бартоломью произносит:

– Фанни, ступайте к окну.

Девушка выпрямляется, и причина ее молчания становится понятной. Глаза ее влажны от слез – скупых слез человека, сознающего, что у него нет выбора. В ту эпоху о каждом было принято судить по внешним обстоятельствам его жизни; даже самооценка – кем себя считать, к какому разряду причислить – была исполнена оглядки. Нам бы показалось, что этот мир полон мелочных ограничений, участь каждого определена раз и навсегда – по сути, воля человека стеснена до последней крайности. Подневольный же судьбе человек того времени посчитал бы нынешнюю жизнь необычайно стремительной, беспорядочной, богатой в смысле проявления свободы воли (богатой богатством Мидаса: впору не завидовать, а сокрушаться об отсутствии абсолютных ценностей и нечеткости сословных границ). И уж конечно, выходец из той эпохи заключил бы, что, стремясь удовлетворить свое самолюбие и корысть, мы докатились до полного беззакония, если не сказать до безумия.

Фанни плачет не от бессильной ярости, не от обиды на судьбу, которая заставляет ее сносить подобные унижения, – эти чувства скорее свойственны современному человеку. Ее грусть сродни тоске бессловесного животного.

Унижения – что унижения: жизнь без них так же немислима, как зимние дороги без слякоти или деторождение без детской смертности (по статистике, из 2710 человек, умерших в Англии за ничем не примечательный месяц, что предшествовало этому дню, почти половину составляли дети до пяти лет). В прошлом жизнь оказывалась безжалостно загнана в столь узкие рамки, что сейчас даже трудно вообразить. Ждать сочувствия неоткуда: в этом легко убедиться, если взглянуть в невозмутимое лицо мистера Бартоломью.

– Ступайте же, – негромко повторяет он.

Помедлив немного, девушка вскакивает и направляется к окну.

– Отворите ставень и выгляните наружу.

Кресло, в котором сидит мистер Бартоломью, от окна отвернуто, и он лишь по звуку узнает, что девушка выполнила его приказ.

– Видите ли вы небесный престол, на коем восседает Искупитель одесную своего Отца?

Девушка оглядывается на мистера Бартоломью.

– Вы же знаете, что не вижу, сэр.

– Что же вы видите?

– Ничего. Ночь.

– А в ночи?

Девушка бросает мимолетный взгляд в окно.

– Только звезды. Распогодилось.

– Что лучи наиярчайших звезд, дрожат?

Девушка снова смотрит в окно.

– Дрожат, сэр.

– Знаете ли, отчего?

– Нет, сэр.

– Так я вам растолкую. Они дрожат от смеха, Фанни, они насмеваются над вами. От самого вашего рождения насмеваются. И так до вашего смертного часа. Что вы для них? Раскрашенная тень, не больше. Вы и весь ваш мир. Что им за дело, веруете вы во Христа или нет. Будь вы грешница или святая, потаскуха или герцогиня, мужчина или женщина, молодница или старуха – им все едино. И недосуг им разбирать, рай вас ожидает или ад, блаженство суждено вам или муки, жалует вас фортуна или сокрушает. Вы куплены для моей забавы, но точно так же рождены на забаву им. Под их лучами вы ничто, как скот, глухой и немой вроде Дика и слепой, как сама судьба. Участь ваша нимало их не трогает, а на бедственное ваше состояние они взирают так же, как тот, кто наблюдает с высокого холма за идущим в долине сражением, видя в нем всего лишь редкое зрелище. Вы для них ничто. Сказать ли, отчего они вас презирают?

Девушка молчит.

– Оттого, что вы не отвечаете им тем же презрением.

Взгляд девушки прикован к бритому затылку: человек в другом конце комнаты даже не поворачивает головы.

– Как же я могу изъять презрение звездам?

– А как вы изъясняете презрение мужчине?

Девушка мнетя.

– Я отворачиваюсь от него или отвергаю его страсть.

– А если этот мужчина судья; если он, осерчав, велит вас высечь без вины и забить в колодки?

– Я возражу, что ни в чем не провинилась.

– А как он вас слушать не станет, что тогда?

Девушка молчит.

– Тогда, выходит, сидеть вам в колодках?

– Так, сэр.

– Можно ли такого человека почитать за праведного судью?

– Нет.

– Вообразите же, что этакий правосуд не какой-то неведомый мужчина, но вы сами, а колодки сделаны не из железа да дерева, но частью из вашей слепоты, частью из ваших же заблуждений. Тогда как?

– Не знаю, что сказать, сэр. В толк не возьму, что вам от меня надобно. Мистер Бартоломью поднимается и идет к камину.

– То же, Фанни, что и от много вас превосходящего.

– Что-что, сэр?

– Довольно. Ступайте в свой покой и спите, пока не пробудитесь. Девушка стоит без движения, потом направляется к двери, но у скамьи опять останавливается и искоса поглядывает на мистера Бартоломью.

– Милорд, сделайте милость, объясните, что же все-таки вам угодно.

Вместо ответа хозяин машет левой рукой в сторону двери и поворачивается к девушке спиной, показывая, что разговор окончен. Девушка в последний раз смотрит на хозяина, делает реверанс, которого тот все равно не видит, и исчезает за дверью.

Наступает тишина. Мистер Бартоломью стоит у камина, не отводя глаз от угасающего пламени. Наконец он оборачивается и задерживает взгляд на скамье. Чуть помедлив, он переходит к окну и глядит в небо, словно желает удостовериться, что там действительно ничего, кроме звезд, нет. Трудно догадаться по его лицу, о чем он думает, но как бы то ни было, с этим лицом происходит последняя, небывалая метаморфоза: оно принимает выражение той же кротости, которая была написана на лице девушки во время их – или, лучше сказать, его – разговора. При всем различии пола и облика – это то самое выражение. Мистер Бартоломью бесшумно запирает ставни. Он идет к кровати, на ходу расстегивая камзол. Там он опускается на колени и замирает, уткнувшись лицом в покрывало. Так человек, который жаждет незаслуженного прощения или мечтает вернуться в безмятежное детство, утыкается в подол материнского платья.

БАРНСТАПЛ, ИЮНЯ 17 ЧИСЛА, В ЧЕТВЕРГ

Найдено шесть недель тому назад в лесу одного прихода в десяти милях отсюда неизвестно чье удушенное тело; как в том заключил чиновник, дознание производящий, человек сей сам на себя руки наложил, однако ж ни имени *felon de se* <самоубийцы (лат.)> ни причин преужасного преступления дознаватель не выявил. Ныне же открылись обстоятельства, указывающее на злодеяние еще более гнусное. Стало известно, что

несчастный, будучи слуха языка лишен, все же состоял в услужении у джентльмена, прозываемого Бартоломью, каковой джентльмен в апреле вместе с тремя спутниками проезжал через те места в Бидефорд, однако с той поры от них никаких вестей не случилось. Явилось подозрение, что немой слуга в помрачении ума всех четверых убил и тела спрятал, а впоследствии, не снеся укоров совести либо от страха перед возмездием скончал мерзостную жизнь свою. Со всем тем нельзя не подивиться, что и по сию приятели мистера Бартоломью разыскивать его не потщились.

«Вестерн газетт», 1736

ДОПРОС И ПОКАЗАНИЯ ТОМАСА ПУДДИКУМБА,

Данные под присягою июля 31 числа, в десятый год правления Государя нашего Георга Второго, милостью Божией короля Великой Британии, Англии и прочая.

От роду мне шестьдесят шесть лет, я хозяин постоянного двора «Черный олень», каковой лет сорок тому унаследовал от своего отца. Я почетный гражданин этого города. Я трижды выбирался в градоначальники и одновременно исправлял должность судьи.

В: Прежде всего, мистер Пуддикумб, благоволите свидетельствовать, что на миниатюре, которую я уже показывал вам прежде и показываю теперь, изображен младший из двух джентльменов, что останавливался у вас три месяца назад.

О: Сдается мне, что он. Похож. Присягнуть готов, что он. Разве что платье на том было не такое богатое.

В: В лицо всмотритесь. Платье к делу не идет.

О: Да, я понял. Он, как есть он.

В: Хорошо. Когда они приехали?

О: В последний день апреля. Я это крепко запомнил, до смерти не забуду.

В: В котором часу?

О: Часа за три до того, как солнцу садиться, прискакал ихний слуга и распорядился насчет покоев и угощения. А то, говорит, ровно и не обедали, с голоду в дороге животы подвело.

В: Как звали слугу?

О: Фартинг. Потом он отправился за своими господами, а часу этак в седьмом они пожаловали, как он и обещал.

В: Впятером?

О: Дядя с племянником, двое слуг и горничная.

В: Мистер Браун и мистер Бартоломью – так они назвались?

О: Именно так, сэр.

В: В их поведении вы не заметили ничего недолжного?

О: В ту пору – нет. Это уж потом я призадумался, после той оказии, о которой вы знаете.

В: А в тот вечер?

О: Да нет, с виду – такие точно люди, какими себя назвали: просто едут два джентльмена в Бидефорд. Я ведь с ними и двух слов не молвил. Молодой поднялся прямо к себе и до отъезда носа из комнаты не казал, потому я о нем столько же знаю, сколько о случайном прохожем. Отужинал, поспал, проснулся, позавтракал – и все в четырех стенах. А после завтрака отъехал.

В: А что дядя?

О: И о нем знаю не больше того. Только что после ужина он пил с мистером Бекфордом чай и...

В: Кто этот мистер Бекфорд?

О: Тутошний священник. Заглянул отдать почтение проезжим джентльменам.

В: Они с ним были знакомы?

О: Не думаю, сэр. Я пришел с известием, что он дожидается внизу, а они о нем вроде и слыхом не слыхивали.

В: Это было вскорости после их приезда?

О: С час, сэр. Может, чуть дольше. Они только-только закончили ужинать.

О: И они говорили с ним?

О: Немного погодя мистер Браун к нему вышел. Они с мистером Бекфордом уединились в отдельной комнате.

В: Мистер Браун, дядя? Племянника с ними не было?

О: Только дядя, сэр.

В: Долго они беседовали?

О: Часа не будет, сэр.

В: Вы не дослышали, в чем состоял предмет их беседы?

О: Нет, сэр.

В: Ни единого слова?

О: Нет, сэр. Им прислуживала моя горничная Доркас, так она сказывала...

В: Это я узнаю от нее самой. Рассказывайте лишь о том, что видели и

слышали самолично.

О: Я проводил мистера Брауна туда, где дожидался мистер Бекфорд. Они раскланялись, сели. Тут начались любезности да церемонии, но я уже не слушал, а пошел распорядиться касательно чая.

В: Они держались друг с другом как чужие или как давние знакомцы?

О: Как чужие. Мистер Бекфорд частенько так.

В: Как «так»?

О: Ну, сводит знакомство с чистой публикой из проезжающих. С теми, кто все науки превзошел, по латыни говорит.

В: Словом, два джентльмена повстречались против всякого чаяния?

О: Похоже на то, сэр.

В: Мистер Бекфорд после не рассказывал вам об этой встрече? О том, что между ними происходило?

О: Нет, сэр. Только, как уходил, просил отвести им покои самые лучшие и услужать честь по чести. Дядя, мол, почтенный лондонский джентльмен и едет по богоугодному делу. Так и сказал: по богоугодному.

В: По какому же?

О: Он не сказывал, сэр. А вот слуга ихний Фартинг в кухне изъяснил, за какой нуждой они собрались. Что будто молодой джентльмен надумал подольститься к своей тетушке, которая живет в Бидефорде. Она-де доводится сестрой мистеру Брауну. Фартинг говорил – богатая, что твоя султанша. И горничную с собой из Лондона везут, чтобы, значит, голову ей убирала и прочие подобные услуги оказывала.

В: Но в Бидефорде таковой леди не обнаружилось?

О: Нет: люди справлялись. А когда я сказал Фартингу, что ничего про нее не слыхивал, он отвечал, что дивиться тут нечему: она живет затворницей.

Да и не в самом Бидефорде, а близ него. Солгал бездельник: люди всех про нее выспросили. Там такой леди нету и в помине.

В: Не упоминал ли Фартинг, чем занимается мистер Браун?

О: Он будто бы лондонский торговец и старейшина городского совета.

Кроме своих детей, на его попечении еще этот племянник – дядя сделался его опекуном по смерти родителей. Это сын его покойной сестры и ее покойного мужа.

В: И никакого состояния родители этому племяннику не оставили?

О: Было состояние, да он его пустил по ветру. То бишь это Фартинг так говорил. Оказалось, все враки.

В: Не было ли речи о покойных родителях мистера Бартоломью?

О: Нет, сэр. Фартинг только обмолвился, что сынок-де заскочил

повыше своих родителей.

В: Хорошо. Теперь как можно обстоятельнее расскажите все, что помните о слугах.

О: Про одного-то сказ недолгий. Про того, что прислуживал племяннику и которого потом нашли. Я говорю, недолгий, потому что вовсе было не разобраться, что он за человек.

В: Его имя?

О: Прочие называли его Диком, сэр. Просто Дик Фартинг про него всякого наговорил, меня даже досада взяла: такое при служанках! Ох, и задала мне мистрис Пуддикумб, когда вернулась! Она, изволите видеть, о ту пору отлучилась в Мольтон, младшую дочку проведать. Та после родов лежит, у нее такое...

В: Полно, полно, мистер Пуддикумб. Что же рассказал Фартинг?

О: Что Дик в уме поврежден, да еще и греховодник в придачу. Только я его словам веры не дал. Фартинг – он ведь валлиец, а валлийцы известно какой народ: им ни на волос верить нельзя.

В: Вы доподлинно знаете, что он валлиец?

О: Вернее быть не может. Во-первых, выговор валлийский. Обратно же бахвальство да пустословие. Ежели ему поверить, то служил он некогда сержантом в морской пехоте. Человек он будто бы такой бывалый, что куда нам... Выхвалялся изо всех сил, чтобы перед служанками покрасоваться. А касаясь того, кто греховодник, то вольно ему было валить с больной головы на здоровую.

В: Как вас понимать?

О: Девушка-то сразу рассказать конфузилась, я уж потом узнал. Горничная моя Доркас, сэр. Фартинг вздумал подъехать к ней с амурами. Шиллинг посулил. А она девушка честная и себя соблюдает и никакого повода ему не давала.

В: О чем он еще рассказывал?

О: Все больше про сражения да про свое геройство. И все-то норовит пустить пыль в глаза. «Мой друг мистер Браун, мой друг мистер Браун».

Будто не видно, что он мистери Брауну слуга. Шуму от него, как от целой роты драгун. Препустой человек, сэр. Недаром прозвание у него такое – Фартинг. Медяк и есть. «Медь звенящая и кимвал звучащий» <Кор. (13, 1)>. И уехал не по-людски, затемно.

В: Как это было?

О: Да что ж, сэр, оседлал коня и до света ускакал. Ни с кем и словом не перемолвился.

В: Может быть, хозяин услал его вперед за какой-нибудь надобностью?

О: Я знаю одно: мы просыпаемся, а его и след простыл.

В: Вы разумеете, что он уехал без ведома хозяина?

О: Не знаю, сэр.

В: Удивил ли этот отъезд мистера Брауна?

О: Нет, сэр.

В: А прочих?

О: Нет, сэр. Они про него даже не поминали.

В: Отчего же вы сказали, что он уехал не по-людски?

О: Потому что накануне за ужином он про отъезд и не заговаривал.

В: В каких он был летах?

О: С его слов, в баталии восемнадцатого года он участвовал барабанщиком, мальчонкой. Из этого я вывел, что сейчас ему лет тридцать. Ежели ошибаюсь, то на год-два. И на вид столько же.

В: Да, о наружности. Не было ли в ней чего-либо особо приметного?

О: Только усы: он их закручивал, будто хотел изобразить из себя турка. Росту он повыше среднего, а в теле жирка будет поболее, чем мяса. Уж этому мой стол и винный погреб порукой. Так налегал на еду и выпивку, что повариха пошучивала: сержанта нашего-де к Рождеству заколют. Тогда-то мы над этим смеялись.

В: Крепкого сложения?

О: С виду крепкого, но то-то и оно, что лишь с виду, не будь я Пуддикумб.

В: Не запомнился ли вам цвет его глаз?

О: Темные. Да юркие такие – видать, совесть нечиста.

В: Не приметили вы шрамов, старых ран или чего-нибудь в этом роде?

О: Нет, сэр.

В: А хромоты в его походке?

О: Нет, сэр. Сдается мне, что ежели он когда и воевывал, то разве спьяну по кабакам.

В: Хорошо. А тот второй, Дик? Что вы о нем скажете?

О: Слова не проронил, сэр. Да и не мог. Но я по глазам угадал, что Фартинг ему столько же по душе, сколько и мне. Оно и понятно: сержант, по всему видать, имел обыкновение глумиться над ним, все одно как над Джеком-Постником <соломенное чучело, одетое в лохмотья; в старой Англии в первый день поста было принято проносить его по всему селению, а затем выставлять на шесте в людном месте, где прохожие в течение всего поста швыряли в него камни, палки и грязь; в конце поста чучело торжественно сжигали или топили>. А парень он, как я заметил, расторопный.

В: И безумию не подвержен?

О: Простенек, сэр. К одному только и способен – исправлять свою должность. Во всем прочем убогий. То бишь, умом убогий, а в рассуждении телесной крепости парень хоть куда – я бы такого работника нанял с охотой.

И нрава, похоже, тихого, мухи не обидит. Что бы о нем нынче ни говорили.

В: К вашим служанкам он не приставал?

О: Нет, сэр.

В: А эта горничная, которую они везли, – как ее звали?

О: Имя у нее диковинное – почти как у французского короля, возьми его нелегкая. Луиза, что ли.

В: Француженка?

О: Нет, сэр, наша. Ежели поговору судить, из Бристоля или по крайности из тех мест. А вот манеры и взаправду французские: я слышал, француженки – они как раз такие, фасонистые. Но Фартинг говорил, будто у них в Лондоне пошла такая мода, что горничные все хозяйкины повадки перенимают.

В: Она из Лондона?

О: Так мне сказывали, сэр.

В: Но говорит как уроженка Бристоля?

О: Да, сэр. Ужин просила подать к себе, прямо как леди какая. А комнату ей отвели отдельную. Уж мы на нее дивились. Фартинг все ее честил да попрекал чванством, а Доркас моя, напротив, хвалила: девица, мол, обходительная, не кривляка. А что ужинала не со всеми, так она сказала, что у нее разыгралась моргень и она желает отдохнуть. Я так думаю, не нами она погнушалась, а Фартингом.

В: Какова она была на вид?

О: Что ж, девушка пригожая. Бледновата, правда, и худосочная, как все лондонские, но лицо приятное. Ей бы еще дородства прибавить. Запомнились мне ее глаза. Карие, да такие тоскливые – как у оленихи или зайчихи.

Смотрит – и будто не понимает. При мне ни разу не улыбнулась.

В: Не понимает? Чего не понимает, мистер Пуддикумб?

О: Как ее догадало тут очутиться. Как у нас говорят – «ровно форель на кухне».

В: Она с кем-нибудь имела беседу?

О: Да нет, разве что с Доркас.

В: Не пришло ли вам на мысль, что это не горничная, но вельможная

дама, выдающая себя за оную?

О: Да, сэр, ходят такие толки, будто это была какая-то знатная леди, досужая сумасбродка.

В: Вы полагаете, она бежала из дому со своим воздыхателем?

О: Я-то ничего такого не полагаю. Это Бетти, кухарка, да мистрис Пуддикумб. А я, сэр, угадывать не берусь.

В: Хорошо. Теперь я предложу вам вопрос сугубой важности. Можно ли заключить по поступкам мистера Бартоломью, что он подлинно таков, каким изобразил его мошенник Фартинг? Похож он на человека, который готов, пусть и скрепя сердце, пресмыкаться перед богатой теткой?

О: Ручаться не могу, сэр. По всему видно, что он привык держать себя хозяином и по натуре горяч. Но ведь нынче это у многих молодых людей в обычае.

В: Не походил ли он на джентльмена более высокого разбора, нежели чем вам о нем сказывали? На выходца из более благородного сословия, чем его дядя-торговец?

О: Наружность и повадки у него были как у настоящего джентльмена, это правда. А там – кто его разберет. Одно могу сказать: изъяснялся он не как простой народ. Мистер Браун – тот на нынешний лондонский манер. Племянник все больше молчал, но я заметил, что он выговаривает слова как северяне – примерно сказать, как вы, сэр.

В: Он держался с дядей почтительно?

О: Только что для виду, сэр. Спросил себе самый лучший и самый просторный покой. Взяло меня сомнение, сунулся я к мистеру Брауну – как, мол, изволите приказать, а вышло, что распоряжается-то племянник. И еще кой-какие мелочи в том же роде. Но учтивости он ни в чем не преступал.

В: Много ли они выпили вина?

О: Какое много, сэр! Сразу по приезде спросили чашу пунша, пинту жженки, а на ужин – бутылку лучшей канарской мадеры. И ту не допили.

В: Перейдем к следующему. В котором часу они отбыли?

О: Да уж часу в восьмом, сэр. Мы в тот день так захлопотались, что о них и не думали: дело-то было в самый канун майского праздника.

В: Кто расплатился за постой?

О: Мистер Браун.

В: И щедро заплатил?

О: Изрядно. Грех жаловаться.

В: После чего они отправились по дороге в Бидефорд, так?

О: Так, сэр. По крайности расспросили моего конюшего Эзикиела,

какая дорога туда ведет.

В: Больше вы в тот день о них не слышали?

О: Один человек, что ехал к нам на праздник, сказывал, будто повстречал их по дороге. Он смекнул, что они останавливались на ночлег у меня, и все пытал, что их сюда привело.

В: Из чистого любопытства?

О: Да, сэр.

В: И других вестей о них в тот день не приходило?

О: Нет, сэр. Ни словечка. Про Фиалочника мы услышали только через неделю.

В: Про кого? Кто это такой?

О: Это беднягу Дика так прозвали – настоящего-то его имени никто не знал. Но я по порядку, сэр. Первым делом – про кобылу. Мне сперва и невдогад, что за кобыла такая. На другой день после праздника, ввечеру, приезжает сюда со своим товаром коробейник из Фремингтона по имени Барнекотт. Я его хорошо знаю: он уже много лет по этой части. Приезжает, значит, и рассказывает: попалась ему по пути безнадзорная лошадь. Он ее ловить, а она не дается, ровно как дикая. Долго за ней гоняться ему было недосужно, он и махнул рукой.

В: Какая она была из себя?

О: Старая гнедая кобылка. Ни узды, ни сбруи, ни седла. Барнекотт о ней обмолвился походя – решил, что она сбежала с хозяйского пастбища, в наших краях это дело обыкновенное. В тутошних лошадаках играет кровь тех коней, что водятся на вересковой пустоши, а тех поди удержи на одном пастбище: шатуны, что твои цыгане.

В: Это была вьючная лошадь?

О: Не знаю, сэр. Я о ней и думать забыл. Вспомнил, только когда нашли Дика.

В: От кого вы об этом услышали?

О: От одного человека. Он проезжал через Даккумб, глядь – несут изгородь, а на ней тело.

В: Далеко отсюда до Даккумба?

О: Добрых три мили.

В: Где и при каких обстоятельствах обнаружилось тело?

О: Подпасок нашел. В большом лесу – у нас его прозывают Рассельный лес.

Вот что тянется по лощине до самой пустоши. Он растет по склонам, а склоны крутеньки – не лощина, а как есть расселина, – ну, люди туда и не захаживают. Парень мог там и семь лет провисеть, никто бы не увидел. Да,

видно, Господь не допустил. В такой глухомани только хорькам раздолье, а людям там делать нечего.

В: И что же, далеко это от того места, где видели лошадь?

О: Дорога, где кобылку заметили, проходит ниже, сэр. В миле оттуда.

В: А что за рассказы о фиалках?

О: Чистая правда, сэр. Об этом и на следствии толковали. Случилось мне беседовать с человеком, который снимал тело и сносил его вниз, – тело потом проткнули деревянным колом и погребли на распутье близ Даккумба. Так этот человек мне рассказывал, что у парня изо рта торчал пучок фиалок, с корнями выдернутых. Они, мол, оказались у него во рту в аккурат перед тем, как петле затянуться. И сколько уж времени прошло, а они все были зеленые, точно их и не срывали. Многие почли это за колдовство, но люди поученнее рассудили, что фиалки укоренились в сердце и питались телесными соками. По смерти со всяким такое бывает. Я, говорит, сроду не видывал подобных чудес: лицо почернело, а тут такая краса.

В: У вас не возникло подозрений, кто мог быть этот удушенник?

О: Нет, сэр. Ни тогда, ни после, как приехал человек от дознавателя.

Сами посудите: с их отъезда почитай неделя минула. А Даккумб – это уже не наш приход. Да и путешествовали они впятером – откуда мне было догадаться, что это один из них нашел себе такой конец? Это уж потом пошли расспросы, и я наконец смекнул, о ком речь.

В: Что было дальше?

О: А дальше нашелся сундучок с медными углами – близ Рассельного леса и у того места на дороге, где видали кобылку. Вот тогда-то я и прозрел.

Надобно, думаю, известить о своей догадке нашего градоначальника мистера Танкера – он мне приятель. Кликнули мы с мистером Таккером аптекаря мистера Экланда, который малость смыслит в законах и потому у нас в городском совете ходатаем по делам, секретаря совета Дигори Скиннера – этот у нас еще и приставом состоит, – еще кое-кого позвали и поехали вроде как *posse comitatus* <отряд местных жителей, созываемый властями для подавления беспорядков, розыска преступников и пр. (лат.)>, чтобы все самолично разведать и составить о том донесение.

В: Когда это произошло?

О: В первую неделю июня, сэр. Приехали мы туда, где валялся сундук.

Глянул я на него и тотчас опознал: это был сундук того джентльмена, мистера Бартоломью. Потом и конюший мой Эзикиел подтвердил: все точно, этот самый сундучок он вместе с прочим скарбом навьючил на лошадь в то утро, как постояльцы уехали. Тогда я пожелал взглянуть на кобылку – ее к тому времени уже поймали и свели на ближнюю ферму. И

кобылка вроде такая же, как у моих постояльцев. Сел я и призадумался, а потом порасспросил человека, который видел Фиалочника своими глазами, каков он собой. Тот рассказывает: волосы светлые, глаза голубые. Ну, думаю, все сходится. Так мистер Экланд и отписал в Барнстапл дознавателю.

В: Разве у вас нет своего дознавателя?

О: По хартии ведено иметь своего. Но должность есть, а исполнять некому. Пустует место. Вот и пришлось вызывать из Барнстапла.

В: Доктора Петтигрю?

О: Его самого, сэр.

В: Сундук был спрятан?

О: Его бросили в заросший кустами разлог в четырех сотнях шагов от дороги. Шел человек, видит – в кустах что-то медное блестит, так и нашел.

В: Разлог? Что такое разлог?

О: Ну, овражек, сэр.

В: И опять ниже того места, где обнаружили тело?

О: Да.

В: Сундук был пуст?

О: Вот как ваш бокал, сэр. Хотя говорили всякое. Это уж пусть вам Доркас расскажет. Болтали, будто сундук доверху набит золотом, но Доркас сама видела, когда его открывали: он был пустехонек.

В: Я ее спрошу. Имелась ли у спутников иная поклажа?

О: Да, сэр. Кожаный баулище и еще всякая всячина. Но все как в воду кануло, ни узелочка не нашлось, ни даже рамы, на которую их взвалили.

В: Хорошо ли искали?

О: Вдесятером все облазили, сэр. И приставы тоже. Ищут, а у самих сердце не на месте: ну как заместо скарба снова наткнутся на мертвое тело.

Вдруг спутников подкараулили по дороге и всех до одного перебили.

Некоторые и посейчас так думают. Знать бы только, где искать.

В: Отчего же тогда преступники не озаботились скрыть тело Дика?

О: Кто их разберет, сэр. Дело темное. Поговаривают вон, что Дик сам всех и порешил, а как совесть зазрела, так он и наложил на себя руки. А еще думают, будто он смолвился с душегубами, но раскаялся, тогда они, чтобы Дик на них не показал, представили дело так, будто он сам лишил себя жизни: хоронить-то куда как мешкотно.

В: В ваших местах водятся разбойники?

О: Бог миловал, сэр, почитай двадцать лет не объявлялись.

В: В таком случае, мистер Пуддикумб, ваше второе объяснение немногого стоит.

О: Какое ж оно мое, сэр? Я за что купил, за то и продаю. Одно могу сказать неложно: без злоумышления не обошлось. И случилась беда как раз в тех местах, где видели кобылку и нашли сундук. Спросите, почему не в другом месте – есть у меня на это ответ. Последуй они дальше, они бы непременно добрались до Даккумба. А в майский-то праздник, когда на улицах толпы, неужто они остались бы незамеченными?

В: В Даккумбе их не видели?

О: Ни одна живая душа. Не доехали они туда.

В: Нет ли туда каких окольных дорог?

О: Как не быть, да только по ним и налегке проехать не захочется, а у этих поклажа. Притом они не здешние – откуда бы им знать про окольные дороги. А если б узнали, то уж верно добрались бы до Бидефорда.

В: Справлялись ли о них в Бидефорде?

О: Да, сэр. Доктор Петтигрю посылал туда своих людей, но проездили они попусту. Известное дело: место бойкое, приезжих тьма-тьмушная. Тем второе следствие и закончилось.

В: В ту ночь, которую они провели под вашим кровом, не доносился ли до вас шум ссоры? Бранные выражения?

О: Нет, сэр.

В: Не навевались ли к ним иные посетители, кроме мистера Бекфорда, – посыльные с известиями, незнакомые люди?

О: Нет, сэр.

В: Можете ли вы описать мистера Брауна?

О: Как вам сказать, сэр... Лицом грозен, да только что лицом.

В: Грозен?

О: Вернее сказать, строг. Как у нас говаривают, по виду – человек великой учености.

В: Нет ли тут противоречия с его вышеозначенным ремеслом? Ведь он, как было сказано, купец?

О: Уж это я не знаю, сэр. О лондонских судить не берусь. Они, слышно, все из себя люди значительные.

В: Толст он или худощав? Какого роста?

О: Все в меру, сэр, – и рост, и дородство. Мужчина осанистый.

В: В каких летах?

О: Да чтобы не соврать, лет под пятьдесят. Может, чуть больше.

В: Имеете ли сообщить еще что-нибудь, касающееся до предмета моего расследования?

О: Сейчас мне, похоже, добавить нечего. Из главного-то я ничего не упустил, уж будьте покойны.

В: Хорошо, мистер Пуддикумб, благодарю вас. И потрудитесь, как я предупреждал, сохранить цель моего приезда в тайне.

О: Я вам, сэр, клятву давал. А слово мое кремень, не извольте беспокоиться. Для меня король и истинная церковь – не пустой звук. Я же не еретик какой, не отступник. Кого угодно спросите.

Jurat tricesimo uno die Jul. anno Domini 1736 coram me <Приносит присягу 31 июля года от Рождества Христова 1736 в моем присутствии (лат.)>.

Генри Аскью.

ДОПРОС И ПОКАЗАНИЯ ДОРКАС ХЕЛЛЬЕР,

Данные под присягою июля 31 числа, в десятый год правления Государя нашего Георга Второго, милостью Божией короля Великой Британии, Англии и прочая.

Мне семнадцать лет от роду, я уроженка этих мест, девица. Я состою в услужении у мистера и мистрис Пуддикумб.

В: Хозяин растолковал вам, для чего я вас призываю?

О: Так, сэр.

В: И предупредил, что вы свидетельствуете под присягой, как в суде?

О: Так, сэр.

В: А посему вы должны мне ответствовать по чистой совести, ибо тот человек будет записывать каждое ваше слово.

О: Как перед Богом, сэр.

В: Хорошо. Взгляните еще раз на это изображение. Тот ли это джентльмен, которому вы прислуживали в этом самом покое в последний день апреля?

О: Так, сэр. Как будто он.

В: Точно ли? Если у тебя есть хотя бы самое малейшее сомнение, девушка, говори прямо. Никакой беды тебе от этого не будет.

О: Точно он, сэр.

В: Хорошо. Вы ли подавали джентльменам ужин?

О: Я, сэр. И ужин и все прочее.

В: Разве у вас не в обычае, что проезжающим джентльменам услужают их собственные люди?

О: Это уж как будет их воля, сэр. А джентльмены к нам жалуют редко.

В: Никаких распоряжений о том, кто должен им служить, они не отдавали?

О: Нет, сэр.

В: Они беседовали между собой, когда вы накрывали на стол?

О: Нет, сэр. Мы не слышали.

В: Вы присутствовали при их ужине?

О: Я хотела остаться, но они немедленно меня отослали.

В: Значит, за столом они обходились без прислуги?

О: Так, сэр.

В: Не заметили вы чего-либо необычного в их поступках?

О: Что мы должны были заметить?

В: Вопросы делаю я. Вспомните. Не выказывали они волнения, не хотелось ли им поскорее остаться в комнате одним?

О: Ничего необычного, сэр. Просто они утомились после долгой дороги. А накануне худо пообедали. Это их слова.

В: И теперь желали отужинать без лишней канители?

О: Так, сэр.

В: Какие кушанья они спросили?

О: Жаркое с яичницей и похлебку гороховую с луком, и еще салат, а под конец молочный пудинг.

В: Сытно они поели?

О: Да, сэр. Изрядно.

В: Чувствовалось ли между ними согласие? Не дулись ли они друг на друга как после ссоры?

О: Нет, сэр.

В: Кто из них отдавал вам приказы?

О: Который постарше, сэр.

В: А потом вы носили ему и мистеру Бекфорду чай? (Non comprendit <не понимает (лат.)>). Чай, милая. Китайская травка.

О: Так, сэр. В нижнюю комнату.

В: Что из их беседы вы расслышали?

О: Мистер Бекфорд, помню, рассказывал про себя.

В: Что же именно?

О: Про своих родных, сэр. Что он родом из Уилтшира. Про сестрицу свою сказывал – что она недавно в Солсбери сыграла свадьбу.

В: И больше ничего?

О: Нет, сэр.

В: Случалось вам прежде усматривать, чтобы мистер Бекфорд таким же порядком заводил беседы с проезжающими?

О: Как же, сэр. Его дом стоит тут же на площади – вон, сэр, извольте только голову повернуть. Ему из окна все видно.

В: Он предпочитает водить знакомство с людьми просвещенными?

О: И ни с кем другим, сэр. Такая о нем молва.

В: Скажите мне, Доркас, среди скарба, который джентльмены отнесли к себе в комнаты, не бросилась ли вам в глаза какая-нибудь диковина?

О: Нет, сэр. Разве вот сундучок да бумаги.

В: Что за бумаги?

О: Молодой джентльмен в сундучке привез, сэр. Я принесла ему еще свечей, а на столе, на котором пишут, бумаги. А свечи ему велел подать второй джентльмен, когда спустился к мистеру Бекфорду.

В: Молодой джентльмен читал?

О: Да, сэр. Это ему надобны были свечи.

В: Какого рода бумаги?

О: Не знаю, сэр. Я по-азбучному не разбираю.

В: Вы понимаете, что не знаете букв? Не имелось ли на верху этих листов каких-либо надписей, сделанных особо – адресов?

О: Мы неграмотные, сэр.

В: Да-да, но буквы-то вы различили. А не было ли на тех листах складок от сгиба, печатей, тайных знаков?

О: Нет, сэр. Они больше походили на счетные цыдулки.

В: Что это такое?

О: А это, когда проезжающие просят, хозяин им дает бумагу с указанием, сколько платить за постой.

В: Вы хотите сказать, что на них были изображены цифры?

О: Да, сэр. И еще вроде букв, только не азбучные – те-то я знаю, какие из себя.

В: Эти знаки писались в строчку или столбцами, как в счетах?

О: Нет, сэр. Промеж фигур.

В: Каких фигур?

О: Одну я разобрала: большой круг. И другая – с тремя сторонами, и еще такие, навроде луны.

В: Как это понять – «навроде луны»?

О: Ну, как корка у сыра. Или как темный краешек у старой луны.

В: То есть луны на ущербе?

О: Так, сэр.

В: И рядом цифры?

О: Так, сэр.

В: Много ли бумаг на столе содержали означенные фигуры и цифры?

О: Много, сэр. С дюжину, а то и больше. Изрядное число.

В: Какой величины были эти листы?

О: Вон как те, на каких пишет джентльмен. А иные вдвое больше.

В: Укажите так: фолио и полуфолио. Листы были исписаны? Чернилами?

О: Так, сэр.

В: Слова не были напечатаны, как в книге? Может, то были страницы из книги?

О: Нет, сэр.

В: Джентльмен занимался писанием?

О: Нет, сэр. При нас – нет.

В: Не заметили вы каких-либо принадлежностей для письма – перьев, чернильницы?

О: Нет, сэр.

В: И такими же бумагами был набит сундук?

О: Лежали там и бумаги, сэр. А еще книги, а промеж них – большие медные часы без футляра.

В: Часы? Вы это знаете за верное?

О: И пребольшие, сэр. А нутро у них – как у надкаминных часов мистрис Пуддикумб, ежели заглянуть через заднюю дверцу.

В: Вы видели циферблат, стрелки, указующие время?

О: Нет, сэр: часы лежали ничком. А вот нутро ихнее мы видали: колесики, колесики – совсем как в наших часах.

В: А книги? Где они помещались?

О: Сундук стоял возле дверей, сэр, весь нараспашку. У дверей было темно, ну да я, уходя, в сундучок-то заглянула.

В: И увидели книги?

О: Да, сэр. Нынче слух пошел, будто в нем было золото – из-за него-де всех и порешили.

В: Но вы знаете, что это не так?

О: Знать-то знаю, сэр, да только моим словам веры не дают.

В: Пусть их. Я, Доркас, тебе верю. Но перейдем к горничной Луизе. Расскажите-ка, о чем вы с ней судачили.

О: Перемолвились только словечком, когда я показывала ей комнату, а других разговоров не было.

В: О чем перемолвились?

О: Я спрашивала, издали ли они едут, сэр. Куда направляются. Все в этом роде.

В: А о себе она не рассказывала?

О: Как же, сэр, я и про нее спрашивала. Она и говорит: везут-де ее в Бидефорд прислуживать одной леди – она джентльменам сродница. Прежде в Лондоне служила у другой хозяйки, да та подалась за границу, а горничную не взяла. Потом она спросила, знаем ли мы Бидефорд. Как не знать, говорю, мы туда однажды ездили – с отцом, правда. Право слово. Город изрядно большой, рынок знатный.

В: Приводила ли она имя прежней своей хозяйки?

О: Имя она поминала, сэр, да я уже запомнила.

В: Английское имя?

О: Так, сэр.

В: Какая-нибудь важная дама?

О: Нет, сэр. Хозяйка как хозяйка. Не помню, как ее...

В: Не узнавали вы у Луизы, откуда она родом?

О: Она сказывала, из Бристоля, сэр. А как подросла, перебралась в Лондон, потому что ее родители умерли. Она умеет шить и укладывать волосы, а в Лондоне такие мастерицы хорошие деньги зарабатывают.

В: А про вашу жизнь она расспрашивала?

О: Да, сэр. Довольна ли я хозяйкой да как нам у нее служится.

В: Что еще?

О: Мы говорили недолго, сэр. Меня кто-то кликнул. Тут она спохватилась, что у меня, верно, дел невпроворот, а она меня держит. А она-де притомилась и сядет ужинать отдельно от всех. И чтобы я себя не утруждала, а ужин ей снесет этот, Дик.

В: Не было ли речи о двух джентльменах?

О: Сказывала, будто впервые их увидела десять дней назад, но о старшем слыхала от прежней хозяйки много хорошего.

В: А те двое слуг – о них вы не толковали?

О: Про Фартинга – нет, сэр. Про другого, Дика, который глухонемой, она сказывала, чтобы я ни повадок его, ни наружности не страшилась: он зла не причинит.

В: Припомните хорошенько, дитя мое: подлинно ли она походила на горничную или же было заметно, что она лишь присвоила оное звание для какой-то причины?

О: Манеры у нее самые лондонские. Говорит как по писаному, а собой уж такая красавица. Одни глаза чего стоят. Мужчины ради таких глаз жизни не пощадят.

В: Больше похожа на леди, чем на горничную? Слишком видная для девицы простого звания?

О: Не знаю, как и сказать, сэр. Но слова она выговаривала слегка на

бристольский лад.

В: Стало быть, держалась она не как знатная дама?

О: Нет, сэр. Она говорила, что после ужина ляжет почитать, а сама не легла. Я через час-другой пошла спать, и случилось нам проходить мимо покоя молодого джентльмена – так она у него сидела.

В: Вы слышали ее голос?

О: Так, сэр.

В: И остановились у дверей полюбопытствовать?

О: Был такой грех, сэр. Всего на минуточку. Ведь этакая странность: мы думали, она спит, а она вон где.

В: Вы расслышали, о чем они беседовали?

О: Куда там. Дверь толстая, а они все вполголоса да вполголоса.

В: Кто же из них говорил больше?

О: Джентльмен, сэр.

В: И что вам удалось разобрать?

О: Он ей наказывал, чтобы она потрафляла новой хозяйке, сэр.

В: А, выходит, что-то все же было слышно! Ну-ка, рассказывай, что там происходило.

О: Как Бог свят, сэр. Уж мы и так и этак – ничего не слышать.

В: С чего бы ему читать ей такие наставления среди ночи?

О: Ума не приложу, сэр.

В: Повторяю прежний вопрос: не явилось ли у вас подозрения, что это никакая не горничная?

О: Мне только то было удивительно, что беседа их больно затянулась.

В: Откуда вам известно, сколько они беседовали? Вы только что уверяли, будто замешкались у дверей всего на минутку.

О: Истинная правда, сэр. Но наша с Бетти комната по соседству с ее покоем. И вот спустя полчаса – мы еще уснуть не успели – возвращается.

Слышим – проскользнула к себе и дверь на защелку.

В: Не пришло ли вам на мысль, что девица, возможно, предназначалась для угождения не новой хозяйке из Бидефорда, но молодому джентльмену?

О: Стыдно вымолвить, сэр.

В: Полно, Доркас, тебе уже восемнадцатый год. Чтобы у такой бойкой да пригожей девицы не было воздыхателя – ни за что не поверю. Их, поди, уже с десятков имеется?

О: Ваша правда, сэр, есть один. Я его прочу себе в мужья.

В: Так пристало ли тебе корчить стыдливую невинницу? Не обнаружилось ли позже указаний на то, что они имели плотское соитие?

О: «Соитие» – это я не знаю, что такое.
В: Что они спали в одной постели.
О: Что вы, сэр, в постели и вовсе никто не спал.
В: Никто не спал? Верно ли?
О: Да, сэр. Ложиться ложились, но покрывало не скидывали.
В: Не входил ли кто ночью в покой к девице?
О: Нет, сэр.
В: И не выходил?
О: Нет, сэр.
В: Не слышали вы там шума или голосов?
О: Нет, сэр. Мы спим крепко, и Бетти тоже.
В: Можно ли было почесть ее за беспутницу, блудодейку, продажную девку?
О: Нет, сэр.
В: Не заводила ли она часом речь, что для девицы столь приятной наружности, как ты, можно сыскать в Лондоне местечко более благодатное и доходное?
О: Нет, сэр.
В: Не рассказывала ли горестных историй о своей несчастной любви?
О: И об этом разговора не было, сэр.
В: Была она довольна своей участью или скорбела о ней?
О: Не знаю, сэр. Я чаю, на прежнем месте ей жилось лучше и она не рада, что заехала в такую даль с чужими людьми.
В: Так и сказала?
О: Так сказали ее глаза, сэр.
В: Она не улыбалась?
О: Раз или два, сэр. А потом и того пуще.
В: Как пуще? Сделалась игрива и резва?
О: Нет, сэр. Не умею объяснить.
В: Смелее, милая, я тебя не съем.
О: Как они уехали, нашли мы у нее на подушке платочек с цветочным узором, будто нарочно оставленный, чтобы нам сделать удовольствие.
В: Где теперь этот платок?
О: Матушка велела спалить, сэр. Тогда только и разговоров было что про убийство, про Фиалочника, и она побоялась: как бы беду не накликать.
В: Из дорогой материи платочек?
О: Да, сэр, материя прочная, вроде индийского хлопка. А по ней – цветы да заморские пичужки.
В: Обыкновенной горничной подобная вещица верно не по карману?

О: Приезжал на прошлую ярмарку коробейник из Тивертон, так он такие привозил. Сказывал, такую материю нынче ткут в Лондоне. Меньше чем за три шиллинга нипочем не отдавал. Ткань, говорит, хоть и не из Индии, но индийской не уступит. И король ее носить не запрещает.

В: Не спрашивали вы наутро, отчего горничная так долго оставалась в покоех молодого джентльмена?

О: Нет, сэр. Кроме прощания, у нас других разговоров не было.

Недосужно: день праздничный, работы – втроем не управиться.

В: Я слышал, Доркас, этот самый Фартинг приставал к тебе с бесстыдными домогательствами?

О: Приставал, сэр, да я слушать не стала. Не на такую напал.

В: Он отозвал вас в сторонку?

О: После ужина мне понадобилось в кладовую. Он за мной. Хочет меня обнять, а я гоню его прочь. Тогда он стал зазывать в покойчик над конюшней, где ему было постелено, и посулил шиллинг.

В: Он пришелся вам не по сердцу?

О: Сдался мне этот пьяница! И лгун к тому же. Я сразу смекнула, что лгун.

В: Из чего вы это заключили?

О: Стал он за ужином рассказывать про того, другого, Дика, и уж какими только поносными словами его не обзывал. Он-де сущий скот, будь-де его воля, он бы нам обиду сделал. А на поверку вышло, сам такой, если не хуже.

Видит, что я на его шиллинг не польстилась, – я, говорит, сам приду нынче к вам в почивальню – вас охранять. Охранять! Так я и поверила.

В: Однако ночью он к вам не пришел?

О: Нет, сэр, не пришел. И жаль, что не пришел: уж Бетти наша его бы приголубила дубинкой по маковке.

В: Я слышал, он отъехал еще до света. Не сказывал ли он вам об этом намерении?

О: Нет, сэр, ни словечка.

В: Вижу, Доркас, девушка ты честная. Исправна ли ты в рассуждении церкви?

О: Так, сэр.

В: Держись тех же правил и впредь. Вот тебе шиллинг, которого лишило тебя твое добронравие.

Jurat die at anno supradicto coram <Приносит присягу в вышеуказанный день и год в присутствии... (лат.)> Генри Аскью.

ДОПРОС И ПОКАЗАНИЯ СЕМПСОНА БЕКФОРДА,

Данные под присягою июля 31 числа, в десятый год правления Государя нашего Георга Второго, милостью Божией короля Великой Британии, Англии и прочая.

Я зовусь Сэмпсон Бекфорд. Я изучал науки в Оксфордском университете, в Уодем-колледже. Два года тому назад, в Михайлов день, был поставлен викарием здешнего прихода, в каковой должности состою по сию пору. От роду мне двадцать семь лет, жены не имею.

В: Благодарю вас, сэр, за то, что вы отозвались на мое приглашение. Я отниму у вас малую толику времени.

О: Сколько вам будет надобно, сэр. Я весь в вашем распоряжении.

В: Благодарствую, мистер Бекфорд. Мне ведомо, что вы познакомились с мистером Брауном и мистером Бартоломью не прежде как 30 апреля сего года, не так ли?

О: Истинная правда, сэр.

В: Вы никак не чаяли их приезда и не получали о нем ни письменного, ни иного предуведомления?

О: Отнюдь нет, сэр. Посетить их меня подвигла простая учтивость. Мне случилось стать свидетелем их прибытия, и я почел их за людей образованных. В нашем убогом городишке, мистер Аскью, такое суть *rarissimae aves* <здесь: «редкие гости» (лат.)>.

В: Мне понятны ваши чувства, сэр.

О: Я предпринял в мыслях убедить их, что они прибыли не в дикую Московию, как они, несомненно, должны были заключить по внешнему обличью нашего города, и показать, что хоть мы и живем вдали от просвещенного общества, однако ж и мы имеем некоторое понятие об учтивости.

В: Вам не довелось познакомиться с молодым джентльменом?

О: Нет, сэр. Мистер Браун, его дядя, извинился от его имени и объяснил, что племянник до чрезвычайности утомлен.

В: Этот дядя, он уверял вас, что цель их поездки – проведать его сестру, живущую в Бидефорде?

О: Он большей частью изъяснялся обвиняками, но из его слов я вывел, что его безрассудный племянник до сей поры пренебрегал некой возможностью сделаться наследником изрядного состояния, поскольку

леди из Бидефорда своих детей не имеет.

В: Он не дал каких-либо разъяснений, в чем именно заключается безрассудство племянника?

О: Я бы не назвал это разъяснениями, сэр. Я высказался в том смысле, что подобное пренебрежение само по себе безрассудно, он же дал понять, что племянник не в меру предавался удовольствиям, не зная при этом счету деньгам. Мне помнится, именно так он и выразился.

В: Что племянник без счету сорил деньгами?

О: Совершенно верно, сэр.

В: Он отзывался о племяннике с осуждением?

О: Как бы это поточнее... Я увидел в своем собеседнике дядю и опекуна, каковой, сам ведя степенную, непраздную, праведную жизнь, принужден наблюдать, как в душу близкого его родственника западают плевелы безрассудства. Впрочем, я заметил, что часть вины он относит на счет Лондона со всеми его соблазнами. Мне помнится, особенно горячо он порицал вольные нравы, насаждаемые театрами и кофейнями <в описываемую эпоху лондонские кофейни представляли собой своеобразное сочетание дискуссионного клуба, кафе, библиотеки и игорного дома; каждая из них была местом, где сходились люди определенных политических и литературных взглядов>, и даже полагал, что подобные заведения следовало бы вовсе закрыть.

В: Не рассказывал ли он о себе?

О: Он назвался лондонским торговцем. И торговец он, смею думать, не из последних, ибо как-то раз в его рассказе промелькнуло упоминание об одном из собственных кораблей. А в другой раз он помянул своего приятеля, состоявшего старейшиной городского совета.

В: Но ни названия корабля, ни имени приятеля он не привел?

О: Я такого не помню.

В: Не сказывал ли он, что и сам числится в городских старейшинах?

О: Нет, сэр.

В: Не смутило ли вас, мистер Бекфорд, то обстоятельство, что лондонский торговец – а люди они изрядно скрытные, уж я-то их знаю, – посвящает в семейное дело столь щекотливого свойства едва знакомого человека?

О: Он изобразил лишь самую суть дела, без подробностей. Мне представляется, он доверился мне как особе духовного звания. А также потому, что, будучи джентльменом, почел за должное хотя бы в кратких словах объяснить, что привело их в наши края.

В: Он был джентльменом больше по своему достатку, чем по

воспитанию?

О: Совершенно справедливо, сэр. Мне тоже так показалось. Слов нет, человек он достойный, но подлинного вежества я в нем не нашел. Он осведомился о положении дел у меня в приходе, что, бесспорно, говорит о его учтивости. Но когда, имея в мыслях смиренно намекнуть, что в такой глуши мои достоинства не находят себе применения, я привел подходящие к случаю строки поэта Овидия, он, как я заметил, пришел в замешательство.

В: Он лучше разбирался в счетных книгах, чем в древних языках?

О: Именно так я и рассудил.

В: Что же вы думаете о нем теперь, мистер Бекфорд? Вы верно слышали, что недавние поиски леди из Бидефорда, его сестры, ни к чему не привели?

О: Слышал, сэр, и теряюсь в догадках. Для какой цели человек по виду состоятельный и честный вздумал меня дурачить и разыграл эту комедию, – право, я много об этом размышлял. Как видно, истинные его намерения были такого рода, что он почел за нужное скрывать их от посторонних. И меня снедают опасения, что намерения эти были недобрые.

В: Некоторые усмотрели, что по временам якобы покаянный племянник брал на себя бразды правления и распоряжался за старшего, а дядя лишь стоял в стороне. Что вы на это скажете?

О: Я слышал об этом, сэр. И должен признаться, что, когда я наблюдал из своего окна, как они подъезжают к постоялому двору, и от нечего делать гадал, за каким делом они к нам прибыли, я не распознал в них дядю и племянника.

В: За кого же вы их приняли?

О: Как бы это лучше выразить? Никак не подберу точное слово. Я бы сказал, что молодой человек впрямь напоминал джентльмена, а пожилой больше походил на члена вашего достопочтенного сословия, заехавшего сюда по казенной надобности. Или на ментора, опекающего своего младшего спутника.

Так или этак, у меня и мысли не возникало, чтобы они состояли в кровном родстве. Я прознал об этом, лишь когда зашел их навестить, и был немало удивлен.

В: Каким слогом изъяснялся мистер Браун?

О: Речь его была ладной, безыскусной, без украшений и вычур. Он говорил вполне гладко.

В: Не закралось ли у вас подозрение, что он затевает нечто противозаконное или двоедушничает?

О: Сказать по правде, сэр, не закралось. Я принял его слова за чистую монету. Все обстоятельства были таковы, что не произвели во мне ни малейшего сомнения. Происшествие вполне обыкновенное.

В: Чьи дела чаще становились предметом разговора: ваши или его?

О: Вопрос в самую жилку, сэр. Я и сам потом об этом раздумывал. Мне сдается, он все время поворачивал разговор на ту статью, чтобы я изливал душу более открыто, чем допускают мои природные наклонности и самая учтивость.

В: Позвольте высказать вопрос более прямо: не исхитрился ли он поддеть вас на удочку?

О: Он расспрашивал о моих чаяниях и невзгодах, затем пожелал узнать о состоянии религии в этом нечестивом крае. Я, мистер Аскью, имею несчастье быть младшим сыном в семье <по английским законам того времени, после смерти отца его состояние целиком наследовал старший сын, а после его смерти оно переходило к его детям; младший сын мог претендовать на наследство лишь в том случае, если его старшие братья умирали бездетными>.

В рассуждении же религии, разгул ересей в наших местах простирается до таких размеров, что впору ужаснуться, и мысли об этом не оставляют меня ни на миг. Должен признаться, что, когда подвернется благодарный слушатель, я, изливая праведное негодование, подчас не в меру увлекаюсь. Боюсь, так случилось и в тот вечер.

В: Он сочувствовал вашим взглядам, просил изложить их обстоятельнее?

О: Просил, сэр, и даже высказал лестное для меня пожелание, чтобы у них появилось как можно больше столь же стойких приверженцев. Он также посетовал, что не имеет возможности задержаться тут до воскресенья, когда я буду говорить проповедь, в каковой – замечу без лишней скромности – я в прах разбиваю пагубные доводы тех, кто хочет лишить нас права на десятину <церковная десятина – налог с разных видов дохода, уплачиваемый на содержание храма; в Англии в том или ином виде сохранялся до 1936 г.>. Не угодно ли вам самому ознакомиться с проповедью? У меня случайно сохранился один список.

В: Почту за честь, сэр.

О: Я пришлю со своим человеком, когда вернусь домой.

В: Благодарствую. А теперь, мистер Бекфорд, я вынужден посеять в вашей душе семена сомнения. Неужели вам неведомо, что лондонская торговая братия все до единого виги? <в отличие от тори, твердых приверженцев господствующей Англиканской церкви, партия вигов

придерживалась более либеральных взглядов в отношении религиозных сект> Что мало кто из них разделяет ваши достойные, если я их верно представляю, религиозные убеждения? Что лишь немногие чтут издревле заведенные установления, а прочие думают лишь о своих мирских притязаниях? Что в их мире принято поклоняться лишь одному богу – Маммоне, сиречь прибыли, на все же, что грозит ее ограничить или преуменьшить, смотрят с презрением? Не нашли ли вы странным, что этот торговец показал столько сочувствия вашим взглядам?

О: Признаюсь, сэр, меня действительно провели. Увы, то, о чем вы сейчас поведали, для меня не новость; я наслышан, что эти господа самым преступным образом попустительствуют нашим вероотступникам и сектантам, однако мне вообразилось, что этот джентльмен составляет счастливое исключение из общего правила.

В: Не может ли статься, что дядя-торговец и вправду принадлежал к судейскому сословию? Ибо мы подлинно обладаем умением обращать разговор на важные для нас предметы. Подумайте хорошенько, сэр. Не запечатлелось ли у вас в памяти что-либо подтверждающее эту догадку?

О: Осмелюсь заметить, сэр, манеры его с вашими никак не сходны.

В: Но предположим, что в тогдашних обстоятельствах он по неведомой причине был принужден оставить обычную свою повадку и вы видели перед собой не истинное лицо, но искусную личину?

О: Ваше предположение вполне основательно, сэр. Да, вероятно, он и впрямь лишь играл роль. Это все, что я могу сказать.

В: *Id est* <то есть (лат.)> он весьма натерел в притворстве и ему нипочем обмануть даже столь проницательного и ученого джентльмена, как вы?

Он говорил обыкновенным голосом или же тихо, как если бы имел что скрывать?

О: Так же, как я с вами, сэр. Он говорил с достоинством и, как мне показалось, от чистого сердца. Как человек, привыкший на людях высказываться о многообразных предметах, до всего общества относящихся.

В: Благоволите его описать.

О: Роста среднего, с небольшим брюшком. Цвет лица как у всякого человека его лет, разве что чуть бледнее. Взгляд пронизывающий – видно, что знаток людей. Брови густые.

В: А теперь, сэр, нет ли у вас соображений касательно его возраста?

О: Лет сорок пять. Возможно, лет на пять больше, но уж никак не меньше.

В: Были у него иные приметы?

О: Мне запомнилась бородавка на носу. Вот тут, сбоку.

В: Проставьте так: на правой ноздре. Перстней не имелось ли?

О: Обручальное кольцо.

В: Золотое?

О: Да. Если память мне не изменяет, небогатое.

В: Как он был одет?

О: Платье из отменной материи, но несколько поношенное, словно бы дорожный костюм. Парик не совсем по моде.

В: Белье чистое?

О: Вполне, сэр. Как у всякого джентльмена такого разбора.

В: Вашей памяти, сэр, можно позавидовать. Не заметили вы других отличий, особых привычек?

О: Он нюхал табак, сэр, и по мне так слишком часто. Вовсе его это не красило.

В: Мистер Бекфорд, не доходили до вас впоследствии какие-либо известия, имеющие касательство до этих событий, – прибавлю, кроме того, что ведомо всем?

О: Разве что досужие толки, повсюду только их и слышишь. У непросвещенной черни в здешней округе это излюбленное занятие.

В: Не слышно ли чего от окрестных джентльменов или их близких?

О: Увы, в нашем приходе такового названия можно удостоить лишь мистера Генри Деверу. Но он в ту пору был в отъезде.

В: Нынче он здесь?

О: Две недели тому назад вернулся в Бат.

В: Вы говорили с ним об этом происшествии?

О: Я, как мог, старался удовлетворить его любопытство, сэр.

В: Он, как и следовало ожидать, оказался в неведении?

О: Совершенно верно.

В: Этот джентльмен также особа духовного звания?

О: С великим прискорбием должен признаться, сэр, что я живу как в лесу.

Разве человек деликатного воспитания согласится обретаться в этой глуши, не принудь его к тому обстоятельства, как случилось со мной? К моему глубокому огорчению, один из моих братьев больше подвигается в лисьей травле, нежели на духовном поприще. Он бы с большей охотой ударял в колокола, если бы они созывали прихожан не на божественную литургию, а на лихую кулачную забаву. Другой же, имеющий жительство в Даккумбе, почти все время проводит в заботах о своем саде и своих землях,

отложив всякое попечение о делах церкви.

В: Священников у вас ставит мистер Деверу?

О: Нет, сэр. Это право принадлежит канонику Буллоку из Эксетера. Он наш пребендарий <священник, получающий пребенду – вознаграждение в виде жалованья, а также земель, доходов или другого имущества> и приходской священник.

В: И член капитула?

О: Точно так. Заглядывает сюда раз в год за десятиной. Он ведь уже в преклонных летах – без малого семьдесят.

В: Вашу округу в парламенте обыкновенно представляют лица одной фамилии? Нынче это мистер Фейн и полковник Митчелл?

О: Верно, сэр. Однако они не удостаивали нас своим посещением с прошлых выборов.

В: Попросту сказать, уже два года? Они были избраны беспрепятственно?

О: Именно, сэр.

В: О происшедшем они не справлялись?

О: Ни у меня, ни у кого из известных мне лиц.

В: Хорошо, будет об этом. Не случилось ли вам свести знакомство с тремя слугами?

О: Ни с единым из них.

В: Приходилось ли вам слышать, чтобы во всю бытность вашу викарием этого прихода или прежде проезжающие в этих местах бывали ограблены или убиты разбойниками?

О: Ни в здешнем приходе, ни в его окрестностях подобного не случилось.

Поговаривали, будто лет пять назад под Майнхедом объявилась шайка головорезов, однако с тех пор их всех переловили и перевешали. До наших мест они не добрались.

В: А на больших дорогах не шалят ли?

О: Тут грабителям богатой поживы не будет. Вот в Бидефорде, в порту, мошенников и карманников точно превеликое множество. Впрочем, и заезжие ирландцы не лучше. Ну да с этой публикой у нас разговор короткий: у кого разрешения на проезд не обнаружится, того тотчас в плети и вон из прихода.

В: Что же, по вашему разумению, произошло первого мая?

О: Я думаю, божественное провидение отметило за мерзостный обман.

В: Вы полагаете, все спутники пали жертвой убийц?

О: Люди утверждают, будто дело обстояло вот как. Двое слуг,

сговорившись между собой, лишили жизни своих господ, но не поладили из-за добычи и девушки. Тот из них, что вышел победителем, будто бы овладел девицей, а затем скрылся окольными путями.

В: Что же им, скажите, за корысть забираться в такую даль, когда исполнить задуманное можно было близ самого Лондона? И если у этого победителя достало сноровки так спрятать тела первых двух жертв, что следа не осталось, то отчего же он и с третьим телом не распорядился сходственным образом?

О: На это я вам ответить не умею, сэр. Может статься, он спешил, подгоняемый укорами совести.

В: Вы чересчур доброго мнения об этом всех разбойных дел мастере, мистер Бекфорд. Я повидал немало людишек из этой братии и доподлинно знаю, что они больше трясутся за свою шкуру, нежели чем пекутся о своей бессмертной душе. Злодей, который все обмыслил заранее... такой сгоряча ничего делать не станет.

О: Вам, человеку паче меня искушенному, виднее. Но других догадок я не имею.

В: Не беда. Вы, сэр, и без того помогли мне сверх чаяния. Как я вас уже предупредил, я не вправе открыть имя того, по чьей воле я предпринимаю это расследование. Однако, заручившись вашим молчанием, могу сообщить, что более всего меня заботит судьба человека, назвавшегося мистером Бартоломью.

О: Весьма польщен вашим доверием, сэр. Осмелюсь полюбопытствовать, если мой вопрос не покажется вам нескромным: что, молодой джентльмен был отпрыском знатного дворянского рода?

В: Сверх того, что было сказано, я ничего добавить не могу. Мне дан строжайший наказ. Все убеждены, что означенное лицо путешествует по Франции и Италии, ибо о таковом своем намерении он объявил перед отъездом из Лондона.

О: Не могу не подивиться, сэр, что вам столь мало известно о его сотоварище.

В: Это потому, сэр, что за одним исключением, *videlicet* <а именно (лат.)> убиенного, никого из прочих с ним ехавших он в спутники себе не предназначал. Где он с ними повстречался, нам неведомо. А поскольку он окружил себя тайной и скрыл собственное имя, не лишено вероятия, что он и спутников своих понудил назваться вымышленными именами. По этой-то причине мне и приходится утомлять вас своими расспросами. Сами видите, сколь мудреная задача мне задана.

О: Вижу, мистер Аскью.

В: Завтра я еду попытать, не будет ли какой поживы в других местах. Вы меня весьма разодолжите, если, случись вам прослышать о новых подробностях этого дела, вы дадите мне знать в Линкольнз-инн <одна из четырех юридических корпораций, где состояли и проходили обучение адвокаты>.

Можете не сомневаться, я непременно позабочусь, чтобы ваше усердие не прошло незамеченным.

О: Чего не сделаешь для утешения обманутого родителя, тем паче знатного рода!

В: Я раскрою подоплеку этой истории, мистер Бекфорд. Я просеиваю хоть и не притко, да через частое ситко. Что для джентльмена вашего сана ересь, то для человека моей должности плутни и притворство. У себя в приходе я их не потерплю. Не знать мне ни минуты покоя, пока не докопаюсь до истины.

О: Аминь, сэр. Да услышит небо наши с вами молитвы.

Jurat die tricesimo et uno Jul. anno supradicto coram me <Приносит присягу тридцать первого июля вышеуказанного года в моем присутствии (лат.)> Генри Аскью.

Барнстапл, августа 4 дня.

Милостивый государь Ваше Сиятельство.

Сколь досадно мне доносить В.Сиятельству, что путешествие мое в западные края важного следствия не имело, но, напротив того, принесло ничтожные плоды. Non est inventus <он не найден (лат.)>. Однако, поскольку В.Сиятельство повелеть изволили, чтобы я и наигорчайшие известия от Вас не утаивал, я из Вашей воли не выйду.

Свидетельства, каковые я прилагаю для ознакомления В.Сиятельства, вне всякого сомнения, удостоверяют личность того, кто скрылся под именем мистера Бартоломью; притом несомненность сия основывается не только на доверенном мне В.Сиятельством портрете (хотя и таковое основание В.Сиятельство может посчитать достаточным), но и на присутствии слуги, слуха и речи лишенного, в описании наружности и манер которого сходятся все очевидцы. Я не стал докучать В.Сиятельству

присылкою иных добытых мною показаний, ибо они во многом повторяют здесь изложенное. Дознаватель доктор Петтигрю донес обо всем, что знал и удержал в памяти; я также расспросил его поверенного, выезжавшего на место сразу по получении известия, понеже сам доктор (уже согбенный старец) о ту пору занемог.

Настоятельно прошу В.Сиятельство (а равно и досточтимую супругу Вашу, коей нижайше свидетельствую свое почтение) не принимать известие о печальном конце Терлоу за доказательство того, что оно может означать *prime facie* <на первый взгляд (лат.)>, сиречь за указание на куда более страшную трагедию. Те, кто истолковывает гибель Терлоу в этом смысле, суть малодушные невежды, более склонные видеть повсюду происки нечистого (*omne ignotum pro magifico est* <все неизвестное кажется грандиозным (лат.)>), нежели чем напрягать свою рассудительность. Их домыслы заслуживали бы вероятия, если бы сыскалось хоть одно тело, таковые же не обнаружены – ни та высокородная особа, в судьбе коей В.Сиятельство принимает участие, ни трое его неведомых спутников.

Если же держаться ближе к делу, то отрядил я на новые поиски две дюжины приметливых молодцев, знающих каждую тропинку *in loco* <на месте (лат.)>, посулив им щедрую награду, с тем чтобы они осмотрели окрестность, где обнаружился сундук. Они не оставили без внимания ни единой пяди земли, ни единого куста, причем поиски их простирались и далее – *idem* <также (лат.)> с тем же тщанием в тех местах, где был найден Терлоу, и окрест. Спешу уверить В.Сиятельство, что и следов никаких не сыскано: *auspicium melioris aevin* <добрый знак (лат.)>. Спешу также уверить В.Сиятельство, что тайность сего предприятия, на которой Вы, В.Сиятельство, особо настаивали, нарочито мною соблюдается. В случае надобности я объявляю себя Меркурием на посылках у Юпитера – доверенным лицом того, чья власть достигает далеких пределов, однако ж не даю и намека на точный титул моего высокого доверителя. Одному лишь доктору Петтигрю открыл я часть правды – а именно ту, что пропажа сия не из ряда обыкновенных; доктор достойный человек строгих правил, и на него можно полагаться.

В.Сиятельство как-то раз сделали мне честь, с похвалою отозвавшись о моем чутье и заметив, что доверяете моему носу столь же всецело, что и носу любимой гончей. Если В.Сиятельство еще не разуверились в сем прорицательном органе, осмелюсь доложить: нюх мой подсказывает, что человек, коего я разыскиваю, жив и здоров и непременно будет найден.

Притом не могу не признаться, что разгадать цель его появления в сих

местах весьма затруднительно, и, не напав на след, я не имею возможности делать какие-либо заключения. Ясно, что внешний повод для путешествия был избран *ad captandum vulgum* <букв.: «в угоду черни» (лат.)> – дабы отвести глаза посторонним. И все же не постигаю, какая бы причина могла заставить Его Милость, изменив обычным своим привычкам и вкусам, отправиться в безрадостные и варварские западные края. Сии места, где Его Милость видели в последний раз, имеют некоторое сходство с менее приглядными и более лесистыми из долин, которые столь хорошо знакомы В.Сиятельству – с той лишь разницей, что располагаются здешние долины не на такой изрядной высоте и заняты больше лесами, нежели чем пустошами (прибавьте сюда еще и овечьи пастбища). Совсем безлесное место есть лишь одно – великая оскуделая возвышенность мерзостного вида, именуемая Эксмур; находится она в нескольких милях к северу отсюда. На ней берет начало река Экс. Ныне же приятности этим краям еще поубавили затянувшиеся на целый месяц дожди, подобных которым местные жители не упомнят и которые вредят и стогам, и молодым злакам, равно как и постройкам (здесь в ходу невеселая шутка, что, сколько бы мельниц ни претерпело поруху, большой беды не будет, ибо зерно все равно до жерновов не дойдет, будучи прежде загублено хлебною изгариною вкупе с мучнистою росой).

Здешняя чернь еще больше дичится приезжих, нежели наша; речь ее очень темна и погрешает против грамматики; о местоимениях и склонении оных тут не имеют никакого понятия: вместо «она» говорят «он» (*aitchum* по *amant*) <не любят произносить звук "h" перед гласными (лат.) (особенность ряда английских диалектов, с точки зрения литературной нормы, считается признаком просторечия)>, вместо "я" – «мы», звук "ф" произносят как "в" – словом, речь неотесанных беотийцев <жители Беотии, одной из областей Центральной Греции; в античной традиции слово «беотиец» было нарицательным для обозначения грубого, невежественного человека>, отчего мой писец взял на себя труд ее приглаживать, дабы В.Сиятельство не возмущался не правильностью слога и не затруднялся чтением. В этой убогой стороне, где Его Милость останавливался в последний раз, самый образованный человек – мистер Бекфорд. Я не сомневаюсь, что, не будь его епископы вигами, он бы оказал себя столь рьяным тори, что и Сачеверелл <Сачеверелл, Генри (1674-1724) – лондонский священник; 5 ноября 1709 г. произнес в соборе св.Павла проповедь, в которой обрушился на всех последователей различных религиозных сект и упрекнул правительство вигов в том, что оно потворствует сектантам; оскорбленные министры – виги обвинили

Сачеверелла в государственной измене; суд отклонил обвинение, однако Сачевереллу на три года запретили проповедовать> не шел бы с ним в сравнение. Завтра он может с легкостью перекинуться в магометанскую веру, если сие доставит ему житейские выгоды.

Полагаю, В.Сиятельство согласится со мною в том, что на новые находки в сих краях надежды мало. Дальнейшие мои розыски в Бидефорде и городишке, из коего я имею честь писать В.Сиятельству, были не более успешны, нежели чем расследование доктора Петтигрю. Одно лишь знаю за верное: Его Милость действительно побывал в этой глуши, но для какой okazji, мне сие неведомо.

Прежде чем пуститься по следу притворного дяди и его племянника, я не навел никаких справок о знакомствах Его Милости. Однако, как, должно быть, помнит В.Сиятельство, я удостоверился, что Его Милость не замечен в каких-либо тайных или незаконных связях такого рода, в коем можно было бы усмотреть причину присутствия девицы. Буде же подобная связь имелась и горничная на поверку оказалась бы знатной дамой, сомнительно, чтобы совместное бегство таковых двух особ уже не наделало бы шуму в обществе; но когда бы non obstante <все-таки, несмотря на это (лат.)> дело обстояло именно так, не странно ли, что они бежали в столь негодные (для сих целей) края, а не подались напрямиком в Дувр или же иное место ближе к французскому берегу?

Я поистине затрудняюсь объяснить В.Сиятельству, для какой нужды Его Милость взял с собой в дорогу еще и сих троих. Как не понять, что в видах сохранения тайности надежнее было бы пуститься в путь с одним слугою. Не могу предположить ничего другого, как то, что, путешествуя в обществе четырех спутников и определившись под начало к мнимому дяде, Его Милость уповал ввести в заблуждение преследователей – если он почему-либо имел причины таковых опасаться. Не лишено вероятия, что Его Милость попросту метал петли на манер зайца, да простит мне В.Сиятельство это выражение. Из Бидефорда и Барнстапла отходит множество судов в Ирландию и Уэльс, а некоторые также во Францию, Португалию и Кадис: после недавнего заключения мира торговля с сими последними приметно расширилась. Справившись в обоих портах, я установил, что в продолжении первых двух недель мая ни один корабль во Францию не отплывал (правда, несколько судов, как водится об эту пору, отплыли на Ньюфаундленд и в Новую Англию). Со всем тем я не слишком верю, что Его Милость избрал для бегства столь мудреный путь.

В.Сиятельству лучше меня известно взаимное расположение, связывавшее Его Милость и Терлоу. Я много над этим раздумывал – а

именно над тем, что добрый хозяин едва ли мог довести слугу до такого чудовищного поступка или по крайности – если такое подлинно случилось – не взяться за выяснение обстоятельств сей горестной утраты. На это у меня имеется лишь одно объяснение – что некая причина побудила Его Милость отослать Терлоу прочь и продолжать путь в одиночестве, Терлоу же (вполне вероятно) по слабости ума придал повелению Его Милости ложный смысл и, покинутый хозяином, с отчаяния наложил на себя руки. Впрочем, не стану больше утомлять В.Сиятельство этой догадкой.

В.Сиятельство, несомненно, обратили внимание на свидетельства служанки.

Из них явствует, что Его Милость захватил с собою в путешествие бумаги и инструменты, до его любимых ученых занятий относящиеся, – ношу не вполне сообразную со свиданием любовного свойства или с увозом своей любезной.

Посему почел я за нужное разведать, не слышно ли в сих окрестностях о каких-либо *curiosi* <любителях (лат.)>, занятых разысканиями в астрономии и математике. Через посредство доктора Петтигрю я свиделся с одним таким, имеющим жительство в Барнстапле. Этот джентльмен, мистер Сэмюел Дэй, живя на доходы от своего состояния, упражняется в естественных науках, о чем ведет переписку с Королевским обществом <старейшее научное общество Великобритании, основано в 1660 г.; выполняет функции национальной академии наук>, сэром Г.Слоуном <Слоун, Ганс (1660-1753) – английский врач и библиофил, в 1727-1741 гг. – президент Королевского общества; собрание книг Слоуна легло в основу Библиотеки Британского музея> и прочими.

Однако, расспросивши его, я не нашел в его ответах ничего для себя важного; он также усомнился, чтобы местность сия благоприятствовала каким-либо особым наблюдениям, каковые нельзя было бы произвести в иных местах. Он не припомнил больше ни одного человека сходных занятий отсюда до самого Бристоля, каковой человек мог бы возбудить любопытство у лондонского светила. Боюсь, что и в сем случае Ваш покорный слуга оказался *in tenebris* <в недоумении, в растерянности (лат.)>. Если подобное намерение было *primum mobile* <главная причина, цель (лат.)> путешествия, предпринятого Его Милостью, я решительно не постигаю, для чего столь невинная затея потребовала таких предосторожностей.

Кроме того, по совету доктора Петтигрю, я не далее как вчера посетил некоего мистера Роберта Лака, здешнего школьного учителя, который слывет человеком умудренным в науках и вдобавок изрядным говоруном.

Именно мистер Лак обучал грамоте покойного мистера Гея <Гей, Джон (1685-1732) – английский поэт, драматург и баснописец, автор классической пьесы английского театра «Опера нищих»> и до сих пор безмерно горд своим учеником и безмерно же слеп в рассуждении подстрекательских выпадов в его писаниях. Он всучил мне оттиск Геевых эклог, напечатанных лет двадцать назад под названием «Пастушеская неделя» <цикл из шести пасторальных поэм (1714) Дж.Гей, попытка создания своего рода реалистической пасторали>; мистер Л. уверяет, будто картины, нарисованные в этих эклогах, – верный снимок природы северного Девоншира. Мало того, охочий до виршей наставник навязал мне еще и томик собственных стишат, недавно изданный Кейвом <Кейв, Эдвард (1691-1754) – типограф и издатель знаменитого «Джентльменс мэгезин»

(«Журнала для джентльменов»)>, каковой, по словам мистера Лака, поместил отзыв о них в своем журнале; я прилагаю обе книги к этому посланию на тот случай, если В.Сиятельству угодно будет ознакомиться с сими безделками.

Что до моих розысков, то мистер Лак не сказал ничего путного – как, собственно, и о прочих предметах.

Завтра я полагаю выехать в Тонтон, а там нанять экипаж до Лондона, где намереваюсь проверить одно возникшее у меня подозрение. Смеею надеяться, В.Сиятельство не прогневается за то, что я немедленно не пускаюсь в пространные изъяснения оногo, ибо спешу как можно отправкою этого письма, сожалея, что не могу доверить его доставление в собственные руки В.Сиятельства подлинному крылатому Меркурию: мне ведомо, с каким нетерпением В.Сиятельство ожидает от меня известий; к тому же мне бы не хотелось обнадеживать В.Сиятельство, не имея к тому прочных оснований.

Буде основания сии упрочатся, я безотлагательно уведомлю о том В.Сиятельство. Уповаю на то, что В.Сиятельство знает меня достаточно и верит, что *quo fata trahunt, sequamur* <мы последуем туда, куда влечет нас судьба (лат.)>. Со всем усердием, какое Вы, В.Сиятельство, былыми милостями своими вменили мне в священнейший долг, остаюсь милостивого государя моего всенижайший и всепокорнейший слуга.

Генри Аскью.

Post scriptum. Мистер Лак сообщил мне только что пришедшие из Лондона известия о недавно вынесенном в Эдинбурге позорном обвинительном вердикте по делу капитана Портьюса <в апреле 1736 г. в Эдинбурге во время казни разбойника Уилсона мальчишки-зеваки стали

бросать в повешенного камнями и грязью; несколько камней попало в солдат городской стражи, которыми командовал капитан Портьюс; капитан приказал открыть огонь по толпе, вследствие чего 6 человек было убито и 11 ранено; суд возложил ответственность за это на Портьюса>, а также о случившейся неделю назад смуте в Шордиче <в июле 1736 г. вооруженные жители Шордича пытались силой изгнать ирландских рабочих, приехавших в эти места на заработки>, каковые известия без сомнения встревожили В.Сиятельство. Здесь полагают, что причиною сим непорядкам Закон о торговле джином, вызвавший всеобщее неудовольствие.

Г.А.

Человек с густыми бровями и бородавкой на носу стоит в дверях одной из палат Линкольнз-инн. На нем лиловато-дымчатый костюм, брюшко обтянуто коротким камзолом с неброским цветочным узором; в руках у мужчины трость.

Держится он с внушительностью, но, кажется, не подлинной, а принятой на себя с какой-то целью.

Стены палаты обшиты деревом. Одна почти целиком занята полками, на которых в особых футлярах выстроились тома судебных дел, содержащих юридические прецеденты; здесь также немало свитков и пергаментов. Перед полками высокая конторка и табурет, на конторке аккуратно разложены письменные принадлежности и стопа бумаги. Напротив мерцает мрамором камин.

На каминной полке – бюст Цицерона, по сторонам от него – серебряные подсвечники. Сейчас свечи не горят, нет огня и в камине. Из окон, смотрящих на юг, в безмятежный уют комнаты врываются снопы утренних лучей, а за окнами... за окнами чуть поодаль зеленеют кроны сомкнувшихся стеной деревьев. Верхняя часть оконной рамы опущена, и снаружи долетает далекий, но напевный клич разносчицы яблок (для них сейчас самый сезон); в комнате же стоит тишина.

Щуплый человечек в сером костюме и парике, сидящий за круглым столом в дальнем углу, погружен в чтение. Он не отрывается даже при появлении посетителя. Мужчина в дверях оборачивается, но провожатый,

оставив его на пороге, как сквозь землю провалился. Визитер театрально покашливает – не для того, чтобы прочистить горло, а чтобы обратить на себя внимание зачитавшегося человека за столом. Только теперь тот поднимает голову. Он, очевидно, несколькими годами старше посетителя, но заметно уступает ему по комплекции: такой же тщедушный, как Вольтер или Поуп <Поуп, Александр (1688-1744) – английский поэт-классицист, автор сатирических, лирических и философских произведений>. Мужчина в дверях снимает шляпу, изображает что-то вроде церемонного взмаха и слегка кланяется.

– Я имею честь говорить с мистером Аскью? Мистер Фрэнсис Лейси к вашим услугам, сэр.

Как ни странно, сухонький стряпчий даже не думает отвечать на приветствие, он лишь откладывает бумаги, несколько откидывается назад на высокую спинку кресла, в котором он кажется совсем карликом, и скрещивает руки на груди, а затем чуть склоняет голову набок, точно дрозд, высматривающий мошку. Серые, посверкивающие глаза глядят на гостя холодно и пристально. Мистер Фрэнсис Лейси немного озадачен таким приемом. Решив, что забывчивый законник просто не узнал его по имени, он поясняет:

– Драматический актер, сэр. Прибыл для встречи с вашим клиентом, как договорено.

Наконец стряпчий произносит первое слово:

– Садитесь.

– Благодарствую, сэр.

Растерявшийся было актер вновь напускает на себя значительность и направляется к стулу возле стола как раз напротив стряпчего. Но не успевает он занять свое место, как дверь за его спиной открывается и тут же захлопывается. Актер поворачивает голову. У дверей безмолвно замер долговязый чиновник в черном костюме – этакая цапля в вороньем оперенье. В руках у него том в кожаном переплете. Он так же, как и его патрон, впивается взглядом в посетителя – правда, в его глазах читается явное ехидство. Лейси оборачивается на коротышку-стряпчего и снова слышит:

– Садитесь.

Расправив фалды, актер садится на стул. Воцаряется молчание. Стряпчий по-прежнему сверлит посетителя глазами.

Обескураженный актер запускает руку в карман камзола и достает серебряную табакерку. Открывает и протягивает стряпчему:

– Не употребляете, сэр? Из Девайзеса, самый отменный.

Аскью качает головой.

– Тогда, с вашего позволения...

Лейси отсыпает две щепотки табака в ямку под большим пальцем левой руки и вдыхает, потом защелкивает табакерку и убирает в карман, тут же достает кружевной платочек и утирает нос.

– Ваш клиент сочиняет для сцены и желал бы услышать мой совет?

– Да.

– Хвастать не буду, но лучшего советчика ему не сыскать. Немного найдется актеров, столь же сведущих в нашем искусстве, и даже мои недоброжелатели делают мне честь такими признаниями.

Лейси умолкает, надеясь услышать вежливое согласие, однако стряпчий с похвалами не спешит.

– Позвольте полюбопытствовать, кого же избрал ваш клиент своей музой: насмешливую Талию или, может, горестную Мельпомену?

– Его муза Терпсихора.

– Как вас понимать, сэр?

– Эта ведь она муза танцев, верно?

– Боюсь, сэр, вы обратились не к тому, кто вам нужен. Я не танцмейстер.

По части пантомимы вам больше поможет мой приятель мистер Рич <Рич, Джон (1692-1761) – выдающийся английский актер, режиссер и антрепренер, основатель театра Ковент-гарден; работал в жанре театральной пантомимы>.

– Нет, вы-то мне и надобны.

Лейси слегка приосанился.

– Я драматический актер, сэр. Мои таланты ведомы всем лондонским знатокам.

Руки стряпчего все так же скрещены на груди, на губах застыла холодная усмешка.

– А скоро станут ведомы всем знатокам Тайберна <место публичных казней в Лондоне, просуществовало до 1783 г.>. Мой клиент сочинил для вас, милейший, новую пьесу. Ее название – «Лесенка да петелька, или Прыг-скок, земля из-под ног». И в этой пьесе вам предстоит проплясать джигу на эшафоте в пеньковом галстукe.

Лицо Лейси вытягивается, но он быстро овладевает собой и выпрямляется на стуле, отведя в сторону трость.

– Что за дерзкая шутка, сэр?

Маленький стряпчий встает и, опершись руками на стол, чуть наклоняется к своей жертве.

– Это не шутка... мистер Браун . Видит Бог, не шутка, бесстыжий негодяй.

Актер как замороженный смотрит в горящие глаза стряпчего: не то изумляется внезапно заполыхавшему в них гневу, не то не верит своим ушам.

– Мое имя...

– Четыре месяца назад в графстве Девоншир вы называли себя Брауном.

Осмелитесь отпираться?

Актер поспешно отводит взгляд.

– Вы забываетесь, сэр. Я ухожу.

Он поднимается и поворачивается к двери. Караулящий у выхода чиновник не двигается с места, однако ухмылка с его лица исчезла. Он вытягивает перед собой руки, в руках у него та самая книга, и теперь видно, что на ее кожаном переплете вытиснен крест. Голос стряпчего звучит сурово:

– Ваши плутни открыты, сударь мой.

Лейси вновь поворачивается к стряпчему и замирает, выпрямившись в полный рост.

– Не пытайтесь пронять меня цветистым пустословием. Давно ли вашего брата за эти кривляния прилюдно драли плетьюми <речь идет о гонениях на театр в период Английской революции, когда парламентским декретом театры были обречены на снос, а актеры приравнены к бродягам>. Добром прошу, сойдите с котурнов. Вы в храме правосудия, а не на подмостках, где вы привыкли расхаживать в пышной короне из грошовой мишуры и чаровать безмозглых ротозеев своими фанфаронадами. Понятно ли я изъясняюсь?

И снова актер, не вынеся тяжелого взгляда, отводит глаза, тоскливо смотрит в окно, на зеленые кроны, словно ему не терпится выбраться туда.

После недолгого молчания он вновь поворачивается к стряпчему:

– Я желаю знать, по какому праву вы так со мной разговариваете.

Стряпчий вытягивает маленькую ручку и, сверля посетителя глазами, начинает по пальцам перечислять основания, дающие такое право:

– Первое: по наведении надлежащих справок был я уведомлен, что в означенное время вы в Лондоне отсутствовали. Далее, я посетил те места, в коих вы в ту пору пребывали, – проехался по следу двуличного плута. Далее, я располагаю письменными показаниями, подтвержденными присягой и содержащими наиподробнее описание вашей наружности, – вплоть до указания на тот самый нарост, который я вижу у вас на левой

ноздre. Далее, стоящий позади вас чиновник имел беседу с неким человеком, каковой, в означенное время наведавшись зачем-то к вам домой, узнал, что вы отбыли по своей надобности в западные графства. Спросите, от кого я узнал? От кого как не от вашей жены! Или у столь великого лгуна и супруга преизрядная лгунья?

– Я и не спорю, мне в то время действительно случилось выехать в Эксетер.

– Ложь!

– Можете сами удостовериться. Спросите в «Корабле», что возле собора, – там я и останавливался.

– За каким же делом вы туда отправились?

– Мне был обещан ангажемент... Только ничего не вышло.

– Оставим эти побочности, Лейси. Я еще не все исчислил. Далее, с вами был слуга, валлиец по имени Фартинг. Пустейший малый – такому фартинг и есть красная цена. С собою вы везли особу, путешествующую под видом горничной, – некую Луизу... Ну вот, сэр, вы уж и глаза опускаете. Стало быть, есть отчего. Погодите, вы и не такое услышите. Путешествовал с вами еще один человек, глухонемой слуга вашего мнимого племянника мистера Бартоломью. И слуга этот не канул, как прочие. Он был найден мертвым, и у нас имеется подозрение, что неизвестный злодей, поднявший на него руку, совершил еще одно подлое убийство. Неизвестный лишь до недавних пор, сэр, – теперь же он стоит передо мной.

При слове «мертвый» актер поднимает глаза. Все его притворство мгновенно улетучилось.

– Как... найден мертвым?

Стряпчий медленно откидывается на спинку кресла. С минуту он молчит, поглядывая на стоящего у дверей чиновника. Затем соединяет кончики пальцев обеих рук и более дружелюбно произносит:

– Что ж тут такого, сэр? Вам-то что беспокоиться? Вы ведь в то время были в Эксетере – договаривались об ангажементе.

Актер молчит.

– Это не вы в марте и апреле – до самой Страстной недели – играли главную роль в дерзостной новой комедии, что представляли в театрике на улице Хеймаркет? <Хеймаркет – один из крупнейших сегодня лондонских театров; основан в 1720 г.> Сатира под названием «Пасквин» <сатирическая комедия классика английской литературы Джона Филдинга; написана и поставлена в 1736 г.; в комедии обличалась продажность современных Филдингу политиков – в частности, содержались выпады по

адресу тогдашнего премьер-министра Роберта Уолпола (1676-1745), с именем которого связывали разгул коррупции в парламенте», сочинение отъявленного мерзавца, некоего Филдинга.

– Кто же про это не знает. Пьесу весь Лондон перевидал.

– Вы играли Фустиана, верно? И что, большая роль?

– Да.

– Мне сказывали, будто пьеса имела шумный успех. Неудивительно: в век, для которого нет ничего святого, кто имеет наглость глумиться над государственными установлениями, того непременно ждет успех. Сколько же раз вы ее представляли? Страстная неделя, помнится, началась семнадцатого апреля, так?

– Точно не скажу. Представлений тридцать сыграли.

– Ошибаетесь, сэр. Тридцать пять. Ни одна пьеса не держалась так долго со времен столь же возмутительной «Оперы нищих», не правда ли?

– Может быть.

– Вам ли не знать. Вы же и в этой пьесе игравали – семь или восемь лет кряду.

– Да, маленькую роль, чтобы удружить мистеру Гею. Я сподобился чести сыграть в его комедии, потому что мы с ним приятели.

– Честь! Скажите на милость! Много ли чести в том, чтобы вывести достойнейшего человека государства, притом первого министра, в виде мошенника и грабителя? Вы ведь играли роль Робина Хапуги, злостный и непристойный пасквиль на сэра Роберта Уолпола? Хороша и жена ваша – она в этой комедии, кажется, представляла бесстыжую шлюху Долли Дай? Вот уж верно без труда справилась с такой ролью.

– Сэр, эти ваши слова – возмутительная клевета! Моя жена...

– Подите вы с вашею женою! Я о вас осведомлен много лучше, чем вам воображается. И так же хорошо осведомлен, что приключилось двадцать шестого апреля, когда возобновились представления «Пасквина». Они-то возобновились, а вы возьми да исчезни, и вашу распрекрасную роль играл другой актер, некто Топем. Так или не так? Я наслышан о вашей лживой увертке, сэр: свидетели сказывали, под каким предлогом вы нарушили договор с театром. Но кто поверит, что вы отказались от роли в наилюбезнейшей нынче у публики пьесе – а ведь вам причиталась изрядная доля от сборов – и помчались в Эксетер, взманившись обещанием нового ангажемента? Вас, Лейси, перекупили, а кто перекупил, я знаю.

Актер слушает эту речь, клонясь вперед и слегка потупившись. Наконец он поднимает глаза и уже другим тоном – просто, без малейшего наигрыша – произносит:

– Я ни в чем не виноват. Ни сном ни духом не ведаю про... про то, о чем вы рассказали. Присягнуть готов.

– Признаете ли вы, что в последнюю неделю апреля за плату согласились сопровождать человека, именующего себя мистер Бартоломью, в его путешествии в западные графства?

– Сперва я хочу знать, какие последствия возымеет мой ответ. Это мое право.

Маленький стряпчий отвечает не сразу.

– А вот я вам растолкую ваши права. Станете и дальше заператься – вас прямо из этой палаты свезут в Ньюгейтскую тюрьму, а придет время, закуют в кандалы и отправят в Девоншир, на выездное заседание суда. Сознаетесь и подтвердите свои слова под присягой – ну, там видно будет. Это уж решать тому, кто препоручил мне это дело. – Стряпчий поднимает палец и строго продолжает:

– Но предупреждаю: рассказывать все без утайки. А не то мы с моим патроном вас вдребезги расшибем, как фарфоровую миску. Стоит ему только кивнуть, от вас мокрого места не останется. Пожалеете, что на свет родились.

Актер вновь тяжело опускается в кресле. Качает головой и озирается на двери.

– Что скажете, сэр?

– Меня обманули, сэр, жестоко обманули. Я полагал за верное, что эта затея – всего лишь пустячная проделка с невинной и даже благой целью. – Актер смотрит в лицо стряпчего. – Хоть вы и сомневаетесь в моих словах, но все же перед вами честный человек. Что я повинен в легковерии и безрассудстве – этого я, увы, отрицать не могу. Но я не умышлял и не совершил ровно ничего дурного. Поверьте мне, умоляю!

– Что мне ваши уверения. Вы мне подавайте доказательства – тогда поверю.

– А к досточтимой миссис Лейси вы несправедливы. Она к этой истории нимало не причастий.

– Разберемся.

– Спросите обо мне кого угодно, сэр. Я в нашем ремесле человек не безвестный. Я коротко знал мистера Гея и приятельницу его герцогиню Квинсбери и ее вельможного супруга. Мне оказал честь своим знакомством генерал Чарльз Черчилль – с ним я чаще встречался на Гроувенор-стрит при жизни миссис Олдфилд. Я знаком с мистером Ричем из Гудменз-филдз. С поэтом-лауреатом мистером Сиббером, с мистером Квинном, с достопочтенной миссис Брейсгердл. Я свое ремесло не позорю – не Томас

Уокер какой-нибудь <герцогиня Квинсбери, Кэтрин Хайд (1700-1777) славилась своей красотой и эксцентричностью, ее окружали наиболее видные литераторы и политики того времени (Гей, Свифт, Уолпол и др.); Олдфилд, Энн (1683-1730) – одна из наиболее прославленных английских актрис XVIII в., играла в пьесах Филдинга, Сиббера, драматургов Реставрации, о ее игре одобрительно отзывался Вольтер; Гудменз-филдз – лондонский театр, существовавший с 1729 по 1802 г.; Сиббер, Колли (1671-1757) – посредственный, но весьма влиятельный в литературных и театральных кругах актер, драматург и поэт;

Квин, Джеймс (1693-1766) – известный английский трагик, соперник великого Дэвида Гаррика; Брейсгердл, Энн (1673/4-1748) – актриса, считавшаяся красой английской сцены, особый успех принесло ей исполнение ролей в комедиях У.Конгрива, покинула сцену в 1707 г., поняв, что не может соперничать с новой «звездой» Энн Олдфилд; Уокер, Томас – актер театра Гудменз-филдз>.

Стряпчий смотрит на посетителя и не произносит ни слова.

– Уж не прогневал ли я ненароком какую важную особу?

Стряпчий все так же безмолвно буравит его взглядом.

– Чужало мое сердце. Знал бы наперед, чем это кончится...

В ответ – опять молчание.

– Что же мне делать?

– Принести присягу и рассказать все без изъятия. С самого начала.

ДОПРОС И ПОКАЗАНИЯ ФРЭНСИСА ЛЕЙСИ,

Данные под присягою августа 23 числа, в десятый год правления Государя нашего Георга Второго, милостью Божией короля Великой Британии, Англии и прочая.

Я зовусь Фрэнсис Лейси. Жительство имею на Харт-стрит, что подле сада, через два дома от «Летящего ангела». От роду мне пятьдесят один год. Я родился в Лондоне, в приходе св.Эгидия. Я актер, сын Джона Лейси <Лейси, Джон (? – 1681) – комический актер и драматург периода Реставрации, любимец Карла II; современники отмечали его исполнение роли Фальстафа>, бывшего в великой милости у короля Карла.

В: Прежде всего ответьте на нижеследующий вопрос. Было ли вам ведомо, что истинное имя джентльмена отнюдь не Бартоломью?

О: Да.

В: Было ли вам ведомо, кто он таков на самом деле?

О: Нет, сэр, я и поныне того не знаю.

В: Когда вы виделись с ним в последний раз?

О: Первого мая.

В: Известно ли вам, где он нынче?

О: Нет.

В: Забыли про присягу?

О: Истинная правда, сэр.

В: Вы можете поклясться в том, что с самого мая первого числа не виделись с ним, не имели с ним сношений и не получали от него известий через какое-либо третье лицо?

О: Как перед Богом. А уж как бы хотелось о нем проведать!

В: Теперь расскажите то же самое о двух других спутниках – вашем слуге и горничной.

О: Я и о них не имел известий с того самого дня. Верьте слову, сэр. Тут такая оказия вышла. Если угодно, я объясню...

В: Успеется. Объясните в свое время. А сейчас – готовы ли вы поклясться, что не знаете, где обретаются и эти двое?

О: Клянусь. И в том еще клянусь, что до сего дня ничего не знал о гибели слуги. Позвольте спросить...

В: Не позволяю. И Боже вас упаси солгать!

О: Убей меня Бог, если солгу.

В: Хорошо же. Но помните: сколько бы вы ни отговаривались, что не предвидели последствий, суд этого в соображение не возьмет. Сообщник преступника – он и есть сообщник преступника. А теперь послушаем, что вы имеете сообщить. Начните с самого начала.

О: Престранная история, сэр. Я в ней выхожу круглым дураком. Чтобы хоть немного оправдаться, расскажу ее так, как она мне виделась в ту пору. Без оглядки на то, что узнал задним числом.

В: Вот это дело. Начинайте же.

О: Случилось это в середине апреля. Как вам известно, я тогда играл роль Фустиана в «Пасквине» юного мистера Филдинга и могу без ложной скромности сказать...

В: Оставьте свою неложную скромность при себе. К делу.

О: Я лишь хотел сообщить, что пьеса была благосклонно принята публикой, а моя игра замечена – это, смею думать, также имеет касательство до дела.

Как-то утром, за день или два до того как нам прервать представления по причине Пасхи, приходит ко мне на Харт-стрит этот самый Дик и

приносит письмо от своего хозяина. Имени своего тот не поставил, а подписался Philocomoedia <любитель комедии (греч.)>. В пакете был другой пакет, поменьше, в нем – пять гиней. Писавший пояснял, что сим подношением изъявляет признательность за мою игру, о которой он отзывался в весьма хвалебных выражениях.

В: Вы сохранили это послание?

О: Оно у меня дома. Но я помню его наизусть. Да и не в письме сила.

В: Продолжайте.

О: Писавший уверял, что посещал наше представление уже трижды с единой лишь целью насладиться моим талантом. Далее он просил сделать ему любезность, повидавшись с ним лично, поскольку он желает обсудить одно дело, клонящееся ко взаимной выгоде. Он назначал место и время встречи, однако же, в случае если я найду их для себя неудобными, готов был принять мои условия.

В: Где и когда он предлагал встретиться?

О: На другое утро в кофейне Тревелиана.

В: Вы согласились?

О: Согласился. Признаться, дар его показался мне щедрым.

В: И впереди уже мерещились новые гиней?

О: Прибавьте – честно нажитые, сэр. Мое занятие не слишком доходно, ваше подойдет.

В: Вас не удивило это подношение? Разве одарять золотом в залог будущих свиданий принято актеров, а не актрис?

О: Нет, сэр, нимало не удивило. Не у всех столь невыгодное мнение о театре, как у вас. И среди джентльменов много таких, кто не чурается нашей компании и находит приятность в беседах о драматических сочинениях и актерской игре. А есть такие, что и сами ищут стяжать лавры и не считают зазорным обращаться к нам за советом и поддержкой в надежде увидеть плоды своего вдохновения на сцене. Вот и нынче мне было возмнилось, что вы призвали меня для таких именно услуг. И поверьте, это не в первый раз. Мне и самому случалось перекладывать французские пьесы на английский язык – и какой был успех! Мой «Дворянин из мещан», переделанный из комедии Мольера, стал...

В: Будет, будет. Итак, наш Росций <Росций, Квинт (? – 62 до н.э.) – один из знаменитейших комических актеров древнеримского театра> пустился на заработки. Что дальше?

О: У дверей Тревелиановой кофейни меня дожидался глухонемой слуга – Дик. Он препроводил меня в отдельный покой. Там я и познакомился с мистером Бартоломью.

В: Именно так? Мистер Бартоломью?

О: Да: так он себя назвал.

В: Он был один?

О: Один, сэр. Мы сели, он повторил лестные слова из своего письма, расспросил о моей жизни, о прочих ролях, которые я игрывал.

В: Он говорил со знанием дела?

О: Нет, сэр, знатоком он не притворялся. Он признался, что прибыл в Лондон и приохотился к театру лишь недавно, до сих пор же его ум занимали другие материи.

В: Откуда он прибыл?

О: Из северных краев, сэр. Из каких точно, он не сказывал, но по выговору я предположил, что с северо-востока. Так говорят выходцы из северного Йоркшира.

В: Какие же материи его занимали?

О: Естественные науки. Он поведал, что по выходе из университета искусства почитал за предметы для себя посторонние.

В: Что он рассказывал касательно своей вымышленной родни?

О: Я как раз к тому и подхожу. Закончив свой изрядно пространный рассказ о себе, я учтивейшим образом любопытствовал, из какой фамилии он происходит. Он, как мне показалось, смутился и ответствовал лишь, что он младший сын одного баронета, но прочих подробностей не сообщил, и мы перешли к главному предмету разговора. Должен вас предупредить, что в дальнейших его речах правды не было ни на волос.

В: Излагайте, что он говорил, не меняя ни слова.

О: Мне бы не хотелось отнимать у вас...

В: Мое время – не ваша печаль. Рассказывайте.

О: Вначале он сделал некоторые гадательные соображения. Я позднее узнал и постараюсь показать вам, что такой способ вести разговор был у него в обычае. Он спросил, что бы я ответил, если бы мне предложили за сходное вознаграждение сыграть роль, имея зрителем его одного. Я пожелал узнать, какого рода роль. «Ту, что я дам», – ответствовал он. Решивши, что мы наконец добрались до сути, я было вообразил, что он принес свое сочинение и расположен послушать, как я стану его декламировать. И я ответил, что счастлив буду оказать ему таковую услугу. «Хорошо, – сказал он. – Только это придется проделать не здесь и не сейчас. К тому же, мистер Лейси, представление может растянуться на несколько дней, а то и недель. Я принужден просить вас приступить к делу уже в последних числах месяца, ибо мне нынче всякий день дорог. Мне известно, что у вас ангажемент с Маленьким театром <первоначальное

название Хеймаркета», а посему, дабы отъезд со мной не стал вам в убыток, я положил хорошо вас обеспечить». Так и выразился. Я, признаюсь, растерялся, а когда он стал выпрашивать, сколько мне платят за выход в Хеймаркете, у меня и вовсе голова пошла кругом. Я растолковал ему, как у нас в театре принято делить сборы, и расчел, что мой средний прибыток составляет пять гиней в неделю. На что он сказал: «Хорошо. За свою роль я положу вам пять гиней в день, сколько бы сборов вы ни сделали. Считете ли вы такую награду достойной вашего таланта?» Я ушам не поверил. Ведь экое богатство привалило! Сперва я решил, что он шутит. Но оказалось, что у него и в мыслях нет шутить.

Приметив мои колебания, он объявил, что, так как для исполнения роли мне придется отъехать с ним в чужие края и пробыть там около двух недель, а также претерпеть прочие неудобства, то он за мое согласие с готовностью накинёт ещё тридцать гиней, отчего вся награда за мои услуги составит целую сотню. А надобно добавить, мистер Аскью, что обстоятельства мои не столь благополучны, чтобы бросаться такими изрядными прибытками. Мыслимое ли дело – за две недели заработать столько, сколько я не прочь был бы выручить за полгода трудов! Притом, как я заметил, «Пасквин», что называется, поизыгрался: сборы уже не те. Да и конец сезона не за горами.

Двумя днями раньше, когда я хворал, роль мою сыграл мой приятель мистер Топем. Публика ему тоже малым делом похлопала, хотя...

В: Довольно об этом. Я уже понял: соблазн был велик. Ближе к делу.

О: В довершение всего мне уже мнилось, что я постигаю его замысел – что он задумал сделать неожиданный подарок домашним и друзьям, живущим в его родной провинции, доставив им приятность театральным представлением.

Однако он скоро меня разуверил. Я приступил к нему с расспросами. Его ответ, сэр, я запомнил *verbatim* <дословно (лат.)>. "Мне, мистер Лейси, нужен человек, который согласился бы сопровождать меня в путешествии.

Человек степенный и надежный. Вам же не составит труда сыграть эту роль, ибо эти качества у вас в натуре". Я поблагодарил его за добрые слова, но прибавил, что никак не возьму в толк, для чего ему понадобился подобный спутник. Тут он опять смешался и вместо ответа встал, подошел к окну и как бы погрузился в глубокую задумчивость. Вслед за тем он оборотился ко мне с таким видом, будто намерен повернуть дело на иную статью, и извинился за то, что прибег к лукавству: хитрить не в его правилах, но как быть, если он не привык открывать душу чужим. Потом он сказал: «Мне непременно надо кое с кем повидаться, от этой встречи зависит вся

моя жизнь, однако некто полагает к тому препоны, вследствие чего мне придется обставить путешествие таким образом, чтобы никто не догадался о подлинной его цели».

И он с чувством прибавил, что его умысел не таит в себе ничего бесчестного и недостойного. «Я жертва гонений жестокой и несправедливой судьбы, – восклицал он, – и теперь хочу поправить ею содеянное!» Слово в слово так и сказал, сэр.

В: Что было дальше?

О: Я, как вы верно догадываетесь, пришел в замешательство и осмелился предположить, что речь идет о даме, о сердечной привязанности. На что он горестно улыбнулся и молвил: «Если бы только привязанность, Лейси! Я влюблен, я сгораю от любви!» И он рассказал о суровом и неумолимом отце, о леди, которую тот прочит ему в жены, потому что она богата и старик имеет виды на ее земли, пограничные с его поместьем. И это при том, что невеста десятью годами старше мистера Бартоломью. Он сказывал, будто уродливейшей вековухи не сыскать на полсотни миль окрест. Но будь она даже первой красавицей, мистер Бартоломью все равно не мог бы исполнить волю отца, ибо еще в прошлом октябре, будучи в Лондоне, он воспылал страстью к юной леди, которая приезжала в город со своим дядей-опекуном.

В: Ее имя?

О: Имени он не назвал. Юной леди грозила беда вот какого свойства.

Оставшись сиротой, она по достижении совершенного возраста должна была войти во владение родительским поместьем. У дядюшки же ее, опекуна, имелся сын, хоть сейчас готовый под венец. Дальнейшее и так понятно.

В: Вполне.

О: Мистер Бартоломью рассказал, что опекун сведал о его чувствах. Но это бы еще полбеда. К несчастью, открылось обстоятельство, которое на иной взгляд можно было бы, напротив, почесть счастливым – что девушка отвечает мистеру Бартоломью взаимностью. Вслед за чем юную леди, не упуская нимало времени, увезли в Корнуолл, где располагается поместье опекуна.

В: И посадили под замок?

О: Именно так. Однако при посредстве горничной, которую юная леди сделала своей наперсницей, влюбленные учинили тайную переписку. Любовь в разлуке только крепнет, и скоро страсть молодых людей разгорелась пуще прежнего. И вот, вконец отчаявшись, мистер Бартоломью сообщил о своих чувствах родителю в надежде вымолить у него согласие и

помощь. Но что чувства против отцовского своекорыстия! Отец не терпел, когда ему перечили. Слово за слово, дошло до резкостей... Я рассказываю эту историю, как слышал, мистер Аскью, только без дальних околичностей, кое-что опускаю.

В: Продолжайте.

О: Коротко говоря, мистер Бартоломью отверг невесту, предназначенную ему отцом, за что тот прогнал его из дому, наказав не возвращаться, пока не поостынет и не уразумеет свой сыновний долг. К этому он присовокупил угрозу, что если сын не образумится, то все его упования окажутся тщетны.

Мистер Бартоломью полетел в Лондон, снедаемый любовным жаром и досадуя на несправедливость, ибо, хоть избранница его и уступала в богатстве той, что прочил ему отец, она все же получила достаточное состояние и отменное воспитание, а что до красоты, то много превосходила оставленную дома невесту. В Лондоне молодой человек решил добиваться своего, с каковой целью пустился на запад.

В: Когда это происходило?

О: За месяц до моего с ним знакомства. Он признался, что при этом не имел никакого особого умысла и сам не понимал, что понуждает его отправиться в путь – кроме разве неудержимого желания вновь повидаться со своей любезной и уверить ее, что затеянный отцом брак ему ненавистен, что лишь она навеки поселилась в его душе и...

В: Избавьте меня от этих ненужных уверений.

О: Слушаюсь, сэр. Приехавши на место, он обнаружил, что его упредили.

Как – осталось ему неизвестно; возможно, какое-то из писем попало в руки опекуна. Мистер Бартоломью признавался, что в Лондоне оплошкой открыл свой замысел друзьям, и, должно быть, отзвуки этого разговора дошли до слуха его недругов. Притом путешествовал он под своим именем и большую часть пути проделал в наемном экипаже, поэтому у него явилось подозрение, что толки о его приезде долетели до опекуна раньше, чем молодой человек прибыл на место. Так или этак, дом оказался пуст, и никто не мог сказать, куда же отправилось семейство. Сказывали только, что отбыли они не далее как вчера, и в превеликой спешке. Молодой человек тщетно прождал целую неделю.

Пытался хоть что-то разведать, но все попусту: как видно, могущество дяди-опекуна простиралось на всю округу. С тем мистер Бартоломью и вернулся в Лондон. Там, сэр, его дожидалось письмо, в коем юная леди черным по белому писала, что ее увезли против воли, что дядя разгневан на

нее до последней крайности и всякий день делает все что в его власти, дабы принудить ее к браку со своим сыном, ее кузеном. Что кузен – последняя ее надежда, ибо, любя ее, не станет насиловать ее волю, как бы ни хотел того отец. Однако она опасалась, что и это доброе обстоятельство послужит лишь временной отсрочке, поскольку сердечная склонность кузена сходственна с желанием его отца. К этому она добавляла, что горничная, через которую велась их переписка, получила расчет и она (хозяйка, то бишь) лишилась подруги и наперсницы и пребывает в отчаянии.

В: Его резоны мне понятны. Переходите к делу.

О: Мистер Бартоломью рассказал, что, как выяснилось, вся семья возвратилась в поместье и теперь он намеревается последовать туда же, однако на сей раз сохраняя сугубую тайность. С этой целью он притворно объявил прежним своим лондонским знакомцам, что-де оставил всякую надежду соединиться с юной леди и готов с повинной головой предстать перед отцом.

При этом он страшился, как бы дядя-опекун стороной не прознал о его мнимом отступничестве и не известил племянницу, которая может этому слуху поверить. Поэтому мистер Бартоломью положил отправиться в путь без промедления, под чужим именем, не в одиночестве и... Словом, уже известным вам образом – будто бы едет за совсем иной надобностью. Такова коротко его история.

В: *Facile credimus quod volumus* <охотно верим тому, во что хотим верить (лат.)>. Вы, как видно, приняли на веру эти вздорные рассказы?

О: Сказать по правде, я был польщен его доверием. В его признаниях мне почудилась искренность. Если бы я заподозрил в нем юного лицемера, прожженного вертопраха... Клянусь вам, сэр, ничего похожего!

В: Хорошо. Что дальше?

О: Я изъяснил мистеру Бартоломью свое сочувствие, но сказал, что и все сокровища Испании не подвигнут меня на соучастие в незаконном деянии, прибавив, что и самый успех его предприятия чреват печальными последствиями.

В: Что же он на это?

О: В рассуждении своего отца он полагал за верное, что по прошествии времени его удастся склонить к прощению, поскольку до размолвки они были довольно дружны. Что до дяди, то жестокость его к племяннице и его помышления слишком очевидны – так захочет ли он, чтобы его поступки и своекорыстие были явлены всему свету? Так что если племянница покинет его кров, большой беды не будет: побрюзжит-

побрюзжит да и оставит дело без последствий.

В: И ему удалось вас уломать?

О: Меня еще терзали сомнения, мистер Аскью. Тогда он уверил меня, что вся вина за содеянное ляжет на него одного. Он уже все обдумал и предложил, чтобы соучастие мое простиралось не далее как на один день пути, а уж дальше он и слуга поедут сам-друг. Он божился, что не станет домогаться, чтобы я пособничал в увозе девушки. Мне, по его собственному выражению, надлежало всего лишь проторить ему путь к порогу возлюбленной.

Что будет дальше – не моя забота.

В: Он придумал, куда увезти девицу?

О: Он хотел переждать бурю во Франции, а как только жена придет в совершенный возраст, тотчас вернуться на родину и вместе с молодой супругой броситься к ногам отца.

В: Что было потом?

О: Я испросил у него ночь на размышление. У меня такой обычай – обо всех своих жизненных обстоятельствах советоваться с миссис Лейси. Я уж убедился: ее советы дорогого стоят. Если скажет, что такой-то ангажемент невыгоден, я от него отказываюсь. В свое время родители миссис Лейси отзывались о моем ремесле не лучше вашего, мистер Аскью. Вот слушал я, как мистер Бартоломью описывает свои тревожнения, а сам все вспоминал молодые годы. В подробности входить не стану – дело щекотливое, но ведь и мы с миссис Лейси не стали дожидаться родительского благословения. И хотя, по общему суждению, это и грех, все пришло к тому, что мы с миссис Лейси соединились браком как добрые христиане и живем душа в душу. Я не в оправдание себе, сэр, но, сказать по правде, вспомнил молодость, расчувствовался – вот и оплошал.

В: Жена присоветовала вам согласиться?

О: Не прежде чем помогла мне составить окончательное суждение о мистере Бартоломью или, лучше сказать, о чистоте его помыслов.

В: Что ж, выслушаем это суждение.

О: Я заключил, что мистер Бартоломью серьезный молодой человек, только что угрюм не по летам. Не скажу, чтобы он обнаружил много пылкости, говоря о своем предмете, и все же мне показалось, что намерения его благородны и идут от чистого сердца. Я повторю это и сейчас, после того как с достоверностью узнал, что меня провели и одурачили. И даже когда пелена упала с моих глаз... вообразите, сэр, я нашел, что передо мной другая пелена, гуще прежней. Но об этом после.

В: Вы виделись с ним наутро?

О: Да, снова в кофейне Тревелиана, в тех же покоях, к каковому времени успел переговорить с мистером Топемом касательно моей роли на театре.

Пришедши в кофейню, я сперва сделал вид, будто еще колеблюсь.

В: Верно, чтобы набить себе цену?

О: Вы по-прежнему судите обо мне превратно, сэр.

В: А вы по-прежнему настаиваете, что вас не сделали наемным орудием уголовного преступления? Да полно вам, Лейси. Не дело мешать Купидона с назначенным по закону опекуном. Не говоря уже о праве отца устраивать женитьбу сына по своему усмотрению. Довольно об этом. Рассказывайте дальше.

О: Я выразил желание побольше узнать о мистере Бартоломью и его подноготной, но он вежливо мне в том отказал, уверяя, что поступает так в видах не только своей, но и моей безопасности. Чем меньше я сведаю, тем меньше случится бед, если дело выйдет наружу. Ибо в таком случае я смогу отговориться незнанием истинной подоплеки *et cetera* <и так далее (лат.)>.

В: Вы не любопытствовали о подлинном его имени?

О: Да, сэр, позабыл упомянуть: к тому времени он уже признался, что по означенной причине назвался вымышленным именем. И много меня к себе расположил тем, что не стал упорствовать в обмане.

В: Вы не нашли, что манеры у него иные, нежели чем у джентльменов из провинции?

О: Должен ли я предположить...

В: Вы должны не предполагать, но отвечать на вопрос.

О: Нет, сэр, в тот раз мне так не показалось. Заметно было, что он в Лондоне еще не пообтерся, как он и сказывал.

В: По прошествии времени вы стали думать иначе?

О: У меня появились сомнения, сэр. От меня не укрылось, что человек этот знает себе цену и с трудом выдерживает свою роль, и я смекнул, что передо мною не просто сын помещика, но кто-то позначительнее. Кто именно – мне было невдомек, осталось принимать его таким, каким он хотел казаться.

В: Хорошо. Продолжайте.

О: Я просил его поручиться, что мои обязательства перед ним сохранятся лишь до того предела, который он сам положил. И что его последующие шаги, в чем бы они ни состояли, не будут сопряжены с насилием.

В: И как же он поручился?

О: Весьма торжественно. Даже вызвался, если я того пожелаю,

поклониться на Библии.

В: Расскажите, что же было на деле.

О: Он назначил отъезд через неделю, то бишь на следующий понедельник, апреля двадцать шестого числа. Накануне того дня – помните? – когда Его Высочество принц Уэльский венчался с принцессой Саксен-Готской. Мистер Бартоломью рассудил, что из-за всеобщей ажитации наш отъезд не привлечет внимания. Мне предстояло путешествовать под видом лондонского торговца, а он изображал моего племянника, именующего себя Бартоломью, и путешествие мы предприняли якобы для того, чтобы...

В: Знаю. Навестить тетушку из Бидефорда.

О: Точно так.

В: А не давал он намека, что за ним следят, что к нему приставлены соглядатаи?

О: Прямых улик он не приводил, однако из его слов явствовало, что некоторые лица ни перед чем не остановятся ради того, чтобы разлучить его с любимой, и станут чинить ему многоразличные препятствия.

В: О каких лицах он, по вашему разумению, говорил: о своих ли родных или о семействе девицы, о ее опекуне?

О: Мне сдается, что о первых, сэр. Как-то раз он упомянул своего старшего брата, каковой был в одних мыслях с их отцом, и мистер Бартоломью с ним так раздружился, что едва разговаривал.

В: Раздружился за то, что тот не вышел из отцовской воли?

О: За то, что тот, подобно отцу, ставил стремление нажить богатство и прибрать к рукам отменное поместье выше сердечной склонности влюбленного.

В: Вы покамест ни словом не обмолвились о пресловутом Фартинге и горничной.

О: Мы порешили приискать мне слугу. Мистер Бартоломью спросил, нет ли у меня на примете надежного сметливого человека, который справился бы с этой ролью и в пути оборонял нас от грабителей и тому подобных напастей. Я вспомнил одного такого.

В: Как его зовут?

О: Но он, право же, ни в чем не виноват. Я – и то выхожу грешнее его. По крайности в этой истории.

В: Отчего такое добавление – «по крайности в этой истории»?

О: Когда я с ним еще давно познакомился, он служил привратником в Дрюри-лейн <один из самых известных лондонских театров; основан в 1663 г.>. Но вскоре его отставили за небрежение. Слабость у него была:

любил выпить. Среди моих сотоварищей такой порок, увы, не редкость.

В: Он тоже актер?

О: Прежде, похоже, подвизался в актерах. Нынче при случае играет слуг и шутов: есть у него кой-какой комический дар. По рождению он валлиец.

Однажды я пригласил его сыграть Привратника в «Макбете» вместо занемогшего актера: другой замены не нашлось. Он имел некоторый успех, и мы было хотели и впредь давать ему роли, да вот незадача: даже на трезвую голову ни одной роли путем затвердить не мог, разве что самые короткие.

В: Как его имя?

О: Дэвид Джонс.

В: И вы говорите, что в последний раз видели его первого мая?

О: Да, сэр. Или, если быть точным, в последний день апреля, ибо в ту же ночь он тайком от нас бежал.

В: Дальше он ни с вами, ни с мистером Бартоломью не последовал?

О: Нет.

В: В свое время поговорим и об этом. С тех пор вы с ним не встречались?

Не получали о нем или от него никаких известий?

О: Видит Бог, не получал. Дней десять назад мне на улице повстречался один его приятель, так он тоже вот уже четыре месяца не имеет о нем известий.

В: Вам известно, где он проживал?

О: Знаю только, что прежде он все, бывало, попивал пунш в заведении на Бервик-стрит. По возвращении в Лондон я там несколько раз о нем справлялся. Он туда не заходил.

В: Мы ведь ведем речь о Фартинге?

О: Именно. Он, нас тайно покидая, на прощание оставил мне записку, в коей сообщал, что отправляется в Уэльс проведать матушку. Она живет в Суонси. Джонс мне как-то сказывал, она содержит захудалый кабачишко. Но так ли это и к ней ли он подался, мне неизвестно. Тут мне вам больше помочь нечем.

В: Вы его наняли?

О: Я привел его к мистеру Бартоломью. Тот посмотрел и остался доволен: крепкий малый, из себя удалец, оружие носит лихо, управляется с лошадьми.

Решили взять. Однажды мне случилось играть с ним в «Офицере-вербовщике» мистера Фаркера <Фаркер, Джордж (1678-1707) – английский

комедиограф>, Джонс изображал пьяного сержанта, бахвала и забияку. Публика ему рукоплескала, хотя не по заслугам честь: он и сам до начала представления так натянулся, что ему уже не было нужды – да и не вмоготу – являть свой талант, если б он его и имел. Но для успеха нашего замысла ему было предложено в путешествии держаться этой роли.

В: За какую плату?

О: За десять гиней. Одну в задаток, остальные при конце путешествия, чтобы не спился с круга. Это не считая прожитка.

В: Вы с ним так и не разошлись?

О: Нет, сэр. Как вы увидите дальше, он получил лишь малую часть. Это еще одна непонятность в этой истории – отчего он ударился в бега, когда ему вот-вот должны были отдать заработанное.

В: Его посвятили в те же тонкости, как вас?

О: Он знал лишь, что нам предстоит путешествие под вымышленными именами. О делах сердечных мы умолчали.

В: Уговаривать его не пришлось?

О: Ничуть. Я дал ему слово, что наша затея не включает в себе никакого злодеяния, и он поверил. Он ведь многим мне обязан.

В: Чем это вы его раздолжили?

О: Я, как уже сказывал, давал ему роли. А когда он лишился места в Дрюри-лейн, выхлопотал ему должность. Случалось – ссужал помалу деньгами.

Он хоть и повеса, но не мошенник.

В: Что за должность вы ему добыли?

О: Кучера у покойной миссис Олдфилд. Но ей пришлось его рассчитать – за пьянство. С тех пор он перебивался из куля в рогожку. То писцом у нотариуса, то мойщиком окон – да Бог весть кем еще. В последнее время портшезы носил. Одно слово, голь перекатная.

В: А по мне, он все-таки мошенник.

О: Главное, сэр, что отведенная роль, по театральному выражению, была ему как раз по фигуре. Он большой охотник выхваляться в дружеской компании. Да и рассказчик лихой, сто историй в кармане носит! Поскольку же человек мистера Бартоломью глух и нем, мы рассудили, что такой сотоварищ, как Джонс, нам и надобен: будет отвлекать на себя внимание честной публики, когда станем останавливаться на ночлег. При всем том он даже во хмелю умеет держать язык на привязи, малый не дурак, а в рассуждении честности не лучше и не хуже прочих.

В: Хорошо. Что вы имеете сообщить о горничной?

О: Забыл сказать: мистер Бартоломью с самого начала предупредил,

что она поедет с нами. Но присоединилась она к нам лишь в Стейнсе. Мистер Бартоломью объяснил, мол, это и есть та самая наперсница юной леди, которую прогнали с места за пособничество влюбленным; после чего он увез ее в Лондон и взял над ней попечение, а теперь вот везет к прежней хозяйке. Я поначалу не очень к ней приглядывался. Вижу – обычная горничная, каких много.

В: Он называл ее Луиза? Вы не слышали, чтобы он звал ее иначе?

О: Луиза, сэр. Других имен я не слышал.

В: Вы не нашли ее чересчур изнеженной и спесивой для таковой должности?

О: Отнюдь нет, сэр. Напротив, молчунья и скромница.

В: И недурна собой?

О: Глаза хороши, сэр, личико миловидное. Слова лишнего не проронит, но если заговорит, речь ведет гладко. Почти, можно сказать, красавица, вот только на мой вкус слишком худощавая, щуплая. Надобно добавить, что, какая роль была ей предназначена – это еще одна загадка. То же со слугой.

В: Что вы можете сообщить о последнем?

О: Что ж, сэр, даже не касаясь его природных изъянов, должен признаться, что такого странного слуги я сроду не видывал. Когда он впервые заявился ко мне домой, я бы едва ли узнал в нем слугу, не будь на нем синей ливреи. Взгляд бессмысленный, повадки нисколько с его должностью несходные – как будто он никогда не бывал в приличном обществе и не научен почтительности к тем, кто выше его по званию. В продолжение всего пути он ливрею не надевал ни разу, наряжался как простой крестьянский парень.

Только хозяин и горничная ведали, кто он такой, а все прочие верно почитали его за бродягу-ирландца, уж никак не за слугу при джентльмене. Но и это еще ничего, главная странность впереди.

В: О ней – в свой черед. Вернемся к путешествию. Кто из вас начальствовал в пути? Мистер Б.?

О: Дорогу выбирал он, сэр. Бристольская дорога смущала его своим многолюдством, он опасался, как бы опекун не послал в Мальборо или в сам Бристоль своего наблюдателя, чтобы заранее уведомиться от него о нашем приближении. Поэтому сперва мы взяли на юг, как будто имея в мыслях добраться до Эксетера, где мне якобы предстояло уладить одно дело, прежде чем отправиться в Бидефорд к мнимой сестре.

В: Что ваш путь лежит в Бидефорд, он известил вас при самом начале путешествия?

О: Да. Что же до прочего, он признался, что еще ни разу не имел нужды прибегать к притворству, а посему просил нас, как людей более искусных в таких делах, помогать ему наставлениями. Вот я ему и советовал.

В: Где вы с ним соединились?

О: Было решено, что мы с Джонсом за день до отъезда прибудем экипажем в Хаунслоу и заночуем в «Быке».

В: За день – то есть апреля двадцать пятого?

О: Да. Там нас должны были дожидаться кони, а на рассвете нам надлежало отправиться по дороге в Стейнс с намерением соединиться там с мистером Бартоломью и его человеком и горничной. Так оно и вышло. Мы повстречали их на подъездах к городу.

В: Каким путем они туда добрались?

О: Ума не приложу, сэр. Я в это не входил. Может быть, они ночевали в Стейнсе и выехали нам навстречу. Едучи уже все вместе, мы миновали Стейнс без остановок.

В: При встрече не произошло ничего достойного замечания?

О: Нет, сэр. Сказать по правде, мы тронулись в путь с легким сердцем, как бы предвкушая удачный исход.

В: Деньги вам заплатили вперед?

О: Я получил задаток – за себя и за Джонса. Мне предстояли дорожные расходы.

В: Сколько?

О: На мою долю – десять гиней, Джонсу – одна. Золотом.

В: А остальное?

О: Остаток был мне выдан при расставании, в последний день, в виде векселя. По нему я и получил причитаемое.

В: У кого?

О: У мистера Бэрроу с Ломбард-стрит.

В: Торговца, ведущего дела в России?

О: У него.

В: Что же, в путь так в путь. Только, избавьте меня от ваших мелочных отступлений. Расскажите в подробностях, как вы уведали, что мистер Бартоломью не тот, за кого выдает себя.

О: Подозрения, сэр, не замедлили явиться. И часа не прошло, как мы тронулись в путь, а я уже почуял, что дело нечисто. Мы с Джонсом, который вел выучную лошадь, поотстали, и он шепнул, что имеет мне нечто сообщить, но если разговор этот не ко времени, то пусть я его оборву. Я велел ему говорить. Тогда он взглянул на девушку, сидевшую за спиною

Дика, и молвил:

«Мне сдается, мистер Лейси, что я уже встречал эту девицу, и вовсе она не горничная. Вовсе даже ничего похожего». А видел он ее два или три месяца назад входившей в публичный дом за Сент-Джеймским парком, который у черни зовется «заведение мамы Клейборн». Бывший с Джонсом приятель рассказал, что девица эта, да простится мне это низкое выражение, – самый лакомый кусочек во всем заведении. Вообразите мое изумление, сэр. Я к нему приступаю: не обознался ли? На что он отвечал, что видел ее мельком, причем при свете факела, а потому ручаться не может, однако же сходство разительное. Сказать по чести, мистер Аскью, я не знал, что и думать. Мне известно, какую уйму денег огребают подобные твари и их хозяйки. Я слыхал, что, если иной распутник попадет к такой, как Клейборниха, в особую милость, ему дозволяется на ночь забирать девку к себе, но чтобы хозяйка отпустила ее в столь дальнее путешествие, уж этому я никак не поверю. И какой ей расчет? Как прикажете это понимать? Что мистер Бартоломью вероломно меня обманул? Не хотелось думать о нем худо. И может ли статься, чтобы такая заведомая шлюха – если это впрямь она – соблазнилась местом горничной? Коротко говоря, я уверил Джонса, что он обознался, и все же просил, буде представится случай, завести с девицей разговор в надежде выведать еще что-нибудь.

В: Джонс не сказывал, как звали девицу из борделя?

О: Имени ее он не знал. Но завсегдатаи величали ее Квакерша.

В: Откуда такое прозвище?

О: Это за ее умение ловко разыгрывать недотрогу, чтобы пуще разохотить сластолюбцев.

В: Она и наряжалась сообразно?

О: Боюсь, что так, сэр.

В: Джонс говорил с ней, как вы ему присоветовали?

О: В тот же день, сэр. Однако добился немногого. Только и узнал, что она родом из Бристоля и ждет не дождется вновь увидеть свою госпожу.

В: Стало быть, ложная подоплека была ей ведома?

О: Да, но когда Джонс попытался развязать ей язык, ничего не вышло. Она отговаривалась тем, что мистер Б. велел ей помалкивать. Джонс сказывал, отвечала она тихим голосом, все больше «да» или «нет», а то и просто кивала головой. Все конфузилась. Тут-то его и взяло сомнение, не ошибся ли он: тем, к которым он ее сперва причислил, робость не сродна. Словом, сэр, наши первые подозрения улеглись.

В: Вы говорили о них мистеру Б.?

О: Вначале – нет, сэр. Только при расставании, как вы узнаете дальше.

В: Не имел ли он с девушкой разговоров с глазу на глаз? Не усмотрели вы никаких примет тайного между ними сговора?

О: В тот день, сэр, я ничего подобного не видел и не слышал, и после тоже. Всю дорогу он устремлял на нее не больше внимания, чем на ящик или иную кладь, и, надобно заметить, вообще в пути держался особняком. Он не раз просил у меня за это прощения, говоря, что, хоть и не слишком учтиво выставлять себя, как он выразился, угрюмцем-отшельником, однако он уповает на мое снисхождение, ибо мысли его заняты не докучным настоящим, но будущим. Я почел, что такое поведение вполне извинительно для несчастного влюбленного, и не придавал ему важности.

В: Он держался так, чтобы не утруждать себя притворством?

О: Теперь и я того же мнения.

В: Значит ли это, что пространных разговоров вы с ним не вели?

О: Только коротко переговаривались, когда ему случалось со мной поравняться. В первый день, помнится, и того не было. Заговаривали о всякой всячине: об окрестных предметах, о конях, о дороге – все в этом роде. Но о цели нашего путешествия – ни разу. Он расспрашивал о моей жизни и готов был без конца слушать мои рассказы о себе, о моем деде, о нашем государе – впрочем, как мне показалось, больше из вежливости, чем из любопытства. Но чем дальше на запад, тем реже он нарушал молчание. Я по природе враг всяких недомолвок, однако наш с ним договор понуждал меня удерживаться от вопросов. Хотя порой ему случалось выговаривать свои заветные мысли. Давеча вы, мистер Аскью, точно угадали, что роль, которую я представлял в «Опере нищих», заключает в себе насмешку над сэром Робертом Уолполом, но верьте слову: в каждом из нас актеров уживаются два человека, на подмостках мы одни, в жизни – совсем иные. Так вот, когда в первый день мы проезжали Бэгшотской и Кемберлийской пустошами <в XVIII в. обе пустоши пользовались дурной славой, поскольку путешественники там часто подвергались нападению разбойников>, я мало что сам не походил на игранного мною Робина Хапугу, но еще и дрожал, как бы не наскочил на нас кто-нибудь из Робиновой братии. Слава Богу, пронесло.

В: Полно, полно, Лейси, это до дела не относится.

О: Позвольте нижайше возразить, сэр. Высказавши такие мысли мистеру Б., я затем с похвалой отозвался о предпринимаемой нынешним правительством политике *quieta non move* <не трогать то, что покоится (лат.)>, на что он окинул меня таким взглядом, будто держится иного мнения. Я стал допытываться, что же он думает на этот счет. Он

ответствовал, что отдает должное сэру Роберту: он человек распорядительный и подлинно имеет государственный ум – дюжинному политику было бы не под силу снискать одобрение и дворянина-помещика, и горожанина-торговца. Что же до упомянутого мною правила, которое он положил в основу своего управления, то его мистер Бартоломью объявил заблуждением. «Ибо если мир, каким мы его видим, не будет меняться, то откуда в будущем взяться лучшему миру?» – спросил он. И еще спрашивал, не согласен ли я, что по крайности одно из Божиих изволений явлено нам со всей очевидностью: не для того Он дал нам свободу двигаться и выбирать себе путь в безбрежном океане времени, чтобы мы весь свой век простояли на якоре в том порту, где нас соорудили и спустили на воду. А еще как-то заметил, что скоро в мире будут править одни торговцы и их корысть, что политики уже ею прониклись, что, по его словам, «пару недель политик еще может быть честным, но на месяц его честности уже не станет», что в этом и состоит торгашеская философия, которую исповедуют не только мелкие барышники и негоцианты, но и те, кто повыше. При этом он печально улыбнулся и добавил: «В присутствии отца я бы такое высказать не осмелился». На что я отвечал, что, как ни прискорбно, все отцы желают воспитать детей по своему образу и подобию. На что он сказал: "И так до скончания времен ничего не изменится. Увы, Лейси, мне это хорошо известно. Родительские законы вроде «закона о присяге» <в 1661, 1672 и 1678 гг. парламент принял ряд законов, обязующих всех, кто желает поступить на государственную службу, приносить присягу и причащаться по англиканскому обряду; целью этих законов было не допускать к государственной службе лиц, не исповедующих государственную религию>.

Если же сыну вздумается отцовской воле не подчиниться, жизнь его будет самая незавидная.

В: Что он еще говорил о своем родителе?

О: Больше ничего на память не приходит. Вот разве что при первой нашей встрече сетовал на отцовскую строгость. А в другой раз назвал отца старым дуралеем и прибавил, что старший брат ничуть не лучше. Помянутый же выше разговор он заключил признанием, что, вообще говоря, к политике равнодушен, причем сослался на мнение некого Сондерсона <Сондерсон, Николас (1682-1739) – крупный английский математик; ослеп на первом году жизни>, каковой преподает математику в Кембриджском университете и, должно быть, обучал мистера Бартоломью в бытность его в этом заведении; этот Сондерсон, когда ему сделали вопрос о политике, отвечал, что политика что тучи, скрывающие солнце: больше

житейская добука, нежели истина.

В: И мистер Б. пребывал в тех же мыслях?

О: Так мне показалось. И еще он как-то заметил: «Будь свет в три раза меньше, мы бы ничего от этого не потеряли», желая этими словами выразить, что в мире много лишнего – по его, то есть, разумению. Он относил эти слова к вышеназванному ученому джентльмену: тот лишен зрения, однако силою разума почти превозмог свой недуг и, видно, заслужил безмерную любовь и уважение своих учеников.

В: Не высказывался ли мистер Б. о религии, о церкви?

О: Было однажды и такое, сэр, несколько позже. На дороге – или, вернее сказать, при дороге нам повстречался преподобный джентльмен: он был так пьян, что не мог взобраться в седло, и слуга, держа коня под уздцы, дожидался, когда хозяин вновь наберется сил продолжать путь. Каковую сцену мистер Б. оглядел с омерзением и промолвил, что подобные примеры не редкость: мудрено ли, что при таких пастырях и паства сбилась с пути истинного. В воспоследовавшем разговоре он объявил себя ненавистником лицемерия. Господь, по его словам, видел пользу в том, чтобы облечь Свою тайну драгоценными покровами, слуги же Его этими покровами слишком часто застят глаза своим чадам, обрекая их на невежество и вздорные суеверия.

Сам же мистер Б. полагал, что всякому воздается и спасение всякого свершится по делам его, а не по внешнему образу его веры. Но ни одна господствующая церковь не признает этого простого суждения, дабы не лишиться тем самым своего наследия и своей земной власти.

В: Опасное вольномыслие! И вы не сочли его речи преступными?

О: Нет, сэр. Я счел их благоразумными.

В: Порицание господствующей церкви?

О: Порицание пустосвятства, мистер Аскью. В этом мире лицедействуют не только на подмостках. Таково, сэр, мое мнение, не во гнев вам будь сказано.

В: От вашего мнения до крамолы один шаг, Лейси. Презирать облеченного званием – презирать самое звание. Но оставим празднословие. Где вы расположились на ночлег?

О: В Бейзингстоке, в «Ангеле». Наутро выехали в Андовер, а оттуда – в Эймсбери, где и провели следующую ночь.

В: Похоже, вы не слишком спешили.

О: Не слишком. А на другой день спешки было и того меньше, потому что в Эймсбери мистер Б. пожелал осмотреть знаменитое языческое капище, что находится неподалеку, в Стоунхендже. Нам же было

предложено расположиться в Эймсбери на отдых. Хотя я думал, мы продолжим путь.

В: Вас это удивило?

О: Удивило, сэр.

В: На этом прервемся. Мой канцелярист отведет вас обедать, а ровно в три часа продолжим допрос.

О: Но, сэр, миссис Лейси ждет меня к обеду домой.

В: Ждет, да не дождется.

О: Вы даже не дозволите уведомить ее, что я задержан?

В: Не позволю.

Тот же самый далее под присягой показал, *die annoque praedicto* <в вышеуказанный день и год (лат.)>.

В: Не случилось ли в ту ночь, которую вы провели в Бейзингстоке, чего-либо примечательного?

О: Нет, сэр, все прошло, как было задумано. Мистер Б. изображал моего племянника, уступил мне лучшую комнату в «Ангеле» и на людях обращался ко мне с сугубой почтительностью. Мы отужинали у меня в комнате – в общий зал он выйти не захотел, и то же повторялось всюду, где бы мы ни останавливались. Сразу после ужина он не мешкая удалился к себе, а мне предложил распоряжаться собой по собственному усмотрению. Он поступил так, по его уверениям, не в знак немилости, но дабы избавить меня от общества такого нелюдима. И до самого утра я его не видел.

В: Вам неизвестно, чем он занимался наедине с собой?

О: Нет, сэр. Вернее всего, чтением. Он возил с собой сундучок с книгами, которые называл *bibliotheca viatica* <дорожная библиотека (греч. – лат.)>. При мне он открывал сундучок не более двух-трех раз. На постоялом дворе в Тонтоне, где нам пришлось поселиться вдвоем в одной комнате, он после еды принялся за чтение каких-то бумаг.

В: Что же лежало в сундуке – книги или бумаги?

О: И книги, и бумаги. Он рассказывал, математические труды, походная библиотека, как я вам докладывал. И что будто ученые занятия отвлекают его от тревожных мыслей.

В: Не давал ли он более подробных объяснений, какого рода труды?

О: Нет, сэр.

В: А сами вы неужто не любопытствовали?

О: Нет, сэр. Я не весьма сведущ в таких предметах.

В: Не углядели вы заглавия хотя бы одной книги?

О: Я заметил написанный по-латыни труд сэра Исаака Ньютона – забыл название. Ни один ученый муж не удостоивался от него столь лестной похвалы, как сэр Исаак: мистер Б. говорил, что почтение к этому имени внушил ему его Кембриджский наставник, вышеназванный мистер Сондерсон.

Как-то в дороге мистер Б. тщился растолковать мне учение сэра Исаака о производных и переменных величинах. Я, признаться, стал в пень и осторожно намекнул, что его объяснения пропадают всуе. В другой раз, когда мы приехали в Тонтон Дин, он завел речь о монахе, который много веков назад открыл способ увеличивать числа. Это уж я уразумел, премудрость невелика: для получения каждого числа надо сложить два предшествующих, вследствие чего получаем один, два, три, пять, восемь, тринадцать, двадцать один и так далее, сколько вам будет угодно. Мистер Б. утверждал, будто, по глубокому его убеждению, эти числа здесь и там скрыто запечатлены в природе как некие божественные тайнообразы, с тем чтобы все живое им подражало; соотношение между соседствующими числами есть тайна, ведомая еще древним грекам, которые вывели совершенную пропорцию. Мне помнится, он определил это отношение как один к одному и шести десятым. И он уверял, будто бы можно найти эти числа во всем, что нас в тот миг окружало, и множество иных примеров привел, только я все перезабыл – кроме того, что некоторые из этих чисел усматриваются в расположении лепестков и листьев у деревьев и трав.

В: Он рассуждал об этих тайнообразах как о важном для него предмете?

О: Нет, сэр, как о занятой диковине.

В: Не разумел ли он, что проник в некую тайну природы?

О: Не совсем так, мистер Аскью. Вернее сказать, будто он угадал эту тайну, однако до конца еще не постиг.

В: Не нашли вы тогда странным, что предпринятому по указанной причине путешествию сопутствуют подобные изыскания и походная библиотека?

О: Да, сэр, я немного удивился. Но чем дальше, тем больше я убеждался, что это необычный человек и, уж конечно, необычный возлюбленный. Я заподозрил, что страсть к ученым занятиям в нем куда сильнее, чем мне было явлено, и он не хочет отрываться от них, даже отправляясь увозить свою избранницу.

В: Вот вам последний вопрос касательно его занятий. Не видали вы в сундуке сделанный из меди инструмент со множеством колесиков, по виду сходный с часами?

О: Нет, сэр.

В: Но вы ведь говорите, будто видели сундук открытым?

О: И каждый раз он бывал полон и наверху лежали разметанные листы; я не имел случая обозреть все содержимое сундука.

В: Вам не случалось замечать, чтобы он работал с таким инструментом?

О: Нет, сэр.

В: Вернемся в Эймсбери.

О: Но прежде я должен упомянуть одно происшествие, имевшее место в Бейзингстоке.

В: Хорошо.

О: Оно касается до горничной Луизы. Джонс рассказал, что она не пожелала, как заведено, спать в отдельной комнате с тамошними служанками и спросила себе особый покой. За общий стол она также не села, но просила, чтобы немой подал ей обед наверх. И вот еще что: как уверял Джонс, немой слуга из-за нее ходит сам не свой. Джонса это весьма удивило. Уж мы с ним судили, рядили, но так ни к чему и не пришли.

В: Замечал он в девице те же чувства?

О: Он никак не мог разобрать, сэр, а только усмотрел, что девица немого не чурается. Дальше открылись новые обстоятельства, но о них в свое время.

В: Она всегда держалась этого обычая – есть и почивать отдельно?

О: Всюду, где только находилась для нее комната. А то на постоялом дворе в Уинкантионе к таким капризам не привыкли, и вышел спор – пришлось обратиться к мистеру Б., и он велел уважить ее просьбу. Меня при этом не было, я знаю со слов Джонса.

В: Рассказывайте про Эймсбери.

О: Как я уже говорил, мистер Б. предупредил меня, что в Эймсбери мы задержимся, хотя могли бы ехать и дальше. Ему пришло на мысль осмотреть капище. Вознамерившись отправиться в долину после обеда, он пригласил и меня полюбоваться этим местом. День выдался погожий, ехать предстояло недалеко, а я и подлинно любопытствовал взглянуть. Только, сказать по правде, зрелище оказалось куда менее приятным и величественным, чем я воображал. Вам, сэр, не доводилось посещать это место?

В: Видел на гравюре. Слуги поехали с вами?

О: Только Дик. Мы с мистером Б. спешили, чтобы прогуляться среди камней. К моему удивлению, он показал хорошее знакомство со святыщем, хотя прежде уверял, что, как и я, приезжает сюда впервые.

В: Из чего вы это заключили?

О: Он пустился в пространные рассуждения о том, какой видится из нашего века варварская религия, для какой причины ставились каменные колонны и какой вид имело капище до разрушения. Чего-чего не рассказывал! Я, подивившись, спросил, как он обо всем этом уведal. На что он с улыбкой отвечал: «Смею вас уверить, Лейси, к чернокнижию я не обращался». И сообщил, что сведениями этими обязан преподобному мистеру Стакели из Стэмфорда, большому любителю древностей, каковой показывал ему свои рисунки и ландкарты и давал объяснения. Он ссылался на читанные им трактаты и размышления об этом памятнике, однако нашел достойными внимания лишь взгляды мистера Стакели.

В: Вот когда он разговорился?

О: Ваша правда, сэр. И с каким блеском говорил! Признаться, ученость его привела меня в большее изумление, чем вид святилища. Среди прочего он как бы походя спросил, разделяю ли я веру древних в благоприятные дни. Я отвечал, что никогда об этом не задумывался. «Хорошо, – сказал он, – зайдем с другого конца: решились бы вы без всяких колебаний назначить первое представление новой пьесы на тринадцатое число месяца, которое вдобавок приходится на пятницу?» Я сказал, что у меня не достало бы духу, и все же по мне это суеверие. «Вот, – заметил он, – и так думают едва ли не все. И вернее всего заблуждаются». Он отвел меня на шаг-другой в сторону, указал на громадный камень в полусотне шагов от нас и объяснил, что, если в день Рождества Предтечи, пору летнего солнцестояния, встать посреди святилища – то бишь там, где мы сейчас и находимся, – и смотреть на восход, то солнце покажется как раз над этим камнем. Это открыл один ученый автор, имени коего я не помню; он писал, будто размещение камней сопряжено с положением солнца в этот день и по нечаянности так получиться не могло. А потом мистер Бартоломью промолвил: «Вот что я вам скажу, Лейси. Древние знали тайну, за обладание которой я готов отдать все, что имею. Им был ведом небесный меридиан их жизни, я же свой только ищу. Пусть в рассуждении прочего они пребывали во мраке, зато уж в этом их озарил великий свет. Я же хоть и живу при ярком свете, а все-то гоняюсь за призраками». Я возразил, что, по моему суждению, прелестный предмет, ради которого затеяно наше путешествие, если верить мистеру Б., нимало с призраком не сходствует. Тут он заметно смутился, но вслед за тем улыбнулся и ответил: «Вы правы, меня увлекли досужие умствования». Но не прошли мы и нескольких шагов, как он продолжил прежний разговор: «Ну не диво ли, что эти грубые дикари обжили те пределы, куда мы еще боимся ступить, и

уразумели истины, которые мы едва начинаем постигать. В понимании коих даже столь великий философ, как сэр Исаак Ньютон, подобен несмышленому дитяте». Я, мистер Аскью, заметил, что никак не возьму в толк, о каких скрытых истинах он рассуждает. На это он ответил: «О той истине, Лейси, что Бог есть бесконечное движение. И капище это есть ничто как планетариум древних, это движение показывающий. Знакомо ли вам подлинное название этих камней? *Chorum Giganteum* <хоровод гигантов (лат.)>, пляска Гогов и Магогов <племена, упоминаемые в библейской Книге пророка Иезекииля и Откровении св.Иоанна Богослова; по сложившейся в средние века легенде их появление в Судный День приведет к уничтожению всего человечества; английская фольклорная традиция изображает их злобными великанами>. По верованиям селян, они пустятся в пляс не прежде Судного Дня. Однако имеющий глаза увидел бы: они и теперь уже пляшут и кружатся».

В: К чему же вы отнесли такие речи?

О: Он говорил шутливо, точно насмеялся над моим невежеством. И я, взяв тот же шутливый тон, не упустил его за это укорить. Он уверил меня, что его слова не заключают никакой насмешки, что все это чистая правда. «Мы, смертные, – сказал он, – словно бы ввергнуты в Ньюгейтскую тюрьму, пять наших чувств и отмеренный нам короткий век суть решетки и оковы. Для Всевышнего время – неразъятая целокупность, вечное „ныне“, для нас же оно распадается на прошлое, настоящее и будущее, как в пьесе». Он указал на обступившие нас камни и воскликнул: «Как не подивиться тому, что еще до прихода римлян, до самого Рождества Христова дикари, воздвигшие эти камни, обладали познаниями, которые недоступны уму даже ньютонов и лейбницев нашего века?» Далее он уподобил человечество театральной публике, которой невдомек, что перед нею актеры, что роли придуманы и написаны заранее, а что у пьесы есть сочинитель и постановщик, публика и подавно не догадывается. В этом я с ним не согласился, сказавши: «Кто же не слышал об этой священной пьесе и не знает ее Сочинителя?» На это он опять улыбнулся и сказал, что не отрицает существование этого Сочинителя, но лишь позволяет себе усомниться в правильности наших о Нем представлений. И прибавил: «Вернее было бы сравнить нас с героями рассказа или романа: мы почитаем себя истинно сущими и не подозреваем, что составлены из несовершенных слов и мыслей, что служим отнюдь не тем целям, каковые себе полагаем. Может статься, и Сочинителя мы себе примыслили по своему образу и подобию – то грозного, то милостивого, на манер наших государей. Хотя, по правде, мы знаем о Нем и Его помыслах не больше, чем

о происходящем на Луне или в мире ином». Тут уж, мистер Аскью, и мне показалось, что его слова противны учению господствующей церкви, и я заспорил. Но он вдруг точно потерял всякую охоту продолжать беседу и поманил слугу, который дожидался в стороне. Затем объявил, что должен по просьбе мистера Стакели произвести некоторые измерения, что работа эта долгая и докучная и он не хочет затруднять меня ожиданием.

В: Иными словами, «пора и честь знать»?

О: В этом смысле я его и понял. Словно спохватился: дескать, что-то я непутем язык распустил, надо бы найти предлог замять разговор.

В: Что он, по вашему мнению, разумел под великой тайной, недоступной нашему уму?

О: Чтобы вам ответить, сэр, мне придется заскочить несколько вперед.

В: Будь по-вашему, заскакивайте.

О: Добавлю лишь, что больше я мистера Б. в тот день не видел. На другой же день, следуя далее на запад, мы проезжали мимо известного нам памятника, и я не преминул вернуться к этому разговору и спросил мистера Б., что еще он может рассказать о древних и в чем состояла их тайна. На что он отвечал: «Они знали, что ничего не знают». Но тотчас присовокупил: «Я, верно, говорю загадками?» Я согласился, тем побуждая его к дальнейшим рассуждениям. Тогда он продолжал: «Наше прошлое, наши познания, наши историки обрекают нас на ничтожество. Чем яснее мы видим минувшее, тем туманнее рисуется нам грядущее. Ибо, как я уже сказывал, мы подобны героям повествования, как бы чужой волей predetermined к добру или ко злу, к счастью или к несчастью. Те же, кто установили и обтесали эти камни, Лейси, жили еще до начала повествования – так, как нам сегодня и представить не можно: в одном лишь настоящем без прошлого». И он привел мнение мистера Стакели, каковой полагал, что строители капища назывались друидами, что они пришли сюда из Святой Земли и принесли с собой начатки христианской веры. Сам же мистер Б. считал, что им отчасти удалось проникнуть в тайну времени. Даже враждебные им римляне в исторических сочинениях показывают, что они имели способность угадывать будущее по форме печени и полету птиц. Однако мистер Б. пребывал в убеждении, что они в своем провидческом искусстве изощрились и того пуще, чему доказательством этот памятник, и у кого достанет умения верно изобразить его устройство при помощи чисел, тот и сам в этом убедится. С этой целью мистер Б. и делал свои измерения. Он говорил: «Я верю, что они знали всю историю нашего мира до конца, прочли книгу до последнего листа, как вы своего Мильтона», ибо я возил в кармане великое сочинение Мильтона и

мистер Б. спрашивал, что я читаю.

В: И что вы на это?

О: Я выразил недоумение, отчего, зная будущее, они все же подпали под власть римлян и исчезли с лица земли. Он отвечал так: «То был народ провидцев и мирных философов, им ли тягаться с многоопытным римским воинством?» И прибавил: «Да и сам Иисус разве избежал распятия?»

В: Не он ли прежде уверял, будто всякий волен выбирать и переменять свою участь? Но если будущее может быть предсказано, если мы не более свободны, чем раз и навсегда изображенные герои уже сочиненной пьесы или книги, стало быть, участь наша предрешена и непреложна. Одно другому противоречит.

О: То же самое пришло на мысль и мне, мистер Аскью, и я поделился с ним этими сомнениями. На что он отвечал, что в рассуждении безделиц мы свободны поступать как нам заблагорассудится – подобно тому, как, готовя роль, я сам выбираю, как мне играть, в какое платье нарядиться, какие совершать телодвижения и прочее; что же до более важных обстоятельств, то мне надлежит ни в чем от роли не отступать и представить судьбу героя такой, какой задумал ее сочинитель. И еще он заметил: хоть он и верует, что Промысл Божий имеет попечение обо всем человечестве, но что Господь радеет о каждом в отдельности, что Он пребывает во всяком человеке, такому никак нельзя стать. Не верит он, что Бог пребывает и в добрых, достойных и в жестокосердых, порочных, что, вдунув в человека дыхание жизни, Он затем допустил его без вины претерпевать боль и лишения – а таких примеров мы находим вокруг в избытке.

В: Весьма опасные рассуждения.

О: Не могу не согласиться, сэр. Однако я лишь пересказываю то, что услышал.

В: Хорошо. Но мы остановились на вашем возвращении в Эймсбери.

О: У ручья я повстречал Джонса, ловившего плотву. Вечер был славный, и я присел рядом. А через час с лишком, вернувшись на постоялый двор, я обнаружил у себя в комнате записку мистера Б., в которой он просил меня ужинать без него, поскольку его одолела усталость и он желает немедленно лечь в постель.

В: И что вы из этого вывели?

О: Тогда – ничего, сэр. Но позвольте, я dokonчу. Так вот, тогда я и сам притомился, а потому лег пораньше и крепко уснул. Знать бы наперед, что приключится ночью, – глаз бы не сомкнул. А приключилась престранная вещь – я проведал о ней на другое утро от Джонса. Он спал в одной

комнате с Диком. И вот незадолго до полуночи он пробудился и услышал, как Дик шмыгнул в дверь. Джонс было подумал – по нужде. Ан нет. Прошло с четверть часа, колокола ударили полночь, и тут во дворе шорох. Джонс – к окну, смотрит: три фигуры. И хотя луны не было, он их ясно разглядел. Первый – Дик: он вел двух коней, а копыта у них были обмотаны тряпьем, чтобы не цокали по мостовой. Второй – его хозяин. А третья – горничная. Джонс ручается, что с ними больше никого не было. Я у него все до малости выпросил.

В: Они отъезжали прочь?

О: Отъезжали, сэр. Джонс хотел было меня растолкать, но, заметив, что они едут без поклажи, решил дожидаться их возвращения. Примерно час он боролся со сном, но Морфей все же взял верх. Проснулся он с петухами, глядь – а Дик спит себе как ни в чем не бывало.

В: Уж не во сне ли ему пригрезилось?

О: Не думаю, сэр. Спора нет, в компании он не прочь прихвастнуть и развести турусы на колесах, но морочить меня, да еще при такой okazji – быть того не может. Притом он заподозрил неладное и испугался, как бы с нами обоими чего не стряслось. Надобно заметить, мистер Аскью, что в прошедший день я всю дорогу приглядывался к горничной и окончательно уверился, что до борделя она никакого касательства иметь не может.

Где-где, а на театре на женщин такого пошиба не хочешь, а насмотришься. У этой – ни их ужимок, ни их бесстыдства. И все же я приметил, что девица не просто скромная, а себе на уме. А насчет Дика Джонс не ошибался: так и пожирает горничную глазами. И она, странное дело, не только его не одергивает, но словно бы отвечает благосклонностью, нет-нет да и подарит улыбкой. Больно уж это с ее натурой несогласно – будто она играет роль, чтобы отвести нам глаза.

В: Какие же подозрения явились у Джонса?

О: Он спросил меня: «А вдруг, мистер Лейси, история про юную леди и мистера Бартоломью не выдумка, да только одно в ней не так – что девушка с дядей проживают на западе? Что, если день-два назад ее и правда держали взаперти, но не там, где мы думаем, а в Лондоне – где мистер Бартоломью, по его уверениям, ее повстречал? Так, может, он...» Смекаете, сэр, куда дело пошло?

В: Вы оказались пособниками увоза *post facto*? <после случившегося (лат.)> О: Меня, мистер Аскью, так в жар и кинуло. Чем больше я размышлял над давешними своими наблюдениями, тем больше мне воображалось, что эта догадка не такой уж вздор. Против нее говорило лишь одно: приязнь горничной к Дику, но я уже порешил, что это делается

для вида, чтобы водить нас за нос. Джонс приписывал ночную отлучку молодых намерению сочетаться тайным браком, с каковой целью мистер Бартоломью и задержался в Эймсбери, изобретя столь пустячный предлог. Лишь то меня утешало, что, приведши дело к развязке, мистер Бартоломью больше не будет нуждаться в наших услугах, о чем мы верно скоро услышим. Не стану пересказывать все наши домыслы, сэр. Только спускаюсь я поутру вниз, а у самого дух занимает: а вдруг мистера Бартоломью и его нареченной уже и след простыл?

В: Однако он не уехал?

О: Ничуть не бывало, сэр. И держался так, будто ничего не произошло. Мы отправились в путь, а я все ломал голову, как бы половчее вывести его на разговор. До отъезда мы с Джонсом условились, что, если ему представится случай перемолвиться с девицей без свидетелей, он шутливым образом намекнет, что ему кое-что известно о ночном приключении, – словом, дойдет ее насмешками с намерением хоть что-то вывести.

В: Добился он своего?

О: Нет, сэр, хоть случай и представился. Сперва девица сконфузилась и стала все отрицать, но Джонс не отставал, и она так осерчала, что и вовсе не захотела с ним разговаривать.

В: Она не призналась, что уезжала с постоялого двора?

О: Нет, сэр.

В: Скажите мне вот что. Не довелось ли вам в дальнейшем узнать, что же было причиной ночного приключения?

О: Нет, сэр, не довелось. Увы, оно, как и многое другое, по сей день остается для меня загадкой.

В: Хорошо, Лейси. Имея много дел, я принужден на сегодня допрос закончить. Явитесь сюда завтра утром ровно в восемь часов. Вам понятно? И чтобы быть непременно, сэр. Вы все еще остаетесь в подозрении.

О: Не извольте беспокоиться, мистер Аскью. Я греха на душу брать не желаю.

ДОПРОС И ПОКАЗАНИЯ ХАННЫ КЛЕЙБОРН,

Данные под присягою августа 24 числа, в десятый год правления Государя нашего Георга Второго, милостью Божией короля Великой Британии, Англии и прочая.

Я прозываюсь Ханна Клейборн. Я вдова, от роду мне сорок восемь лет.

Я соержу заведение на Джармен-стрит, что возле Сент-Джеймсского парка.

В: Ну, сударыня, поговорим без дальних предисловий. Я разыскиваю одного мужчину, очень вам знакомого.

О: Через это знакомство одни огорчения.

В: Вздумаете меня дурачить – я вас еще не так огорчу.

О: Я себе не враг.

В: Сперва – об этой вашей потаскухе. Известно ли вам подлинное ее имя?

О: Ребекка Хокнелл. Но мы звали ее Фанни.

В: А не приходилось ли вам слышать, чтобы ее называли французским именем, а именно – Луиза?

О: Нет.

В: Из каких краев она происходит?

О: Из Бристоля. Если не врет.

В: Есть у нее там родные?

О: Может, и есть.

В: Иными словами, не знаете?

О: Она не рассказывала.

В: Когда она появилась в вашем притоне?

О: Три года назад.

В: В каких она была летах?

О: Под двадцать.

В: И как же она попала к вам в лапы?

О: Знакомая удружила.

В: Экая наглость! Долго я из тебя буду по слову вытягивать? Будто я не знаю, что мамаша Клейборн – самая отъявленная сводня во всем Лондоне.

О: Ее привела женщина, которую я послала за своей надобностью.

В: Какой надобностью? Высматривать непорочных девиц и приохочивать к распутству?

О: Она и без того была распутна.

В: Уже и шлюха?

О: Она лишилась девства еще в Бристолe, в доме, где состояла в услужении. Хозяйский сынок растлил. А потом ее прогнали. Если не врет.

В: И она понесла?

О: Нет. Она от природы бесплодна.

В: Против природы. И что же, многим она пришлась по вкусу в вашем блудилище?

О: Если она чем и взяла, так не мясцом, а ухватками.

В: Какими ухватками?

О: Умением привязать к себе всякого гостя. Ей бы актеркой быть, а не потаскухой.

В: И как же она исхитрялась их приваживать?

О: Принимала такой вид, будто она не девка, а, напротив, чиста как хэмпстедская водица <Хэмпстед – северный пригород Лондона> – так что благоволите, мол, и вы держаться приличий. А гости – ну не диво ли? – мало что сносили такое обращение, так еще и в другой раз ее выбирали.

В: Она изображала знатную даму?

О: Невинницу она изображала. Хороша невинница! Такую бесстыжую тварь еще поискать.

В: Какую там невинницу?

О: Недотрогу. Застенчивую Сестрицу, Невинную Пастушку, мисс Девиный Стыд, мисс Само Простодушие... Прикажете продолжать? Какие только штуки не выкидывала, хоть роман из них составляй. Невинница! В гадючьем гнезде – и то больше невинности, чем в этой продувной бестии. А вздумает в угоду гостю взяться за плетень, то уж посечет так посечет. Старый судья П-н – вы, сэр, верно, его знаете, – так вот, если его наперед хорошенько не отстегать, ни к чему не способен. С ним она была надменна, как инфанта, и безжалостна, как татарин, – и все это вместе. А ему оно и в охотку. Но это к слову.

В: У кого же она выучилась такому лицедейству?

О: Да уж не у меня. Не иначе – у самого дьявола. Такой, видно, уродилась.

В: Но была одна роль, в коей ее окаянная сноровка поспешествовала особенному успеху, не так ли?

О: Какая роль?

В: Взгляни на этот печатный листок, Клейборн. Мне ведомо, что он был отпечатан на твой счет.

О: Знать ничего не знаю.

В: Вы его прежде видели?

О: Может, и видала.

В: Так я прочту один выбранный отрывок. «А ежели ты, читатель, ищешь учинить свидание с Квакершею, то разочти наперед, довольно ль у тебя золота. Хоть прозвание у блудни не пышное, а на серебро не посмотрит, видом скромница, а душою скоромница. Известно тебе, что для всякого завязанного развратника ничего нету слаще, как добиться своего силою; на каковую приманку и ловит их сия лукавая нимфа: и краснеет, и

дичится, и бесстыдником кавалера называет, но, будучи приведена к покорности, делается подобна любопытной и доверчивой серне и уже не бьется за жизнь, не лишается от страха чувств, но смиренно открывает нежное сердечко кинжалу удачливого охотника. А только идет молва, что до таковых ударов кинжала она сама великая охотница, и несут они не гибель ей, но сэрру Нимроду <Нимрод – внук библейского патриарха Ноя, „сильный зверолов перед Господом“ (Быт., 10,9); имя употребляется как нарицательное для обозначения страстного охотника> смертную усталость». Что скажете, мадам?

О: Что сказать, сэр?

В: Это все о ней?

О: Может быть. А хоть бы и о ней, что из того? Не я писала, не я печатала.

В: Думаешь, на Страшном суде с тебя от этого меньше спросится? Когда у вас в заведении впервые объявился тот, чье имя я запрещаю вам произносить?

О: В начале апреля.

В: Прежде вы его не видели?

О: Нет. И век бы не видеть. Его привел ко мне и представил человек хорошо мне знакомый, милорд Б. Он сказал, что Его Милость желает встретиться с Фанни, которая успела ему полюбиться. Но я уж и сама догадалась.

В: Как?

О: Дня за четыре до того лорд Б. запиской просил прислать Фанни к нему домой. Писал, что для друга, а что за друг, не сказывал.

В: Часто ли ваших девок забирают для непотребных занятий на стороне?

О: Только тех, что слынут лакомыми кусочками.

В: Эта была из их числа?

О: Была, прах ее возьми.

В: Лорд Б., представляя приятеля, назвал его истинное имя?

О: Тогда он вовсе имени не поминал, а открыл мне его потом, с глазу на глаз.

В: Что было дальше?

О: Его Милость удалился к Фанни. И на следующей неделе еще два-три раза.

В: Он был привычен к домам вроде вашего?

О: Как есть гусеньш.

В: Что это значит?

О: А это те, которые тароваты не в меру, прилепляются к одной девице и больше одной услуги у них не спрашивают, имя свое скрывают, уходят и приходят тайком. Вот таких мы и зовем гусенышами.

В: А гусаки у вас закоренелые распутники?

О: Они.

В: И тот, о котором мы говорим, еще не оперился?

О: Он выбирал одну только Фанни, имя свое от меня скрывал – вернее, хотел скрыть. И задаривал сверх меры.

В: Вас или девицу?

О: Обеих.

В: Деньгами?

О: Да.

В: Какие же обстоятельства привели к ее исчезновению?

О: Как-то раз он объявил, что желает потолковать со мной об одном деле, сулящем обоим выгоду.

В: Когда это было?

О: Около середины марта. Он поведал, что приятель приглашает его вместе с другими распутниками в свое оксфордширское поместье, где затевается празднество. Каждый должен захватить с собою по шлюхе и, когда их всех перепробуют и решат, которая из них оказалась наиотменнейшей, привезшего ее ожидает награда. Придумали они и иные забавы, и все эти дурачества должны продолжаться две недели. Добавить время на дорогу туда и обратно – получится три. Он попросил меня уступить ему Фанни на этот срок и назначить цену в возмещение убытков, какие я понесу из-за ее отсутствия.

В: Он не сказал, где располагается поместье?

О: Не сказал. Они скрывали свою затею из боязни ославиться на весь свет.

В: Что же вы на это?

О: Что этакое у меня в заводе не бывало. Он же был убежден, что для меня это дело привычное: ему-де так сказывали. Я признала, что, если гость мне коротко знаком и если мы с ним столкнемся об условиях, я, бывает, отпускаю девицу к нему домой на ужин или для каких-нибудь увеселений. Но Его Милость я, мол, знаю слишком плохо, даже его подлинное имя мне неизвестно.

В: Он носил вымышленное?

О: Он называл себя мистер Смит. Но тут уж он открыл и подлинное – то, которое я уже слышала от лорда Б., и прибавил, что Фанни об увеселениях извещена, что она спит и видит иметь в них соучастие, однако

оставляет последнее слово за мной. Я отвечала, что должна все взвесить: где это видано – приступить с такими просьбами перед самым отъездом?

В: И как он принял ваши слова?

О: Просил взять в толк, что, как мне теперь известно, в рассуждении знатности он человек не последний и на бедность не жалуется. С тем и откланялся.

В: Об условиях вы не договаривались?

О: В тот раз – нет. Денька через два он вновь пожаловал к Фанни, а потом заглянул ко мне. К тому времени я уже порасспросила лорда Б., слышан ли он о празднестве. Оказалось, слышан и сам получил приглашение, однако ему препятствовали неотложные дела. Он еще подивился, как это я до сих пор ничего не проведала. По его суждению, прогневить отказом такую высокую особу, как сын герцога, было бы неразумием, зато согласиться – прямой расчет: за ценою он не постоит. Привел и другие резоны.

В: Что за резоны, сударыня?

О: Такие, что после об этих дурачествах разблагостят по всему свету и всякий, кто станет в них соучаствовать, прославится. А мистрис Уишбурн как раз отряжает туда двух своих девок – так вот как бы она меня не обошла.

В: Кто такая эта Уишбурн?

О: Выскочка одна. Недавно открыла заведение в Ковент-гардене.

В: Так он вас и уломал?

О: Так он меня одурачил. А чтобы такой одурачил, надо быть последней дурой.

В: Говорили вы об этом предложении с девицей?

О: У нее был один ответ: мне, дескать, все равно, а впрочем, как скажете. А сама обманула, шельма продажная.

В: Как так обманула?

О: Да она с самого начала все знала. Ишь наострилась корчить смиренницу – даже я поверила. А ее уже подкупили.

В: Вы имеете тому доказательства?

О: Какие еще нужны доказательства, раз она не вернулась? Уж я такие убытки через нее терплю!

В: Зато добродетель не в убытке. Я желаю знать, какую цену положили вы за ее услуги.

О: Столько, сколько выручки она приносила за три недели у меня в заведении.

В: Сколько же?

О: Триста гиней.

В: Он согласился без торга?

О: Еще бы ему торговаться! Триста платит, а десять тысяч крадет.

В: Ну-ка язык свой прикуси! Что значит – крадет?

О: Так ведь это же правда. Что ни говори, шлюха она была завидная: бесплодница, с хорошими манерами и в работе всего три года.

В: Хватит про это распинаться. Какая часть денег ей причиталась?

О: Девицы же полностью у меня на содержании: кормлю, одеваю, достаю белье. Аптекарю плачу, когда с ними дурная болезнь приключится.

В: Что мне за дело до ваших хозяйственных забот! Я спрашиваю, сколько ей причиталось?

О: Пятая часть. А что подарят, то ее.

В: Шестьдесят гиней?

О: Да, хоть она того и не заслужила.

В: И вы ей эти деньги отдали?

О: Решила поберечь до ее возвращения.

В: Чтобы держать ее на привязке?

О: Да.

В: В целости ли у вас эти деньги? Будет чем с ней расплатиться?

О: Пусть только вернется: уж я с ней сполна расплачусь.

В: С тех пор вы от нее никаких вестей не имели?

О: Никаких, провались она в тартарары.

В: Там-то вы с ней и свидитесь. Что же было, когда она не вернулась к сроку?

О: Я пожаловалась лорду Б. Тот обещал справиться, а через два дня приходит и рассказывает, что история приключилась не разбери-поймешь: по слухам, Его Милость отправился вовсе не на празднество в поместье, а во Францию. Человек, побывавший на празднестве, уверял лорда Б., что ни Его Милость, ни Фанни там не появлялись. Лорд Б. советовал мне набраться терпения и не поднимать шум, а то выйдет еще накладнее, чем бегство Фанни.

В: Вы ему поверили?

О: Поверила. Вовек ему не прощу. Я ведь только потом узнала: Уишбурн никуда своих девиц посылать и не думала. А про дурачества те никто ведать не ведает. Это лорд Б. выдумал, чтобы меня оплести.

В: Вы его за это не бранили?

О: Расчета нет. Я как-никак разбираю, где барыш, а где шиш. Он же ко мне гостей водит. Так и пришлось спустить обиду, хотя будь моя воля...

В: Довольно.

О: ...отплатила б ему тою же монетой, чтоб весь Лондон видел его в дураках.

В: Полно. Что рассказывала девица про человека, о коем я доискиваюсь, вам и вашим потаскухам?

О: Говорила, будто зелен, но созреет – будет малый хоть куда. Быстро разгорается, быстро и до края доходит: с такими девицам меньше хлопот.

В: Она ему приглянулась больше прочих?

О: Да, потому что других он не брал, уж на что они его обхаживали да приваживали.

В: Он ей тоже приглянулся?

О: Так она и признается! Она хорошо помнила мои правила: никаких тайных амуров и даровых услуг.

В: До этого случая она от правил не отступала?

О: Ни разу. Все из хитрости.

В: Как «из хитрости»?

О: Думала замазать мне глаза. Она ведь только с виду простушка, а на деле палец в рот не кладет. Вот и догадалась одурачить меня тем же манером, что и гостей.

В: А как она дурачила гостей?

О: Я же говорю: все невестилась, делала вид, будто никогда прежде мужчин не знала. Ее, мол, с наскока не возьмешь, с ней надобно лаской, тогда и уступит. Те млеют: после привычных ухваток такое жеманство куда как прельстительно. А уж когда она раздвинет ноги да позволит гостю порезвиться, он так ликует, точно взял какую неприступную твердыню. Больше одного гостя за ночь не принимала. Я на это смотрела сквозь пальцы: другая за ночь нескольких переменит, а выручка все равно меньше, чем от Фанни с одним-единственным гостем. А ведь я могла в продолжение ночи отдавать Фанни внаймы шести гостям подряд! У нее, бывало, вся неделя наперед расписана.

В: И сколько всего женщин в вашем заведении?

О: С десятков. Это которые постоянно тут.

В: Она была самым отборным лакомством? Ценнее ее у вас не имелось?

О: Самые отборные – самые свеженькие. А эта хоть и корчила невинность, но все же не девственница. И бестолковый же народ эти мужчины: товар не первой свежести, а они готовы платить втридорога.

В: Прочие девки удивлялись, что она не вернулась?

О: Да.

В: И как же вы им это объяснили?

О: Сбежала – ну и скатертью дорога.

В: И прибавили, что вы со своими головорезами положите конец ее блудням на стороне, не так ли?

О: Не стану я отвечать, это поклеп. Или я не вправе воротить то, что мне принадлежит?

В: Какие же вы к тому взяли меры?

О: Какие могут быть меры, когда она дала стречка за границу.

В: А такие, чтобы ваши разбойники и лазутчики ее не упустили, если вздумает воротиться. Вы, без сомнения, уже об этом распорядились. Только смотри мне, Клейборн, я тебя по должности предупреждаю: девица теперь моя.

Буде ваши мерзавцы-подручные ее сыщут, а вы промешкаете мне о том доложить, больше вам своих гусаков и гусеньшей не пасти. Как Бог свят, не пасти. Прихлопну вашу торговлишку раз и навсегда. Постигаете ли?

О: Отчего же не постегать, коли просите.

В: На такую сердиться – много чести. Повторяю: все ли ты уяснила?

О: Все.

В: Добро. А теперь, мадам, пошла вон. Видеть не могу эту скверную размалеванную харю.

Jurat die quarto et vicesimo Aug. anno domini coram me <Приносит присягу двадцать четвертого августа года от Рождества Христова в моем присутствии (лат.)>.

Генри Аскью.

ДАЛЬНЕЙШИЙ ДОПРОС И ПОКАЗАНИЯ МИСТЕРА ФРЭНСИСА ЛЕЙСИ,

Данные под присягою августа двадцать четвертого числа аппо граедicto <в вышеуказанный год (лат.)>.

В: Сейчас, сэр, я хочу вернуться к двум обстоятельствам из ваших вчерашних показаний. В тот раз, когда мистер Бартоломью описывал свои занятия, или в приведенных вами рассуждениях при осмотре капища в Эймсбери, или же при иных беседах не усмотрелось ли вам, что он обращается к этим предметам лишь затем, чтобы любезности ради развлечь вас разговором и тем скоротать досуг? Или он не в силах был умолчать о вещах, основательно его занимающих, – а лучше сказать, едва ли не единственно его занимающих? Не пришло ли вам на мысль, что любовник

верно изрядный чудака, если груда камней производит в нем большой пыл и красноречие, нежели чем предвкушение встречи с той, которую он, по его словам, боготворит? Другому юноше всякий лишний час пути показался бы мукой, а этому ради ученых исследований и задержка нипочем. Не странное ли соседство – безудержная страсть и сундук с учеными трудами?

О: Конечно, я об этом задумывался. Но что побуждало мистера Бартоломью к этим разговорам – простая причуда или глубокий интерес, – я в ту пору так и не разобрал.

В: А сейчас что скажете?

О: Скажу, что под конец мистер Бартоломью признался: никакая девушка его в Корнуолле не дожидалась. То был лишь предлог. Истинная же цель нашего путешествия мне, сэр, неизвестна и поныне – как вы увидите из дальнейшего.

В: Что, по-вашему, он разумел, говоря о меридиане своей жизни?

О: Трудно понять подобное этому темное и затейливое иносказание. Но должно быть, он разумел хоть сколько-нибудь прочную веру или убеждение.

Боюсь, принятое у нас исповедание веры отрады ему не приносило.

В: Вы ничего больше не рассказали о его слуге. Каков он вам показался в дороге?

О: Сперва я не нашел в нем почти ничего достойного замечания – сверх того, о чем говорил давеча. Но позже мне открылись некоторые подозрительные стороны его натуры. Как бы их описать? Одним словом, мистер Аскью, меня взяло сомнение, а слуга ли он на самом деле, не был ли он нанят для этой роли подобно нам с Джонсом. Причиной тому были не его поступки, ибо, выполняя хозяйские повеления, он выказывал если не расторопность, то подобающее усердие. Но вот манеры его отзывались какой-то – не скажу дерзостью, но... Никак не подберу верное слово. Стоило хозяину отвернуться, он поглядывал на него с таким видом, будто он сам хозяин и знает не меньше своего господина. В этих взглядах угадывалась скрытая неприязнь, я бы сказал – зависть, какую подчас питает дюжинный актеришка к своему прославленному собрату по ремеслу. На людях-то они друг другу улыбаются и расточают похвалы, а в душе завистник ворчит: «Ишь вознесся! Дай срок, уж я тебя подлеца за пояс заткну».

В: Вы говорили об этом с мистером Бартоломью?

О: Напрямик не говорил, сэр. Но однажды за ужином – дело было в Уинкантоне – я завел речь о Дике и мимоходом обронил, что не возьму в толк, с чего бы это мистеру Бартоломью вздумалось принять на службу

убогого. На что он ответил, что его с Диком связывает не столь скороспелое знакомство, как может показаться: Дик родился в поместье его отца, он сын женщины, ставшей его – мистера Бартоломью – кормилицей. Вскормленные одной грудью, они суть молочные братья. «Более того, – продолжал он, – по прихоти звезд мы впервые увидели свет и испустили первый вздох в единый час, в один и тот же осенний день». В детстве они с Диком были неразлучны, а когда мистеру Бартоломью пришло время обзавестись собственным слугой, должность эта досталась Дику. Мистер Бартоломью рассказывал: «Всему, что Дик знает и умеет, он обязан мне: никто как я научил его изъясняться знаками, исполнять свою службу, держаться приличным образом. Без меня он бы так и остался дикарем, неразумием своим подобным скоту, и сделался бы посмешищем деревенских мужланов, если бы те прежде не забили его насмерть камнями». Тут-то, сэр, и я ввернул, что взгляды, которые Дик бросает на хозяина, мне не нравятся.

В: И что на это мистер Бартоломью?

О: Рассмеялся. То есть почти рассмеялся: настоящего смеха я не слышал от него ни разу. Так вот, этим своим смешком он как бы желал выразить, что я заблуждаюсь. Затем промолвил: "Знаю я эти взгляды, всю жизнь их ловлю.

Так он изливает досаду на судьбу, обрекшую его на столь жалкое состояние.

А на кого он при этом сверкает глазами – дело случая, будь то вы, или я, или просто прохожий. Дерево, дом, стул – ему все едино. Он, Лейси, не таков, как мы с вами. Он не дает себе отчета в своих чувствованиях.

Точь-в-точь мушкет: в какую сторону повернется, проклиная судьбу, в ту и выпалит". К этому он добавил, что у них с Диком одна душа, одна воля, один желудок. «Что по вкусу мне, то и ему по вкусу, чего желаю я, того и он, я поступлю так – и он так же. Если, увидавши некую даму, я вообразу, что передо мною сама Венера, то же вообразится и ему. Если я выражусь как готтентот, он не преминет нарядиться так же. Если я назову смердящую пададь яством, достойным богов, он примется уплетать ее за обе щеки». Он сказал далее, что напрасно я равняю Дика с другими людьми, у которых все пять чувств в сохранности. Мистер Бартоломью не раз пытался вперить в него понятие о божестве, показывая ему изображения Иисуса и Господа на небесном престоле. «Но все было тщетно, – признавался он. – И уж я-то хорошо разумел, в чьем образе неизменно видится ему единственный истинный Бог, которого он знает. Вздумай я его зарезать, он и пальцем не пошевелит, чтобы меня

остановить. Да что зарезать – кожу с живого содрать, да мало ли что еще – все безропотно снесет. Только мною он и жив, Лейси, без меня он все равно что корень древесный или камень. Умри я, он не переживет меня ни на миг. И он понимает это не хуже меня. Понимает не умом, но каждой жилкой, каждым суставом. Подобно тому как скакун понимает, когда в седле чужой, а когда истинный хозяин».

В: Какой же смысл вы из всего этого вывели?

О: Мне ничего другого не оставалось, как принять эти слова на веру. Он же заключил свою речь тем, что, хотя Дик во многом вовсе не сведущ, зато в каких-то вещах на свой особый лад умудрен, и эта его мудрость внушает мистеру Бартоломью уважение и даже некоторую зависть. У него поистине звериное чутье на людей, он умеет различать то, что скрыто от наших глаз, и никакие внешние покровы – речь, манеры, платье – ему в этом не помеха.

Не раз и не два мистеру Бартоломью случалось убедиться, что когда он в том или ином человеке обманывался, то мнение о нем Дика оказывалось справедливо. Я не скрыл удивления, и он подтвердил, что во многих делах Дик для него все равно что магнитная стрелка – именно такое сравнение он и употребил, – и он высоко ценит эту не рассудком добытую проницательность.

В: Теперь, Лейси, мне придется коснуться до одного не весьма удобного обстоятельства. И вот мой вопрос. Не замечали вы в продолжение путешествия или при иной okazji каких-либо свидетельств – потаенных взглядов ли, жестов ли, обоюдных знаков ли, – по коим можно было бы заключить, что взаимная приязнь мистера Бартоломью и его человека проистекает от противоестественного влечения?

О: Я не вполне постигаю ваш вопрос, сэр.

В: Не имелось ли признаков, хотя бы и наиничтожнейших, что эти двое подвержены постыдному и мерзостному греху, которому в древности предавались жители Содома и Гоморры? Что же вы не отвечаете?

О: Дух занялся. У меня и мысли такой не возникало.

В: А сейчас?

О: Статья тому нельзя! Для такого подозрения не было никаких оснований. Притом все помыслы слуги были явно устремлены к горничной.

В: Не было ли это уловкой с целью отвести подозрения?

О: Нет, сэр, это не уловка. Я ведь еще не все рассказал.

В: Хорошо. Вернемся к вашему путешествию. Где вы остановились на ночь в следующий раз?

О: В Уинкантионе. На моих глазах никаких достопамятных происшествий там не случилось. Но на другой день, уже в пути, Джонс, который спал в одной постели с Диком, шепнул мне, что ночью тот прокрался в соседний покой, где досталось ночевать горничной Луизе, и пропал там до самого утра.

В: Как же вы это объяснили?

О: Решил, что она истинно та, кем себя называет, и что давеча мы возвели на нее напраслину.

В: То есть ни отъявленной шлюхой, ни знатной дамой в обличье служанки она быть не могла?

О: Совершенно верно.

В: Вы не говорили об этом с мистером Бартоломью?

О: Нет. Путешествие наше все равно близилось к завершению, и я рассудил за благо держать язык за зубами.

В: Вы сказывали, что чем дальше на запад, тем молчаливее он становился.

О: Истинно так. В дороге он теперь все больше безмолвствовал, как бы снедаемый некой заботой. Да что в дороге – теперь и застольные беседы чаще приходилось поддерживать мне, а скоро и я сравнялся с ним в немногословии.

Я приписал его молчаливость новым опасениям или же унынию. Он, правда, старался и виду не показывать, но я решил, что эта моя догадка верна.

В: Что за опасения? Он сомневался в счастливом исходе?

О: Так мне казалось.

В: Вы не пробовали его ободрить?

О: И-и, мистер Аскью, уж я к нему пригляделся. Да и вы, смею думать, знаете натуру мистера Бартоломью лучше моего. Будучи чем-либо поглощен, он не терпит отвлечений. Поэтому даже самый невинный вопрос или слово утешения становятся как бы неучтивостью.

В: Стало быть, вы с Джонсом больше ничего не разузнали? Случилось ли что-либо замечательное в Тонтоне?

О: Нет. Только то, что я уже упоминал: нам с мистером Б. досталась одна комната на двоих. И вот тогда, сразу после ужина, он, извинившись, объявил, что желает почитать свои бумаги. Я уже отошел ко сну, а он все еще читал. Престранный, право, путешественник.

В: После Тонтонна вам оставалось ехать вместе еще один день?

О: Да, сэр.

В: Не было ли в этот день каких особых происшествий?

О: Разве лишь то, что ближе к концу пути мистер Бартоломью в обществе Дика и горничной дважды отъезжал в сторону, как если бы хотел обозреть открывающуюся впереди местность.

В: Доселе он так не поступал?

О: Нет, сэр. Оба раза они въезжали на случавшиеся при дороге возвышенности, и я видел, как Дик указывает вдаль – может, на какой-нибудь холм, может, на иное место.

В: Мистер Бартоломью представил вам какие-либо объяснения?

О: Да, он сказал, что они выбирают дорогу. Тогда я спросил, далеко ли еще ехать, на что он ответил: «Мы уже достигли того самого порога, о коем я вам сказывал, Лейси». И прибавил: «Скоро мне останется лишь поблагодарить вас за любезную услугу». Но мы с Джонсом по этим остановкам для осмотра окрестностей и сами уже смекнули, что путешествие близится к концу.

В: Разве мистер Бартоломью и его человек не побывали в этих краях шестью неделями ранее? Да и горничная, стало думать, тут живала. Отчего же им понадобилось высматривать дорогу?

О: Уж мы и то дивились, сэр. Но, не будучи посвященными в их намерения и замыслы, мы рассудили, что они имеют в мыслях отыскать самый укромный путь, ибо впереди лежали места, которых им надлежало опасаться паче всего.

В: Вас впервые уведомили, что на завтра вы должны разъехаться?

О: Да, сэр. Но уж и без того было ясно, что мы почти на месте: до Бидефорда оставалось не более дня езды. Так что я ничуть не удивился.

В: Теперь расскажите, что происходило в «Черном олене».

О: До ужина, сэр, все шло как обычно. За одним исключением: мистер Бартоломью попросил уступить ему лучший покой – до сих пор, если имелся выбор, то самый лучший непременно доставался мне. Но на сей раз он предчувствовал бессонную ночь и пожелал занять комнату, где можно на просторе расхаживать взад-вперед. А в той комнате, что поплоче, было тесненько.

В: Не имел ли он иные резоны?

О: Разве то, что большая комната смотрела окнами на площадь, а моя – на задворки и в сад. В прочем же его комната превосходила мою лишь в рассуждении просторности.

В: Продолжайте. О чем вы беседовали после ужина?

О: Первым делом он поблагодарил меня за терпение, с каким я выношу его и его васиа – так он именовал свою неразговорчивость, – а также заметил, что человеку моих занятий его общество должно быть в

тягость. Тем не менее он изъявил мне признательность за то, что я так ловко играю свою роль. Я не преминул вставить, что сыграл бы ее даже лучше, если бы знал развязку.

Он вновь отделался туманными обвиняками, из коих я вывел, что он отнюдь не уверен в успехе. Тут-то я и попытался несколько укрепить его дух, сказавши, что, если его вновь постигнет неудача, он волен начать сначала.

На что он отвечал: «Перейти Рубикон дважды никому не дано. Сейчас или никогда», – или что-то в таком роде. Я попенял ему за уныние. Как вдруг его вновь потянуло на причудливые измышления. Я, изволите видеть, выше заметил ему, что он вовсе не герой заранее сочиненной пьесы – к примеру сказать, трагедии, где все с самого начала обречены. Он же на это сказал, что, может статься, в его пьесе нет ни Ромео, ни Джульетты, а затем любопытствовал, как бы я поступил, случись мне повстречать человека, который проникает тайны будущего.

В: Проникает? Каким способом проникает?

О: Этого он не объяснил, сэр. Он выражался иносказательно, и из его слов выходило, что этот воображаемый прозорливец истинно способен провидеть грядущее, но не стоит искать тут суеверия или чародейства, ибо он достигает этого ученостью и познаниями. Так вот не лучше ли при таковой встрече остаться в неведении касательно будущего? Мне представилось, что таким вопросом он хотел сказать: «Лучше уж я о своей настоящей цели умолчу». Меня, признаться, взяла досада. Что это, как не признание в обмане и нарушении слова? Я высказался напрямик. Тогда он принялся с великой торжественностью уверять меня, что скрыл истину для моего же блага и не вынашивает никаких злоумышлений. И прибавил, что в одном душою не кривил: он в самом деле жаждет встречи с одной особой и притом так же страстно, как иной жаждет свидания с любимой или, как он, помнится, выразился, со своей Музой. Однако до сих пор ему в том препятствовали.

В: Как именно препятствовали?

О: Он не сказывал.

В: С кем он искал встретиться?

О: Ах, мистер Аскью, когда бы я знал! Он ни за что не хотел назвать. Я спросил, не замешано ли тут дело чести. На что он с грустной улыбкою отвечал, что ему не с руки было бы ехать в такую даль, когда с противником можно перевестись прямо в Гайд-парке, а в секунданты он бы скорее взял близкого друга. Тут меня, как на грех, позвали вниз. Некий мистер Бекфорд, викарий тамошнего...

В: Знаю. Я уже имел с ним беседу. Вы прежде-не были с ним знакомы?

О: Нет.

В: Ну так и не будем о нем. Продолжился ли ваш разговор с мистером Бартоломью после его ухода?

О: Да, однако мистера Бартоломью как подменили. Словно, поразмыслив в мое отсутствие, он нашел, что насказал много лишнего. Теперь же он не то чтобы отбросил учтивость, но стал отвечать на мои вопросы с неудовольствием. На столе перед ним были разложены вынутые из сундучка бумаги. На них, как я заметил, были начертаны большей частью фигуры и некие знаки не то из геометрии, не то из астрономии, не то из другой науки. Он протянул мне один лист и спросил, не похож ли он, по моему разумению, на тайнописное донесение мятежников Якову Стюарту.

В: Это он вам в насмешку?

О: Да. Он еще добавил, что, почем знать, возможно он прибыл сюда для упражнений в чернокнижии с какой-нибудь местной колдуньей. Эти слова также заключали насмешку над моими страхами. Вслед за тем он оставил веселость и вновь заговорил о человеке, с коим желал увидеться, заметив, что в рассуждении мудрости и проницательности ему до этого человека так же далеко, как бедному немому Дику до своего хозяина. И что, может, его затея есть ничто как вздорное мечтание, однако его душе она ничем не грозит. А что это значит, извольте, мистер Аскью, разбирать сами. Уж он такого туману напустил. Вроде бы все открыл, и ничего не понять.

В: Кто бы это мог быть? Какой-нибудь ученый муж, подвигающийся в науках затворник?

О: Осмелюсь заметить, в разговоре с мистером Бекфордом я среди прочего любопытствовал, нет ли в округе людей, склонных к таким занятиям или, по крайности, отмеченных ученостью и вкусом, и он ответил, что таковых в их краях не имеется, что он живет как в лесу. Так точно и выразился.

В: Мистер Б. не промолвился, далеко ли живет или обретается этот человек?

О: Нет, сэр. Надо полагать, в пределах дня езды по пути в Бидефорд, где я потом оставил мистера Б.

В: Итак, он разумел, что означенный человек имеет жительство в этих краях или близ них, что он уведомлен о намерении мистера Б. с ним свидеться, но сам смотрит на это свидание равнодушно или даже хотел бы от него уклониться; что, проведая он о приближении мистера Б., он бежал бы прочь из этих мест и, дабы отвратить встречу, разослал повсюду своих

лазутчиков, соглядатаев и не знаю кого еще. И вот, чтобы добиться своего, мистер Б. прибегает к обману, к которому припрягает и вас... Так, стало быть, видится дело? Вздор, Лейси, вздор. Я скорее поверю басне про наследницу. Вы не задавались вопросом, с какой стати ему понадобилось променять правдоподобную, пусть и придуманную историю на столь очевидный вымысел?

О: Задавался, сэр. Тогда, при конце путешествия, я так и не постиг, для чего меня опять водят за нос. Если же я назову причину, которая пришла мне на мысль уже потом, вы, чего доброго, запишете меня в дураки.

В: Не беда, сэр. По крайности, я посчитаю вас честным дураком.

О: Я льстил, что даже таков, каким вы меня трактуете, я все же снискал у мистера Б. некоторую толику уважения. Задним числом мне возмнилось, будто он желал показать, что полагает себе более важную и высокую цель, нежели чем была мне представлена. Он будто бы давал мне понять, что наше предприятие стало лишь прикрытием для иных устремлений.

Он словно признавался: «Да, я вас обманул, но обман этот должен послужить достойному и благому делу, а какому, я открыть не могу».

В: Опишите подробнее, что было изображено на листах.

О: Я, сэр, в науках не искушен. На том листе, что он мне дал, было столбцами выписано множество цифр. Два-три места небрежно выскоблены, как если бы там обнаружились ошибки. А на другом листе, на столе, я заметил геометрическую фигуру – круг, пересеченный множеством линий, проходящих через его середину. При концах этих линий значились сокращенные слова из греческого языка. Поручиться не могу, но очень похоже на рисунок, по каким астрологи делают предсказания. Правда, этот лист я видел лишь мельком.

В: Мистер Б. никогда не заводил речь об этом предмете – об астрологии?

Верит ли в нее, имеет ли к ней влечение?

О: Если не считать слов про меридиан своей жизни, сказанных у капища, то ни разу.

В: Коротко говоря, он косвенным образом уведомил вас, что его привела сюда не та причина, какую он указал вначале?

О: Вне всякого сомнения.

В: И вы из этой беседы, а также из прошлых разговоров с ним заключили, что намеки и экивоки об умении проникать будущее имеют касательство до истинного его замысла?

О: Ах, сэр, я и по сей день не разберу, какое заключение отсюда

вывести. Иной раз мне кажется, что его намеки должно принимать за истину, а то вдруг разбирает сомнение: уж не лукавил ли он, не объехал ли меня на кривой, не задумал ли попросту обморочить меня своими рассуждениями. И все же, как я уже сказывал, хоть обстоятельства и понудили его прибегнуть к обману, я уверен, что он пошел на это скрепя сердце.

В: Не происходило ли между вами в тот вечер еще каких разговоров?

О: Мы, мистер Аскью, еще вот о чем говорили. Когда он открыл мне, что у нашего предприятия имеется иная цель, передо мною встала новая загадка: к чему причесть присутствие горничной. Я, признаться, был так уязвлен его недоверием, что сгоряча выложил про подозрение Джонса.

В: Как он это принял?

О: Спросил, разделяю ли я это подозрение. Я отвечал, что верится с трудом, но нам еще сдается, что она допускает слугу к себе в постель. Тут он вконец меня озадачил: «Неужто, Лейси, мужчине запрещено проводить ночи с собственной женой?»

В: Что же вы на это?

О: Ничего, сэр. От неожиданности не нашелся, что сказать. Мы с Джонсом каких только догадок ни строили, но такое нам никак на мысль не приходило.

В: Для чего же понадобилось делать тайну из этого супружества?

О: Выше моего разумения, сэр. Как и то, что же заставило такую красивую и любезную девицу связать свою жизнь с убогим и уготовить себе безотрадную участь.

В: Тем ваш разговор и закончился?

О: Напоследок он еще заверил меня в своем ко мне уважении.

В: А что условленная награда? Как он с вами расчелся?

О: Ах, да: он обещал расплатиться на другое утро. И слово сдержал: выдал вексель, да еще уговорил принять от него в дар коня, на котором я ехал, а захочу – так и продать. Я посчитал, что мне заплачено с лихвой.

В: Коня вы продали?

О: Да, по приезде в Эксетер.

В: Теперь – о Джонсе и его бегстве.

О: В этом, мистер Аскью, я никакого участия не имел. Он меня ни единым словом не предупредил.

В: Вы говорили с ним, когда расположились в «Черном олене»?

О: Перемолвились мимоходом о каких-то безделицах, а больше никаких разговоров.

В: Сообщили вы ему, что дело идет к завершению?

О: Как же, сообщил. Как я вам докладывал, мы с ним об этом догадывались еще до прибытия в «Черный олень». И вот, получив от мистера Б. распоряжение следовать в Эксетер, я удалился к себе, вызвал с кухни Джонса и передал ему все, что услышал.

В: Его это известие поразило?

О: Ничуть не бывало. Он отозвался, что душевно рад развязаться с этим делом.

В: И больше вы с ним об этом не толковали?

О: Да он бы, может, и не прочь – благо успел залить глаза, но я уже не чаял добраться до постели и потому прекратил разговор. Кажется, я при этом заметил ему, что времени впереди предостаточно, будет когда сообразить все обстоятельства.

В: Когда вы обнаружили его исчезновение?

О: Только поутру. Я уже пробудился и оделся, как вдруг заметил лежащее на полу письмо, как видно подсунутое под дверь. Оно у меня с собой.

Только, по моему мнению, оно дурно написано.

В: Благоволите прочесть.

О: «Дражайший мой мистер Лейси! Когда Вы станете это читать, я буду уже далеко, но, памятуя о прошлой Вашей доброте, уповаю, что отъезд мой Вы мне в вину не поставите, затем что Вам доподлинно известно про оставленную у меня на родине престарелую родительницу, а также брата и сестру, с коими не видался я уже семь лет. Во все наше путешествие на запад меня одолевал стыд за жестокое небрежение сыновним долгом, отчего, оказавшись близ родных мест, не преминул я расспросить принявшего нас хозяина, нет ли средства переправиться через залив в Уэльс, и получил ответ, что всякую неделю в Бидефорд и Барнстапл прибывают оттуда суда с углем и, как мне было сказано, завтра оттуда – из Барнстапла – как раз отходит обратно одно такое судно, на котором я и могу отплыть; но Вы не извольте беспокоиться, затем что на все вопросы я стану отвечать, будто направляюсь в Бидефорд, с намерением загодя предупредить о Вашем приезде; касаясь же коня, то его я оставил в Барнстапле, в портовой гостинице „Корона“, где Вы или мистер Б. можете забрать его когда угодно; карабин же у меня под кроватью, так что никакой покражи я не сделал. Как Бог свят, сэр, это лишь ради моей матушки, которая, слышно, занедужила, и только из почтения к ней – и то сказать, грех не воспользоваться случаем, когда до родного дома всего сорок миль по морю, а путешествие наше завершилось. Сделайте милость, передайте мистеру Б., что тайну его я стану беречь как непорочная девица свою...»

Этого, сэр, я прочесть не смею. «...И я душевнейшим образом прошу Вас и мистера Б. поверить, что уговора я никак не нарушил, а разве что на один всего денек, и если мистер Б. всемилостивейше простит Вашего покорного слугу и приятеля, то прошу Вас долю мою сохранить до моего возвращения в Лондон, каковое, верю, не замедлит воспоследовать, а засим, еще раз моля о снисхождении, спешу закончить, затем что время мое на исходе». Вот, мистер Аскью. Это все.

В: Подпись проставлена?

О: Только инициалы.

В: Не имели вы подозрений, что такое может случиться? Не было ли каких предвестий?

О: Не думано не гадано, сэр. Хотя, будь я посмекалистее, впору было бы насторожиться – после одного происшествия в Тонтоне. Джонс приступил ко мне с рассказом о том, что большая часть его задатка еще в Лондоне ушла на уплату какого-то долга, пожаловался на нужду и просил выделить некую толику в счет причитавшейся ему награды. Я уважил его просьбу, сделав о том запись в книжице, которую ношу для подобных оказий.

В: Сколько?

О: Одну гинею.

В: Вас не удивило, что ему понадобилось в дороге столько денег?

О: Я его обычай хорошо знаю. Где не удастся пустить пыль в глаза бахвальством – там добывается своего угощением.

В: А что, мистер Лейси, дали вы веру его письму?

О: Признаться, я на него осерчал: шутка ли, так меня подвести. Однако тогда почел им написанное за правду. Я знал, что родом он из Суонси или по крайности из тех мест, слышал я и его рассказы о матери, все еще там проживающей.

В: Та, что содержит кабачок?

О: Да, так он мне как-то сказывал.

В: Тогда вы ему поверили, отчего же нынче изверились?

О: Оттого, что за деньгами он ко мне не обращался.

В: Может статься, нашел работу в Суонси?

О: Тогда бы он мне написал. Уж я его знаю.

В: Не справлялись вы на постоялом дворе о следующем: верно ли, что в тот день уходило судно в Суонси? Верно ли, что Джонс про него спрашивал?

О: Нет, сэр, таких справок я не навел: мистер Бартоломью не велел.

Было так: едва я дочитал письмо, как явился слуга Дик и пригласил

меня к мистеру Б., который уже знал про отъезд Джонса, будучи уведомлен Диком. Он было решил, что это я отослал Джонса. Мне пришлось его разуверить и изъяснить суть дела.

В: Вы показали письмо?

О: Незамедлительно.

В: Оно его встревожило?

О: Слава Богу, меньше, чем я предполагал. Он говорил со мною так приветливо, что я не знал, куда глаза девать: Джонс как-никак был нанят по моему ходатайству. Мистер Бартоломью сделал несколько вопросов, желая понять, в какой мере можно доверять искренности этого письма. Я отвечал примерно как и вам и прибавил, что, по глубокому моему убеждению, успеху дела это происшествие не угрожает – ведь Джонс знал о его подоплеке еще меньше моего. И если бы он строил козни, ему не было бы никакого расчета писать это письмо либо медлить с исполнением своего замысла.

В: Джонс, вы сказывали, знал, что вам велено возвращаться через Эксетер?

О: Да, я ему передавал.

В: Какие распоряжения сделал мистер Бартоломью касательно нового поворота событий?

О: Что нам надлежит и виду не показывать, что Джонс уехал без нашего ведома, а напротив, держаться так, будто на то была наша воля. С этой целью должно нам отбыть из города вместе и лишь потом разъехаться и действовать, как было условлено. Не скажу, чтобы меня очень прельщало путешествие в одиночку по этой почти безлюдной глуши, но я о своих страхах и не заикался: сам виноват, что остался без спутника, пусть даже такого ненадежного, как Джонс.

В: Не задумывались вы, какая бы причина помешала этому молодцу востребовать свою долю?

О: Задумывался, но ответа не находил. Такое не в его правилах.

В: Может, он засовестился из-за того, что бросил вас на произвол судьбы?

О: Что вы! Откуда бы взяться такой чувствительности при его безденежье.

Нужда бы заставила.

В: Он женат?

О: Про жену я никогда от него не слышал. Да и знакомство наше было не так чтобы очень близким. Пару раз он наведывался ко мне домой, но дальше порога я его не пускал: миссис Лейси такому гостю бы не

обрадовалась.

Сколько он ни тщился щегольнуть изящными манерами, а все-таки от джентльмена, хотя бы и невысокого полета, разнился как небо от земли. Как есть шапочное знакомство – у меня таких приятелей не меньше дюжины наберется, я мог бы привести к мистеру Бартоломью любого. А только вот угадало меня за два дня до нашего разговора встретить на улице Джонса и узнать, что он остался без места.

В: Хорошо. Перейдем к вашему расставанию с мистером Бартоломью.

О: Как называлось место, где мы распрощались, я не ведаю. Проехавши две мили, а может, чуть больше, мы оказались на распутье, где стояла виселица.

Мистер Бартоломью придержал коня и объявил, что тут мы должны разъехаться и что моя дорога через несколько миль приведет меня к большаку, связующему Барнстапл с Эксетером, по нему я и доберусь до места, а если посчастливится, то и попутчиков себе найду. Заночевать ли в Тонтоне или скакать прямо в Эксетер, он предоставил решать мне самому.

В: Он что-нибудь еще говорил?

О: Говорил. Но сперва нам пришлось подождать минуту-другую, пока Дик перевьючит мою поклажу на моего коня. Да, вот еще что: мистер Бартоломью уломал меня прихватить Джонсов карабин. Едва ли у меня достало бы духу из него выпалить, разве что при самых отчаянных обстоятельствах, да Бог миловал. При самом же расставании мы с мистером Б. спешили и отошли к сторонке. Он вновь поблагодарил меня, извинился за то, что поверг меня в смятение, и пожелал мне продолжать путь и ни о чем не крушиться, ибо, если бы он был в силах открыть мне всю правду до конца, я бы и сам уверился, что крушиться нет причины.

В: Он ничего не добавил касательно того, куда же все-таки направляется и с кем ищет встретиться?

О: Нет, сэр.

В: Было ли похоже, что он воспрял духом?

О: Скорее смирился, как если бы понял, что жребий брошен. Я заметил ему, что по крайности солнце смотрит на его предприятие с приветливой улыбкой: день задался подлинно майский, на небе ни тучки, и он ответил:

«Правда, Лейси, я вижу в этом добрый знак». Когда же я высказал надежду, что он непременно сподобится желанного свидания, он лишь наклонил голову и произнес: «А это, Лейси, я скоро узнаю». И больше не сказал ни слова.

В: А что горничная и слуга – не удивились они, что вы их покидаете?

О: Они без сомнения были извещены, что на этом моя роль приходит к концу. Мы с мистером Бартоломью пожали друг другу руки, вскочили на коней и отправились – он в одну сторону, я в другую. Вот и все, что мне известно, сэр. Не взыщите, если я не сумел прояснить для вас все предметы, о которых вам бы хотелось узнать обстоятельнее – я ведь предупреждал, что так оно и будет.

В: Теперь поразмыслите вот о чем. Предположим, Джонс не сомневался в справедливости своего подозрения, что горничная не горничная, но шлюха.

Предположим, он налег на нее крепче, нежели чем описывал потом вам, потребовал плату за свое молчание и девица либо сам мистер Б. сочли за лучшее от него откупиться. Иными словами, ему было заплачено с тем, чтобы он от вас отступился и убирался с глаз долой, а то как бы паче чаяния не проболтался, когда вы, как было назначено, расстанетесь с мистером Б.

Разве такое объяснение не заслуживает большего вероятия? И не потому ли он до сих пор не востребовал свою долю? Может статься, он получил плату еще в Девоншире, и плату куда большую против условленной?

О: Не верится, чтобы он сшутил со мной такую шутку.

В: Могу сообщить вам, что Джонс угадал правильно: стыдливая горничная ваша была далеко не стыдливой и вовсе не горничной, но продажной девкой, взятой напрямиком из притона Клейборнихи.

О: У меня ум мешается.

В: Беда ваша – избыток мягкосердия, друг мой. Людишки такого пошиба, как Джонс, мне хорошо знакомы. Для них что выгодно, то и честно. Что им стоит поступиться стародавней дружбой ради нескольких гиней?

О: Но зачем же было брать с собой эту девку?

В: Этого я еще не постигаю. Первое, что приходит на ум, – для услаждения мистера Б. Но вы уверяете, что никаких подтверждений тому не имелось.

О: Я ничего такого не приметил.

В: Касательно же того, будто девица допускала Дика к себе в постель, вы полагаетесь только на слова Джонса?

О: Я также наблюдал, как они друг с другом держатся, мистер Аскью. Его вожделение виделось яснее некуда. Она же старалась таить свои чувства, но все же взаимная их приязнь от меня не укрылась.

В: Вернемся к вашему прощанию. Вы, как было велено, отправились в

Эксетер?

О: Спустя несколько времени я выехал на большак и прибил к конному поезду, везшему поклажу, – его вели два дюжих молодца. Я не расставался с ними до самых городских ворот. В Эксетере я дал себе два дня на отдых, продал коня, а на третий день экипажем воротился в Лондон.

В: Что вы отвечали на расспросы попутчиков?

О: Явил себя самым неприветливым старым угрюмцем, с какими только им доводилось путешествовать. Ни словечка из меня не вытянули.

В: Рассказали вы о своем приключении миссис Лейси?

О: Рассказал, сэр. Она в жизни лишнего не сболтнет, верьте слову. Не все дамы на театре похожи на эту шальную срамницу миссис Чарк <Чарк, Шарлотта (1713-ок.1760) – дочь Колли Сиббера, актриса, скандально известная своей эксцентричностью и тяжелым характером; исполняла не только женские, но и мужские роли, отдавала предпочтение занятиям, считавшимся уделом мужчин, – таким, как охота; уйдя со сцены, выступала на ярмарках и содержала таверну; оставила увлекательные мемуары>, которая вздорными выходками и дурной славой доставила столько огорчений своему достойнейшему батюшке мистеру Сибберу. Вы по ней не судите – она не правило, но исключение. Иное дело миссис Лейси: всякий скажет, что распущенности она не подвержена и к пересудам нимало не склонна.

В: Ну, тогда вам достался воистину редкий перл: таких женщин немного наберется. И все же, мистер Лейси, льщусь надеждою, что, засвидетельствовав своей супруге мое почтение, вы попросите ее и в сем случае не отступить от этого бесценного правила.

О: Не извольте беспокоиться, мистер Аскью. Ну вот, рассказал – и совесть поочистил. А на душе все беспокойно. Осмелюсь полюбопытствовать – у меня все из головы не идет – что вы сказывали про слугу мистера Б.?

В: Он был найден удушенным примерно в трех милях от того места, где вы с ним виделись в последний раз. Сам ли он, как это усматривается, наложил на себя руки или сделался жертвой злодея, придавшего его смерти видимость самоубийства, – это пока так же неясно, как и многие иные обстоятельства.

О: Нет ли каких известий о его хозяине?

В: Слыхом не слыхать. И о потаскухе тоже. Счастлив ваш Бог, что вам досталось ехать Эксетерской дорогой.

О: Вижу, сэр. А лучше бы мне было и вовсе не ввязываться в эту историю.

В: Откажись вы, он сыскал бы себе другого пособника. Ваше участие не суть важно. Он задумал учинить что-то в этом духе задолго до того, как отправил к вам домой своего слугу.

О: Вы разумеете, в духе непослушания?

В: Непослушания? Представьте вот такой случай, Лейси. Положим, что есть некий молодой человек вашего ремесла, оказавший недюжинные таланты и способности и имеющий впереди блестящую будущность – не только на подмостках, но и во всем, включая сердечные дела. И вдруг он, из каких-то неведомых понятий и побуждений, о коих не изволит даже объясниться, решает презреть все дары, которые со всей очевидностью предназначало ему Провидение. Ему нет дела до надежд, что полагали на него домашние и друзья, до их просьб и увещаний. Просто ли это непослушание, Лейси? У меня на родине чернь сложила поговорку о людях, обуреваемых подобным мятежным духом: «Не иначе его черт в колыбели укачивал». Тем самым делается намек, что виною сему пороку не столько сам человек, сколько злосчастная игра природы. Мистеру Б. было дано все – кроме умения радоваться своей как будто бы счастливой доле. Человек, с которым вас свела судьба, – не какой-нибудь худородный зеленый вертопрах. Впрочем, вы, верно, и сами догадались. Но довольно, а то я уж и так слишком дал волю языку. Благодарствую за показания, Лейси, и смею думать, расстаемся мы с большей приязнью, нежели чем встретились. Сами видите, и мне порою случается прибегать к актерству, да только для иных причин.

Jurat die annoque praedicto coram me.

Генри Аскью.

Линкольнз-инн, августа 27 дня.

Милостивый государь Ваше Сиятельство.

Приложенные к сему посланию для ознакомления В.Сиятельства протоколы говорят сами за себя, и я не преминул взять нужные меры; какие – Вы, В.Сиятельство, должно быть, догадываетесь. Посланные мною люди уже на пути в Уэльс. Если мошенник Джонс в самом деле обретается в родных краях, то в скорейшем времени, без сомнения, будет сыскан. Нюх подсказывает мне, что Лейси не лжет и его рассказ заслуживает доверия,

хоть сам он и доверился тому, кто этого не заслуживал. Как бы ни надувался он, желая поразить отменным воспитанием и представить из себя важную особу, душою он сущий младенец, как и все люди, избравшие то же поприще. Он, если угодно В.Сиятельству, простофиля, но уж никак не злодей и до лжесвидетельства себя не допустит. Что же до сводни Клейборнихи, то, будь на этом свете справедливость, с бессовестной твари следовало бы спустить три шкуры и сослать ее в колонии до скончания дней. Виселица для нее слишком легкая расплата.

Нынче утром я наведалься к лорду Б. и, предъявив письмо В.Сиятельства, уведомил о данных мне полномочиях, а засим изложил обстоятельства, каковые меня к нему привели. Он отозвался незнанием оных и прибавил, что до сего дня считал Его Милость пребывающим за границую. Касательно происшедшего в борделе он признался, что имел в том соучастие; о девице же полагал, что она отбыла вместе с Его Милостью для доставления ему утех. Я спрашивал лорда Б., не закрадывалось ли ему когда-либо сомнение в искренности изъявляемых Его Милостью намерений, и он отвечал, что Его Милость не раз заводил разговор о своей поездке в Европу, отчего лорд Б. и был в этом убежден.

В ответах на дальнейшие вопросы лорд Б. показал, что, хотя по выходе из Кембриджа он видался с Его Милостью лишь от случая к случаю, однако знакомство с ним почитал за честь и, когда тот появлялся в городе, рад был восстановить узы дружества. В последний свой приезд Его Милость неожиданно стал домогаться, чтобы лорд Б. сводил его в бордель Клейборнихи, каковую просьбу милорд нашел необычною, ибо доселе думал, что Его Милость неуязвим для плотских соблазнов – более того, вовсе равнодушен к женскому полу: он даже не был женат; теперь же он явно исполнился желания (*ipsissima verba*) <по его собственному выражению (лат.)> нагнать упущенное. (Не стану смущать В.Сиятельство упоминанием некоторых выражений, в которых Его Милость высказал это желание лорду В., понеже, по моему разумению, Его Милость с их помощью намеревался поярче изобразить свое показное распутство и поглубже запрятать подлинный свой умысел.) Лорд Б. рассказал также, что это он присоветовал Его Милости обратиться к услугам известной нам женщины, каковыми услугами сам он уже имел случай пользоваться и мог ручаться за ее сноровку и приятность. Далее лорд Б. употребил некое охальное выражение, которое я не осмелюсь повторить В.Сиятельству, разумея под сим, что другой такой мастерицы блудного промысла не сыскать в целом Лондоне. Я пожелал узнать, чем она так приманчива кроме своей срамной хватки, и лорд Б. отвечал, что она пленяет не каким-то

особым остроумием или прелестью речей, ибо речь ее скупа и незатейлива – чем она берет, так это стыдливостью, что в обществе, где в обычае бесстыдство, есть вещь небывалая. Он знал не одного развратника, который, не поверив слухам, приступал к ней без стеснения, а уходил присмирившим. Поскольку же у завязых распутников в цене те девки, что лишь недавно пошли в ремесло, нынче иные считают, что это кушанье уже с душком. Со всем тем лорд Б. рассудил, что Его Милости, как человеку, делающему первые шаги на поприще любострастия, она подойдет как никто, отчего он и указал ему на эту именно девицу – не даром в одном непристойном подражании Тациту, которое ему довелось прочесть накануне, о ней было сказано: *meretricum regina initiarum lenis* <ты, царица разврата, начинающих пленяешь (лат.)>.

Далее я спросил лорда Б., не изъявлял ли Его Милость после первого свидания с девицею своего о ней мнения, а если изъявлял, то в каких выражениях. Он припомнил, что, как доказывает воследовавший на другой день разговор, Его Милость остался ею весьма доволен и даже заметил, что, вздумай он завести особу для собственного услаждения, к которой, однако, не было бы нужды привязываться всей душою, лучше этой ему не найти. В другом разговоре, происшедшем шесть или семь дней спустя, Его Милость признался, что не прочь сманить девицу у Клейборнихи, дабы иметь себе забаву на время пребывания в Париже, и уже начал изобретать к тому средство, прикидывать, во что это ему станет, *et cetera*; тот же (лорд Б.) уверил его, что исполнить задуманное возможно – однако при условии, что вслед за тем Его Милость поспешит отъездом во Францию, дабы Клейборниха, покуда девица еще в Лондоне, не успела поднять шум и наделать бед.

В скором времени (по прошествии трех или четырех дней) Его Милость, навестив лорда Б., объявил, что дело стало лишь за тем, чтобы заручиться согласием девки, которая, хоть и имела к тому охоту, однако не могла без страха помыслить о ярости хозяйки в случае, если все откроется, и страх этот не могли рассеять ни щедроты Его Милости, которыми он тщился склонить ее к побегу, ни обещания о заступничестве. Девица твердила, что Клейборниха бережет ее пуще глаза, а с теми, кто дерзает подобным образом уйти из-под ее смотрения, расправляется нещадно. Когда же Его Милость поведет дело тонко, потолкует с Клейборнихой в открытую и, выставив убедительный предлог, наймет девицу для услуг на стороне (об отъезде во Францию лучше умолчать, потому что сводня не согласится), тогда девица с охотою исполнит его желание, а иначе путешествие может ей дорого обойтись.

Выслушав Его Милость, лорд Б. посоветовал ему, когда он в самом деле ищет заполучить эту девицу, внять ее словам, хотя сей способ и потребует больших расходов; опасения девицы не вовсе лишены оснований, ибо всем известно, что ни одна сводня не даст потачки отбившейся шлюхе, дабы удержать от подобных проступков остальных. Замысел же сей хорош еще и тем, что, когда по прошествии времени девица Его Милости прискучит, ее недолго отослать назад, оставив всех в убеждении, что она далеко и не отлучалась.

Я выказал большую настойчивость в расспросах, и лорд Б. признал, что это он помог Его Милости сочинить небылицу, посредством коей удалось одурачить Клейборниху, а когда эта ведьма потребовала от него подтверждений, он, как та и жаловалась, не преминул их дать; однако, по его убеждению, кто промышляет грехом, того не грех и обмануть.

Я не сомневаюсь, что Вы, В.Сиятельство, довольно осведомлены о душевных качествах лорда Б., чтобы судить, какую цену имеют его показания, не скрепленные присягою. Осмелюсь лишь заметить, что во все время нашей с ним беседы я не имел повода заподозрить его в сокрытии каких-либо обстоятельств и, как это ни горько, из рассказа его явствует, что благородный лорд в этой истории сыграл роль куда как неблагородную.

Напоследок я рассудил за нужное узнать у лорда Б., не сказывал ли Его Милость, в каких чувствах он пребывает к своему высокородному батюшке, чей гнев – гнев, без сомнения, заслуженный и праведный – он посмел на себя навлечь. Приводя здесь ответ лорда Б., осмелюсь напомнить В.Сиятельству, что я дерзнул сделать сей вопрос лишь во исполнение Вашего наказа. Лорд Б. ответствовал, что до возобновления их знакомства до него доходили слухи, что Его Милость воспалился против родителя великой злобою, однако при встрече лорд Б., к удивлению своему, заметил, что Его Милость, по видимости, не только не ропщет на свою участь, но едва ли не готов с нею смириться. При другой okazji, в беседе более душевной, Его Милость открыл, что не почитает себя за родного сына В.Сиятельства, ибо люди, подобные его отцу, ему все равно как чужие и лучше уж он лишится герцогского достоинства, нежели чем признает В.Сиятельство своим родителем. Употреблял он и совсем уж непочтительные выражения, тем более предосудительные, что Его Милость при сем разговоре не был подвержен опьянению, а, напротив, находился в трезвом рассудке и произносил их не в запальчивости, но вполне владея собою, и при этом отзывался об отце как о каком-нибудь турецком паше или ином восточном деспоте, лютость коего он обречен претерпевать. Лорд Б. предположил, что нынешнее желание Его Милости явить свету свое

распутство происходит как раз от его злоухищренной враждебности к столь священной для каждого особе, как родной отец; впрочем, как бы желая несколько смягчить вину Его Милости, лорд Б. присовокупил, что разговор велся меж четырех глаз (когда они прогуливались по Мэллу <улица в центральной части Лондона, ведущая от Букингемского дворца; в XVIII в. – излюбленное место для прогулок у знати> подальше от толпы) – в обществе Его Милость таких речей никогда себе не позволял. В оправдание же себе лорд Б. поведал, что подарил Его Милость советом (как, должно быть, известно В.Сиятельству, лорд Б. в последние годы жизни своего батюшки не ладил с этим почтенным джентльменом) довериться его опытности и побороть неприязнь к отцу, предоставив рассудить их времени, ибо так уж устроен свет, что оно всегда принимает сторону сына; к тому же, буде на то воля Божья, они в один прекрасный день и сами сделаются отцами. С этим Его Милость хоть и нехотя, но согласился, и больше они до этого предмета не касались.

Мне велено передать В.Сиятельству глубочайшие сожаления лорда Б. о том, что дело приняло столь неожиданный поворот, и уверения в том, что истинные намерения Его Милости и нынешнее его местонахождение ему столь же неведомы, как и В.Сиятельству. Он также просит покорнейше принять в уважение, что, видя решимость, с какой Его Милость стремится ступить на стезю наслаждений, и памятуя о всем известной опасности подхватить французскую заразу от тамошних шлюх, милорд не только не стал отговаривать Его Милость от задуманного им (мнимого) предприятия, но, напротив, почел за благо оказать ему в том вспомоществование; что он дал Его Милости слово свято сохранить его тайну и в случае нужды найти средство замкнуть уста взбешенной Клейборнихе, каковое обещание он выполнил и намерен выполнять впредь. Наконец, он настоятельно просит В.Сиятельство, как скоро появится новая надобность в его помощи, не обинуясь, к нему за тем обращаться.

Вашего Сиятельства всенижайший и всепокорнейший слуга Генри Аскью.

Линкольнз-инн, сентябрь 8 дня.

Милостивый государь Ваше Сиятельство.

Пишу в поздний час и в великой спешке, дабы без дальних отлагательств сообщить известие, которое только что принес мой канцелярист Тюдор. Джонс найден – причем с легкостью, какая мне и не чаялась – и уже доставлен в Лондон. Его привезли два часа тому назад и приставили к нему надежную охрану. Завтра учиню мошеннику допрос.

К вящему нашему счастью, мои люди наткнулись на него в Кардиффе, где они остановились по пути в Суонси. Они передают, что Джонс гулял в том самом трактире, в коем они расположились на ночлег, и, вернее всего, они так бы его и упустили, не случись им дослышать, как кто-то назвал его имя; тогда, приглядевшись и прислушавшись, они смекнули, что им улыбнулась удача. На первых порах Джонс во всем запирался, но мой канцелярист не отставал; тогда он попытался удрать, но не тут-то было; тогда он возопил, что его задержали без вины, но когда канцелярист на это предложил ему засвидетельствовать свою невиновность перед кардиффским судом, он запел другую песню. С тех пор с ним никто в разговоры не вступает и не желает слушать его объяснений, отчего, как доносит мой человек, он пребывает в унынии и тревоге и, по выражению того же человека, изрядно спекся, впору на стол подавать, что я и не замедлю исполнить – в этом В.Сиятельство может на меня положиться.

Да будет мне позволено не высказывать здесь своего суждения касательно праведного отцовского негодования, которое В.Сиятельство изволили выразить в своем последнем послании, ибо В.Сиятельству и без того, смею надеяться, ведомо, что я уже не знаю, что и думать о Его Милости и чего от него ожидать. *Quantum mutatus ab illo!* <Как изменился он по сравнению с прежним! (лат.)> Но я не упущу употребить все средства к тому, чтобы пролить свет на это наидосаднейшее происшествие.

Вашего Сиятельства всепокорнейший и всеусерднейший слуга Генри Аскью.

К сему прилагаю список послания, полученного мною от мистера Сондерсона из Кембриджа, с намерением показать, сколь высокого мнения были ученые наставники младшего сына В.Сиятельства о его талантах. О мистере Уистоне <Уистон, Уильям (1667-1752) – естествоиспытатель и математик, автор работы «Новая теория Земли»; изучая исторические

источники, пришел к выводу, что первые христиане исповедовали учение, сходное с арианством; это дало повод богословам и ученым обвинить Уистона в вольнодумстве> В.Сиятельство, несомненно, наслышаны: это вздорный вероотступник и вольнодумец, *tener-veneficus* <вкрадчиво-ядовитый (лат.)>, за что и был отставлен от места в Кембридже, занимаемого теперь мистером Сондерсоном; за минувшие с той поры двадцать пять лет он озлобился и расходился пуще прежнего и теперь, поговаривают, дожидается кончины своего преемника в надежде вновь выдвинуться и опять занять место, с коего его вполне заслуженно согнали.

Г.А.

Кембридж, Колледж Христа, месяца сентября восьмого дня.

Милостивый государь.

Сим уведомляю, что письмо Ваше от 27 августа мною получено и я незамедлительно приступаю к ответу, хотя по причине своего изъезда принужден диктовать. Боюсь, сэр, что в том насущнейшем деле, за которым Вы ко мне обратились, я помочь бессилён. Я не имел приятности встречаться с Ею Милостью вот уже два года; в последний раз я удостоился этой радости в пору выборов, сиречь в апреле 1734 года, когда Ею Милость, заехав в наш город, сделал мне честь своим посещением. С тех пор мы лишь изредка обменивались письмами, исключительно до математики и алгебры относящимися.

В последнем своем письме, от 24 марта, он желал мне успехов в грядущем учебном году и сообщал о своем намерении в скором времени побывать в Кембридже, а летом отправиться в путешествие по Франции и Италии; до отбытия же за границу он надеялся как-нибудь по благоприятной погоде завернуть ко мне, дабы испросить совет, кого бы ему стоило посетить в чужих землях. Увы, больше ни писем, ни известий о нем не воспоследовало, и я уже было полагал его в отъезде. Новость о его исчезновении меня встревожила и озадачила. Кроме вышесказанного в его мартовском письме не содержалось ничего, касающегося до его личных обстоятельств.

Что же надлежит до познаний Ею Милости, то, сказать по чести, равных ему среди моих учеников наберется немного, а выше него не

поднимался ни один. Может быть, Вам известно, что я четвертый по времени лукасианский профессор <первая кафедра математики в Кембридже была учреждена в 1663 г. неким Генри Лукасом, который взял на себя расходы по ее содержанию при условии, что кафедра будет носить его имя; отсюда – звание «лукасианского профессора»> в этом университете, каковым состою с 1711 года, а посему, удостаивая Его Милость столь высокого отзыва, я, право же, имею достаточные основания для сравнения. По моему суждению, дарования Его Милости таковы, что, не будь тому помехою его титул, он по праву мог бы украсить собою сей университет к вящей славе последнего – чего не скажу о многих других особах, избранных за последние два десятилетия в ученый совет.

Насмотревшись на молодых джентльменов столь же знатных фамилий, я с прискорбием свидетельствую, что, какую бы любовь к наукам и прилежание ни выказывали бы они в стенах университета, по выходе из оного о науках они тут же забывают. Не то Его Милость: он и поныне с изрядным рвением продолжает упражняться в математике и иных науках, ей сопутствующих. Я часто имел случай убедиться, что в предметах этих он отменно начитан и умеет превосходнейшим образом применять свои познания на деле. Таково не только мое мнение: в том же ручается и мой именитый предместник мистер Уистон, каковой, может, и вызывает нарекания по причине своих взглядов на религию, зато уж как математик положительно безупречен. Того же мнения держалось и еще более великое светило, просвещеннейший предместник мистера Уистона *in cathedra Lucasiana* <на Лукасианской кафедре (лат.)> сэр Исаак Ньютон. Не раз я представлял на суд обоих джентльменов выведенные Его Милостью теоремы и предложенные им решения задач, и, хотя до самой прискорбной кончины сэра Исаака между джентльменами ни в чем согласия не было, в одном они были единодушны – что сей молодой философ поистине достоин внимания.

Опасаясь наскучить Вам этими материями, все же добавлю, что сам я вот уже несколько лет изобретаю наилегчайший способ при помощи таблицы производить умножение больших чисел, и о трудностях, встречающихся мне на этом пути, я не единожды советовался с Его Милостью, всякий раз обнаруживая, что в силу своего умения он помогает мне в одолении этих трудностей лучше, чем кто-либо другой. Он имел дарование особого склада: дюжинный ум пытался бы решить эту задачу, внося в общий замысел лишь мелкие поправки и улучшения, тогда как Его Милость подвергал внимательнейшему разбору самые начала, на которых основывался способ, и часто предлагал для решения задачи более

подходящие и прочные основания.

Получить совет столь отменного помощника, по моему мнению, редкая удача.

Если же спросить меня о его недостатках, я бы назвал его склонность прельщаться взглядами и теориями, принадлежащими до естествознания, в коих я усматриваю скорее фантазии, чем вероятные либо на опыте подтвержденные истины. К таковым отношу я и тот домысел, за разъяснением коего Вы ко мне обращаетесь. Упомянутый Вами ряд чисел впервые был выведен в трактате «Liber Abaci» <"Книга абака" (лат.)>, сочинении ученого итальянца Леонардо Пизанского <Леонардо Пизанский (Леонардо Фибоначчи, 1180-1240), выдающийся итальянский математик Средневековья>. Ряд этот был составлен самим автором – однако, по его признанию, предназначался всего лишь для исчисления беспрестанно плодящихся кроликов в садке. Но Его Милости мнилось, будто эту пропорцию (остающуюся неизменной, до каких бы пределов ни продолжали числовой ряд) можно обнаружить во всем строе природы, вплоть до движения планет и расположения звезд небесных; она виделась ему даже и в строении растений и размещении их листьев, так что он обозначил сие соотношение особым, взятым из греческого языка словом *phyllotaxis* <взаимное расположение листьев (греч.)>. Он также полагал, что это простейшее соотношение можно проследить в истории сего мира, как в прошлой, так и имеющей быть впереди, и кто сумеет постичь его до конца, получит способ посредством математических действий предсказывать грядущие события и трактовать прошлое.

Мне же думается, сэр, что он выводит чрезмерно важное следствие из пустячного совпадения в вещественных явлениях низшего порядка; я также предполагаю, что винить в этом заблуждении следует не его самого, но его высокий дворянский титул, поскольку именно он не допускает Его Милость каждодневно приобщаться знаниям, имеющим хождение в кругу людей ученых, и обсуждать сии предметы с настоящими знатоками, отчего и нашло на него помрачение, которое я, с Вашего позволения, назвал бы *dementia in exsilio* <безумие в изгнании (лат.)>. Как говаривают в нашем университете, *In delitescencia non est scientia*, сиречь кто укрывается или обитает вдали от знаний, тот ими до конца не овладеет.

Надобно Вам заметить, сэр, что в вопросах, касающихся до моей науки, я привык высказываться не обинуясь, и когда пять лет назад Его Милость представил мне свои соображения на сей предмет, я подверг их строгому разбору и нашел неосновательными. И вот из-за того, что я посмел оспорить многие не в меру бойкие выводы, сделанные им из этого

допущения, меж нами впервые пробежал холодок. В дальнейшем мы, благодарение Богу, помирились, причем условия мира выставил Его Милость: он объявил, что слишком дорожит нашим дружеством, чтобы на горе ему длить спор о домыслах, доказать которые он, по собственному признанию, не в силах (под домыслами он разумел свои химерические предложения о возможности предугадывать будущее при помощи вышесказанных чисел). Он предложил, чтобы мы, будучи истинными *amici amicitiae* <букв.: друзья дружбы (лат.)> (по собственному его выражению), впредь никогда не заговаривали об этом предмете, ставшем для нас яблоком раздора. Слово свое он сдержал и ни при встречах со мною, ни в письмах больше уж к своей теории не возвращался, из чего я было заключил, что со всякими изысканиями по сему предмету покончено.

Где пребывает Его Милость в настоящее время, я, как уже указывал, не имею ни малейшего понятия и даже не знаю, что Вам посоветовать. Мне остается лишь уповать на то, что этот достойнейший, способнейший, любезнейший и благороднейший человек, коего я имел честь называть своим другом, в скором времени сыщется живой и невредимый.

Ваш покорный слуга Николас Сондерсон. А.М.

<сокр. от *Artium Magister* – магистр искусств (лат.)> *Regalis Societatis Socius* <член Королевского общества (лат.)>.

Записано мною: Энн Сондерсон, дочь.

ДОПРОС И ПОКАЗАНИЯ ДЭВИДА ДЖОНСА,

Данные под присягою сентября 9 числа, в десятый год правления Государя нашего Георга Второго, милостью Божией короля Великой Британии, Англии и прочая.

Я зовусь Дэвид Джонс. Я уроженец Суонси, ровесник нынешнему веку: имею тридцать шесть лет от роду. Я холост. Нынче служу в конторе корабельного поставщика.

В: Насилу вас отыскали, Джонс. Задали вы нам задачу.

О: Знаю, сэр. Виноват.

В: Вы прочли краткое изложение показаний мистера Фрэнсиса Лейси?

О: Прочел, сэр.

В: Признаете ли, что вы и есть тот самый Джонс, о коем он рассказывал?

О: Признаю, сэр. Как бы я мог отрицать.

В: Однако ж перед человеком, которого я за вами послал, вы от этого имени отрещивались.

О: Я же не знал, кто он таков, сэр. А о мистере Лейси поначалу и помина не было. Я, извольте видеть, почитаю этого достойного джентльмена своим другом, чуть что – я за него горой: это мой долг. Вон и пословица говорит: дружбу водить – себя не щадить. Тем паче, что во всем приключившемся в апреле он виноват не больше, чем Джонс.

В: Мой человек доносит, что вы и при упоминании о мистере Лейси продолжали отпираться – даже показали под присягой, будто это имя вам незнакомо.

О: Да я просто хотел его испытать, сэр. Проверить, точно ли он так хорошо осведомлен, как уверяет. А как убедился, так сразу лгать и перестал.

В: Только чтобы уж и вперед не лгать.

О: Не стану, сэр. Право, не стану.

В: Смотрите же. Начнем с самого вашего отбытия из Лондона. Но прежде я желаю знать, не усмотрели ли вы в показаниях мистера Лейси – в том виде как они записаны – каких-либо сведений, представляющихся вам не правдой.

О: Никак нет, сэр.

В: А каких-либо неточностей?

О: Тоже нет, сэр. Помнится, именно так оно и было.

В: А каких-либо упущений? Не случалось ли вам обнаруживать важные обстоятельства и скрывать их от мистера Лейси?

О: Нет, сэр. Мне было положено докладывать ему про все, что я узнавал и примечал. Так я и поступал.

В: Стало быть, к его показаниям вам прибавить нечего?

О: Нечего, сэр. Как Бог свят, нечего.

В: Мистер Лейси показал, что вы, не спросив его дозволения, ударились в бег. Вы это подтверждаете?

О: Да, сэр. Все было так, как я ему отписал, сэр. Уж больно хотелось проведать престарелую матушку, царство ей небесное. А из тех краев до нее рукой подать: перебрался через залив – и дома. Когда еще случай подвернется. Как говорится, своя рубашка ближе к телу. Знаю, я поступил нехорошо. Но я, извольте видеть, прежде был дурным сыном и теперь вот решил загладить вину.

В: Разве вы не освобождались от обязательств перед мистером Бартоломью на другой же день? Что бы вам не подождать немного и не отпроситься у мистера Лейси?

О: Я думал, он не отпустит.

В: Отчего же?

О: Да ведь он у нас джентльмен опасливый. Вдруг у него не стало бы духу ехать дальше через те края без попутчика.

В: Разве он не был вам верным другом – хоть тогда, хоть прежде? Не он ли вам и работу подыскал?

О: Ваша правда, сэр. Я потом извелся от стыда. Но, как добрый христианин, разве мог я не исполнить сыновний долг? Вот и сбежал.

В: Сбежали в надежде, что по возвращении в Лондон сумеете его умиласердить?

О: Была такая надежда, сэр. Сердце у него отходчивое, дай Бог ему здоровья. И тоже ведь христианин.

В: Расскажите, каков вам показался слуга мистера Бартоломью Дик.

О: Я, сэр, ничего путного о нем сказать не могу. Джонс при расставании знал о нем не больше, чем при первой встрече.

В: Не заметили вы в нем каких-либо странностей?

О: А что все примечали, то и я приметил. Чтобы такого да в услужение к джентльмену – как есть ирландская небывальщина. На лакейскую должность – с его силой и статью – он еще годился. Но и только.

В: Вы понимаете, что на слугу при джентльмене он не походил?

О: Спору нет, приказы он исполнял недурно. Притом такому слуге хозяин мог без опаски доверить любую тайну. И пожитки тоже. Среди скарба на выучной лошади был увесистый сундучишко, так этот самый Дик меня к нему близко не подпускал. В первый же день я было сунулся помочь поднести, а он меня и оттолкну. И так всю дорогу. В рассуждении хозяйского добра – цепной пес, а не слуга.

В: Что еще необычного было в его повадке?

О: А то, что хоть бы все вокруг со смеху помирали, он никогда даже не улыбнется. Помнится, в Бейзингстоке выходим мы с ним поутру к колодцу, а там потеха: служанка за какую-то дерзость осерчала на конюшего, хватъ ведро и за ним – хотела, значит, водой окатить, да только растянулась и сама облилась. Что смеху было! Покойник – и тот бы прыснул. А Дику хоть бы что. Стоит как на панихиде. И лицо такое, словно нашел грош, обронил шиллинг.

В: Такого он был сумрачного нрава?

О: Скорее, недалекого ума. Точно как с луны свалился. Ни дать ни взять деревянный истукан. Иное дело – с женским полом. Вот я, с дозволения вашей чести, расскажу один случай...

В: Хозяин внушал ему робость?

О: Не похоже, сэр. Услужал он хозяину исправно, однако ж и без особой прыти. Дадут знак – он и делает что велено. Кое-какие знаки я разобрал и пытался с ним объясниться, да только зря старался.

В: Отчего же?

О: Уж и не знаю, сэр. Всякие немудреные приказы – «помоги привязать», «пособи поднести» – это он понимал. Но когда я от нечего делать хотел по-приятельски разузнать, как он живет, что у него на душе – не понимает и все тут. Точно я говорю по-валлийски, как моя матушка.

В: Может, не такой он был и простак?

О: Может быть. Если призадуматься, может, и правда.

В: У меня имеются показания мистера Пуддикумба, хозяина «Черного оленя». Он приводит ваш рассказ, будто однажды ночью с Диком случился припадок безумия.

О: Мало ли я баек по пути насочинял. Что называется, для красного словца.

В: Так это не правда?

О: На то была воля мистера Лейси и джентльмена, сэр.

В: Это они вам велели распустить слух, что парень от луны мешается в уме?

О: Не то чтобы именно про это. Но раз у Дика язык связан, то, чтобы люди на нас не косились, мне было наказано изображать отчаянного пустомелю – нести что в голову взбредет.

В: Не сказывали вы служанкам, чтобы они Дика остерегались?

О: Может, и сказывал, сэр. А коли сказывал, то совет нелишний.

В: Как вас понимать?

О: Он же не кастрат итальянский, не Харянелли <искаж. от Фаринелли (псевдоним Карло Броски, 1705-1738); итальянский певец-кастрат, с большим успехом выступавший в те годы в Лондоне; вскоре после описываемого времени покинул Англию, не снеся насмешек, которым подверг его Филдинг в комедиях «Пасквин» и «Исторический календарь за 1736 год»>. Что с изъяном, это правда, но ведь не такого рода изъян.

В: Вы намекаете на его связь с горничной Луизой?

О: Именно, сэр.

В: И с иными девицами, что встречались в пути?

О: На других он и не глядел, сэр. Другие – так, баловство. Ну разве что приволокнется за какой бабенкой на кухне у Пуддикумба.

В: А вам, Джонс, разве не вздумалось приволокнуться – да еще как бессовестно?

О: Шутил, сэр, право, шутил – и больше ничего. Много ли мне от нее

было нужно? Один поцелуй.

В: И одна ночь в ее постели?

О: Как быть, сэр, ведь я еще не так чтоб стар. Я как-никак мужчина, и меня, с позволения сказать, порой разбирает. А тут эта фефела: как взглянет на меня за ужином, так и осклабится. Самая обыкновенная деревенская клуша.

В: Хорошо. Вернемся к Луизе. В каких вы сейчас мыслях касательно того, о чем рассказывали мистеру Лейси – что будто встречали ее у заведения Клейборн?

О: Ту-то я видал мельком: прошмыгнула мимо – и в дом. А ночью при факелах хорошо не разглядишь. Я говорил мистеру Лейси, что не могу ручаться, а теперь точно знаю: ошибался. Глаза наши злоискательны: все-то им видится дурное. То была не Луиза, меня обмануло сходство.

В: Стало быть, вы уверены, что обознались?

О: Уверен, сэр. А разве не так?

В: Почему вы спрашиваете?

О: Да вы как будто сомневаетесь. Насторожились, точно какое лихо учуяли. Право же, мне это только померещилось.

В: Вы доподлинно знаете, что Луиза не та, за кого вы ее сперва почли?

О: Я поверил на слово мистеру Бартоломью, сэр. Лучше сказать, мистер Лейси поверил ему на слово, а уж я мистеру Лейси. Если с него этого слова довольно, то с меня и подавно.

В: Вы много с ней беседовали?

О: Мало, сэр. Она с самого начала задала такого форсу, что и не подступись. Чопорная, что монашкина курица. Иной раз поравняемся с ней мимоходом или сядем вместе ужинать – взглядом не удостоит. Словечком в пути переброситься – ни-ни. Недаром прозывалась на французский лад.

В: Откуда бы у горничной взялось столько чванства?

О: Таковую уж моду забрала нынче их сестра. Всякая, черт их дери, корчит из себя госпожу.

В: Извольте в этих стенах выражаться пристойно!

О: Виноват, сэр.

В: Не слыхали вы, чтобы у нее имелось другое имя?

О: Нет, сэр. От кого бы мне было узнать?

В: Известно ли вам имя той, которую вы видели входящей в заведение Клейборн?

О: Нет, сэр. И мой спутник, который мне ее указал, тоже не знал ее по имени. Только слышал, что в заведении ее величают Квакершей и для гостей она лакомый кусочек. Мы было решили, что джентльмен, коего мы

туда доставили, тоже к ней пожаловал. Маркиз Л., сэр.

В: А, так вы доставили его в портшезе?

О: Да, сэр. Когда другой работы не находилось, я, бывало, зарабатывал на пропитание и таким промыслом.

В: И часто вы доставляли гостей к этому дому?

О: Иной раз случалось, сэр. Это уж как придется.

В: Неужели же вы не прознали, как зовутся по имени тамошние потаскухи?

О: Нет, сэр. Мне только сказывали, будто там собраны наиотменнейшие шлюхи Лондона – оттого-то охочие до бабья богатые простофили... виноват, сэр, я хотел сказать – знатнейшие лондонские джентльмены в этом доме так и толкуются.

В: Вы точно знаете, что девица, которая с вами путешествовала, не шлюха?

О: Теперь уж точно.

В: Не расспрашивали вы Луизу про ее жизнь – откуда она родом и прочее?

О: Расспрашивал, сэр, и не раз. Давно ли в услужении, у кого служила прежде. Только в Эймсбери отстал. Слова от нее добиться – как от скряги подаяния. А если и промолвит словечко, то ни о чем не промолвится. Про нее не скажешь, что язык без костей!

В: Что она рассказала про ночную отлучку из Эймсбери?

О: Все отрицала, сэр. Сперва смешалась, потом вскинулась, потом скисла – и я мигом смекнул, что она лжет.

В: Прежде чем вы узнали, что Дик допущен в ее постель, не замечали вы их взаимной склонности?

О: Что до Дика, сразу было видно, что он от нее без ума: стоило посмотреть, что с ним делается, когда она рядом. Бывало, глаз с нее не сводит. Станет прислуживать хозяину – заодно и ей прислужит.

В: Как?

О: Как только может. То ужин ей снесет, то узел притащит. Вон и старое присловье говорит: «Кто до баб слаб, тот у баб раб».

В: Она была сдержаннее в рассуждении своих чувств?

О: Не то чтобы сдержаннее, сэр, а хитрее. На людях обходилась с ним так, будто он ей не любовник, а любимая собачонка. Но после Эймсбери, когда дело вышло наружу, она уже не так таилась. Как сейчас вижу: сидит перед ним на коне, прижалась щекой к его груди и спит – точно отец с дитятей или муж с женой.

В: Это при ее-то чопорности?

О: На то, сэр, и присловье: «Все они Евины дочери».

В: Она чаще усаживалась впереди него или позади?

О: Поначалу – как водится, позади: ровно попугай на жердочке. А на третий день перебралась вперед: дескать, на холке мягче. Сказала бы уж напрямик, что ей мягче сидеть между ног этого похотливца, да простит меня ваша честь.

В: Вы не заговаривали с ней о Дике? Не спрашивали, имеют ли они намерение пожениться?

О: Не спрашивал, сэр. Мистер Лейси шепнул мне, чтобы я к ней больше с вопросами не лез – а то как бы не подумали, будто я по его наущению шпионю за мистером Бартоломью. Я и прикусил язык. Притом мне пришло на мысль – может, она просто углядела в моих словах насмешку над ее влечением к убогому. А строгостью желала мне сразу показать, для моей же пользы, что надеяться здесь не на что.

В: Как это понимать?

О: Девица-то далеко не уродина, сэр. Я полагал поначалу, что страсть тропинку к женскому сердцу отыщет. Она все могла прочесть в глазах моих...

В: Вздумали приударить?

О: И приударил бы, если б позволила. Хотя бы для того, чтобы проверить, что она в этом деле смыслит. И убедиться, точно ли это не овечка из стада мамы Клейборн, как мне сперва почудилось.

В: Имеете ли еще что-нибудь о ней сообщить?

О: Нет, сэр.

В: И после апреля тридцатого числа вы ни о ней, ни о Дике, ни об их хозяине вестей не получали?

О: Нет, сэр.

В: А в газетах вам никаких известий о них не попадалось?

О: Истинный Бог, не попадалось.

В: И вы убеждены, что мистеру Бартоломью удалось увезти свою суженую и предприятие это не имело следствием никакого преступления, в коем вы видели бы и свою вину?

О: До сего дня я в этом не сомневался. А нынче, хоть впору бы и встревожиться, но я все же спокоен, потому что вины за собой не знаю и вижу справедливость и великодушие вашей чести. Я до этого дела касательства толком не имел, и должность моя в нем была не более важная, чем у какого-нибудь привратника.

В: Отчего же, коли так, вы остались в Уэльсе, а не вернулись в Лондон получить у мистера Лейси свою долю?

О: Я, сэр, еще три месяца назад посылал мистеру Лейси письмо с изложением своих резонов.

В: Он ничего о нем не знает.

О: Немудрено. С вашего позволения, сэр, я объясню. Едва я оказался в родных краях, меня ошеломили известием, от которого я разрыдался – да, ваша честь, разрыдался, как дитя. Меня уведомили, что моя престарелая матушка, царство ей небесное, уже три года как покоится в могиле. А полгода назад скончалась любимая сестра. Остались мы с братом вдвоем. А брат еще беднее Джонса, притом валлиец до мозга костей: у валлийца, известное дело, ближе нужды родичей нету. Пожил я у него месячишко, вижу – плохо наше дело: сколько ни бьюсь, а из нищеты никак не выберемся. Вот я себе и говорю: пора тебе, Джонс, обратно в Лондон; ну что такое твой Суонси, одно слово – дыра. А Джонс и деньги – что лондонские часы: нету между ними согласия, все врозь разбегаются. Все денежки, что я привез, пропились да проелись. И отправился я в Лондон на своих двоих, потому как ни на чем другом по недостатку средств путешествовать не мог. А в Кардиффе мне повстречался приятель. Пригласил к себе, приветил. И случись об эту пору у него в доме один человек, который, узнав, что я умею читать и считать и повидал свет, рассказал мне про лавку, где он служит – лавку мистера Уильямса, где ваш доверенный меня и разыскал. Прежнего приказчика мистера Уильямса, извольте видеть, за три дня до того хватил удар, он уже не жилец на этом свете. Вскоре он и точно помер. И на мистера Уильямса свалилось столько хлопот, что...

В: Довольно, довольно. Переходите к письму.

О: Что ж, сэр, я написал мистеру Лейси про то, какая у меня теперь должность и что я на нее не нарадуюсь, что новый хозяин хвалит меня за сметку и усердие и что в Лондон я выбраться не смогу. Что мне стыдно за свой проступок, но я надеюсь, что мистер Лейси меня простит и в этом случае я почту за величайшее одолжение, если он найдет средство переслать мне то, что причитается.

В: С кем вы передали письмо?

О: С одним человеком, который по своей надобности отправлялся в Глостер – а уж он обещал позаботиться, чтобы оттуда письмо дошло до Лондона. Я дал ему шиллинг на расходы. По возвращении он уверил меня, что все исполнено.

Да только, видно, напрасно я старался, напрасно тратился: ответ так и не пришел.

В: Больше вы не писали?

О: Я, сэр, рассудил, что не стоит труда: верно, мистер Лейси на меня гневается и хочет отплатить мне за небрежение той же монетой. И, сказать по правде, его можно понять.

В: Вам показалось, это такие гроши, что хлопотать себе дороже станет?

О: Да, сэр.

В: Сколько, по вашим прикидкам?

О: Я в свое время уже выпросил у мистера Лейси малую часть.

В: Сколько?

О: Да как будто несколько гиней, сэр.

В: Укажите точнее.

О: Гинею – в задаток перед отъездом, а потом еще.

В: Сколько же еще?

О: Это уже в Тонтоне, сэр. Вроде бы гиней две или три.

В: Мистер Лейси показал – одну.

О: Точно уж и не помню, сэр. Что-то как будто бы больше.

В: Для вас деньги такой сор, что вы не видите разницы между одной и тремя гинеями? (Non respondet <не отвечает (лат.)>.) Вы получили две гиней, Джонс. Стало быть, какой остаток вам причитался?

О: Восемь, сэр.

В: Сколько составляет ваше годовое жалование на нынешнем месте?

О: Десять фунтов в год, ваша честь. Я понимаю, к чему клонится ваш вопрос. Но я полагал, те деньги для меня потеряны – ну и махнул рукой.

В: Махнул рукой? Это же почти что ваш годовой доход!

О: Все равно я не знал, как их вытребовать.

В: Разве между Уэльсом и Лондоном не ходят суда с углем? Да притом часто.

О: Вроде бы ходят, сэр.

В: Вроде бы? Служите у судового поставщика, а за верное не знаете?

О: Точно ходят, сэр.

В: И вы даже не подумали передать с оказией письмо, а то и самолично отправиться в Лондон за своими деньгами?

О: Помилуйте, сэр, ну какой из Джонса мореходец! Я страх как боюсь моря и каперщиков <капер – торговое морское судно, с разрешения правительства совершающее нападения на суда недружественных государств>.

В: Ложь. Вы имели другую причину.

О: Нет, сэр.

В: А вот и да, сэр. Вы прознали о своем путешествии на запад такое,

что не отважились открыть мистеру Лейси и что могло навлечь на вас и сотоварищей ваших беды вроде нынешней. Разве без важной причины бросились бы вы наутек, отступившись от обещанной награды?

О: Я знал лишь то, что нам сообщили, сэр. Как Бог свят! А обо всем, что мы вывели сами, уже показал мистер Лейси.

В: Раскинули сеть, да сами же и попались. В том письме к мистеру Лейси, перед бегством вашим, вы поминали корабль, уходящий из Барнстапла в Суонси первого мая. Так вот, я навел справки. Такого судна в тот день не было – не было до самого мая десятого числа.

О: Да ведь я, когда писал письмо, думал, что это правда. А после, уже в Барнстапле обнаружилось, что вышло недоразумение. Тогда мне дали совет попытать счастья в Бидефорде. Я – в Бидефорд, и не прошло трех дней, как я уже плыл на судне, везшем уголь. Чистейшая правда, сэр. Хотите – пошлите проверить. Корабль назывался «Генриетта», а вел его мистер Джеймс Перри из Порткола – бывалый капитан, его все знают.

В: Что же вы поделывали эти три дня?

О: Первый день проболтался в Барнстапле, на второй подался в Бидефорд, повыспросил в порту касательно корабля, отыскал мистера Перри и уговорился, что он возьмет меня с собой. А на третий день мы вышли в море и, слава тебе Господи, благополучно добрались до места.

В: Кто в «Черном олене» ввел вас в заблуждение относительно корабля?

О: Право, сэр, из головы вон. Но кто-то точно был.

В: Мистеру Лейси вы написали, будто это был Пуддикумб.

О: Выходит, он, сэр.

В: Смотри мне, Джонс. От твоих слов разит ложью, как от твоих единомышленников луком <лук-порей является эмблемой Уэльса>.

О: Бог свидетель, не вру, сэр.

В: Вот твое письмо, в котором черным по белому указано, что про корабль ты уведомился от Пуддикумба. Но тот божится, что ничего подобного тебе не говорил, а уж он-то во лжи не замечен.

О: Я, верно, спутал, сэр. Письмо писалось наспех.

В: И курам на смех – как и вся твоя небылица. Я, Джонс, писал в «Корону» и справлялся касательно коня. Вы и теперь повторите, что первого мая – или пусть не первого, пусть в другой день – оставили коня в этой гостинице? Что, язык проглотили?

О: Виноват, сэр, оплошал. Теперь припоминаю: я доехал верхом до Бидефорда и остановился в трактире «Барбадос», а отъезжая, оставил коня там. И заплатил, чтобы за ним был уход, пока не заберут. И не упустил

послать в Барнстапл, в «Корону» мальчишку с известием, где его искать – а то, чего доброго, заподозрят в воровстве. Вы уж не взыщите, сэр, ей-богу, ум за разум заходит. При первом разговоре я нес незнамо что, лишь бы отстали поскорее. Я же не знал, что это важно.

В: Так я тебе растолкую, отчего ты, каналья, виляешь; я тебе объясню, почему по тебе виселица плачет. Дик мертв, и у нас имеется сильное опасение, что он убит. Он был найден удушенным в пределах дня езды от того места, где ты провел ночь. Сундук его хозяина опустошен, прочий скарб сгинул. Ни о хозяине, ни о горничной с той поры ничего не слышно. И зловещая эта неизвестность производит то подозрение, что и они лежат где-то убитые. И еще большее подозрение, что это твоих рук дело. (При сих словах допрашиваемый что-то вскрикивает на валлийском наречии.) Что это означает?

О: Не правда, не правда! (Вновь говорит по-валлийски.) В: Что не правда?

О: Женщина жива! Я с ней потом видался!

В: Ишь как сразу вздрогнул. Смотри, как бы не вздрогнуть тебе на виселице – а если солжешь еще хоть раз, я тебе это обещаю.

О: Ей-богу, ваша честь, я с ней потом видался!

В: Когда потом?

О: После того, как они добрались до места.

В: Как вам может быть известно, куда они направлялись? Разве вы бежали не в Барнстапл?

О: Нет, сэр, на свою беду, не в Барнстапл. Господи ты Боже мой! (Снова по-валлийски.) В: Вы знаете, где горничная обретается сейчас?

О: Богом клянусь, не знаю, сэр. Может, в Барнстапле – потом объясню, почему. Только какая она горничная.

В: А мистер Бартоломью?

О: Боже ты мой, Боже!

В: Отчего вы не отвечаете?

О: Я ведь знаю, кто он таков на самом деле. Потому-то и дернула меня нелегкая впутаться в эту историю. Но у меня и в мыслях не было ничего дурного. Верьте слову, ваша честь, я никого ни о чем не спрашивал, а узнал против чаяния от парня, который...

В: Погодите. Назовите мне имя, которое вам передали. Ответ не записывать.

О: (Respondet <отвечает (лат.)>.) В: Случалось ли вам письменно или изустно сообщать кому-нибудь это имя?

О: Боже упаси, сэр, ни одной живой душе. Клянусь матушкиным

спасением.

В: Стало быть, вам ясно, чьим именем я веду розыски? Смекаешь, зачем тебя сюда доставили?

О: Догадываюсь, сэр. И униженнейше прошу его о снисхождении. Ведь ему-то, сэр, я и хотел угодить.

В: Об этом после. Повторяю: что вам известно о похождениях мистера Бартоломью, воспоследовавших за первым мая? Довелось ли вам говорить с ним, получать от него известия или прослышать что-либо о его обстоятельствах?

О: Я, сэр, не имею понятия, где он сейчас пребывает, жив он или нет. И про гибель Дика мне сказать нечего. Поверьте, ваша честь, Христом-Богом молю, поверьте: я утаил правду лишь оттого, что страх меня обуял.

В: Что утаил? Экая баба! Поднимайся, полно в ногах валяться.

О: Слушаюсь, сэр. Я разумел, сэр, что уже знал про смерть Дика, царство ему небесное. Только про это, клянусь гробом Давидовым.

В: Как же вы узнали?

О: Верных сведений у меня не было, сэр, – сердце подсказало. Прожил я в Суонси недели две, а может, больше, и вот как-то в таверне сошелся с моряком, который только что приплыл из Барнстапла. А он возьми да и расскажи про найденного в тех краях мертвяка с фиалками во рту. Просто к слову пришлось: вот, мол, какие чудеса на свете делаются. Имени он не привел, но я призадумался.

В: Дальше.

О: В другой раз, уже в Кардиффе, дома у моего хозяина – мистер Уильяме ведет дела прямо на дому – я разговорился с приезжим, как раз в то утро прибывшим из Бидефорда. Он завел речь об этой оказии, и я узнал про вновь открывшиеся обстоятельства – в Бидефорде о них много судачили. И что будто бы ходят толки, что порешили не одного, а пятерых. Правда, имен он тоже не называл, но я как услышал про пятерых да прибавил к этому еще кое-какие подробности из его рассказа, так поджилки и затряслись. Так и жил в страхе до нынешнего дня. Я, сэр, сразу бы к вам бросился, если бы не моя бедная матушка да...

В: Довольно. Когда вы получили это второе известие?

О: В последнюю неделю июня, не тем будь помянута. Только я, сэр, ни в каком злоумышлении не повинен.

В: А когда так, то чего же ты дрожишь?

О: Мне, сэр, довелось увидеть такое, что, расскажи кто другой, ни в жизнь бы не поверил.

В: Ну уж мне-то выложишь все как на духу. Иначе не миновать тебе

петли.

Не удастся вздернуть тебя за убийство – вздернут за конокрадство.

О: Всенепременно, сэр. (Вновь говорит на валлийском наречии.) В: Поди ты со своей тарабарщиной!

О: Слушаюсь, сэр. Это всего-навсего молитва.

В: Молитва тебя не спасет. Только полная правда.

О: Ничего не утаю, сэр. Верьте слову. Откуда прикажете начать?

В: С того места, где ты впервые солгал. Если только местом этим не была колыбель.

О: До нашего первого ночлега после Эймсбери – то бишь до Уинкантона – я ни в чем от истины не отступил. Все было, как показал мистер Лейси. Вот только касательно Луизы...

В: Что Луиза?

О: Мне казалось, что догадка, которой я поделился с мистером Лейси, все-таки верна. Ну, про то, где я впервые ее увидел.

В: Это про заведение Клейборн? Вы разумеете, что она подлинно была шлюхой?

О: Так, сэр. Но мистер Лейси не захотел и слушать. Я его убеждать не стал, но про себя решил, как говорится, чему поверилось, тому и верить.

В: Что мистер Лейси был введен Его Милостью в заблуждение?

О: Да. А для какой причины – хоть убей, не пойму.

В: Вы не говорили ей, за кого вы ее почитаете?

О: Напрямик нет, сэр: мистер Лейси не дозволил. Только так, играючи – вроде бы хочу о ней поразузнать, а заодно и себя потешить. А она, как я и сказывал, стоит на своем. И отвечает так – ну горничная и горничная.

В: И ваша уверенность поколебалась?

О: Да, сэр, но лишь до той поры, когда я проведал, что она проводит ночи с Диком. Тут уж я не знал, что и подумать. Разве что она насмешается над хозяином за его спиной. А у меня все не идет из головы, что ее-то я в Лондоне и видел. И, как оказалось, я не обманулся. Я вам потом расскажу.

В: Вам доподлинно известно, что Его Милость не оказывал ей особого расположения, никогда с ней не уединялся или еще что-нибудь в этом роде?

О: Мне, сэр, такого видеть не случалось. Ну, пожелает ей доброго утра, в пути нет-нет да и спросит, не притомилась ли, не скучает ли – обыкновенная учтивость знатного джентльмена в обхождении с младшей братией.

В: Не припомните ли, чтобы она втихомолку пробиралась в его покой?

О: Нет, сэр. Откуда бы мне было узнать: в верхнее жилье я поднимался редко – только что к мистеру Лейси. У трактирщиков ведь какой порядок: у

горничных своя почивальня, а мужская прислуга к ней и не приближайся, пусть спит где-нибудь подальше.

В: Дельное правило. Хорошо. Расскажите теперь, что происходило в Уинкантионе.

О: Остановились мы в «Борзой». И вот подходит ко мне человек в дорожном сюртуке – этот человек нас сразу заприметил. Подходит, значит, и спрашивает: «Что это вы затеваете?» – «Ничего, – говорю, – не затеваем. А что это вдруг за расспросы такие?» Он подмигивает: «Да полно тебе. А то я не знаю, кто он, этот твой мистер Бартоломью. Я два года тому служил кучером у сэра Генри У., так этот джентльмен к нему, бывало, заходил. Я его и этого немного из тысячи узнаю. Это не кто иной, как...» Ну, та самая особа, про которую я сейчас говорил.

В: Он назвал его по имени?

О: И его, и его вельможного родителя. Вот, думаю, незадача! Ну что тут будешь делать? Спорить я не стал, а только подмигнул в ответ и говорю:

«Может, он, может, не он. Только ты набери в рот воды: он свое имя открывать не желает». А он мне: «Так уж и быть, можешь не беспокоиться. И куда же это он следует?» – «А на запад, – говорю, – поохотиться. Есть там у него одна перепелочка на примете». А он: «И уж, верно, гладенькая да пригожая?» И добавил: «Стало быть, я угадал».

В: Кто был этот человек?

О: Кучер одного адмирала, сэр. Вез свою хозяйку в Бат. Тэйлором звать.

Вы не подумайте, сэр: малый славный, а что выспрашивал, так единственно из любопытства. Поэтому мне не составило труда увести его от этого разговора.

Я сказал, что истинная наша цель – покорить сердце девицы, однако мы делаем вид, будто путешествуем просто для удовольствия. Что мистер Лейси – наставник Его Милости, а Луиза нам будет надобна, когда юная леди окажется у нас в руках. И тут откуда ни возьмись – Дик. Тэйлор его приветствует, а этот дурень чуть не испортил дела: прикинулся, что не узнает, и был таков.

Пришлось мне Тэйлора умасливать: дескать, стоит ли обижаться на недоумка.

А минут через десять приходит Луиза: «Фартинг, хозяин зовет». Вышли мы с ней за дверь, она и говорит: «Вас хочет видеть не мистер Браун, а мистер Бартоломью. А для какой нужды – не знаю». Прихожу к мистеру Бартоломью.

Тот говорит: «Джонс, сдается мне, что нас разоблачили». Я соглашаюсь:

«Боюсь, что так, милорд». Растолковал ему, что да как, передал все, что рассказал Тэйлору. «Хорошо, – говорит. – Принимая в соображение, что мистер Лейси ничего не знает, давайте оставим все как есть».

В: Он привел свои резоны?

О: Сказал, что из почтения к мистеру Лейси не хочет причинять ему беспокойства. Я же на это отвечал, что во всем послушен Его Милости.

«Тогда, – говорит, – никому ни слова. А это отдайте кучеру: путь пьет за мое здоровье да не болтает лишнего. Вот, кстати, и вам полгинеи». Деньги я взял и был ему премного благодарен.

В: Не сообщили вы об этом происшествии мистеру Лейси?

О: Нет, сэр. А после, когда мы с Тэйлором выпивали, он рассказал, что по слухам высокочтимый родитель Его Милости очень гневается на сына, за то что тот отверг предложенную отцом партию. Тут-то, сэр, я и струхнул.

Недаром в народе говорят: «Чужая тайна хуже, чем постель из крапивы».

Шутка сказать – разгневанный отец, а тем паче такая особа, что, не приведи Господи, потревожить. И вспомнилась мне тогда Библия да пятая заповедь Моисеева: «Чти отца твоего...»

В: Вот вам бы раньше о ней подумать. Уж будто вас еще в Лондоне не посвятили в суть дела и намерения Его Милости?

О: Теперь я взглянул на это другими глазами, сэр.

В: А именно?

О: Я рассудил, что мой прямой долг – узнать об этих намерениях побольше.

В: А попросту, если вы удовольствуете отца, он удовольствует вашу корысть, верно?

О: Я посчитал, что так оно благоразумнее, сэр.

В: Ну вот, теперь он будет лицемерить! Сразу видно валлийца. Вы ведь надеялись огрести изрядную прибыль, так или не так?

О: Я думал, сэр, что любезный джентльмен меня без награды не оставит.

Если сочтет, что я заслужил.

В: Вот это уже похоже на правду. Стало быть, в Уинкантионе вы приняли решение впредь шпионить за Его Милостью? Верно ли?

О: Да как бы я осмелился, сэр! О ту пору я и помыслить не мог, что дело так повернется. Но у нас впереди было еще два дня пути. А путешествовать по тем краям – хуже некуда: это вам не страна

Голохватская <искаж. от Галаадская; упомянутая в Ветхом Завете гористая местность за Иорданом, славилась плодородными землями, скотом и целебным галаадским бальзамом>.

В: Какая страна?

О: Так у нас в Уэльсе называют Сомерсет, сэр. Вот где привольное житье!

Сидра – пей не хочу, скот тучный-претучный.

В: Вздумал убедить меня в своей совестливости? Так я тебе и поверил! У тебя же на лбу написано, что мошенник. Для какой надобности ты в Тонтоне выпросил у мистера Лейси еще денег в задаток? Не отвечаешь? Тото же. Это потому, что ты уже решил, как поступить. И хватит прекословить!

О: Слушаюсь, сэр.

В: Удалось ли вам до прибытия в «Черный олень» выведать что-либо новое о замыслах Его Милости?

О: Нет, сэр.

В: Перескажите все, что происходило с самого вашего пробуждения поутру первого мая.

О: Будь я хоть трижды мошенник, сэр, однако ту ночь я провел без сна: все раскидывал умом. Ворочался-ворочался, а потом тишком спустился вниз, отыскал огарок свечи и пузырек с чернилами да и написал мистеру Лейси то, что вам известно.

В: То, что мне известно, пропустите. Переходите к их прощанию на Бидефордской дороге.

О: Было это в двух милях от города, сэр, на распутье – там, где дорога расходится надвое. Вы это место сыщете без труда, там еще виселица стоит.

Которую дорогу они выберут, мне было невдомек, и потому я поднялся на заросший кустарником холм и затаился: дорога оттуда как на ладони. Ждал час или больше. Сижу, дурень, и радуюсь, что погода разгулялась, что день, по всему видно, будет ясный.

В: До них тем путем никто не проезжал?

О: Девицы на телеге, а с ними парень – надо думать, на праздник.

Хохочут, поют. А немного погодя – пешие. И тоже туда же.

В: Не замечали вы на дороге всадников, по виду – посыльных, спешащих по неотложному делу?

О: Нет, сэр. Только Его Милость со спутниками. Они остановились у развилки, как раз возле виселицы.

В: Об этом я уже знаю. Вы не дослышали, о чем они беседовали?

О: Ни словечка, сэр. До них было четыре сотни шагов.

В: Продолжайте.

О: Так вот. Мистер Лейси пустился дальше один-одинешенек. У меня сердце кровью обливалось: в таких местах – и без спутников. Дорога забирала вниз, и скоро он скрылся из глаз. А та дорога, по которой поехали остальные, напротив, шла все больше вверх. Я выждал, когда они доберутся до широкого уступа на склоне, спустился на дорогу – и за ними: из-за уступа им было меня не видать. А как сам въехал на тот уступ, так слез с коня, чтобы разобраться, где они теперь и что мне делать: ехать дальше или погодить. Поехал следом. Через две мили углубились мы в обширный лес. Тут дорога сделалась кривая, как шило корабельного плотника: петляет, петляет, и что там впереди, за поворотом, не угадаешь – того и гляди нарвешься на всю честную компанию. И ведь правда чуть не нарвался. Выезжаю из-за громадного валуна, что лежал обочь дороги – а они прямо передо мной, полутораэта шагов не будет. Хорошо еще, что стояли ко мне спиной. Путь им пересекал бежавший сверху поток – по счастью, довольно бурный, так что из-за шума воды они моего приближения не расслышали. Едва я их приметил, так сразу скок наземь, хватя коня под уздцы, отвел подальше и привязал, чтобы не попался им на глаза, а сам крадучись вернулся на прежнее место.

Гляжу – они уже дальше двинулись, да не по дороге, а выше: в гору поднимаются. Я успел различить только спину Луизы – она сидела позади.

В: Известно ли вам, как называется то место?

О: Нет, сэр. Поблизости не было ни фермы, ни жилья. Но узнать его проще простого: это хоть и не первый поток, который перебегает дорогу, но зато самый полноводный. Он проточил на склоне слева от дороги глубокое русло и падает вниз отвесно. Гремучий такой.

В: Дальше.

О: Я выждал время, выбрался туда, где они останавливались, и увидел брод. Поток там не больно широкий – с полдюжины шагов, и тех не будет, – а дно у него ровное, каменное. Дорога продолжалась на другом берегу.

Теперь-то я разобрал, куда они запропали: дальше подъем шел не так круто, а выше из-за деревьев виднелась открытая с одного бока котловина – примерно сказать, разлог. Сперва я никак не мог отыскать туда тропинку.

Порыскал-порыскал и нашел. И, по всему видать, по ней-то их кони и поднимались.

В: И что, тропинка изрядно хоженная?

О: Вот ей-богу, сэр, до нас этой тропой никто месяцами не хаживал. А

потом, как вы узнаете, я удостоверился, что это пастушья тропа: летом по ней гонят скот на верхнее пастбище. И ветки по-над ней переплетены с прошлого года, и сухой овечий помет валяется, и много еще чего.

В: Какие же у вас явились соображения касательно их намерений?

О: Мне подумалось, они тайным путем пробираются к дому юной леди, сэр, или к назначенному месту встречи. Как тут угадаешь. Почему мне знать, где в тех краях стоят дворянские усадьбы да богатые поместья. Мне бы немедля повернуть назад, а я сдуру возьми да и скажи себе: «Э, нет, Джонс, кто в кони пошел, тот и воду вози».

В: Куда вела тропа?

О: В глухое место, сэр, заросшее деревьями, а между ними большущие валуны. Этакая тесная каменистая впадина, полукруглая, вроде как молодой месяц. Преунылое место, сэр, даже в такой солнечный день. О ту пору птицы по лесам не умолкают, а тут хоть бы одна чирикнула, словно разлетелись. И взяла меня жуть – а ведь мне и без того было не по себе. И решимости поубавилось.

В: Сколько времени вы за ними следовали?

О: Не более часа, сэр. Путь недалекий, около двух миль, не дальше.

Только я нарочно придерживал коня и притом еще поминутно останавливался и прислушивался, а то за деревьями и кустами их не увидишь. Ну да им, похоже, пришлось не слаще моего: они тоже едва тащились и держали ушки на макушке – не увязался ли кто следом. А меня только и спасал рокот водопада.

В: Расскажите, при каких обстоятельствах вы их вновь увидели.

О: Дело было так, сэр. Отыскал я в разлоге местечко поукромнее да поровнее, снова привязал коня, поднялся немного по склону и озираюсь: куда бы вскарабкаться, чтобы получше разглядеть, что там впереди. Сперва ничего особенного не увидел – только что край разлога. Склон возле него голый.

Ну, думаю, час от часу не легче: подберешься ближе – окажешься на виду. А я-то, дурья башка, понадеялся, что проследить за ними будет не труднее, чем простыню обмочить. Глядь – впереди в полумиле от меня по склону лезет человек. Присмотрелся – Дик. С ним никого. И я решил, что Его Милость и девица остались вместе с лошадьми на берегу. Дик добрался до верха и принялся что-то высматривать, а что – мне было не видно. Край разлога как бы расщеплен – раздваивался точно змеиный язык, вот в эту выщерблину он и глядел.

В: Он не таился от чужих глаз?

О: Я и заметить не успел, сэр. Он задержался не надолго и скоро

пропал из вида.

В: Что было дальше?

О: Я было решил, что их путешествию подходит конец – стало быть, полно мне тащиться за ними по пятам, не ровен час заметят. Завел я коня в кусты: в таком редколесье его все равно лучше не спрячешь. Иду по бережку мимо того места, где они проезжали, и вдруг – вот те на: в сотне шагов от меня на траве что-то белеется, будто полотно разложили сушить. Я сторонкой подбираюсь ближе, гляжу – а это Луиза. Да такая нарядная.

В: Нарядная? Как вас понимать?

О: В точности так, как я сказал. Разодета точно майская королева – как ее в этот самый день наряжают. И тебе льняной холст, и батист, и ленты всякие. Прямо картинка.

В: Полноте, Джонс! Дурак, что ли, я вам достался?

О: Ей-богу, не вру, ваша честь!

В: В таком ли наряде она добиралась до того места?

О: Нет, сэр. Я доподлинно знаю, что до той поры она его не надевала.

Еще у виселицы, когда она зашла за кустик, прошу прощения, нужду справить, я приметил, что на ней, как обычно, было зеленое платье с зеленым исподом и нориджская стеганая юбка.

В: Вы разумеете, что она переменила платье при этой остановке, пока вы разыскивали их следы?

О: Должно быть, так, сэр. И епанчу не накинула. День стоял теплый, безветренный. Истинная правда, сэр. Право же, если бы мне припала охота рассказывать сказки, неужто я не сочинил бы такую небылицу, чтобы вы остались довольны?

В: А Его Милость?

О: Он стоял повыше, сэр, возле привязанных коней. Стоял и смотрел в ту сторону, куда ушел Дик.

В: Что же девица?

О: А она, сэр, сидела на берегу, на камне, укрытом епанчой, и в руках у нее был карманный нож с медной наделкой на черенке. Я его прежде видал у Дика. А на коленях у нее майский венок, и она обрезает на нем шипы. Уколет палец и пососет, уколет и пососет. А один раз оборотилась на Его Милость, а в глазах укор: вот, мол, что мне приходится из-за вас претерпевать.

В: Выходит, она это не по своей воле?

О: Может, и так, сэр. Бог ее знает.

В: Каков вам показался ее наряд: бедный, богатый? Кому больше пристало носить такое платье: знатной даме или крестьянке?

О: Пожалуй что крестьянке, сэр. Хоть наряд и недурен: вокруг подола и ворота розовые ленты, чулки белые. Венку я не так удивился: она всю дорогу, где бы мы ни останавливались, нет-нет да и сорвет цветик. Уж я над ней подшучивал: не горничная благородной леди, а уличная цветочница.

В: Что же она на это?

О: Отвечала, что это еще не самое скверное ремесло.

В: С Его Милостью она не заговаривала?

О: Нет, сэр. У нее в те минуты была одна забота: майская корона. И вот гляжу я на нее, а она сидит среди зелени, вся белая-белая, ровно молоко в крынке. Воистину чистота непорочная – как говорится, даже слепого проймет до самого нутра. Увидишь ее в этом платье – и сердце взиграет, все тревоги позабудешь. Вы уж, сэр, не прогневайтесь, но никогда еще она не казалась мне краше и милее.

В: Мила как адская смола. Что было дальше?

О: Постоял я так несколько времени и вдруг услышал стук шагов, и на другом берегу появился Дик – в аккурат с той стороны, где я его видал.

Остановился напротив Его Милости и подает знак. Худой знак, сэр: чертовы рога.

В: Изобразите.

О: Вот эдак, сэр.

В: Пишите так: мизинец и указательный палец выставлены, средний же и безымянный прижаты к ладони большим. Видели вы этот знак прежде?

О: Поговаривают, будто таким манером приветствуют друг друга ведьмы. Я и сам в это верил, как был мальчонкой. Правда, мы-то в те годы употребляли его в шутку либо в бранном смысле: дескать, черт тебя побери. Но Дик – тот не шутил.

В: Продолжайте.

О: Его Милость приблизился к Луизе. Она поднялась. Меж ними был короткий разговор, но я ничего не расслышал. Потом перешли к тому месту, где стоял Дик, а тот – скок в воду и перенес ее на другой берег, чтобы башмаков не замочила. Его Милость за ними. И стали они подниматься туда, откуда пришел Дик.

В: Его Милость при появлении Дика был обрадован?

О: Не могу знать, сэр. Я его лица не видел – ветка мешала. И на знак этот он никак не ответил. А вот как пошел за Луизой да имел с ней разговор, так, сдается мне, дело делать заторопился.

В: То есть как бы явил решимость?

О: Да, сэр. И Луизу тоже, как видно, пытался укрепить. Я приметил:

взял он с камня епанчу и подает ей на плечи, а когда Луиза отказалась, он так и повесил епанчу себе на руку, словно он ей лакей. Я прямо диву дался.

Однако же сам видел.

В: А майский венец она не надела?

О: Тогда – еще не надела, сэр. Держала в руках.

В: Дальше.

О: И вот, сэр, стою я и ломаю голову, как мне теперь быть. Ушли они недалеко, лошадей тут бросили – надо думать, сюда и воротятся. А мой-то конь, как на грех, поблизости, я его путем и не спрятал. Что как они, идучи обратно, его заметят и обо всем догадаются?

В: Ясно, ясно. И вы последовали за ними?

О: Да, сэр. Тропинка оказалась скверная, камни и камни. Шагов двести она шла круто, потом сделалась ровнее, но такая же каменистая.

В: Конь по такому крутогорью не взберется?

О: Ну разве что наши валлийские пони, а ваши обычные лошади нет.

Наконец достиг я того места, где видел Дика. В полный рост не поднимаюсь: заметят. И вижу перед собой тот уголок, который обозревал Дик – в стороне от разлога.

В: В какой стороне?

О: К западу, сэр, а может, к северо-западу. По левую руку от тропы.

Место почитай что голое, ни единого деревца, только трава да кое-где чахлые кривые колючки, а повыше папоротник. Такое, знаете, захудалое пастбище, плоскодонная ложбина, похожая... Ну да, похожая на корзину рыбной торговли с Биллингсгейтского рынка. А на северном склоне, ближе к утесу, сплошь камни.

В: Что же те, за кем вы сюда поднялись?

О: Их и искать не пришлось: они стояли за три-четыре сотни шагов от меня, хотя со своего тогдашнего места я еще не видел ни дна ложбины, ни озера. Но главное-то, сэр, главное! Я заметил, что они уже не одни.

В: Как не одни?

О: Мне было вообразилось, что они наконец встретились с той, о ком мы все толковали – ну вот которую Его Милость так мечтал получить в жены.

Потому что чуть выше них на склоне увидал я женщину, а они стояли перед ней на коленях.

В: Что? На коленях?

О: Именно, сэр. Все трое. Впереди, снявши шляпу, Его Милость, а за ним в двух шагах Дик и Луиза. Точно перед королевой.

В: Эта женщина – какая она была собой?

О: Я, ваша честь, хорошо не разобрал: она стояла, поворотившись в мою сторону, так что я и нос-то высунуть страшился. Что запомнилось, так это платье. Право, диковинное: все как из серебра и не женское, а как будто мужское. Штаны да куртка. Ни плаща, ни накидки, ни шляпы, ни чепца – ничего.

В: Не было ли поблизости коня, слуги?

О: Нет, сэр. Одна как перст.

В: Какие чувства изображала ее фигура?

О: Точно она кого поджидает, сэр.

В: Она не разговаривала?

О: Не заметил, сэр.

В: На каком удалении они от нее отстояли?

О: Шагов на тридцать – сорок, сэр.

В: Хороша она была?

О: Не разглядел, сэр. Между нами ведь было добрых четыре сотни шагов.

Роста обыкновенного, сложения среднего. Лицом бледна, волосы черные и не убраны, не завиты, а распущены.

В: Можно ли было, глядя на эту картину, поверить, что это истомившаяся в разлуке возлюбленная приветствует долгожданного друга?

О: Какое там, сэр! И, что уже совсем странно, ни он, ни она долгое время не шевелились.

В: Не удалось ли вам разобрать выражение ее лица? Улыбку, радость – ничего такого не заметили?

О: Больно уж было далеко, ваша честь.

В: Да точно ли то была женщина?

О: Точно, сэр. Мне тогда подумалось, не для побега ли она так обрядилась. В таком платье путешествовать верхом самое милое дело. Вот только куда она коня подевала? Опять же, возьмите в соображение, что платье не простое, деревенщина какая-нибудь или конюший такое не носят. То ли богатая парча, то ли шелк – словом, блистает как серебро.

В: Мне желательно узнать вот что. Встретятся ли в вашем повествовании еще сведения об этой женщине?

О: А как же, сэр. Я потом покажу, что по делам ее ей бы не в серебре ходить, а нарядиться чернее ночи.

В: Добро. Дойдем и до этого. Что было дальше?

О: Подбираться ближе мне было не с руки: укрыться не за чем. Стоит им оборотиться, тут-то меня и увидят. И порешил я податься назад: глядишь, и сыщу проход до края разлога, а там незаметно проберусь к

какой-нибудь вершине над самой их головой. Сказано – сделано. Долго искал, очень долго.

Одежду изодрал, руки исцарапал. Ох и местечко, я вам доложу! Белкой надо быть, чтобы там шастать. Наконец выбрался. И ведь правда: оказывается, над ложбиной есть утес. Я – к нему. Спешу во все лопатки, а сам стараюсь быть не замеченным. А как достиг того места, под которым они, по моим прикидкам, стояли, так сорвал ветку и прикрыл лицо, а потом хлоп наземь, подполз на брюхе к самому краю и расположился повольготнее среди кустиков черники. Лежу себе точно на галерке Дрюри-лейн и тех, внизу, вижу преотличнейшим образом – как ворону в сточной канаве или мышь в куче солода...

В: Что же вы замолчали?

О: Я молюсь, сэр. Молюсь, чтобы вы поверили тому, о чем я сейчас стану рассказывать. Вот я помянул театр, так этаких чудес ни в одном театре не найдешь.

В: Прежде докажете, тогда поверю. Что дальше?

О: Если б солнце спину не пекло, если б от бега дух не занялся, я бы подумал, что лежу в постели и вижу сон.

В: Провал тебя возьми с твоими снами! Не тяни канитель, рассказывай.

О: Да уж придется, сэр. На дальнем склоне я заметил большущую каменную глыбу с дом величиной, а у подножия ее черную пещеру. С прежнего-то места мне ее было не видать. Не иначе тут когда-то жили пастухи, потому что в стороне валялась сломанная ограда, из каких обыкновенно сооружают загоны, а возле пещеры чернело большое костровище. А ближе к моей скале пробегал ручеек, кто-то ему русло земель перегородил, так целое озерцо набежало. У самого озерца торчмя стоял высокий камень – не такая громадина, как в Стоунхендже, но уж никак не ниже человеческого роста. Как будто нарочно поставили, место пометить.

В: Овец там не было?

О: Нет, сэр. И немудрено: вон и у меня на родине овцам до мая на таких пастбищах делать нечего. Да и не погонят их в такую даль, покамест не окрепли.

В: Вы видели Его Милость?

О: Как не видать, сэр. И Дика тоже видел. Они стояли возле камня ко мне спиной и глаз не сводили с пещеры, словно бы ждали, что оттуда кто-то покажется. От пещеры их отделяла сотня шагов.

В: А от вас?

О: Сотни две, сэр. Можно из мушкета достать.

В: Где была девица?

О: Тут же, у озерца, сэр. Раскинула на земле епанчу, опустилась на колени и умывалась. А потом утерлась краем епанчи и замерла. Стоит на коленях и в воду таращится. А рядом – майский венок.

В: Что же четвертая особа, виденная вами из разлога? Та, что была одета мужчиной?

О: А вот ее нигде не было, сэр. Пропала. Я подумал – в пещеру удалилась, переодеться или еще что. Его Милость повернулся, ступил несколько шагов, достал из кармана часы и открыл крышку. Эге, думаю, фитиль догорел, да порох отсырел. Знать, что-то не заладилось, он теряет терпение. Однако ж он стал расхаживать взад-вперед этак спокойно и задумчиво; благо земля под ногами ровная и травка густая, хоть шары катай.

Почитай три четверти часа расхаживал. А Дик все пялится на пещеру, а Луиза так и сидит на травке. Со стороны посмотришь – все трое чужие друг другу люди, а что вместе сошлись, так по случайности.

В: Извольте излагать дело.

О: Стало быть, Его Милость походил-походил, достал опять часы и, как видно, рассудил, что час, которого он дожидается, пришел. Тогда он приблизился к Дику и положил ему руку на плечо, как бы говоря: «Пора».

В: Который же, по вашему разумению, был час?

О: Примерно половина одиннадцатого, никак не больше. Подходит Его Милость к Луизе и что-то говорит, а та голову повесила – не хочет, видно, его приказание исполнять. Разговор меж ними идет тихий, голоса до меня долетают, а слов не разобрать. Одно ясно: не по нутру ей то, что он велит.

Не стерпел он такого упрямства, хватъ ее за руку и ведет к Дику. Она, чтобы время протянуть, взяла епанчу и давай вертеть и так и этак, но он епанчу у нее вырвал и бросил у самого камня. А про венок позабыли – тот так и остался лежать на траве. Спohватился Его Милость и делает Дику знаки: пойдй, мол, принеси. Тот сходил за венком, и Его Милость надел его на Луизу. Тогда Дик взял ее за руку и поворотил лицом к пещере. И стоят они перед пещерой рука об руку, ровно жених с невестой перед алтарем. Так, не размыкая рук, и пошли к пещере, и Его Милость следом. А с чего бы такое шествие, поди угадай. Право, сэр, хоть сто лет живи, этаких чудес среди бела дня не увидишь. Но чудеса – это сначала, а потом стало твориться неладное. Луиза пошатнулась, оборотилась к Его Милости и бросилась на колени. Смотрит на него и будто молит о пощаде. Даже вроде бы слезами заливаается – хоть в этом не поручусь: издадека не разглядишь.

А тот как выхватит шпагу — и направил бедняжке в грудь: дескать, исполняй что сказано, если жизнь дорога.

В: Полно вздор молоть! Каков негодяй, на ходу сочиняет!

О: Честью клянусь, сэр! Стал бы я выдумывать небылицы, которым вы точно не поверите!

В: И вы готовы подтвердить, что он наставил на нее шпагу?

О: Как перед Богом.

В: Он что-нибудь произнес?

О: Я не слышал, сэр. Дик принудил ее подняться, и они двинулись дальше, а Его Милость за ними. Шпагу хоть и опустил, но не убирает. А через несколько шагов вновь вскинул, точно боялся, что Луиза опять станет упираться. Так они достигли устья пещеры. И тут, сэр, новая странность, еще почище. Прежде чем войти, Его Милость снял шляпу и прижал к груди, будто они вот-вот предстанут пред очи некой высокочтимой особы, в присутствии коей нельзя появляться иначе как обнажив голову... Не прогневайтесь, сэр, из песни слова не выкинешь. Вы сами велели рассказывать все без утайки.

В: Как бы желая изъявить почтение? Вы это ясно видели?

О: Как вас вижу.

В: А потом?

О: Потом они вступили в пещеру, сэр. И больше не появлялись. А как прошло несколько времени — я бы успел до двадцати сосчитать — так из пещеры донесся глухой женский крик. Негромкий, но слышный.

В: Голос девицы?

О: Ее, сэр. Меня аж мороз продрал: ну, думаю, режут. Теперь-то могу сказать точно, что никакого убийства не случилось.

В: Велика ли была пещера?

О: С одного бока устье низкое, с другого просторное. Большая груженная телега пройдет без труда, еще и место останется.

В: Вам не удалось обозреть внутренность пещеры?

О: Нет, сэр. Не глубже чем проникал солнечный свет. Дальше стояла тьма крошечная.

В: Не заметили вы внутри какую-либо фигуру или шевеление?

О: Ничего не видел, сэр. А смотрел хорошо, будьте благонадежны. Ведь сколько часов прождал. А вокруг такая тишь, что поневоле усомнишься: не померещилось ли мне все это. И тотчас понимаешь: нет, не померещилось. Вон она, епанча, возле камня брошена.

В: Вы не спускались в ложбину, дабы осмотреть место вблизи?

О: Не отважился, сэр. Страх разобрал. Мне пришло на мысль, что Его

Милость, не во гнев вам будь сказано, задумал недоброе: забрался в эту глухомань выучиться тут чародейскому искусству. Вон ведь и получаса не прошло, как они скрылись в пещере, а на утес, что над ней нависал, опустились две большие черные птицы – вороны, так их называют. И с воронятами. И давай каркать: не то радовались, не то надсмехались. А ворон известно что за птица, где ворон, там смерть. Добра от них точно не жди.

Недаром он слывет мудрейшим из всего птичьего племени. Такая о нем молва у меня на родине, ваша честь.

В: Очень мне нужно выслушивать про ваши детские годы и бабьи сказки! И про часы ожидания тоже можете пропустить. Выходил ли Его Милость из пещеры?

О: Не знаю, сэр.

В: Знаете!

О: Да нет же, сэр. Я ведь целый день прождал. Дик выходил, потом и девица, а Его Милость не показывался. Верьте слову, сэр. Как скрылся он в пещере, так с тех пор Джонс его не видел.

В: Тогда рассказывайте про слугу и девицу. Когда они вышли?

О: Только вечером, сэр, примерно за час до заката. И все это время я провел в ожидании. Солнце палит, а у меня ни капли воды и по части провианта прямо беда. Завтрак у меня был не Бог весть какой, черствый ломоть хлеба с сыром. Остаточки кое-какие в переметной сумке у седла остались – с собой захватить не догадался. И уж так бедного валлийца на еду позывает – хоть волком вой. Ей-богу, правую руку бы отдал за какой-нибудь пучок полыни или яснотки.

В: Полно тебе расписывать свои мучения. Тебе нынче не от голода спастись, а от виселицы. Рассказывай про их появление.

О: Всенепременно расскажу, сэр. Но прежде – еще про одну странность. Я ее не вдруг обнаружил. Из утеса над пещерой – там, где вороны сидели, – прямо из травы поднимался тонкий дымок. Вот как из печи, в какой обжигают известь. Трубы я никакой не заметил. Стало думать, в пещере горел огонь, а дым выбивался через трещину или отверстие.

В: Пламени не видали?

О: Не видал, сэр. И дымок-то шел с перерывами: то идет, то прекратится, то вновь пойдет. А иногда мне случалось учуять его запах. Конечно, издалека хорошо не принюхаешься, но я разобрал, что тянет смрадом. Очень мне этот дух не понравился.

В: Стало быть, горели не дрова?

О: Дрова-то дрова, сэр, но кроме них еще какая-то мерзость. Чад, как в дубильне, – от всяких диковинных солей или масел. Мало того, сэр, по временам в пещере раздавался гул, какой производит рой пчел. То словно бы делался ближе, то как будто удалялся. Вокруг же меня – ни единой пчелки, разве что шмель пролетит. Какие пчелы, если цветов почти не видать – так, крохотки малые.

В: Гул, говорите, доносился из пещеры?

О: Да. Самое громкое – как жужжание. Но жужжание внятное.

В: К чему же вы все это приписали?

О: Ни к чему, сэр. Я, извольте видеть, был околдован. Пожелай я уйти, все равно бы не смог.

В: А говорите – «ни к чему».

О: Я же рассказываю по порядку, сэр. Я это вывел из беседы с Луизой, а говорили мы с ней после, – выходит, и речь о том впереди.

В: Хорошо. Прежде всего, готовы ли вы подтвердить, что во весь тот день не покидали своего укрытия?

О: Раза два отлучался, сэр. Всякий раз не дольше чем на пять минут: уходил поискать поблизости воды, а заодно и ноги размять. Тяжко ведь лежать без движения на жесткой земле. Ей-богу, только два раза. А когда возвращался, внизу все было как прежде.

В: Вы ведь говорили, что ночь накануне почти не спали? Не случилось ли вам заснуть на вашем дозорном месте?

О: Помилуйте, сэр, я небось не на перине нежился.

В: Ничего от меня не скрывайте, Джонс. Что за беда, если вы в уважение человеческой природы и обстоятельств позволили сну себя сморить. Ну?

О: Раз-другой нападала будкая дремота, как бывало в седле. Но чтобы уснуть по-настоящему – видит Бог, нет.

В: Вы ведь понимаете, для чего я делаю такой вопрос. Станете ли вы отрицать, что могли и просмотреть, как кто-то вышел из пещеры?

О: Быть того не может, сэр.

В: Очень даже может. Вы сами показали, что дважды отлучались. А про дремоту забыли?

О: Да я и вздремнул-то вполсна, сэр. Притом вы же еще не знаете, что рассказала Луиза.

В: Так рассказывайте.

О: Так вот, сэр. Время, стало быть, шло, тени росли и уже протягивались по траве пастбища. Но самая мрачная тень пала на мою душу. Боюсь, не стряслось ли какого лиха: больно долго они не

показываются. А мне здесь оставаться дальше не с руки: невелика радость торчать в такой глуши, когда стемнеет. Я было подумывал воротиться к месту нашего ночлега и донести обо всем правосудию, но смекнул, что в этом случае благородный родитель Его Милости сраму не оберется. Нет, думаю, надо рассказать ему самому, а уж он пусть решает, как поступить.

В: Ближе к делу.

О: Лежу я, значит, раскидываю умом и ни тпру ни ну. И вдруг из пещеры выскакивает Дик. Глазищи безумные – как есть помешанный, – а на лице величайший ужас. Пробежал немного, поскользнулся и – как на льду: хлоп ничком. Но тут же вскочил и озирается, да с таким страхом, точно за ним гонится какая-то невидимая мне напасть. Рот раскрыл, хочет крикнуть, а крик не идет. Он и припустился наутек – знать только и думал, как бы унести ноги от того, что нашел в пещере. Шасть тем самым путем, каким сюда добрался – только я его и видел. Что прикажете делать? Бежать следом? Он такую прыть явил, что не угнаться. Ничего, думаю, ничего, Дэйви: одна рыбка ускользнула, зато другие остались. Подождем. Почему мне знать, может, Дик просто-напросто отправился за лошадьми и сию же минуту будет назад.

Лучше мне тогда с места не двигаться, а то не ровен час наскочишь на этого шального. Силенки-то у него поболее, чем у меня. Я и остался лежать где лежал.

В: Он так и не вернулся?

О: Нет, сэр, больше уж я его не встречал. Верно вам говорю: это он вешаться побежал. По одному виду можно было догадаться. Как сейчас его вижу. Я, ваша честь, в Бедламе на одного такого насмотрелся. Носится и носится, пока не свалится с ног, точно за ним по пятам мчатся псы преисподней или еще пострашнее.

В: Рассказывайте про девицу.

О: Сейчас, сэр. Ее пришлось ждать подольше, еще с полчаса. И все эти полчаса я по-прежнему не знал, на что решиться. А тени растут, подбираются к устью пещеры. Я и думаю: а пусть-ка они мне послужат вместо часовой стрелки: как дотянутся до пещеры, так и уйду. И тут выходит она. Да не то чтобы как Дик – совсем по-иному. Ступает медленно-медленно, словно бредет во сне или в голове у нее трясение. Помню, видал я как-то человека после взрыва на пороховом заводе: у него от нечаянности и ужаса язык отнялся.

Вот так и она. Идет по лужку, едва ноги передвигает – того и гляди о соломинку запнется. И ничего вокруг себя не замечает, точно ослепла. Да, вот ведь что: платья-то белого нету и в помине. Идет в чем мать родила.

В: Совсем нагишом?

О: Совсем, сэр. Ни сорочки, ни чулков, ни башмаков – точь-в-точь Ева до грехопадения. Грудь, руки, ноги – все голое. Только что, прошу прощения, черные перышки там, где у всякой женщины. Остановилась и прикрывает глаза: верно свет в глаза ударил. А ведь солнце стояло уже низко. Потом оборотилась на пещеру и пала на колени, будто благодарит Господа за избавление.

В: Руки сложила молитвенно?

О: Нет, сэр, руки опустила, а голову склонила. Как наказанное дитя, когда просит простить.

В: Не имелось ли на ее теле ран или отметин, происшедших от посторонней причины?

О: Нет, сэр, не заметил. На спине и ягодицах – точно ничего такого. С этой стороны, пока она молилась, я ее разглядел хорошо.

В: Не выражала ли ее фигура страдания?

О: Больше было похоже, что на нее, как бы сказать, столбняк нашел. Едва шевелится, прямо как ее зельем опоили.

В: Не у смотрелось ли вам, что она страшится преследования?

О: Да нет, сэр. Я, вспомнив про Дика, и сам удивлялся. Ну, а как встала на ноги, так, похоже, начала в разум приходить. Приблизилась почти что обычной походкой к камню у озерца и подняла епанчу, которая все время так там и лежала. Подняла и прикрыла наготу. У меня от сердца отлегло. А она кутается, точно ее холод пробрал до костей. Добро бы вправду было холодно, а то ведь хоть и вечер, но тепло. У озерца она вновь опустилась на колени, зачерпнула рукой воды и попила, а потом побрызгала лицо. И больше ничего не случилось, сэр. Потом она босиком двинулась в ту же сторону, что и Дик – по тому же пути, каким они утром сюда добирались.

В: Она спешила?

О: Теперь она шла проворно. А напоследок еще раз взглянула на пещеру, словно вместе с разумом к ней вернулись и прежние страхи. Но на бегство это было никак не похоже.

В: Как же поступили вы?

О: Я, сэр, подождал еще минуту времени, не появится ли Его Милость, но он так и не вышел. Вы, сэр, поди меня осуждаете. Конечно, будь на моем месте какой-нибудь отчаянный храбрец, он бы зашел в пещеру и глазом не моргнул. Да ведь я-то, сэр, не храбрец и никогда в храбрецы не лез. Потому и не отважился.

В: Не лез в храбрецы? Это ты-то, хвастун бессовестный, не лез в храбрецы? Одним словом, ты, заячья душонка, припустился за девицей,

так?

Чего и ждать от валлийца. И как, нагнал?

О: Нагнал, сэр, и она мне все рассказала. И хоть вашей чести история эта придется не по мысли, я знаю, что вам угодно услышать ее рассказ во всей его подлинности, а потому наперед прошу у вас прощения.

В: Не будет тебе никакого прощения, если поймаю на вранье. Ладно, Джонс, сейчас отправляйся обедать, а на закуску поразмысли вот о чем. Если ты меня обманываешь, тебе не жить. Ступай. Мой человек отведет тебя вниз и приведет обратно.

Аскью прихлебывает лекарственное питье (пиво с добавкой вышеупомянутой полыни, в ту эпоху считавшейся оберегом от ведьм и нечистого духа), а Джонс препровожден вниз, где ему и положено находиться, и в эту самую минуту трапезует. Его обед проходит в молчании – чему он впервые в жизни рад – и не сопровождается выпиской – а вот это его уже не радует.

Высокомерный шовинизм стряпчего, проявившийся при допросе, может показаться оскорбительным, однако таково было общее умонастроение, и к тому же бедняге Джонсу нагорело вовсе не за его национальность. Несмотря на нелепое, доходящее до раболепства почитание титулов и званий, сословные перегородки выше определенного уровня общественной иерархии были не так уж непроницаемы. Обладая известными талантами, люди даже не самого высокого звания могли выдвинуться и стать знаменитыми деятелями церкви, маститыми профессорами Оксфорда и Кембриджа, как мистер Сондерсон, сын акцизного чиновника. Могли они сделаться и преуспевающими коммерсантами, юристами, как Аскью (младший сын скромного, далеко не богатого приходского священника из северного графства), поэтами (Поуп происходил из семьи торговца полотном), философами, могли избрать еще какое-нибудь славное поприще. Для тех же, кто находился ниже этого уровня, всякое движение вверх было невозможно. Им не оставалось никакой надежды; с точки зрения более высоких сословий, их участь была предрешена с самого рождения.

Расшатать эту непреодолимую преграду не помогали даже те общие

идеалы, которые пронизывали тогдашнее английское общество. Эти идеалы связаны были с поклонением собственности – если не сказать культом собственности.

Рядовой англичанин назвал бы залогом единства нации англиканскую церковь, однако это косное учреждение было лишь внешней оболочкой истинной религии страны, суть же этой религии выражалась в глубочайшем уважении к праву собственности. Именно это уважение объединяло все общество – за исключением его низших слоев – и во многом определяло нравы, взгляды, образ мысли. Пусть закон и запрещал избирать и назначать сектантов на официальные должности (часто этот запрет оборачивался им во благо, потому что вместо этого они становились торговыми воротилами), однако собственность их считалась столь же священной, что и собственность любого другого англичанина. Невзирая на догматические расхождения с официальной религией, многие из них все охотнее смиряться с главенством англиканской церкви, коль скоро та защищала их права, а заодно держала в узде ненавистных противников противоположного толка: презренных папистов и якобитов. Нация была единодушна в одном: беречь от посягательств следует не столько доктрину господствующей церкви, сколько право владеть собственностью и гарантии ее неприкосновенности. Это мнение разделяли все добропорядочные граждане – от последнего домовладельца до обитателей роскошных особняков, аристократов-вигов, которые, образовав причудливый союз с зажиточными сектантами, представляющими деловые круги, и епископами из палаты лордов, управляли страной в большей степени, чем король и его министры. Власть принадлежала Уолполу только по видимости, на самом же деле проницательный министр всего лишь выполнял то, что от него требовало большинство.

Хотя коммерция с каждым годом становилась занятием все более и более доходным, капитал все же предпочитали вкладывать именно в собственность, а не в акции и компании, которые тогда только-только начинали появляться.

Доверие к этому новому способу умножения богатств было значительно подорвано вследствие краха «Компании Южных морей», происшедшего в 1721 году <"Акционерная компания Южных морей" была основана для торговли с испанскими владениями в Южной Америке; вместо этого деньги акционеров были обращены на финансовые спекуляции, что привело к банкротству компании, вызвавшему финансовый кризис во всей стране; этот скандал вошел в историю под названием «Пузыри Южных морей»>. Казалось бы, повальное благоговение перед

собственностью должно было подвигнуть парламент на изменение безбожно устаревших законов о ее приобретении и праве на владение, из-за которых рассмотрение дел в гражданских судах сопровождалось чудовищной путаницей и проволочками (гражданское законодательство ставило в тупик даже самых лучших знатоков). Но не тут-то было: в этом вопросе почитание собственности столкнулось с другим принципом, который для Англии XVIII века был столь же священным.

Это было убеждение, что перемены ведут не к прогрессу, а к анархии и бедствиям. Известное изречение гласит: «Non progredi est regredi» <не идти вперед значит идти назад (лат.)>. Англичане времени правления первых четырех Георгов отбросили слово «non». Поэтому большинство тех, кто в ту эпоху именовал себя вигами, по нынешним меркам были чистейшими тори, реакционерами. Недаром едва ли не все представители высших сословий, кто бы они ни были – виги или тори, сторонники господствующей церкви или сектанты – так страшились простонародья, толпы. Ее разгул был чреват переворотами, переменами, более того: он представлял угрозу собственности.

Принятый в 1715 году Закон о беспорядках, по которому расправляться со смутьянами поручалось судам магистратов и отрядам добровольцев, был поистине окружен ореолом святости, а английское уголовное законодательство оставалось варварски жестоким. Примечательно, что чрезмерно суровые наказания предусматривались даже за мелкие кражи: это ведь тоже посягательство на собственность. «Мы вешаем людей за сущие безделицы и ссылаем их за проступки, не стоящие даже упоминания», – заметил Дефо в 1703 году (тогда еще местом ссылки преступников была не Австралия, а Америка). Однако суровость законов на практике смягчалась одним побочным обстоятельством. Правосудию не на что было опереться: органа, хотя бы отдаленно напоминающего полицию, еще не существовало, поэтому обнаружить преступника и даже арестовать нарушителя оказывалось нелегко.

И все же сами законники представляли собой могущественное сословие.

Хитросплетение юридических премудростей (а проще говоря, словоблудие) делало их неуязвимыми, а законодательство давало возможность разводиться волокиту, обирать клиентов и благодаря этому жить припеваючи. Если в официальном документе, будь то контракт или обвинительный акт, обнаруживалось хотя бы ничтожное упущение, суд мог его отвергнуть или признать недействительным. В сущности, точное соблюдение установленных правил – требование вполне оправданное, и

можно было бы только восхищаться добросовестностью законников XVIII века, если бы за ней не стояло желание не упустить своего. Многие современники Аскью становились первоклассными торговцами земельной собственностью или управляющими имением, потому что хорошо владели юридическим языком, разбирались в допотопном порядке судопроизводства и к тому же умели ловко (нередко прибегая к подкупу) добиться *ex parte* <решение в пользу одной стороны (лат.)> или, во всяком случае, заведомо предвзятого решения. Они знали, как прибрать собственность к рукам и одновременно хлопнуть по рукам тех, кто, если рассудить по совести, имел на эту собственность полное право.

В качестве поверенного своего сиятельного клиента Аскью несомненно относился к этому разряду. Вообще же, он был не просто стряпчим, а адвокатом, представляющим интересы клиентов в высших судах. Это большая разница. Люди непосвященные, как правило, ненавидели и презирали адвокатов этого сорта, не без оснований полагая, что они больше заботятся не об интересах своих подопечных, а о том, как бы потуже набить свой зеленый саквояж. Отец Аскью служил приходским священником в Крофте, маленькой деревушке возле Дарлингтона в Северном Йоркшире. Тамошний помещик, обедневший баронет сэр Уильям Чейтор, был вынужден провести последние двадцать лет своей жизни (он скончался в 1720 году) в стенах знаменитой лондонской Флитской тюрьмы, куда сажали несостоятельных должников.

Бесконечно длинные письма и прочие документы из его семейного архива были опубликованы только в прошлом году, в них с потрясающей наглядностью описано адвокатское крючкотворство. В свое время сэру Уильяму пришлось заложить йоркширское поместье без всякой надежды на его возвращение. Во Флитской тюрьме он, как и многие его товарищи по несчастью, больше мучился не от строгости законов, а от сутяг-адвокатов. Его история – классический пример того, как эта братия могла отравить человеку жизнь. Правда, в конце концов сэр Уильям дело выиграл, но проклятья, которые он посылает судейским крючкам, и сегодня нельзя читать спокойно.

Такие дела, как нынешнее расследование, выходили за рамки обычных занятий Аскью: приобретение земель, сдача их лизгольдерам <крестьянин, арендующий землю у помещика на тех условиях и на тот срок, который устанавливает сам помещик> и копигольдерам <арендатор, права которого зафиксированы в протоколах манориального суда>, лишение должников права выкупа заложенного имущества, рассмотрение ходатайств об отведении полей и постройке ферм, вопросы страхования, возмещения

убытков, выплаты дани после смерти арендатора. Ему приходилось разбирать, кто должен приводить в порядок живые изгороди между участками и добывать камень для строительства, вникать в дела о плугах, телегах, снопах, овечьих лазах (и заниматься сотней прочих мелочей, из-за которых шли баталии между арендаторами и землевладельцами). А во время парламентских выборов в небольших округах ему приходилось при помощи махинаций обеспечивать победу тому кандидату, который был угоден его патрону. Короче говоря, обязанности его были многообразны: сегодня их разделили бы между собой по меньшей мере полдюжины профессий. Однако Аскью не достиг бы нынешнего положения, если бы он не был добросовестным, по тогдашним понятиям, стряпчим, человеком в известной степени просвещенным и не разбирал бы, как выразилась Клейборн, «где барыш, а где шиш». Выше я процитировал знаменитый памфлет Дефо «Кратчайший способ расправы с сектантами». Он вышел в свет за тридцать с лишним лет до описываемых событий, вскоре после смерти Вильгельма III и восшествия на престол королевы Анны. У власти тогда стояла партия тори, и в среде англиканского духовенства преобладали реакционные настроения. Дефо затеял литературную мистификацию. Его памфлет был выдержан в самом что ни на есть «высокоцерковном» духе <"высокая церковь" – течение в англиканской церкви, подчеркивающее основные черты англиканства: государственный характер церкви, привилегии членов церкви перед сектантами, связь со средневековой и древней церковью в богослужении и организации> (и это при том, что сам автор рос и воспитывался в сектантской семье), а предлагаемое им решение вопроса было предельно простым: перевешать всех сектантов или сослать их в Америку. Проделка имела неожиданные последствия: среди тори нашлись такие, кто принял этот свирепый бред за чистую монету и отозвался о памфлете с похвалой. Автору этот розыгрыш даром не прошел. Он был выставлен у позорного столба (собравшаяся при этом толпа встретила писателя восторженными криками и пила за его здоровье), а потом заключен в Ньюгейтскую тюрьму. На свою голову, Дефо переоценил чувство юмора противников – радикально настроенных тори из числа церковников и парламентариев. Попался на его удочку и юный Аскью, который в ту пору по убеждениям был настоящим тори. По правде говоря, ему показалось, что насчет повешения автор погорячился, но предложение о том, чтобы избавить Англию от неблагонамеренных общин и молитвенных собраний, спровадив их членов в Америку, на задворки империи, – что ж, эта мысль ему понравилась.

В дальнейшем обстоятельства и карьерные соображения вынудили его

объявить себя вигом. Однако, вспоминая о проделке Дефо, который ухитрился выманить жучков из трухлявого пня, он до сих пор хмурился. Рана еще не затянулась.

Всякая признанная древняя профессия держится не только писаными правилами и уставами, но и столь же незыблемыми подспудными предрассудками. Вот и Аскью в плену у этих предрассудков – в этом смысле он такой же узник, что и несостоятельные должники во Флитской тюрьме. В его глазах Джонс – человек «снизу» и должен знать свое место: он «приговорен» оставаться таким как есть, путь наверх ему заказан. Одно то, что он перебрался из валлийского захолустья (где ему надлежало пребывать до самой смерти) в большой английский город, – это уже нарушение неписаных законов. А может быть, и не только неписаных – если вспомнить Закон о бедняках. Слово «тов» – «чернь», «сброд» – появилось в английском языке всего за полвека до этих событий, это жаргонное в ту эпоху словечко было образовано от латинского «mobile vulgus» <непостоянная толпа (лат.)>.

Мобильность, движение – это перемены, а перемены суть зло.

Джонс плут, голь перекатная, всю свою сообразительность он употребляет лишь на то, чтобы хоть как-то протянуть, и не в последнюю очередь ему помогают заискивания перед властью, которой наделен Аскью. Какая уж тут гордость: не до жиру, быть бы живу. И все же во многих отношениях он ближе к будущему (и не только потому, что еще до начала следующего века миллионы людей так же, как он, потянутся из провинции в большие города). Аскью же ближе к прошлому. И при этом оба они сродни большинству из нас, людей нынешнего века, – таких же узников долговой тюрьмы Истории, из которой нам точно так же не вырваться.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПОКАЗАНИЯ ДЭВИДА ДЖОНСА,

die annoque p'dicto <в вышеуказанный день и год (лат.)>.

В: Джонс, вы по-прежнему свидетельствуете под присягой.

О: Да, сэр.

В: Рассказывайте о девице.

О: Так вот, ваша честь, стало быть, пустился я вниз по голому склону в обратный путь. Ушел не скажу чтобы далеко: только до опушки. А сердце так и прыгает: не приведи Господи заметят, если...

В: Опять он про свои страхи! Послушать тебя, ты всю жизнь живешь в вечном страхе. Девица ушла вперед?

О: Да, сэр, но вскорости я ее настиг. В том самом месте, где тропа делается крутой и сбегает к потоку. Там уже всюду раскинулись тени. Гляжу – бредет бедняжка, едва ступает: босыми-то ногами по острым камням. Сам я старался не шуметь, но она все равно услышала мои шаги. Оборотилась на меня – даже не вздрогнула, словно так и ожидала погони. Подхожу ближе, а она зажмурила глаза, и слезы капаят. Побледнела, как полотно, обмякла, как подушка, осунулась, как рыба после нереста. Будто за ней по пятам гонится неминуемая смерть. Останавливаюсь в двух шагах от нее и говорю: «Не пугайся, милая, это всего-навсего я. Отчего на тебе лица нет?» Тут она глаза открыла, увидала меня, а потом снова зажмурилась и повалилась без чувств у моих ног.

В: Вы понимаете, что она страшилась некого преследователя и, обнаружив вместо него вас, испытала облегчение?

О: Точно так, сэр. Ну, нюхательной соли или чего посильнее со мной не случилось, но я сколько мог постарался привести ее в чувство. Немного погода веки у нее задрожали, и она тихо так застонала, вроде как от боли.

Зову ее по имени, объясняю: «Так, мол, и так, хочу, мол, тебе пособить». И тут она как бы сквозь забытие бормочет: «Червь, червь». Дважды произнесла.

В: Что еще за червь?

О: Вот и я ее спрашиваю: «Что за червь? О чем ты?» То ли мой голос ее опамятовал, то ли еще что, только она вмиг открыла глаза и наконец меня узнала. «Фартинг? – говорит. – Как вы здесь очутились?» – «Как очутился, – говорю, – это дело десятое. А вот я сегодня такого навиделся – не знаю, что и думать». Она и спрашивает: «Что же вы такое видели?» А я: «Да все, что приключилось наверху». Она в ответ – ни слова. Я наседаю: «Что стряслось с мистером Бартоломью?» А она говорит: «Его там уже нет». – «Как это нет? – говорю. – Я весь день с пещеры глаз не спускал. Дика видел, тебя видел, а больше никто оттуда не выходил». Она знай свое: «Его там нет». – «Быть того не может!» Она и в третий раз: «Его там нет». Тут она приподнялась – до этой минуты я ее поддерживал – и говорит: «Фартинг, нам грозит беда. Надо поскорее отсюда убираться». – «Что за беда?» – спрашиваю. «Чародейство». – «Какое чародейство?» – «Этого, – отвечает, – я тебе открыть не могу, а только если мы отсюда не выберемся до наступления ночи, мы окажемся в их власти». И с этими словами встает она на ноги и снова пускается в путь еще прытче прежнего – видно я ее совсем в разум привел и теперь она только и думает, как бы убраться от греха подальше. Но не прошла она и нескольких шагов, как опять захромала и говорит: «Фартинг, сделай милость, снеси меня вниз». Так я и

поступил, сэр. Взял ее на руки и донес до самого берега. А по траве-то уж она сама пошла. Вы, сэр, верно недовольны, что я по первому ее слову так расстарался. Но что мне оставалось: места глухие, опасные, вокруг ни души, одни тени, а тут еще ночь надвигается. Опять же этот полоумный Дик неизвестно где бродит.

В: А что такое она вначале сказала? Про червя.

О: Об этом – потом, сэр. Это разъяснилось после.

В: Все три коня и поклажа были внизу?

О: Точно так, сэр. И она тут же бросилась к своему узлу. Забыл рассказать: я уже в прошлый раз, как проходил мимо, так заметил, что рама с поклажей лежит на земле. Достала она свое обычное платье, взяла туфли с пряжками, в которых все время хаживала, и велела мне отвернуться, а сама принялась одеваться. Она одевается, а я знай расспрашиваю. Но она, покуда не оделась, ни на один вопрос не ответила. А одевшись, накинула опять епанчу, взяла свой узел, подходит ко мне и говорит: «Конь у тебя есть?» – «Как же, – говорю, – тут неподалеку дожидается. Если его какой-нибудь чародей не счародеил». – «Тогда, – говорит, – поехали отсюда». Я уперся.

Взял ее за руку и объявил, что никуда не поеду, пока она не растолкует, куда подевался Его Милость и что там стряслось с Диком.

В: Так и сказали – «Его Милость»?

О: Виноват, сэр. Я сказал «мистер Бартоломью», как мы его обыкновенно называли. «Он, – говорит, – отошел к нечистому. И меня ввел в великий грех против всякого моего хотения. В недобрый час повстречала я этого человека и его слугу!» Тут-то, сэр, я и измыслил, как мне объяснить свое появление и вместе с тем выпытать у нее побольше. «Постой, – говорю, – Луиза, не спеши. Да будет тебе известно, я ехал сюда с тайным наказом отца мистера Бартоломью, а наказ такой, чтобы я за его сыном следил и доносил о всяком его шаге. Батюшка у него ох какой большой вельможа, да и сам мистер Бартоломью много знатнее, чем хочет представить». Взглянула она на меня искоса и потупилась, будто не знает, что ответить. А на лице написано: «Эк удивил: мне это давно известно». Я продолжаю: «А потому должна ты мне открыть все его дела, а то как бы потом не пожалеть». А она: «Когда так, передай Его Сиятельству, что сын его пристрастился к таким занятиям, за какие простых людей посылают на виселицу». Слово в слово так и сказала, сэр. Только вместо «Его Сиятельство» произнесла полное имя. «Ага, – говорю, – стало быть, ты знаешь, что я не вру». – «Я еще и такое знаю, – отвечает, – что твоему господину чести не делает. И лучше уж об этом речи не заводить». – «Лихо

припечатала, – говорю. – Вот сама бы ему в лицо и высказала, а то ведь повторять-то придется мне. А где у меня доказательства? Так что выкладывай уж все начистоту». Встревожилась она и говорит: «Ладно, но сперва уедем отсюда». Я не отступаю: «А как же твоя хозяйка, юная леди?» И снова она глаза опустила и отвечает: «Нету здесь никакой хозяйки». – «Ну нет, – говорю, – шалишь. Я ее утром видал своими глазами». А она: «То была не хозяйка». Помолчала и прибавила: «А жаль».

Джонс опять приступает: «Раз нет никакой леди, так, стало думать, не было и горничной?» Помрачнела она. Молчит и головой качает: дескать, твоя правда, не было и горничной. Тогда я ей напрямик: «То-то мне втемяшилось, что я тебя уже прежде встречал, я только дознаваться не стал. Ты часом не овечка ли из стада мамыши Клейборн?» Отвела она взгляд и что-то пробормотала – «Боже мой», кажется. Я не отстаю. Тогда она и говорит: «Да, я великая грешница. И вот до чего довело меня беспутство. Зачем только оставила я родительский дом!» – «Что же тут такое затевалось, если не увоз?» – «Скверное дело, безумное дело. Ах, Фартинг, имей же ты сколько-нибудь великодушия: давай поскорее уедем. Я тебе все-все открою, только не здесь». – «Хорошо, – говорю. – Ответь только, скоро ли воротится Его Милость». – «Нынче уже не воротится. Пусть бы век не возвращался – не заплачу». – «Да отвечай ты путем», – говорю. «Он, – говорит, – остался наверху и спускаться не собирается». И вдруг прибавляет: «Отвяжи коней. Они все равно далеко не разбредутся». Ну уж на это, ваша честь, я никак не согласился. Тогда она устремила на меня такой взгляд, точно убеждала отложить всякие сомнения, и произнесла: "Знаю, Фартинг, я держалась с тобой нелюбезно, а для видимости отвергала и тебя и твою дружбу – но, право же, не без причины. Может, я и не имела к тебе добрых чувств, зато и зла тебе не желала. Верь мне, очень тебя прошу.

Отпусти ты коней. Не хочу я, чтобы и они, бедняжки, были на моей совести".

Но я, сэр, заупрямился и вновь пристаю к ней с расспросами. Тогда она подошла к вьючной лошади и сама стала отвязывать. «Ладно, – говорю. – Но чур уговор: ты меня подбила – с тебя и спрос, а я к этому делу непричастен». А она: «Будь по-твоему». Отвязал я двух других коней, распряг, а сбрую оставили возле рамы с поклажей.

В: Себе ничего не взяли?

О: Ей-богу, не взял, сэр. И натерпелся же я тогда страху: время позднее, смеркается, да еще Дик этот у меня из головы не выходит. Ну как он затаился поблизости и наблюдает. Что тут будешь делать? Да, вот еще.

Когда она возле рамы с поклажей одевалась, из узла вывалилась всякая

всячина: тонкая розовая сорочка, юбка. А потом я подошел ближе и увидал на траве крохотный пузырек и разную мелочь. Среди прочего – испанский гребень. Я уж решил, что она забыла. Показываю ей, а она: «Оставь, мне ничего этого не нужно». – «Как же это, – говорю и поднимаю гребень. – Такая отменная вещица – и не нужна?» Она мне: «Брось, брось, это все суета мирская». Я поступил по пословице: «Что ничье – то мое». Отвернулся да и сунул гребень за пазуху. Может, и посейчас бы с собой носил, если бы в Суонси не продал за пять с половиной шиллингов. Что ж тут такого – она ведь сама не взяла. Я это за воровство не считаю.

В: И мне, выходит, должно считать тебя честным малым. Дальше.

О: Отыскали мы моего коня – он, слава Богу, стоял на прежнем месте. Она забралась в седло, а я взял коня за повод и повел в сторону дороги.

В: Больше вы ее не выпрашивали?

О: Как же, сэр. Но все попусту: она твердила, что все мне откроет не раньше чем мы отъедем подальше от этих мест. Тогда я примолк. А уже почти у самой дороги остановился и спросил, в какую сторону нам по ней ехать – потому как по пути я кое-что измыслил и хотел заручиться ее на то согласиём. А замысел у меня был такой, чтобы доставить ее к отцу Его Милости. Она и отвечает: «Надо мне сколько возможно быстрее добраться до Бристоля». – «Отчего же до Бристоля?» – спрашиваю. «Оттого что там живут мои родители». – «А известно им про твое нынешнее занятие?» А она знай свое: должна, мол, повидаться с родителями. «Тогда, – говорю, – назови свое истинное имя и расскажи, где тебя сыскать». – «Я зовусь Ребекка Хокнелл, но иные называют меня Фанни. Отец мой столяр и плотник именем Эймос, а найти его можно в приходе Богородицы Редклиффской, возле трактира „Три бочонка“, что на Квин-стрит, в Ремесленном квартале». И знаете, сэр, ведь я ей туда писал. В июне. Как услышал про Дика, так и написал. Однако ответа нет как нет. Так что правду ли она мне рассказала – Бог весть, но при той беседе я ей поверил.

В: Хорошо. Что же потом?

О: Стоим мы, значит, беседуем, и вдруг внизу на дороге голоса. Идут через лес человек шесть или семь – мужчины, женщины – и песню распевают.

Припозднились на празднике, домой возвращаются. И не поют даже, а просто козла дерут – видать, крепко навеселе. Мы тотчас умолкли, и уж так-то легко сделалось на душе, оттого что нашим приключениям конец и снова перед нами простые смертные – нужды нет, что пьяные горлопаны.

В: Ночь уже опустилась?

О: Не то чтобы совсем, но уже помрачнело вокруг, как в ненастье. И

вот отстучали по дороге деревянные башмаки, как вдруг Ребекка – уж я ее теперь так и стану называть – вдруг Ребекка восклицает: "Нет мочи! Я должна!"

Должна!" Я и слова вымолвить не успел, а она скок наземь, метнулась в сторону и бросилась на колени, словно вновь хочет возблагодарить Господа за избавление. Потом слышу – плачет. Намотал я поводья на сук – и к ней. А она дрожит странной дрожью: не то ее лихоманка треплет, не то озноб бьет, хоть вечер не так чтобы прохладный. И при каждом вздроге стонет как от боли: «Ох, ох, ох». Я ей руку на плечо кладу, а она отшатнулась вот этак, будто я ее обжег. Ничего не говорит, ничего вокруг не замечает. А потом как бросится ничком на землю, трясется, стонет. Ну прямо падучая болезнь.

Вот когда у Джонса мурашки-то по спине забегали. Я уж подумал, что те, про кого она давеча так непонятно говорила, сперва задали ее душеньке трезвону, а теперь завладели ее телом и наказуют за прегрешения. Боже милосердный, такие вздохи и рыдания раздаются разве что в геенне огненной.

Я только раз в жизни слышал, чтобы женщина выводила такие звуки – когда одна при мне, прошу прощения вашей чести, мучилась родами. Вот и Ребекка так же. Ей-богу, так же. Я отступил назад и стал ждать. Наконец она успокоилась. Минуту-другую лежала без движения, только нет-нет да и всхлипнет. Подошел я к ней, спрашиваю: «Не захворала ли ты?» А она помедлила и как бы сквозь сон отвечает: «В жизни так славно себя не чувствовала». И прибавила: «Иисус вновь поселился в моей душе». «А я, – говорю, – уже было почел тебя одержимой». – «Истинно так, – отвечает, – но это одержимость праведная, ибо я одержима лишь Им одним. Не тревожся же: теперь я спасена». Потом она села и уткнулась лицом в колени, но тотчас подняла голову и спрашивает: «Нет ли у тебя какой еды? Я умираю с голоду».

– "Только малая краюха хлеба да кусочек сыра". – «Мне, – говорит, – больше и не надобно». Принес я ей свои припасы. Она поднялась, взяла еду и уселась поудобнее на поваленном дереве. Откусила кусочек и спохватилась:

«Может, ты тоже проголодался?» – «Что верно, то верно, – говорю. – Но это пустяки. Мне еще и не так случалось голодать». – «Нет, – говорит она, – так не годится. Ведь это же ты ободрил меня в горькую минуту. Давай поделимся». Я присел рядом, и она отломала мне хлеба и сыра. Кусочки вышли махонькие, на один зубок. А потом я спросил, как разуместь ее слова:

«Теперь я спасена». – "Это, – говорит, – к тому, что Господь вошел в меня.

И я молю Его, чтобы Он пребывал и с тобою, Фартинг. Теперь Он нас не оставит и, может статься, мы сподобимся прощения за то, что совершили и подглядели". Я, сказать по чести, никак не ожидал таких слов от шлюхи и только ответил: «Дай-то Бог». А она продолжала: "С самых дней моей юности я принадлежала к «друзьям». Но за эти пять лет не стало света в моей душе.

Ныне же Господь Всеблагой возжег его вновь".

В: И вы дали веру этим лицемерным рацеям? Поверили ее дерганью и тряске?

О: Мудрено было не поверить, сэр. Все было так натурально. Много я на своем веку повидал актеров, на такую искусную игру ни один не способен.

В: На такую гнусную игру. Однако продолжайте.

О: Я, стало быть, отвечаю: «Чем всякие слова говорить да рассуждать о спасении, растолковала бы ты лучше, за какой нуждой Его Милость занесло в это место и куда подался Дик». А она мне на это: «Зачем ты, Фартинг, мне солгал?» – «Когда это я тебе лгал?» – «Ты уверял, будто послан отцом Его Милости». – «Правда, – говорю, – послан». – «Нет, не правда. Будь это правдой, ты бы точно знал, кто я такая, а не лез с вопросами». Надо же, как подался! Уж я ее убеждал-убеждал – не верит. Только руку мне пожимает, точно хочет показать, что я напрасно стараюсь. Потом спрашивает: «Ты боишься? Не бойся. Мы теперь друзья, Фартинг, а дружбе ложь не сродна». А я себе смекаю: раз уж в этих водах я сел на мель, пуцу-ка свой корабль другим курсом. «Положим, что и ложь, – говорю. – Но что бы нам с тобой не переладить ее в правду? Отчего бы не поступить так, как если бы то была правда? А уж Его Сиятельство на вознаграждение не посягнет». Она меня поняла и отвечает: «Наградой нам вернее всего станет смерть. Мне ли не знать, что за люди сильные мира сего. Того, кто способен навлечь на них позор, они в живых не оставят. Мне же ведомо такое, что им от позора нигде глаз нельзя будет показать. А и Расскажи я им, все равно не поверят. Кто станет слушать таких, как ты да я?»

В: Ловко она тебе зубы заговорила. Так ты и учинился пособником продувной потаскухи.

О: Так ведь ее, сэр, как подменили. Теперь она сделалась такой ласковой.

В: Нечего сказать, ласка: в глаза называет тебя лжецом. Отчего же вы

не возразили, что ваш христианский долг – донести обо всем Его Сиятельству?

О: Я почел за лучшее отложить исполнение своего замысла. Все равно она стояла на своем: дала-де при молитве обет прямо отсюда воротиться к родителям. Она точно знала, что те еще живы. Тогда я свернул на другие предметы. Я предложил, чтобы она ехала со мной в Бристоль. Она и сама того хотела, но объявила, что боится ехать прежним путем и лучше нам податься в Бидефорд, а оттуда перебраться по морю.

В: Она привела свои резоны?

О: Она помнила слова Его Милости, что его сиятельный батюшка отправил за ним соглядатаев – недаром она сперва поверила, что я подослан Его Сиятельством. И если они в самом деле идут за нами по пятам, то при встрече ее непременно узнают. Эх, думаю, по морю, по суше – какая разница?

Если ей морское путешествие нипочем, то и мне бояться негоже. Зато неотлучно буду при ней до самого Бристоля. Оттого-то, ваша честь, мы и пустились в Бидефорд.

В: Что же она вам рассказала по дороге?

О: Я, сэр, повторю вам всю ее историю, но только не совсем так, как она была рассказала, потому как мне пришлось ее выслушать не в один прием, а частью по дороге, частью в Бристоль: мы там провели два дня. Но об этом после. Так вот, перво-наперво она рассказала, что познакомилась с Его Милостью у Клейборнихи месяц назад. Привел его другой лорд, который в этом заведении был свой человек. Она сказывала – натуральнейший сводник, хоть и лорд. Она провела Его Милость для услаждения в свой покой, и тут обнаружилось, что ее ласки ему не надобны, хотя прежде, когда они сидели внизу со всей честной компанией, он как будто бы показывал такое желание.

В комнате же он объявил, что имеет ей нечто предложить, и, выложив на стол пять гиней, пояснил, что это плата за молчание. А дело, мол, состоит в том, что есть у него некий изъян, из-за которого он, увы, неспособен наслаждаться тем, для чего она нанята. Но пусть она удержится от насмешек, а лучше явит ему сострадание. И знает он лишь одно средство худо-бедно потешить свою плоть: наблюдать чужие постельные забавы. Отчего так получается, он и сам не разберет. Если она согласится ублажить его на такой диковинный лад, взяв себе в подмогу усердного слугу Его Милости, то он в долгу не останется. Притом, радея о своем добром имени, он не хотел, чтобы известие о его изъяне дошло до ушей его приятеля и мамыши Клейборн.

По этой причине он не отваживался исполнить задуманное в этих стенах, но просил ее дозволения сперва заходить к ней под видом обычного гостя – а там уж он сумеет войти в доверие к хозяйке и, когда приспееет время, под каким-нибудь предлогом нанять девицу в отъезд. А слуга, говорил он, парень молодой, до любви охочий, собой красавец – редкий из гостей сможет ее разудовольствовать, как он.

В: Вы понимаете, что сам Его Милость ни разу к ней в постель не ложился?

О: Она сказывала – ни разу, сэр. А при следующем посещении Его Милость показал ей Дика – тот стоял на улице под ее окошком. И она его нашла точь-в-точь таким, как изображал Его Милость. Одним словом, она дала согласие – из жалости, как после мне признавалась. Тем паче что Его Милость явил такую любезность и участие, каких она ни от кого почти не видела. Не то в этот, не то в другой раз он плакался на свой злосчастный недуг, из-за которого ему приходится сносить разного рода обиды. Пуще всего сетовал он на своего родителя: Его Милость уклонялся от женитьбы, которую затеял отец, а тот отнес это на счет упрямства, рассвирепел и пригрозил неслуху лишением наследства и Бог весть еще какими карами. А потом Его Милость признался, что сделал свое предложение по совету ученого лондонского лекаря: тот уверял, будто этим средством исцелил от такого же недуга уже не одного человека.

В: Сам он прибегал к этому средству впервые? Прежде он такое лечение не пробовал?

О: Ребекка заключила, что нет, сэр.

В: Известны ли ей таковые примеры? Делались ли ей прежде подобные предложения?

О: Про это она ничего не сказывала, сэр. А вот я так слышал, что, прошу прощения, с греховодниками такое случается. Ну, там, со стариками, которые одряхлели естеством. Ах, да, забыл: она еще прибавила, что он пользовал себя и обычными снадобьями – какие продаются в аптеке. Ничего не помогало.

В: Переходите к путешествию. Что она о нем рассказывала?

О: Что он положил отправиться на запад и взять ее с собой: прошел слух, будто там недавно открыли какие-то воды, наипервейшее средство от такой немочи, как у него. Он и вздумал испытать разом оба лекарства. Только боялся, как бы отцовы соглядатаи не увязались следом да не стали вынюхивать, чем это он занимается. А потому понадобился ложный предлог.

В: История про увоз девицы и ее горничную?

О: Да, сэр.

В: Не было ли речи про забавы в отдаленном поместье в обществе других распутников?

О: Нет, сэр.

В: Бог с ними. Как Его Милость объяснил ей, для какой нужды потребовалось ваше соучастие?

О: Резонный вопрос, сэр. В пути я и сам ее спрашивал. Оказывается, Его Милость представил ей, будто берет нас с собой, чтобы придать больше достоверности своему вымыслу, и мистер Лейси должен изображать его спутника. А ей было велено держаться наособицу, вопросов нам не предлагать, а наши вопросы оставлять без ответа.

В: Как она добралась до того места, где вы с ней встретились, до Стейнса?

О: Я в это не входил, сэр. Вернее всего, Его Милость до того дня где-нибудь ее скрывал: она сказывала, что к тому времени уже исполнила вместе с Диком желание Его Милости и получила за это деньги и благодарность. Но едва мы тронулись в путь, она нашла, что Его Милость очень к ней переменился и бывшая его любезность спала как маска. В следующую ночь он заставил ее повторить то же самое, но остался уже не так доволен и выговорил ей за то, что она свою, с позволения сказать, бордельную искусность кажет не в полную силу. Как ни доказывала она, что виною всему Дик – больно тороплив, не удержишь, – но Его Милость и слушать не захотел.

В: Мы ведем речь о ночлеге в Бейзингстоке?

О: Да, сэр.

В: Каков показался ей Дик?

О: Она сказывала, что до хозяйской нужды ему дела не было – словно бы девица предназначалась ни для чего другого, как только ему на забаву.

Точно ему невдомек, кто она есть. Думал, раз он ее этак оседлал, то она его уже и любит. А что обстоятельства несообразные – этого он в толк не брал.

В: Выходит, ее приязнь к нему была всего лишь притворством?

О: Она объяснила, сэр, что это из жалости: ведь его-то страсть была непритворной. С полоумного какой спрос. У него об этих предметах понятия ничтожные. В ту же ночь, после того как Его Милость их отпустил, Дик опять пришел к ней за тем же делом. И она с перепугу уступила.

В: Вы узнали, что же произошло в Эймсбери? Куда они ездили среди ночи?

О: Узнал, сэр. Тут такая история, рассказать – не поверите.

В: Может, и не поверю. Рассказывайте.

О: По приезде в Эймсбери Его Милость уединился с ней у себя в комнате и просил прощения за давешнюю несдержанность: раз не проняло, стало быть, сам виноват, что уповал на нее сверх меры. Потом он заговорил про некое место, что находится близ Эймсбери и якобы имеет силу исцелять такой, как у него, недуг. Нынче же ночью он хочет это испытать, и Ребекка должна отправиться вместе с ним. Бояться ей нечего: просто ему вспала на ум блажь доказать ложность этого суеверия. Он божился, что, как бы ни обернулось дело, ей ничего не угрожает.

В: Так и сказал: «доказать ложность суеверия»?

О: Этими самыми словами, сэр. К нему вернулась прежняя ласковость, однако на душе у девицы сделалось беспокойно: она заметила, что Его Милость пребывает как бы в помешательстве – словно у него разум перекошило. Она уже пожалела, что отправилась в это путешествие. Но Его Милость так пристал с уверениями и посулами, что ей пришлось согласиться.

В: Первая часть рассказа до этого места представилась вам правдивой?

О: Сколько я мог судить – да, сэр. Правда, впопыхах я ее лица не видел, но мне казалось, что она хочет этим рассказом облегчить душу. Как бы ни был велик ее грех, сейчас она не лукавила.

В: Дальше.

О: Так вот, сэр. Как они отъезжали – это я подглядел и доложил мистеру Лейси. Приехали они на холм, где стоит языческое капище, прозываемое Стоунхендж. Его Милость приказал Дику взять обоих коней и удалиться с ними за пределы капища, а Ребекку вывел на середину и указал на большую каменную плиту, вросшую в землю, – прочие камни стояли торчмя, а этот лежал. И велел он ей улечься на эту плиту, потому что молва, если верить его словам, гласит: овладеешь женщиной на этом месте – вернешь себе мужскую силу. Эту самую молву он и называл суеверием. Но на Ребекку напал страх, и она нипочем не хотела подчиниться. Тогда он вновь осерчал и осыпал ее грубой бранью. Делать нечего, пришлось исполнить приказание. И вот улеглась она навзничь, лежит на камне, точно как на кровати, а сама от ужаса ни жива ни мертва.

В: Она лежала обнажившись?

О: Нет, сэр. Его Милость приказал ей только задрать юбку, открыть, прошу прощения, мшавину и изготавиться для любодейства. Она все это исполнила и уже было ожидала, что Его Милость попробует в этом якобы благоприятном месте оказать свою удаль, но он вместо этого отступил в

сторону, встал меж двух высоких камней и словно бы расположился наблюдать.

Спустя несколько времени она окликнула Его Милость и спросила, не будет ли ему угодно приступить, а то она озябла. Он велел ей молчать и не шевелиться, сам же так и остался стоять меж двух камней в десятке шагов от нее. Сколько минут это продолжалось – неизвестно, только времени прошло изрядно; она совсем продрогла, тело на жестком ложе затекло. Вдруг – чу! – не то шорох, не то свист: над головой во тьме точно пронесся громадный сокол. А потом без всякого грома полыхнула молния, и в ярком вспыхе она различила на каменном столбе прямо над собой темную фигуру, как бы изваяние. По виду – огромный арап в черной епанче. Стоит и смотрит на нее хищным-прехищным взглядом, будто он и есть тот самый сокол, чьи крыла произвели этот шум. А епанча на нем развевается, как если бы он сей лишь миг сюда слетел. Вот-вот ринется на нее, словно птица на добычу. Правда, сэр, это мрачное и жуткое видение тотчас пропало, и она почла его за обман воображения, но после увиденного в пещере удостоверилась, что это был не обман. А чуть погодя ее обдало странным дуновением. Точно из горнила пахнуло – а откуда тут быть горнилу? И не то чтобы жар палящий, но отвратительнейший, зловоннейший дух, дух горящей падали. Но и это, слава Богу, продлилось лишь один миг. И опять мрак, опять холод.

В: Тот, кто стоял на столбе, – он так на нее и не бросился?

Почувствовала она что-либо помимо теплого дуновения?

О: Ничего, сэр. Я спрашивал. Случись что еще, она бы точно вспомнила: такие страсти не скоро забудешь. Она даже как рассказывала – и то дрожала.

В: Что же это, по вашему разумению, была за фигура? Что за сокол арапской наружности?

О: Не иначе Владыка Ада, сэр, Князь Тьмы.

В: Сам Сатана? Дьявол?

О: Он, сэр.

В: Она, что же, видела рога, хвост?

О: Да нет, сэр. Едва не сомлела от ужаса – где уж ей было разглядывать.

Притом и времени не было: мелькнул да исчез. Она сказывала, как раз другой пальцами щелкнуть – вот сколько она его видала. Но из дальнейшего ей стало ясно, что это он самый и был. Я, ваша честь, про это еще расскажу.

В: Что произошло дальше там, в капище?

О: Дальше – опять чудеса, только на этот раз без нечистой силы. На Ребекку нашло беспамятство. Сколько она так лежала, она и сама не знает. А как опаматовалась, глядь – Его Милость стоит подле нее на коленях. Руку ей подал, помог подняться, поддержал. Да вдруг и обнял. Как сестру, говорит, обнял, как жену. И похвалил: «Ты отважная девушка, я тобой очень доволен».

Она и призналась, что от страха чуть жива, а кто бы, сэр, на ее месте не испугался? А потом спросила Его Милость, что это промелькнуло там наверху.

«Это, – отвечает, – так, пустое. С тобой от этого никакой беды не случится». И прибавил, что им пора уходить. Пошли они прочь, а он ее под руку поддерживает и опять про то, что она все сделала наилучшим образом и теперь он точно убедился, что она-то ему и надобна.

В: Что же тем временем поделявал Дик?

О: Я как раз про него и хотел сказать. Дик дожидался, где ему было велено. Его Милость приблизился и его точно так же обнял. Да не безучастно, как хозяин слугу, а от души, как ровню.

В: Знаками не обменялись?

О: Про это она не сказывала, сэр. Потом она с Диком отправилась назад, а Его Милость задержался в капище, и когда он воротился, ей неведомо.

Прокрались они на постоянный двор, а Дик нет чтобы к себе в комнату – норовит опять к ней в постель. Только на этот раз она его не пустила, а он не двинул напролом, как тогда в Бейзингстоке, но тотчас отстал. Смекнул, верно, что она так умаялась и извелась, что ей не до него. Вот и вся история, сэр, от слова до слова.

В: Не нашла ли она еще каких объяснений этому приключению? Не было ли с вашей стороны других вопросов?

О: Она уверилась, что Его Милость имеет в предмете какое-то черное дело, и с ужасом гадала, что же ее ждет впереди. И страхи ее сбылись – как раз в тот день, когда она мне все это рассказывала.

В: Об этом потом. Не приключилось ли других происшествий до вашего прибытия в «Черный олень»? Она об этом ничего не говорила?

О: Нет, сэр, ничего такого. А в «Черном олене» накануне того злосчастного дня впрямь приключилась история. Его Милость, как и прежде, призвал ее к себе в покой и опять пошел чудить. Сперва разбранил за дерзкие поступки: ему вообразилось, что она забрала слишком много воли, а у нее и в мыслях ничего похожего не было. Потом стал попрекать ее распутством, стращать адскими муками и Бог весть чем еще. Да в таких

выражениях, точно он не высокородный джентльмен, а какой-нибудь анабаптист <секта эпохи Реформации; отвергали многие церковные обычаи и обряды, требовали правового равенства и социальной справедливости для всех; некоторые идеи анабаптизма были впоследствии восприняты квакерами> или велеречивый квакер, каких она смолоду навидалась. И ведь за что карами-то грозит: за то, что она его же приказ исполняет. Уже после она на него дивилась: не иначе о двух умах человек. А как вернулась она в свою комнату да легла в кровать, так и всплакнула. Кому же приятно терпеть обиды ни за что ни про что. Я говорю: «Что же он в капище-то тебя нахваливал?» А она:

«У вельмож всегда так. Флюгарки, а не люди, и прихоти их переменчивы, как ветер, – их и крутит из стороны в сторону».

В: И часто она высказывала подобные мысли? Часто ли неуважительно отзывалась о высоких особах?

О: Увы, сэр, не без того. Я в свое время расскажу.

В: Да уж, придется рассказать. А теперь вот что. Девушка, стало быть, догадалась, что делается какое-то скверное и ужасное дело, не так ли?

Догадалась еще у капища – а ведь с тех пор минуло уже три дня. Что бы ей тогда же не учинить бегство, не кинуться за советом и защитой к мистеру Лейси или не взять иные меры? Отчего она, как невинный агнец, влекомый на заклание, следовала за вами еще три дня?

О: Так ведь она, ваша честь, полагала, что я и мистер Лейси заодно с Его Милостью – какой же ей был резон к нам обращаться? А что До бегства, то при ночлеге в Уинкентоне и в Тонтоне она-таки подумывала бежать куда глаза глядят, но духу не хватило: одна на всем белом свете – кому она нужна, кто оборонит от напасти?

В: И вы поверили?

О: Что она со страху ум растеряла? Да, сэр, поверил. Известно, один в поле не воин. Тем паче когда это слабая женщина.

В: В разговоре, случившемся в тот вечер в «Черном олене», Его Милость никак не предупредил ее касательно завтрашнего?

О: Нет, сэр. Когда они тронулись в путь, она удивилась, что я исчез, и спросила мистера Лейси, но тот только сказал, что я ускакал вперед.

Доехали до виселицы, а там – новая нечаянность, еще удивительнее: оказывается, мистер Лейси должен с ними расстаться. И ей придется продолжать путь со своими мучителями. Было отчего встревожиться. Двинулись дальше, Его Милость едет впереди и молчит. Только у брода близ разлога, где я их нагнал, она отважилась наконец заговорить, спросила. И Его Милость отвечал, что они почти достигли источника и что

ей также надлежит испить эти воды.

В: Воды, про какие он рассказывал в Лондоне? Те, что почитаются целебными при его недуге?

О: Они, сэр.

В: А пока ехали до Девоншира, о водах разговора не было? Мистер Лейси о них не поминал?

О: Нет, сэр, ни единым словом.

В: А на постоялом дворе?

О: И там тоже. Да что воды – не было никаких вод. Все это попросту недобрая шутка Его Милости. Вот вы сами увидите.

В: Продолжайте.

О: Стало быть, так, сэр. Дальше она выпрашивать не осмелилась. Его Милость с Диком, по всему видать, в намерениях своих были согласны, а на нее смотрели все одно как на скарб, который везли с собой. Остановились они у разлога, где я их и застал, когда они были вдвоем, без Дика. Но прежде чем я на них набрел, Его Милость велел Дику отвязать и спустить на землю один ящик. А в нем поверх прочих вещей лежало платье для майского праздника, новая исподница и юбка и новые нарядные чулки. До той минуты Ребекка об этих предметах знать не знала. Потом Его Милость приказал ей скинуть платье и нарядиться в одежду из ящика. Но хотя это новое безумство умножило ее страх, она все же спросила, для чего это нужно. А он отвечал – чтобы понравиться хранителям вод. Она нашла эти слова непонятными, но, хочешь не хочешь, пришлось повиноваться.

В: Как он сказал? Хранители?

О: Да, сэр. Дальше вам станет ясно, что он разумел. А вслед за тем, как я вам и сказывал, стали они подниматься по склону. Раз-другой она спрашивала Его Милость, что это он умышляет – ведь такого уговора между ними не было. Но он велел ей помалкивать. Наконец добрались они туда, где я нашел их стоящими на коленях.

В: Перед женщиной в серебристом платье?

О: Перед ней, сэр. Ребекка сказывала, она появилась в полусотне шагов от них. Вынырнула ниоткуда, точно ее наколдовали. Повстречать в глухом углу этакую нежить, этакую зловредную бесовку, ох, не к добру. Что появилась она не по-людски – это еще полбеда, но вот наружность... А Его Милость, едва ее увидал, в тот же миг преклонил колена и обнажил голову, а за ним и Дик. Ну и Ребекка тоже – что ей оставалось? И стоят они перед ней, будто перед вельможной дамой или самой королевой. Да только не похожа она была на владычицу земную. Лицо грозное, свирепое – за ничтожное послушание со свету сживет. Стоит и буравит их взглядом.

Черные волосы разметаны, глаза – еще чернее волос. Было бы чем полюбоваться, когда бы не веяло от нее злобой и бесовством. Стояла, стояла да вдруг и улыбнулась.

Только Ребекка говорит, улыбка вышла в тысячу раз ужаснее взгляда. Так, верно, улыбается паук, когда к нему в тенета угодит муха и он, пуская слюнки, подбирается к лакомству.

В: В каких она была летах?

О: Молодая, сэр, не старше Ребекки. А во всем прочем нисколько с ней не схожа. Это Ребекка так говорит.

В: Женщина что-нибудь произнесла?

О: Нет, сэр, стояла в молчании. Хотя можно было догадаться, что она их ожидала. Да и Его Милость с Диком как заметили эту кромешницу, так даже не вздрогнули. Видать, она была им знакома.

В: А что серебряное одеяние?

О: Ребекка сказывала, женщины из простых такого не носят. В Лондоне она ни в маскараде, ни в пантомиме, ни в иных увеселениях подобного не встречала. Вычурное, ни на что не похоже – если бы не все эти страсти Господни, она бы уж точно прошла насчет такого дурацкого покроя.

В: Как же закончилось это свидание?

О: Как и началось, сэр. Вдруг в один миг она исчезла. Как сквозь землю провалилась.

В: А у девицы, что же, язык отнялся? Не любопытствовала она у Его Милости, что это за зловещее видение?

О: Как же, сэр, конечно любопытствовала. Я просто забыл сказать. И Его Милость ответил: «Это одна из тех, кого ты должна удовлетворить». А на прочие вопросы отвечал лишь, что скоро она все узнает.

В: Как Его Милость увещевал ее, когда она не пожелала идти в пещеру?

Вы, помнится, сказывали, что они между собой говорили.

О: Снова пошли попреки: она-де и упрямица, и строптивица, и не станет-де он оказывать потачливость покупной шлюхе. А у самой пещеры, когда она не выдержала и повалилась ему в ноги, он, выхватив шпагу, вскричал: "Будь ты проклята! Там внутри – предмет исканий всей моей жизни.

Посмей мне воспрепятствовать – и тебе конец!" А рука-то дрожит, точно он обезумел или трясется в лихорадке. Видит Ребекка – лучше уступить, а то и правда заколет.

В: Не дал ли он какого намека, отчего для исполнения его замысла непременно понадобилось ее соучастие?

О: Ни малейшего, сэр. Уж это потом разъяснилось. Сказать ли, что она обнаружила в пещере?

В: Говори. Все рассказывай.

О: Сперва она ничего не различала, потому что в пещере было темно, хоть глаз выколи. Но Дик тащил ее все дальше и дальше, и скоро она заметила, что стена в глубине освещается как бы пламенем костра. И точно: пахло гарью. Дошли они до поворота – проход, извольте видеть, чуть изгибался навроде собачьей лапы, и за поворотом пещера делалась просторнее...

В: Что же вы запнулись?

О: Боюсь, сэр, вы мне веры не дадите.

В: Плетей тебе дадут, если не перестанешь крутить. Так отдерут, как в жизни не дирали.

О: Как бы меня за правдивые слова тем же самым не отпотчевали. Что ж, делать нечего. Только уж вы, ваша честь, не забудьте: я всего-навсего передаю чужой рассказ. Очутились они, стало быть, в просторной пещере, и в пещере той горел костер, а возле него трое: две богомерзкого вида карги и женщина помоложе. Смотрят на гостей с великой свирепостью, но видно, что ожидали. Ребекка вмиг поняла: ведьмы. Одна, молодая – та, что встретила их у пещеры, но теперь она была вся в черном и держала кузнечный мех. Другая сидела, имея по одну руку черную кошку, по другую – ворона, оба от нее ни на шаг. Третья же сучила нить на колесной прялке. А позади них, сэр, стоял некто в черной епанче и маске: палач палачом. Из-под маски виднелся только рот да подбородок, и подбородок заметно, что черный, а губы толстые, арапские. И хоть прежде он ей только на единый миг и показался, Ребекка тотчас его узнала. А как узнала, так и поняла, какое страшное бедствие с ней содеялось. Потому что это, сэр, был не кто иной, как Сатана – Возлевол, как его чернь называет. Вот как я вас вижу – так же ясно и она его видела. Вскрикнула она с перепуга, и этот самый крик я и услышал.

Хотела бежать – не тут-то было: Дик и Его Милость вцепились и тащат к костру. Там они остановились, и Его Милость заговорил на языке, которого она не разумела, но заметила, что держится он с величайшим почтением, словно предстоит перед наизнатнейшим лордом или самим государем. Сатана же ничего не отвечает и все на нее смотрит: глазищи в прорезях маски будто рдяное пламя. И снова она порывалась бежать, но Дик и Его Милость хоть и стояли как замороженные, однако ж из рук ее не

выпускали. Она и начини вполголоса творить молитву Господню, но так и не договорила, потому что молодая ведьма без единого слова устала на нее палец, как бы уличала: знаю, мол, что ты там бормочешь. Подскочили к ней старухи и давай ее теребить да щипать, точно кухарки курицу. Уж она и плакала, и пощады просила, а те, кто ее держал, стоят истуканами и бровью не ведут. А хрычовки знай себе лапами хватают, да так безжалостно, словно не простые ведьмы, а из племени дикарей-конебалов. Смерд от них препротивнейший, как от козлиц. И чем громче она рыдала, тем пуще они теребили ее и гоготали. А тем временем Сатана, желая лучше видеть их забавы, подобрался поближе.

В: Пойдите-ка, Джонс. Поразмыслите и ответьте мне вот на что. За верное ли она знала, что перед ней предстал сам Сатана? Не был ли то человек, вздумавший для какой-либо причины принять на себя вид того? Не была ли ей явлена обманная личина?

О: Этот самый вопрос, сэр, я ей делал не единожды. Но она стояла на своем. «Никаких, – говорит, – сомнений: сам Сатана во плоти. И это так же верно, как и то, что мы едем на коне, а не на другой какой скотине».

Именно так и выразилась.

В: Добро. Только вот что я вам скажу, Джонс. По мне, этот вздор не заслуживает никакого вероятия. Потаскуха лгала вам в глаза.

О: Может и так, сэр. Я и сам не разберу, где тут правда, где ложь. Одно несомненно: без чудес не обошлось. Ее как подменили – куда только девалась прежняя Ребекка.

В: Продолжайте.

О: А дальше, сэр... Срам да и только. Но придется рассказать. Словом, ее повергли наземь, а старые ведьмы приступили к своему повелителю и принялись услужать ему за камеристок, и скоро он стоял во всей своей наготе, явив напоказ демонскую свою похоть: вот-вот бросится. А она все стенала и плакала, ей уже воображалось, что настал для нее Судный День, что это кара за былое распутство у мамыши Клейборн. Он же воздвигся над ней, черный, как Хам <по древним представлениям, один из трех сыновей Ноя;

Хам (его имя переводится как «жаркий») стал прародителем черной расы>, и уже располагался исполнить то, к чему имел хотение. Дальше она ничего не помнила, потому как лишилась чувств и неведомо сколько времени пребывала без памяти. А придя в себя, обнаружила, что лежит у стены пещеры, куда ее, должно быть, перенесли на руках или оттащили. Притом срамные части ее терзала великая боль: знать, беспамятство не спасло ее от жестокого поругания. Она чуть приоткрыла глаза и увидела

такое, что усомнилась, не грезится ли ей: молодая ведьма и Его Милость стояли перед Дьяволом, ровно жених с невестой, только голые, а он не то совершал обряд венчания, не то кощу иски его передразнивал: благословлял с глумливой ужимкой, подставлял для поцелуя свое седалище. А как сладили бесовское венчание по своему поганому чину, так тут же довершили дело телесным соединением. Повалились все до единого вокруг костра и предались непотребству, какое, как сказывают, обыкновенно творят ведьмы на своих шабашах.

В: Как, и Его Милость с ними?

О: Да, сэр. И Дьявол, и его челядь, и Дик, и хозяин – все, сэр. А Его Милость – уж вы не прогневайтесь – от недуга оправился и такую оказал в блудных занятиях сноровку – Дьяволу не уступит. Это Ребекка так говорила.

Что, дескать, встречала она у мамыши Клейборн мастаков по этой части, но куда им до него. Да что люди – даже ворон взобрался на кошку и тоже покрыть норовит.

В: Прежде чем спрашивать дальше, должен предупредить. О том, что здесь рассказывалось, больше никому ни слова. Узнаю, что ты проболтался – тут тебе и конец. Понял ли?

О: Понял, сэр. Честное слово, никому не скажу.

В: То-то же. Иначе, видит Бог, не сносить тебе головы. И вот тебе вопрос. Среди этих блудодейств не поминала ли она особо такого рода занятия, коему Его Милость предавался бы со своим слугой?

О: Она, сэр, в подробности не входила. Сказала лишь, что играли бесовскую свадьбу – и все.

В: Но об этом гнусном занятии не обмолвилась ни разу?

О: Нет, сэр.

В: А в пути не случилось ли вам при тех ли, иных ли обстоятельствах заметить какие-либо указания на такую противоестественную связь между Его Милостью и Диком?

О: Нет, сэр. Жизнью клянусь.

В: Точно ли?

О: Точно, сэр.

В: Хорошо. Рассказывайте, что было еще.

О: Среди этих мерзостных игрищ одна ведьма приблизилась к Ребекке и потрясла ее за плечо, словно хотела проверить, опаматовалась она или еще нет. Ребекка же и виду не подавала, что пришла в память. Тогда ведьма сходила за каким-то зельем и влила ей в рот. На вкус – горькое, тошнотное, прямо алоэ или поганки. Действовало оно усыпительно, и скоро Ребекку

сморил сон. Но не думайте, ваша честь, ей и во сне не было покоя, потому что было ей сонное видение, и такое отчетливое, что легко можно почесть за явь. Видела она, что ступает по длинному-предлинному проходу – вот как коридоры в жилищах вельмож, – а по стенам, сколько хватит глаз, развешаны большие тканые шпалеры. А рядом с нею следует Дьявол, одетый во все черное. И хотя он безмолвствует, однако обхождение ей оказывает самое учтивое, будто джентльмен, который знакомит даму со своим домом и всем, что до него относится. Пригляделась она – а Дьявол-то с тем, из пещеры, вовсе и не схож, лицо больше как у Его Милости, только смуглое. И она как-то догадалась, что это они соединились в одном обликий. Вот какие чудеса.

В: Девица с ним не разговаривала?

О: Нет, сэр. Она сказывала, это единственное, что было не как наяву.

Идут они по проходу, а он все трогает ее за руку и то на одну шпалеру укажет, то на другую – будто это карандашом или кистью нарисованные картины знаменитых художников. Да, вот еще что. Свет по проходу разливался жидкий, кое-где совсем сумеречно, ничего не разглядеть. И свет какой-то дьявольский – не поймешь, откуда идет. Вокруг ни тебе окна, ни светильника, ни факела, ни даже малой свечечки. А еще в полумраке она заметила, что шпалеры не висят недвижимо, но колышутся – то вздуваются, то опадают, точно за ними гуляет ветерок или сквозняки. А она никакого ветра на себе не чувствовала.

В: Что же они изображали, эти шпалеры?

О: Ужаснейшие злодеяния и жестокости, какие только претерпевает человек от себе подобных. Вживе она бы такого зрелища не вынесла, а тогда, хочешь не хочешь, пришлось рассматривать: стоило Сатане лишь указать на шпалеру, как взгляд Ребекки сам собой на нее обращался. И вот ведь что ужаснее всех ужасов: шпалеры тканые, а люди и предметы на них не стоят на месте, а двигаются как живые, только что без звука. И все-то на шпалерах как настоящее, а стежков да нитей не различить: все картины разыгрываются прямо у нее перед глазами, как на театре, а она как бы стоит близ самых подмостков. Так вот по дьяволову повелению пришлось ей все до единой картины пересмотреть. И рада бы зажмуриться от такой бесчеловечной жестокости, да веки точно как отнялись. Вообразите, сэр: на какую картину ни взглянет – всюду смерть. И на каждой представлен Дьявол – где сам действует, где всему делу главный зачинщик, а где стоит в сторонке и со злорадством ухмыляется: не я, мол, тружусь – на меня трудятся, полюбуйте, какие у меня на этом свете славные пособнички! А если она силилась рассмотреть, что там делается в отдалении, то эта часть

картины вдруг сразу приближалась. К примеру сказать, смотрит она как бы с возвышенного места, как солдаты разоряют город – и тут же видит, как в десяти шагах от нее закалывают невинных младенчиков или на глазах у них насилуют родную мать. А то заглянет через окошко в камеру пыток – и вот уже прямо перед ней перекошенное болью лицо жертвы. Истинно так, сэр. Уж вы поверьте.

В: Чем же это видение закончилось?

О: И тогда возжаждала она великой жаждой – это, сэр, ее слова: она разумела жажду духовную, – и обратились ее помыслы к Искупителю нашему Иисусу Христу. Стала она выискивать, не мелькнет ли где в картинах что-либо Его знаменующее, крест или распятие, но ничего похожего не нашла.

А тем временем они, похоже, дошли до конца дьявольской галереи, и впереди Ребекка увидела стену, преграждавшую им путь, а на ней шпалеру, и от шпалеры той шло яркое сияние, но что она изображала, не разобрать. И в душе у нее шевельнулась надежда, что там-то и узрит она Христа – как дай Бог всякому по skonчании земных трудов. Кинулась она вперед, а ее удерживают: изволь и дальше картины разглядывать. А ей уже не вмоготу.

Наконец не утерпела она и, подобравши юбки, бросилась туда, где уповала утолить жажду. Как же она обманулась, сэр! На шпалере она увидела не лик Христов, а нищенку, босоногую оборванную девчушку, которая заливалась слезами, как и сама Ребекка, и тянула к ней ручонки, точно дитя к матери.

А позади нее, куда ни глянь, – огонь: огонь неугасимый, а над ним чернеет вечная ночь. И от этого-то огня разливается яркий свет. Видеть его она видела, но жара не чувствовала. Зато маленькую нищенку пламя, должно быть, обжигало – сильно обжигало, и у Ребекки сердце разрывалось от жалости и сострадания. Хотела дотянуться – не тут-то было: уже, казалось, вот-вот прикоснется, но между ними точно стоит незримое стекло. Да, вот еще не забыть бы, сэр. Когда она тщиалась дотянуться и спасти девчушку, ей все чудилось, что это ее давняя знакомица – что некогда они пребывали с ней в любви и дружестве, точно сестры. После же, поразмыслив, она уверилась, что девчушка никто как она сама до приезда в Лондон. А что не вдруг себя узнала, так то из-за одежды, что была на нищенке (Ребекка, сэр, хоть в те дни и бедствовала, но все-таки нищенством не промышляла).

В: Переходите к завершению.

О: Мне, сэр, совсем немного осталось. Но сейчас вы опять скажете, что я употребляю ваше доверие во зло.

В: Употребляйте во что хотите. Вы уж и без того каким только вздором меня не доезжали.

О: Так вот, подступило пламя к девушке, и запылало ее тело. И не как обыкновенно горит плоть, а больше как воск или жир, когда понесут к огню.

Вообразите, сэр: сперва черты ее оплывали, расплав капал и растекался лужицей, и вот эту лужицу и пожрало пламя, ничего не осталось, кроме черного дыма. Быстро все совершилось, описывать – и то дольше. Ребекка сказывала – как видение перед взором спящего. И взяло ее великое смятение и ярость, потому что во всей галерее не усмотрела она ничего более жестокого и несправедливого, чем огненная смерть нищенки. Оборотилась она тогда к Сатане – думала, он стоит позади. Поправить тут уж ничего не поправишь, так пусть хоть видит ее негодование... На этом месте она рассказ прервала. «Что же, – говорю, – ты оборотилась, а его нет?» – «А его нет», – говорит. Помолчала и прибавила: «Не смейся надо мной». – «Какой тут смех», – говорю. Тогда она продолжила: «И вижу я позади уже не галерею, а иное место, некогда хорошо мне знакомое: стою я будто бы в Бристольском порту. И родители мои тут же. Смотрят на меня печальными глазами, как бы говоря: „Знаем, знаем, кто была та нищенка, сгинувшая в гееннском пламени“. А с ними стоит еще один человек, по переднику судя – плотник, как и мой отец, только что годами помоложе да лицом поболагообразнее. Увидала я его, и потекли у меня слезы. Ведь и он в юные годы был мне коротко знаком. Понимаешь ли, о ком я?» – «Никак сам Господь?» – спрашиваю. «Он, – говорит. – Нужды нет, что явился в недобром сне, что уст не разомкнул. Все равно это был Он, тысячу раз Он: Господь наш Иисус Христос». Я, сэр, не нашелся, что сказать. «И как же, – спрашиваю, – Он на тебя глядел?» – «Так же, – говорит, – как я на маленькую нищенку. Только холодное как лед стекло нас не разделяло, и я, Фартинг, поняла, что путь к спасению для меня не закрыт». Вот такая история, сэр. Вся как есть, только что рассказана другим голосом да при других обстоятельствах.

В: Ишь чем выдумала подмалевать свои небылицы! Возвысилась до святости через то, что спозналась и сблудила с самим Люцифером? Да как вы за такие речи не спихнули ее с седла в ближайшую канаву? Повесить мало того, кто поверит хоть единому слову. Или самого в воск перетопить.

О: Да я, сэр, не стал ей прекословить из хитрости. Расчета не было.

В: Переходите к пробуждению.

О: Слушаюсь, сэр. Она в сонном своем видении совсем уж было бросилась к ногам Господа и родителей, но прежде чем успела это

исполнить, сон рассеялся, и она вновь увидела себя в пещере. Вокруг ни души. У нее от сердца отлегло. А была она по-прежнему нагая и совсем закоченела, потому что от костра остались лишь тлеющие уголья. И она, не найдя никого, покинула пещеру, как я вам и докладывал.

В: Куда же, по ее мнению, сгинули остальные? На помеле, что ли, умчались?

О: Вот и я про то же спрашивал, сэр. Ведь на моих глазах никто из них, кроме Дика, из пещеры не выходил. Но ей было известно не больше моего.

В: Не заметила ли она в пещере какого-либо хода, ведущего еще глубже?

О: Своими глазами не видела, но рассудила, что такой ход имелся. Или же они оборотились какими-то зверушками, а я оставил их без внимания по причине их обыкновенности. Вот как те вороны, о которых я рассказывал.

В: И чтобы я этому поверил! Сказки для старых баб.

О: Справедливо рассуждать изволите, сэр. Тогда остается одно: что в пещере впрямь имелись укромные ходы. И может статься, что по ним можно пройти гору насквозь и выбраться с другой стороны.

В: Располагал ли вид местности к таким предположениям?

О: Уж и не знаю, сэр. Я, изволите видеть, с другой стороны утес не осматривал.

В: А этот дым, который вы наблюдали, – разве он выходил не через отверстие наверху?

О: Что верно, то верно, сэр. Но чтобы из такого отверстия вылезло пять человек, а я не заметил – куда как сомнительно.

В: Вы еще поминали гул – не дознались вы, от чего он происходил?

О: Дознался, сэр. Ребекка сказывала, его производило большое колесо прялки, за которой сидела одна карга. И колесо это от малейшего ее касания вертелось так быстро, что нельзя было глазу уследить.

В: Ой ли! В подземной норе, за две-три сотни шагов от вас – и такой гул? Что-то не больно верится.

О: Ваша правда, сэр.

В: Точно ли она имела в предмете уверить вас, что Сатана ей овладел?

Было ли заметно, что езда верхом причиняет ей боль?

О: Нет, сэр.

В: Не выказывала она ужаса или омерзения при мысли, что носит во чреве его семя? Я разумею, не при том разговоре, но впоследствии. Заговаривала ли она еще об этом обстоятельстве?

О: Нет, сэр. Только ежеминутно благодарила небеса за избавление и повторяла, что вновь обрела Христа. Свет, как она выражалась.

В: Не сказывала она, отчего Дик бежал прочь как бы в великом страхе?

О: Нет, сэр. Она лишь предположила, что, пока она лежала одурманенная, приключилось такое, что бедняга совсем с ума спрыгнул.

В: А что за червя она поминала, когда вы ее нагнали?

О: Червь со шпалеры в дьяволовой галерее, сэр. Шпалера изображала лежащую без погребения мертвую красавицу юных лет, которую гложет сонмище червей. Один же из них был огромности необычайной, что и природа таких не знает. Он-то и не выходил у Ребекки из памяти.

В: Если все было так, как она рассказывала, то не странно ли, что ее так просто отпустили, не боясь, что она разгласит о случившемся? Что Сатана способен самолично явиться за своим достоянием – ну, в это мы входить не будем, но что, явившись, он свое достояние не прибрал – этого я постичь не могу. Отчего не бросили ее бездыханной, отчего не испарилась она вместе с прочими?

О: Мы с ней, сэр, и об этом толковали. Она была того мнения, что ее спасла молитва: лежа в пещере, она молила Господа отпустить ей прегрешения и от всего сердца обещала, если Он вызволит ее из этой лютой беды, никогда больше не грешить. Тогда она не получила никакого знамения, что ее молитва услышана, однако почла за такое знамение то, что увидела во сне. А как проснулась и обнаружила, что избавлена от всех своих гонителей, так уверилась в том еще крепче. А там явились и новые следы Божественного присутствия, «света», как она его называла: и что меня повстречала – своего, как она выразилась, «доброго самаритянина», – и что мы благополучно выбрались из опасного места, и что она смогла возблагодарить Господа и торжественно повторить свой обет. Повторить так, как я вам докладывал: по образу своей веры, с телесным трясением и слезными стенаниями.

В: Поразмыслите-ка вот о чем, Джонс. Вот она против всякого своего чаяния и хотения натывается на вас. Следовать с вами к родителю Его Милости ей не с руки. Девушка неглупа, мужскую братию успела узнать до тонкости, вас со всеми вашими слабостями тем паче; она представляет, какого рода история скорее всего придется вам по нутру. И она потчует вас своей стряпней, приправленной суевериями и притворным обращением, разыгрывает раскаявшуюся блудницу, которая прибегает к вашей защите. Мало того – предупреждает, что к делу прикосновенны столь мерзостные и ужасные силы, что, случись вам предать происшествие огласке, вы прослывете богопротивным лжецом. Что вы об этом думаете?

О: Правду сказать, сэр, были у меня такие мысли. И все же, прошу покорно не прогневаться, но покуда я не убедился, что она обманывает, я ей

верю. Вон в народе говорят: «Рыбак рыбака видит издалека». А как сам я, прости Господи, натуральный лжец, то всякого лжеца узнаю с первого взгляда. Так вот, в ее рассказании я никакого притворства не заметил.

В: Очень может быть. Как и в ее рассказах о приключении в пещере – при всей их вздорности. Ничего: сыщут девицу – я до истины доберусь. А теперь расскажите о дальнейшем ходе событий. Вы отправились напрямиком в Бидефорд?

О: Нет, сэр. В первой деревне, какая встретилась нам на пути, все уже спало, только собаки разлаялись да какой-то малый на нас накричал. Ну, мы и пустились прочь, а то привяжутся приставы или дозорные – беда. В Бидефорд ночью въехать тоже не отважились: городские ночные сторожа еще хуже. Решили заночевать на дороге, а как рассветет, явиться в город уже без опаски.

В: Расположились под открытым небом?

О: Да, сэр. На берегу реки.

В: Вы больше не склоняли ее ехать к Его Сиятельству?

О: Склонял, сэр. Но когда я кончил речь, она отвечала: «Ты же видишь, что это невозможно». – «Отчего, – говорю, – невозможно? Я не я, если нам не перепадет изрядное награждение». И тут, сэр, она наговорила такого, что я только рот разинул. Что она, мол, знает мое сердце, что оно настроено совсем на иной лад. Что если для меня в жизни нету ничего милее золота – а ей известно, что это не так, – то у нее в юбке зашито не меньше двадцати гиней, так что пусть лучше я ее убью на этом самом месте – и деньги мои.

Я, сэр, возразил, что она неверно меня поняла: я хлопочу единственно о том, чтобы исполнить долг перед батюшкой Его Милости. А она: «Нет, о золоте». – "Вот, – говорю, – ты уж меня и лжецом в глаза называешь.

Отблагодарила за помощь, нечего сказать". А она мне: «Ты, Фартинг, без сомнения, беден, и бороться с таким соблазном тебе не под силу. И все же ты чувствуешь, что хочешь поступить дурно. Сколько бы ты ни спорил, но свет озарил и тебя, и свет этот сулит тебе спасение». – «Тебе бы сперва озаботиться собственным спасением, – говорю. – Как у людей-то водится».

Она на это: «Прежде и я держалась этого правила. Поверь мне: это гибельный путь». Тут мы оба примолкли. Я не мог довольно надивиться, до чего же она уверена, что все обо мне понимает. И говорит-то как: словно бы голосом моей совести. Размышляю я этак, а она и спрашивает: «Ну что, хочешь ли меня убить и забрать золото? Нет ничего проще. Опять же, и тело в таком безлюдном месте спрятать легко». А лежали мы, сэр, на берегу, и вокруг на целую милю ни одного жилья. Я и отвечаю: «Эх, Ребекка, тебе ли не знать, что у меня рука не поднимется? А только не есть

ли это наш христианский долг – уведомить отца, что случилось с его сыном?» – «Что есть истинно христианский поступок: известить отца, что его сын отправился в геенну огненную или умолчать? И вот тебе мое слово: известие это тебе придется доставить в одиночку, потому что я с тобой не поеду. И тебе не советую, а то как бы вместо награды не нажить беды. И что толку? Тут уж все равно ничем не поможешь. Его Милость осужден, а они, чего доброго, вообразят, что дело не обошлось без твоего участия». И она прибавила, что если я в самом деле не имею к тому других причин кроме безденежья, то она охотно уступит мне половину своих сбережений. Тогда, сэр, мы опять заспорили, и я сказал, что подумаю. «Только вот что неладно, – говорю. – Положим, не поехал я к Его Сиятельству, а меня в один прекрасный день хватить – и к допросу. Ну, открою я всю правду – а доказательства? Какая цена моим словам, если их некому подтвердить? Ох, и солоно мне придется! Тогда вся надежда только на тебя». Она на это напомнила мне имя своего отца и вновь указала, где он жительствоует, и дала слово, что, случись такая нужда, она мой рассказ подтвердит. Тут мы опять умолкли и постарались уснуть. Вы, ваша честь, поди недовольны, что я не поставил на своем. Но уж больно я тогда умаялся. День-то какой выдался: одни неожиданности. Уж я не знал, не во сне ли мне все это привиделось.

В: Что было утром?

О: Утром мы без приключений добрались до Бидефорда, отыскиали на окраине порта гостиницу помалолюднее, там и поселились. Первым делом спросили завтракать – а то вон сколько времени во рту маковой росинки не было.

Подали нам кусок пирога. Пирог, правду сказать, оказался черствый, да только мне с голоду показалось, что я в жизни ничего вкуснее не едал. Там же в трактире нам сообщили, что на другое утро с приливом из порта уходит судно в Бристоль. После завтрака мы пошли в порт и сами удостоверились. Я было хотел сговориться с капитаном, чтобы он взял нас обоих, но Ребекка заупрямилась. И снова пошли у нас споры да раздоры: я твержу, что никуда ее от себя не пущу, а она объявляет, что нам надо расстаться. Мы еще кое о чем поспорили, но, чтобы вас не утомлять, в побочности входить не буду.

Одним словом, пришлось мне уступить. И вот как мы с ней порешили: я отправляюсь в Суонси, а она в Бристоль; о том, что знаем, станем помалкивать, но коль скоро одному из нас понадобится заступничество, то другой не замедлит прийти на выручку. Я справился в порту и узнал, что через два дня смогу отплыть в Суонси, как я уже сказывал, на судне

мистера Перри. Срядились мы с обоими капитанами – и обратно в гостиницу.

В: Не спрашивали вас, за какой нуждой вы сюда пожаловали?

О: Спрашивали, сэр. Пришлось соврать, что мы, мол, слуги, оставшиеся без места. Прежде, мол, состояли в услужении у одной вдовы из Плимута, а как хозяйка померла, то мы теперь возвращаемся домой. А коня я оставил в гостинице и за содержание заплатил на месяц вперед, пока не заберут – чтобы не подумали, будто мы его увели. И не упустил послать в Барнстапл, в «Корону», записку с указанием, где его искать. В точности как я отписал мистеру Лейси. Можете проверить, ваша честь. А записку мальчонка доставил, я ему еще два пенса дал за труды.

В: Как название гостиницы?

О: «Барбадос», сэр.

В: А деньги, которые она тебе обещала?

О: Отдала честь по чести, сэр. После обеда увела меня в маленький покойчик и отсчитала десять гиней. Правда, предупредила, что добра от этих денег не будет: блудом нажиты. А я все равно взял, в кармане-то ни гроша.

В: Взяли и за какой-нибудь месяц все спустили?

О: На себя-то я самую малость издержал, сэр. А большую часть отдал брату: очень он нуждался. Можете справиться.

В: Вы видели, как она всходила на корабль?

О: А как же, сэр. На другое же утро. И как поднялась на корабль, и как его завожом <тянуть судно завожом (верпом) – способ передвижения судна: закидывая вперед завозный (верповый) якорь и подтягивая судно к нему> потянули прочь из порта, и как он вышел в море.

В: Как называлось судно?

О: «Элизабет-Энн», сэр. Бриг. А капитана звать не то Темпльмен, не то Темпльтон – точно не запомнил.

В: Верно ли вы знаете, что до отплытия девица на берег не сходила?

О: Верно, сэр. Когда судно отчалило, я глядел с набережной, а она стояла у поручней и махала мне рукой.

В: Не сказала ли она на прощанье чего-либо достопамятного?

О: Просила ей верить, сэр. А если нам не судьба больше встретиться, то постараться зажить праведной жизнью.

В: Не случилось ли вам повстречать в Бидефорде Его Милость?

О: Нет, сэр. А уж высматривал так, что будьте покойны. И Дика тоже.

В: Сами вы отплыли в Суонси на другой день?

О: Точно так, сэр. По полной воде, а потом с отливом.

В: Невзирая на страх перед морем и каперщиками?

О: Что ж, сэр, это ведь правда, про страх-то. Я соленую воду на дух не переносу. Но что было делать? Остаться и дальше в тех краях – по мне так лучше сидеть, скрючившись в три погибели в тесном карцере.

В: Вот куда бы я тебя определил со всем моим удовольствием! И должен тебе заметить, первое твое намерение – известить родных Его Милости – было не в пример удачнее. А ну-ка расскажи, как потаскуха исхитрилась тебя отговорить.

О: Вы небось думаете, сэр, она меня обвела вокруг пальца. Как знать, может, дальше выйдет, что вы правы. Только ведь я, изволите видеть, уже докладывал: девица после этой оказии сделалась совсем на себя не похожа, точно подменили. Я за одну минуту увидел от нее столько дружелюбия, сколько прежде за целый день не видывал.

В: В чем же это дружелюбие состояло?

О: Мы с ней по пути в Бидефорд много беседовали. И не только о нашем нынешнем положении.

В: О чем еще?

О: Ну, про ее прошлые окаянства, и как она обрела свет, и что с блудным ремеслом покончено навсегда. И как Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы вывести таких, как мы с ней, из тьмы. Про мое житейское бытие много расспрашивала: что я есть за человек, чем занимался раньше – как будто мы с ней сию лишь минуту свели знакомство. Так я ей кое-что про себя рассказал.

В: Открыли вы свое подлинное имя?

О: Да, сэр. Про мать рассказывал, про свое семейство, и что я все-таки их не забыл. Она-то и укрепила меня в мысли их навестить, как я вам и рассказывал.

В: И тем самым нашла средство от вас отвязаться?

О: Мне казалось, сэр, она ко мне со всей душой.

В: Вы рассказывали, она дурно отзывалась о людях господского звания.

О: Было дело, ваша честь. И про то, сколько на свете несправедливости, и чего ей довелось повидать у мамыши Клейборн.

В: Что же именно?

О: Я, сэр, признался ей в некоторых, прошу прощения, прошлых грешках, и она отвечала, что джентльмены, которые хаживали к ним в бордель, ничуть не лучше нас, а, напротив того, хуже, потому что мы принуждены встать на путь порока единственно для снискания хлеба насущного, они же выбирают этот путь по своей воле, имея все средства соблюдать себя в чистоте. Богатство растлевает души, оно сходственно с

глазной повязкой, из-за которой совесть человека пребывает в слепоте, и, покуда не упадет эта повязка с глаз, дотоле этот мир будет нести на себе проклятье.

В: Коротко говоря, в ее речах звучала крамола?

О: Она, ваша честь, сказывала, что, покуда вельможи, поработившие себя греху, избавлены от наказания, нет у этого света и малой надежды на спасение. И что нам, людям простого звания, надлежит больше думать о душе и не потворствовать господским окаянствам.

В: И вы не рассмеялись, слыша подобные рацеи из ее уст?

О: Нет, сэр. Потому что ее слова отзывались не празднословием, а совершенной искренностью. А когда я возразил, что негоже нам судить тех, кто выше нас, она принялась ласково меня разуверять и для этого делала мне различные вопросы. А потом сказала, что мне стоило бы поглубже вникнуть в эти предметы и что место мира сего заступит другой мир, в который люди войдут без различия званий. Потому что в Царствии Небесном люди ни в чем один другого не превосходят, кроме как в святости. И все эти ее речи, сэр, разбудили во мне лучшие чувства. Знаю, знаю, вы считаете, что такие чувства валлийцам вовсе не сродны, что все мы отпетые негодяи. Так ведь мы, изволите видеть, из нужды не вылезаем, и что в нас есть дурного – все это от самой горемычной жизни. А по природе мы народ, право, не скверный: и дружить умеем, и в вере тверды.

В: Знаю я цену вашей дружбе и вашей вере, Джонс. Ваша дружба – ничто как измена, вера ваша – ничто как ересь. Вы чума перед лицом всех добрых народов. Зловонный гнойник на заднице Королевства, суди вас Бог.

О: Не всегда, сэр. А разве что по неразумию.

В: Так, стало быть, всегда. Что она еще говорила про Его Милость?

О: Что она его прощает. Но Бог не простит.

В: Бесстыжей ли шлюхе прощать тех, кто над нею поставлен, и объявлять волю Господню?

О: Как можно, сэр. Только у меня от тогдашних приключений все мысли спутались. Веду я ее коня, а силы на исходе, ноги стерты, глаза слипаются.

Мне и почудилось, будто в ее словах есть какой-никакой резон.

В: Не ты, бездельник, ее вел – она тебя водила: за нос. Она ехала верхом?

О: Да, сэр. Лишь иногда, чтобы дать мне роздых, уступала мне седло и шла пешком.

В: Так утомились, что представлять учтивого кавалера стало неспособу?

Что язык проглотил?

О: Тут, ваша честь, одно обстоятельство... Правда, оно до дела не относится, но от вас, видно, лучше не скрывать. В тот наш ночлег перед Бидефордом, когда мы с ней лежали на берегу, она озябла и, чтобы согреться, прижалась ко мне спиной. «Я, – говорит, – верю, что ты мое положение во зло не употребишь». Что ж, я ее веры не обманул. И покуда мы так лежали, я рассказал, что когда-то у меня была жена. Это, сэр, сущая правда. Супружество наше было несчастливо по причине моего пристрастия к пьянству. Бедняжка померла от кровавого поноса. Я и говорю Ребекке: «Что я за человек – ты сама видишь: по заслугам и честь. Ты без сомнения зналась с такими господами, что я перед ними выхожу полным ничтожеством. Но если ты меня не отвергнешь, что бы нам с тобой не пожениться и не зажить по праведности, как ты и собиралась?»

В: Скажите на милость! Дня не прошло, как она принадлежала Сатане – и ты ее такую в жены?

О: Да ведь с той поры она уже стала принадлежать Христу. Так она говорила.

В: И ты поверил этой кощунской выдумке?

О: Нет, сэр. Я поверил, что она искренне раскаялась.

В: И теперь уж точно не откажется потешить твою похоть?

О: Чего греха таить, смотрел я иной раз на Дика и завидовал: вот бы и мне этой кралей попользоваться. Небось и я мужским естеством не обделен. А нынешнее ее благочестие понравилось мне не меньше, чем ее телесная статья.

Как знать, думаю, сделается моей женой – может, и меня выведет на путь истинный.

В: Однако эта новоявленная святоша тобой пренебрегла?

О: Теперь, сэр, она о замужестве и вовсе не помышляла. Поблагодарила меня за доброту, за то, что не погнушался выбрать в жены женщину столь растленную и порочную, но была принуждена ответить мне отказом, потому что там, в пещере, в самую страшную минуту дала обет своей волей больше ни с одним мужчиной плотским образом не соединяться.

В: И ты таким ответом удовольствовался?

О: На другой день, перед ее отбытием – или нет, сэр, в тот самый день я воротился к этому разговору. Тогда она отвечала, что я добрая душа, и если она когда-нибудь переменится в мыслях, то хорошенько обдумает мое предложение. Теперь же она оставлять свои помыслы не расположена, а напротив, еще крепче в них утвердилась. Притом же сперва ей все равно

следует повидать родителей.

В: Вот бы тебе тогда же и сорвать с нее личину благочестия.

О: Как быть, сэр, случай упущен.

В: Ничего, мне он еще представится. Я-то не растаю от кротких взоров и кудрявых рацей. Ох уж это квакерское кривляние! Нет, меня ей, видит Бог, не обморочить.

О: Подлинно, что так, сэр. Желаю вам в этом всяческой удачи.

В: Не нуждаюсь я в пожеланиях от людишек твоего пошиба.

О: Виноват, сэр.

В: Попомни мои слова, Джонс: если в своих показаниях ты хоть сколько-нибудь налгал, не уйти тебе от петли.

О: Знаю, сэр, ох, знаю. Надо было мне с самого начала во всем открыться.

В: М-да, Джонс, до законченного мошенника тебе далеко: у такого безмозглого пустомели на это сноровки не станет. Если и натворишь бед, то хоть не таких страшных. Вот и все, что есть в тебе доброго – а это почитай что ничего. Теперь убирайся и жди моих новых распоряжений. Пока что отпускаю. Жилье тебе приготовлено и оплачено. Приказываю тебе оставаться там до скончания дела. Ясно ли?

О: Ясно, сэр. Покорно вас благодарю, ваша честь. Благослови вас Господь, ваша честь.

Линкольнз-инн, сентября 11 дня.

Милостивый государь Ваше Сиятельство.

Имея почтительнейшее о нуждах В.Сиятельства попечение, я не стал бы спешить присылкою прилагаемых к сему показаний, когда бы не мудрые приказы В.Сиятельства, исполнение коих я вменяю себе в первейший долг. Как бы ни хотелось мне обнаружить в сих свидетельствах что-либо утешительное, все будет тщетно, и мне остается лишь обнадежить В.Сиятельство речением, искони бытующим у людей моего звания: «*Testis unus, testis nullus*» <здесь:

«Показания одного – не показания» (лат.)>. Это тем более справедливо, когда один свидетель, заведомый лжец и мошенник, повторяет рассказ другого, коего можно почесть лжецом еще большим. Со

всем тем, хотя по делам своим Джонс со всею очевидностью заслуживает виселицы, мне, сказать по чести, думается, что существо дела он представил неложно. Посему нам теперь надобно уповать и молиться о том, чтобы рассказанная девицею история оказалась искусной выдумкою.

Поиски девицы предпринимаются, и, буде на то воля Божия, мы ее найдем.

После чего ее возьмут в такой оборот, какой В.Сиятельство легко может вообразить. Мошенник Джонс выдает себя в каждом слове; В.Сиятельство, без сомнения, распознает, к какому разбору людей относится этот человечешко, наделенный самыми скверными качествами своего народа – а качеств этих несть числа. Душонка у него заячья; готов прозакладывать сотню фунтов против перечного зернышка, что от Марса или миледи Беллоны <в римской мифологии – богиня войны> он удерживает себя на таком же удалении, что Джон о'Гротс <крайняя северная точка острова Великобритания> от Рима, если не дальше. Уподоблю его перепуганному угрю, каковой, быв пойман, способен ускользнуть из любой посуды.

В рассуждении Его Милости осмелюсь представить нижеследующие соображения. Кому как не В.Сиятельству ведома натура Его Милости и проступки, которые ставятся ему в вину. Увы, не подлежит сомнению, что на его совести тягчайший из мыслимых в семейном быту грехов – неуважение к отеческой воле В.Сиятельства; однако ж, как заметили Вы, В.Сиятельство, в пору более благополучную, к чести Его Милости служит то, что он не погряз в пороках, коими в наши дни зауряд пятнают себя молодые люди его лет и звания, – разумею те злодеяния и мерзости, которые ему тут приписываются.

Я могу вообразить, чтобы иной дворянин оказался способен допустить себя до такой низости, но чтобы то был человек, имеющий честь называться сыном В.Сиятельства, – на это моей веры не станет. А равно не верю я и в то, чтобы за последние сто лет где-либо водились такие, как было описано, ведьмы, и В.Сиятельство без сомнения в этом со мною согласится. Коротко говоря, я принужден просить В.Сиятельство взять терпение. Умоляю удержаться от поспешности и не признавать пока посылаемые мною показания за неоспоримое свидетельство бесчестья.

Исполненный горечи душевной, остаюсь В.Сиятельства всепокорнейший слуга Генри Аскью.

Бристоль. Передано с Фрумгейтом.

Среда, сентября 15 дня 1736 года.

Милостивый государь.

Этими днями я имел честь получить благосклонное письмо Ваше, на которое желал бы ответить словами стократ благосклоннейшими. Осмелюсь присовокупить к ним заверение в том, что готов исполнить любое поручение Вашего высокороднейшего клиента, касающееся до его дела. Мне уже посчастливилось содействовать Вам, столь прославленному в нашем сословии, в деле прошлогоднем; недавно я воротился с выездного заседания суда (вновь приведя доверенное мне дело к счастливому исходу), и судействовавший на заседании мистер Г. сделал мне честь, попросив в приватной беседе передать поклон нашему клиенту и заверить его в том, что и впредь станет с дружеским участием относиться ко всякому делу, какое сэру Чарльзу угодно будет представить для рассмотрения суда; каковой поклон, сэр, я и почитаю своей приятной обязанностью Вам передать, прежде чем приступить к отчету о выполнении Ваших поручений по сему прискорбному и щекотливому делу.

Можете также уведомить Его Сиятельство, что я ничто не ставлю так высоко, как доброе имя всякого из нашего дворянства – сей наиглавнейшей, Божиим произволением воздвигнутой твердыни, каковая, купно с величием Государя, должна до скончания времен оставаться защитой спокойствия и благополучия державы нашей. Прошу также передать Его Сиятельству, что секретность, на которой Вы настаивали, будет соблюдаться мною неотменно.

Я тщательнейшим образом разведал те обстоятельства, о коих Вы спрашиваетесь, и обнаружил, что она в самом деле объявилась в этом городе – в обозначенном ею месте – около того времени, какое было гадательно указано в Вашем письме, но более точное время ее появления, кроме как первая или вторая неделя мая, ни единый из моих разыскателей указать не сумел. По приезде она узнала о нынешнем положении дел, сиречь о том, что родители ее перебрались на жительство туда, где теперь собирается их секта – как полагают, в Манчестер. Переезд этот был затеян, как видно, по наущению проживающего в Манчестере брата ее отца, который поманил их рассказами о более благополучной жизни (и, без сомнения, о большей удобности для их пагубных беснований), отчего они и отправились в

Манчестер, забрав с собою трех своих детей, и девица, воротившись в Бристоль, никого из своей родни там не нашла. Кроме нее у супругов еще трое дочерей и ни одного сына.

Отец семейства прозывается Эймос Хокнелл; супруга его носит имя Марта, в девичестве Брэдлиг или Брэдлич, родом из Коршема, что в графстве Уилтс. У местных жителей Хокнелл слыл искусным столяром и плотником, но и закоренелым еретиком. Последний его наниматель – старейшина городского совета мистер Диффри, негоциант и хозяин верфи, человек редких качеств и благочестия. Хокнелл подрядился отделявать и обставлять внутренние помещения судов, построенных его кораблями. Я знаком с мистером Диффри, и он сообщил мне, что со стороны плотницкого дела он причин жаловаться на Хокнелла не имел, однако ему стало известно, что тот не ограничивает свои проповеди и пророчества домашним кругом, а покушается и работников отвратить от учения господствующей церкви, коему мой достойный приятель мистер Д., к чести его, крепко привержен; а посему, обнаружив однажды, что Хокнелл тайно обратил двух его подмастерьев в свою ложную веру, мистер Д. дал ему расчет. Сие произвело то следствие, что Хокнелл принялся кричать о беззаконии и утеснениях, хотя мистер Д. не раз предупреждал, что подобных проповедей не потерпит, а теперь Хокнелл был изобличен со всею явностью.

Нрав у этого человека буйный и мятежный – под стать его религии; по выражению мистера Д., «вольнодумство вьелось в него так же глубоко, как рассол в тресковую бочку», из чего Вы можете составить мнение касательно его натуры. Прибавьте сюда и то, что, получив от мистера Д. расчет, Хокнелл имел дерзость выкрикнуть, что «руки свои он может отдать на откуп всякому, душу же не уступит никому, ни даже королю или парламенту». Одно время он украдкою высказывал желание податься со всеми чадами и домочадцами в американские колонии (куда, по глубочайшему моему убеждению, и стоило бы препроводить всех нечестивых смутьянов), однако впоследствии от этой мысли отстал. Из всего сказанного следует, что для разыскания Хокнелла достаточно справиться о нем в манчестерском молельном доме, ибо, как Вам, сэр, наверняка известно, в рассуждении многолюдства Манчестеру далеко до большого города, из коего я к Вам пишу.

Вышесказанная особа объявила, что приехала из Лондона, где служила в горничных, однако ни имени хозяев, ни места их жительства не указала, отговорившись забывчивостью. Как удалось дознаться, известие о своих родных получила она от соседей, в доме которых пробыла не более часа,

после чего удалилась, сказавши, что должна нисколько не медля отправиться в Манчестер, ибо всем сердцем стремится к своему семейству. Однако нахожу за нужное пояснить, что по несчастливой для нас случайности она соседка, пожилая квакерша, скончалась водянкою за три недели до получения мною Вашего письма, вследствие чего все вышеизложенное имеет основанием лишь слухи да толки и не столь достоверно, как собственно-устное показание, но все же, по моему суждению, доверия заслуживает.

О прошлом вышесказанной особы мой разыскатель выведал немного, чему причиною скрытность ее норовистых единоверцев, которые всякое расследование, сколь бы законно оно ни было, почитают за произвол. И все же один из них сообщил, что девица слывет между ними отпавшею от квакерства и погибшею для их веры и всего света, после того как пять или шесть лет назад она согрешила с неким Генри Гарви, сыном хозяйки, у которой она в ту пору служила. Когда это открылось, решено было, что девица сама ввела юношу в грех, вследствие чего хозяйка прогнала ее прочь, а родители не захотели ее знать, потому что она, по их понятиям, недостаточно раскаялась. Девица надолго пропала, и о ней не было слышно до самого ее возвращения (о коем до вторичного ее исчезновения знала лишь названная выше соседка, так что в этот раз никто, кроме нее, беседы с девицею не имел).

Наконец, должен уведомить Вас, что особу сию разыскиваем не мы одни.

Словоохотливый квакер рассказал моему человеку, что в июне о ней уже справлялся некто, сказавший, что прибыл из Лондона с посланием от ее хозяйки; однако по наружности и манерам его эти опасливые и недоверчивые люди возымели о нем весьма невыгодное мнение, и пришелец почти ничего у них не выведал, кроме того, что она, по всей очевидности, отправилась в Манчестер. С тем он и уехал и больше их своими посещениями не беспокоил.

Вы, сэр, верно лучше меня разберете, к чему причаст сие происшествие.

Я пишу в некоторой спешке, ибо намерен незамедлительно отъехать для исполнения другого Вашего указания, с каковым делом я покончу так скоро, как позволят обстоятельства. Можете быть уверены, что по завершении я сразу же, как представится случай, к Вам напишу. Остаюсь Вашего высокороднейшего и милосерднейшего клиента, а равно и Ваш, милостивый государь, нижайший, вернейший и покорнейший слуга Ричард Пигг, стряпчий.

Бидефорд, сентября 20 дня.

Милостивый государь.

Два минувших дня проведены мною в месте, имеющем для Вас особую важность, и я сажусь за письмо, покуда увиденное еще свежо в памяти. По моим расчетам, от брода при Бидефордской дороге к месту сему подниматься две с половиною мили. Дол этот прозывают Лощинник, за то что горы по его сторонам изрезаны лесистыми лощинами, отчего он и сам походит не столько на долину, сколько на расселину, какие в тех краях не редкость. Пещера с пастбищем и водопоем для скота располагается в верхней части соседнего дола, примыкающего к указанному; от брода туда ведет тропа, протянувшаяся на одну и три четверти мили. Безлюдная эта местность не посещается никем, кроме разве пастухов, гонящих стада вверх, на вересковые пустоши. Одного такого, вместе с подпаском, мы застали у пещеры. Пастух, некто Джеймс Локк из Даккумбского прихода, объяснил, что останавливается тут уже не первое лето. Здешний Мопс <в греческой мифологии – прорицатель из Фессалии> имел вид простолюдина, знающего грамоте не лучше своих овец, однако по ухваткам малый честный.

Место сие, как уведомил нас пастух, имеет скверную историю; пещера известна ему и его собратьям под названием Доллиновой или Доллинговой – по имени злославного вожака разбойничьей шайки, жившего еще во времена Пастухова прадеда. Разбойники, нимало не таясь, сделали пещеру своим пристанищем и принялись озорничать на манер Робина Гуда (так, по крайности, уверял этот Локк). В занятиях сих упражнялись они довольно долгое время, и все благополучно сходило им с рук – по причине удаленности этого места и хитрости грабителей, состоявшей в том, что они промышляли больше не в ближайших окрестностях, но по другим приходам. В конце концов разбойники убрались восвояси, сколько известно Локку, так и не представ перед правосудием. В подтверждение же своих слов он провел меня в свой грот и при самом входе указал на грубо вытесанные на каменной стене буквы «Ж.Д.Д.», сиречь «Жилище Джона Доллинга». Разбойник, как видно, мнил себя свободным землевладельцем.

Но это, сэр, дела еще не столь давние, пастух же сообщил мне куда

более древнее предание; сия басня касается до длинного камня, стоящего подле вышесказанного водопойного озерца. Говорят, будто некогда одному пастуху явился дьявол и пожелал купить у него агнца. Но когда они сторговались и пастух предложил Сатане выбирать любого, тот указал на младшего сына пастуха, который случился поблизости (при сих словах Локк и сам указал на подпаса). Тут пастух догадался, с кем его угораздило связаться, и от страха лишился дара речи. «Что же ты молчишь? – вопрошал сэр Вельзевул. – Вон Авраам же не стал препираться из-за какого-то мальчишки» <намек на библейскую историю о жертвоприношении Авраама: чтобы испытать веру Авраама, Бог приказал ему принести в жертву сына Исаака>.

Увидав, что (по выражению этого дикаря) в негоциях по части душ покупатель много против него сметливее, наш пастух в сердцах хватил его клюкой по темени, однако удар пришелся не по человеческой (вернее сказать, дьяволовой) голове, но по тому самому камню, отчего клюка переломилась надвое. Впрочем, пастух был утешен в этой потере тем, что спас от вечной гибели своего сына, а дьявол (недовольный сим аркадским гостеприимством) <Аркадия – горная область в центральной части Пелопоннеса; начиная с античности была фоном для идиллических сцен из пастушеской жизни> больше тут свою наглую харю не казал. С тех пор камень сей стал называться «Чертовым камнем». Поэтому-то, должно быть, это место и почитают проклятым и местные жители обыкновенно сюда не заглядывают. Иное дело наш приятель Локк, а перед ним – его отец (тоже пастух). Они, напротив, нашли сие место преизрядным: сытный выпас, где овцам не страшны ни бешенство, ни ящур, пещера, как нарочно приспособленная для жительства в летнюю пору и созревания сыров. Смею надеяться, сэр, Вы не посетуете на меня за исчисление таких ничтожных побочных, так как Вы сами особо указывали, чтобы я не упускал из виду ни единой мелочи, сколь бы пустыми они ни представлялись.

Внутренность пещеры возле устья достигает пятнадцати шагов в ширину, высота же устья такова, что самая верхняя точка свода отстоит от земли на два человеческих роста. Начинаясь отсюда проход вдается на сорок шагов вглубь, вслед за чем неожиданным образом делает поворот (так что, глядя издали, видишь, что проход заканчивается словно бы глухой стеною); пройдя через грубо обтесанный проем, попадаешь в просторное внутреннее помещение, очертанием схожее с яйцом. Измерив его, я нашел, что величина его составляет самое большее полсотни шагов в длину и чуть больше тридцати в ширину – впрочем, очертания у него не правильные. Потолок тут высокий и в одном месте имеет отверстие. Отверстие

сквозное, о чем можно заключить по тому, что, хотя неба через него и не видно, однако свет проходит – как через изогнутый дымоход; притом пол под ним сырой, но не весьма: Локк уверяет, что влага каким-то образом сквозь него просачивается и уходит в землю. Сам он в этой, с позволения сказать, туалетной комнате не живет по причине ее темноты, а хранит здесь сыры.

Теперь, сэр, приступаю к тому, что Вы просили меня разведать. По Вашему совету я запасся фонарем и при свете его различил посреди внутреннего помещения кучу пепла, оставшегося как бы от большого костра или множества костров. Не дожидаясь вопроса, Локк объяснил, что огонь тут разводило, как выражается девонширское простонародье, «фараоново племя» – сиречь цыгане, которые то и дело забредают сюда в пору зимнего кочевья: этой порою, как полагают, некоторые таборы отправляются на запад, в Корнуолл, весною же возвращаются на восток. В ответ на мои дальнейшие вопросы Локк показал, что едва ли не всякий раз, когда он вновь поселяется в пещере – а происходит сие обыкновенно в начале июня, не выключая и этот год, – он находит тут следы их пребывания. То же было при его отце. Однако повстречать их (в этом месте) ему ни разу не случалось, ибо чужих они сторонятся, ограждаясь от них языческим своим наречием и своеобычием; но никогда они зла ему не учиняли, изгонять его из пещеры в летнюю пору не покушались и покой его не смущали. И даже напротив: в пещере он обнаруживает сухой хворост для костра и ветки плести ограду для загона, как будто нарочно для него припасенные, за что он цыганам признателен.

Тут я должен сообщить, что от пепелища шел странный дух, показывающий, что в костре кроме дерева горело еще нечто, возможно сера или купорос – более точно я назвать не умею. Не лишено вероятия, что ответ кроется в составе каменной породы, на коей был разложен костер, – что от сильного жара на камне выступили подобные дегтю выделения и испарения их до сих пор не выветрились. Впрочем, в таких материях я не довольно сведущ. Я спрашивал у Локка о происхождении сего смрада, но он, как видно, его не замечал и отвечал, что никакого необычного запаха не слышит. Однако ж мне сдается, что я не ошибся, о Локке же полагаю, что ему нюх отшибло вонью еще сильнейшей, происходящей от его овец и сыров. Того же мнения держался и сопровождавший меня слуга, а дальше, как Вы узнаете, обнаружились и новые доказательства моей правоты, хоть и они остались для нас такою же загадкою. Поворошив несколько костровище, дабы проверить, не имеется ли в нем чего-либо еще, кроме древесного пепла, мы ничего примечательного не нашли. Локк

указал нам имевшееся в полу подле самой стены углубление, наполненное, как в склепе, костями: кости большей частью величины не весьма изрядной и походили на кроличьи, куриные или останки не знаю каких еще тварей. Это, без сомнения, были объедки, оставшиеся от трапез неопрятных цыган. Локк сказывал, что в отличие от него цыгане предпочитают селиться в глубине пещеры, и это весьма натурально, поскольку сие место доставляет им средство укрыться от зимней стужи и ветров.

Прежде чем перейти к другим предметам, о коих Вы, сэр, просили меня узнать, должен добавить, что я облазил всю пещеру с фонарем и никаких иных ходов, кроме уже нам известных, не увидел. Локк также решительно отрицал, что таковые ходы имеются, если не считать вышесказанного дымохода. По моим наблюдениям, дымоход сей не более как узкая скважина, и позже, взобравшись на склон, куда она выходит, я удостоверился, что в нее протиснется разве только ребенок, но никак не взрослый. Притом в пещере до нее возможно добраться не иначе как по приставной лестнице. Больше ни здесь, ни в передней части пещеры не нашел я ничего, что имело бы для нас важность.

Теперь, сэр, последнее: костровище близ пещеры. Оно располагается в двух десятках шагов от устья, ближе к краю пастбища. Я заприметил его тотчас по прибытии, ибо Локк обнес его плетнем, чтобы не подпускать к нему овец. Дожди уже посмывали отсюда пепел, и все же земля до сих пор остается черною и никак не обрастает травою. Как показал Локк, в прежние годы цыгане не имели обыкновения разводить костры вне пещеры, и почему они этой зимою изменили своему правилу, ему неведомо. Пригнав овец на выпас, он заметил, что их так и тянет полизать опаленную огнем почву, и, хоть ни одна овца от этого не захворала, он побоялся, как бы они паче чаяния не набрались глистов, отчего и поставил вокруг костровища ограждение; однако овцы до сих пор силятся через него продрасться, хотя вокруг раскинулось сытное, изобильное пастбище.

Выжженное сие место имеет сорок шагов поперечины. Я вступил внутрь ограды и, нагнувшись, разобрал серный дух, подобный тому, что чувствовался в пещере. Я велел слуге опуститься на колени и поскрести землю, и он, исполнив сие, доложил, что запах точно такой, как в пещере, и в рассуждении крепости тоже. В чем я убедился, обнюхав поданный мне кусочек (каковой прилагаю к этому письму), причем обратил внимание на то, что спекшаяся от жара земля на вид сделалась твердою, как черепица, id est <то есть (лат.)> не поддавалась умягчающему действию проливных весенних дождей.

Я приказал Локку принести приготовленный для плетня кол, и мой

слуга, покопав землю, обнаружил, что вся почва на этом обожженном месте приобрела удивительную твердость на четыре или пять дюймов вглубь, вследствие чего вонзить в нее кол с одного удара сделалось невозможно. Гадая, что же послужило тому причиною, мы не придумали ничего другого, как отнести сие на счет многократно разжигаемых здесь больших костров (тем более что питать огонь не составляло труда по причине близости леса, хотя потребность в таком огне никак не может быть объяснима обычным его предназначением – приготовлением пищи и спасением от холода).

Я спрашивал Локка, не видит ли он странности в том, что костровище не зарастает, и он отвечал утвердительно. По его суждению, растительность тут была вытравлена, когда цыгане готовили свои зелья и мази. Надобно заметить, сэр, что в этих краях молва изображает цыган чудодеями, знающими толк в употреблении трав, и цыгане, промышляя людским невежеством, приторговывают шарлатанскими целебными снадобьями. Однако и я, и слуга мой усомнились, что для их приготовления была нужда в таком изрядном костре.

По справедливому наблюдению моего слуги, скорее так пахнет земля на дне плавильной ямы, хотя ни здесь, ни поблизости мы не заметили и следа присутствия какого-либо металла. Не похоже, чтобы в окрестностях вообще было слышно о каких-либо пригодных к употреблению рудах. *Nota <примечание (лат.)>*, таковые в изобилии имеются на холме Мендип близ Бристоля.

Боюсь, сэр, что к этому мне прибавить, нечего, и я принужден буду оставить эту загадку для Вас неразрешенною. Прошу верить, что сие произошло не от недостаточного рдения о порученном Вами деле, не от лени мысли. И все же получить об этом хоть сколько-нибудь верное понятие мне так и не удалось. Дабы избежать многословия, отвечу коротко на оставшиеся вопросы.

1. О том, чтобы место это прежде посещалось каким-либо любопытствующим джентльменом или ученым мужем, известий не имеется. Воды эти ничем себя не прославили, и за пределами сего прихода о них даже не слышали. Мистер Бекфорд (который свидетельствует Вам свое нижайшее почтение), пока я не обратился к нему с вопросом, даже не ведал о существовании этого места, хотя оно располагается в ближайшем соседстве с его приходом.

2. На мои пытливые расспросы об удушенном теле и впоследствии происшедших событиях Локк отвечал, что это дело рук грабителей, и разуверить себя не дал. Поскольку лучшего объяснения не найдено, это же мнение, при всей его неосновательности, разделяет вся

округа. При этом иных доказательств, что в приходе завелись таковые отчаянные грабители, представить никто не может, а подкрепляется это мнение расхожими бреднями о высадившихся на берег французах-каперщиках, хотя уже восемьдесят лет как не было случая, чтобы оные объявлялись в столь удаленных от моря местах, что было бы несогласно со здравым смыслом. Как хорошо известно нашим капитанам и береговой страже, повадка их такова, что, сойдя на берег, они хватают что под руку подвернется и спешат обратиться назад.

3. Локк под присягою показал, что не замечал больше ничего такого, к чему он был бы непривычен при своих летних стоянках, и что больше никто, выключая его родных, меня и моего слугу, здесь не появлялся. У вышеназванного мистера Бекфорда, Пуддикумба и прочих поименованных Вами лиц я, увы, никаких новых сведений не добыл (если не считать приведенные выше домыслы о французах-каперщиках).

4. Перекопанной земли, похожей на место погребения умерщвленного человека, я нигде не обнаружил; не видели ничего подобного и Локк со своим подпаском, которым сии окрестности знакомы несравненно лучше.

5. Вершина, о которой упоминал допрошенный Вами свидетель, в самом деле наличествует. Все приведенное им описание местности вполне соответствует истине. В этом по крайности правдивость его слов сомнения не вызывает.

6. Что надлежит до оставленной внизу поклажи и двух коней, никаких *vestigia* <следов, знаков (лат.)> оных я не нашел; впрочем, края сии, в особенности низменные межгорья, такая дремучая глушь, что не могу поручиться, там ли я искал. Осмотрев все места по берегу ручья, от которых ожидал я подобной находки, я вернулся с пустыми руками. В большинстве окрестных деревень мне также не удалось ничего узнать про двух неизвестно кому принадлежащих коней и брошенный скарб. Вернее всего, кони попали на глаза цыганам, а коли так, те уж не преминули их украсть и подобным же образом распорядились с поклажею. О коне Вашего свидетеля я разужнаю после.

7. Касательно ведьм Локк сообщил, что в его деревне одна такая проживает, однако это особа из числа, как их здесь величают, белых, сиречь благодетельных ведьм и обыкновенно упражняется в сведении бородавок и лечении язв, а не вступает в сношения с нечистой силою; вдобавок она калека и в преклонных летах. О шабашах Локк не имеет понятия и божится, что зимою сюда никто, выключая вышесказанных цыган, не забредает, что, сколько он здесь прежде ни останавливался, особ женского пола он ни разу не видал, разве что овец, свою жену и дочерей, каковые

время от времени взбираются сюда с намерением доставить ему провизию и набрать черники (в изобилии растущей тут в августе). Правда, может статься, что его суждение о сем предмете (сиречь о ведовстве) с общим мнением отнюдь не согласно, ибо люди одного с ним разбора, как сказывал мистер Б., по большей части своей продолжают верить в ведьм и новая отмена Закона о ведьмах, слухи о коей достигли до этих мест, почитается тут величайшим безумием. Во всю бытность мистера Б. пастырем здешнего прихода ему был сделан лишь один такой донос, на поверку оказавшийся неосновательным и приключившийся от злонамеренности некой старухи, каковая, повздорив с другой старухой, решила ее оговорить. И все же большинство по дедовскому обычаю до сих пор подобным рассказам верит.

8. От начала долины до дороги между Барнстаплом и Майнхедом можно добраться по тропе, пролегающей через Эксмур, что составляет семь миль пути. Тропа эта не слишком заметная и чужим в этих местах неизвестная, однако возымевший такое намерение преодолеет этот путь без особого труда, если будет qualibet <любым путем (лат.)> продвигаться на север, вследствие чего тропа рано или поздно выведет его на большак, тянувшийся с востока на запад. Удобнее всего совершать это путешествие в летнюю пору, когда земля подсохнет. Самые многолюдные города между Бриджуотером и Тонтоном – Майнхед и Уотчет – можно объехать кружным путем, оставшись незамеченным. Я ворочусь этим путем и продолжу поиски, соблюдая предписанную Вами секретность, каковую не нарушил и при нынешних обстоятельствах. Буде обнаружатся новые сведения по делу, я безотлагательно Вам их сообщу. Если таковых не обнаружится, я напишу к Вам по возвращении в Бристоль.

От души сожалею, сэр, что пока не могу порадовать Вас, а равно и высокородного клиента Вашего более обнадеживающими известиями. Имею честь быть Ваш, милостивый государь, нижайший, вернейший и покорнейший слуга и разыскатель Ричард Пигг, стряпчий.

Бристоль, сентября 23 дня.

Милостивый государь.

Боюсь, возвратное мое путешествие в Бристоль оказалось

бесплодным; ни в одном из упомянутых в моем последнем письме городов, ни в иных, менее заметных местах, попадавшихся по дороге, не нашел я никакого указания на то, что высокородный джентльмен проезжал этим путем. Не имею я, увы, и достаточных оснований утверждать обратное, ибо, правду сказать, след уже простыл. Осмелюсь заметить, что даже если бы искомая особа путешествовала открыто (и если бы мне было позволено вести поиски подобным же образом), то и в сем случае, принимая в уважение давность происшедшего, нам едва ли удалось бы узнать больше того, что было обнаружено. Мы могли бы ожидать, что встреча с Его Милостью лучше впечатлится в памяти очевидцев, коль скоро он по-прежнему имел бы спутником немого слугу, однако обстоятельства сложились не в нашу пользу. Барнстапл и Бидефорд города оживленные, а в теплую пору, когда там разворачивается торговля ирландской шерстью и полотном, а также валлийским углем, народу в них еще прибывает; не меньшее оживление заметно на дорогах, связующих эти города с Тонтоном, Тивертоном, Эксетером и даже с Бристолем.

В Бидефорде смотритель судовой конторы мистер Леверсток, справившись в регистре, подтвердил, что судно «Элизабет-Энн», капитаном на коем Томас Темплфорд, в самом деле отплыло 2 мая в Бристоль, а на другой день в Суонси отправилось судно капитана Джеймса Перри «Генриетта» с грузом угля, из чего следует, что показания Вашего свидетеля правдивы.

Не солгал оный и касательно гостиницы «Барбадос», где по наведении мною справок Вашего свидетеля и спутницу его вспомнили, но, так как их рассказ не подал никаких подозрений, то и сами постояльцы большого внимания на себя не обратили. После отъезда спутницы он похвалился одному человеку, что берет девицу в жены и в Бристоль она отправилась испросить согласия родителей. Больше ничего достойного примечания о нем не рассказали.

Далее, сэр, имею сообщить, что оставленный им в гостинице конь продан, причем хозяин гостиницы твердит, что он в своем праве, ибо, как уверяет, продержал коня месяц, за который было заплачено, и месяц сверх того, а больше уж держать не мог; вырученные же за коня деньги он отдать не пожелал, невзирая на мои угрозы, что его притянут к суду и повесят за конокрадство, чего от души ему желаю, потому что человек это наглый и дерзкий на язык и, как сказывал мистер Леверсток, на короткой ноге с контрабандистами. Возможно, по причине ничтожности суммы Вы посчитаете за лишнее давать делу ход, а посему я его на время приостановил.

Итак, сэр, в ожидании Ваших дальнейших распоряжений in re <по этому делу (лат.)> почтительнейше прилагаю к сему счет с указанием размера моего вознаграждения и издержек на нынешний день. Остаюсь в надежде и впредь называться Ваш, милостивый государь, всепреданнейший и всепокорнейший слуга Ричард Пигг, стряпчий.

Корпус-Кристи-Колледж <Колледж Кембриджского университета, основанный в 1352 г.>, Октября 1.

Милостивый государь.

Сердечно рад оказать услугу приятелю учнейшего мистера Сондерсона.

Спекшийся ком земли, о коем Вы спрашиваете мое мнение, был подвергнут мною исследованиям, и должен с сожалением признать, что вывести сколь-нибудь определенное заключение касательно его природы мне так и не удалось. Земля эта со всей явностью испытала на себе действие сильного жара и без сомнения изрядно переменилась в своем составе, отчего химический анализис оной (хотя бы и в самой совершенной лаборатории) сделался весьма затруднителен, ибо можно сказать, что огонь при такой оказии есть то же, что анаколуф <нарушение норм грамматической связи слов в предложении> в грамматике. Силою его вся естественная логика проявления элементов нарушается и делается непостижимою даже для самого искушенного и умелого химиста. По моему разумению, перед нагреванием земля пропиталась либо смешалась с неким веществом, свойствами подобным битуму, каковое, однако, будучи разрушено огнем, сохранилось (даже после отцеживания) в количестве столь ничтожном, что более пристальному рассмотрению не поддается.

Королевское общество (в коем я имею честь состоять socius'ом) <socius (лат.) – член> в своем собрании камней и минералов, завещанном великим химистом и философом почтенным Робертом Бойлем <Бойль, Роберт (1627-1691) – английский химик и физик, один из учредителей Королевского общества; в 1662 г. сформулировал закон физики, известный как закон Бойля-Мариотта>, содержит образцы с берегов Асфальтического озера, что в Святой земле (сиречь Мертвого моря), имеющие, сколько помнить могу, известное сходство с сим веществом; некоторым образом

сходствует оно и с виденными мною составами с берегов Асфальтума, или Смоляного озера, лежащего на испанском острове Тринидаде в Индиях; видел я подобное и в смолокурнях, где смола выплескивается из чанов на землю. При всем том в сих спекшихся углях различил я запах, если не ошибаюсь, не сродный ни горной смоле (в упомянутых выше образцах), ни смоле сосновой, ни иным растительным смолам.

И если Вы, сэр, представите мне еще малую толику такой земли, не тронутую огнем (каковая без сомнения имеется поблизости), то я буду Вам бесконечно признателен и смогу дать Вам яснее о сем понятие. Подобной земли на наших островах до сих пор не встречалось, и весьма вероятно, что она окажется выгоднейшим для продажи товаром, что будет много споспешествовать умножению состояния Вашего клиента (имени коего мистер Сондерсон мне открыть не соизволил).

Милостивого государя моего покорнейший слуга Стивен Хейлз, доктор богословия, член Королевского общества <Хейлз, Стивен (1687-1761) – известный английский врач>.

Пребывание мое в Кембридже будет недолгим, а посему письма мне лучше адресовать в Теддингтон, что в графстве Мидлсекс, где я проживаю постоянно.

Лондон, октября 1 дня.

Милостивый государь Ваше Сиятельство.

Пишу в великой спешке. Особа, которую мы разыскиваем, обнаружена, хотя сама о том еще не ведает. Мой человек имеет верные сведения: он тайком показал ее Джонсу, и тот без колебаний подтвердил, что это она. В недавнем времени она вышла замуж за некого кузнеца Джона Ли, имеющего жительство в городе Манчестере, на Тоуд-лейн, и вот уж несколько месяцев как брюхата, но, как видно, не от него. Мне донесли, что Ли подобно ей квакер. Человек мой сказывал, что они бедствуют и ютятся в натуральнейшем подвале, ибо работа у Ли бывает от случая к случаю; соседи же называют его проповедником. Нынче она приняла на себя вид доброй хозяйки, истой благочестивицы. Ее родители и сестры, как и указывал мистер Пигг, также пребывают в этом городе. Смею полагать, мне нет нужды уверять В.Сиятельство, что я отправляюсь туда без

промедления, а также покорнейше просить прощения за свое малословие, причины коего В.Сиятельству очевидны, и повторять, что любой наказ В.Сиятельства будет мною исполнен с величайшим усердием.

Г.А.

К сему прилагаю список послания, полученного мною нынче от доктора Хейлза, каковой снискал (в последние годы) громкую славу своими справедливыми обличениями вредоносности горячительных напитков; я также имею превосходные отзывы о нем как о естествоиспытателе, хотя и сведущем более в ботанике, нежели чем в химии. Он коротко знаком с мистером Ал.Поупом, имеющим быть в числе его прихожан.

Высокий сухопарый мужчина сидит за выскобленным деревянным столом.

Перед ним пустая миска: похлебка съедена, миска дочиста обтерта хлебной коркой. Мужчина смотрит на сидящую напротив женщину. В отличие от него сотрапезница то ли не слишком голодна, то ли более привередлива. Она ест, не поднимая глаз, как будто само это занятие кажется ей не вполне пристойным. Стол расположен возле большого камина с широкой железной решеткой; камин не горит, и похлебка, которую ест женщина, как видно, не разогрета. Пальцы, сжимающие ложку, бледны от холода – они действительно озябли. Другая рука лежит на столе, пальцы ее касаются отломленной краюхи, вбирая последнее тепло свежего остывающего хлеба. Кроме посуды – двух-трех мисок, двух помятых оловянных кружек и глиняного кувшина с водой – на столе, ближе к краю, виднеется еще один предмет: пухлая книжица. Углы бурого кожаного переплета обтрепались, корешок отвалился, вместо него приклеена полоска старой холстины, так что о содержании книги можно только догадываться.

Комната – полуподвальное помещение; с улицы в нее ведет несколько ступеней; выложенный каменной плиткой пол во многих местах потрескался.

Створка входной двери состоит из двух частей, сейчас верхняя половина распахнута, и внутрь проникает чахлый свет только что вставшего октябрьского солнца; заглядывает солнце и в два маленьких окошка возле двери. Без солнца беда: обстановка подвала по-нищенски

убога. На полу – ни ковра, ни даже тростниковой подстилки. Свежевыбеленные стены тоже голы – их украшают разве что пятна сырости. Из мебели кроме стола и двух стульев имеется только деревянный сундук, он стоит у противоположной от входа стены на двух грубо опиленных брусках. В камине, где на гвоздях развешаны две старые железные кастрюли и старинная жаровня, не так давно разводили огонь, но обложенная старыми кирпичами кучка углей в просторном камине жалкое зрелище: этот семифутовый очаг явно предназначался не для таких поленьев.

Рядом с сундуком – дверь в комнату поменьше. У этой двери вовсе нет створки. В дверной проем виден край кровати. В маленькой комнате без окон стоит сумрак. На полке, укрепленной на балке над камином, – кое-какие нужные в хозяйстве мелочи: железный подсвечник, два-три свечных огарка, квадратное зеркальце без рамы, коробочка с ветошным трутом, солонка. Вот и все. Такой скудости не найти даже в монашеской келье.

Лишь два обстоятельства плохо вяжутся с этой нищенской обстановкой.

Одно – внешнее: хотя потолок комнаты и не оштукатурен, он покоится на двух превосходных дубовых балках. Почти почерневшие от времени, они украшены тонкой продольной проточинкой, а концы их изгибом спускаются вниз и, сужаясь, заканчиваются на стенах. Можно подумать, что примерно за столетие до правления Якова I или Елизаветы у этого дома были более почтенные владельцы, раз уж даже те, для кого был отведен полуподвал, удостоились работать в помещении с такой изысканной отделкой. На самом же деле тут когда-то помещалась лавка торговца мужской одеждой и, придавая балкам столь благородный вид, хозяева радели только о покупателях.

Вторая необычная особенность обстановки – дух добропорядочности. В нашем представлении нищета связана с упадком и унынием, а те в свою очередь – с грязью и неустроенностью как в хозяйстве, так и в душе. Но эта бедная комната чиста, как нынешние операционные: ни соринки, ни паутинки, ни пятнышка не нарушает ее безукоризненной опрятности. Все вымыто, выметено, выскоблено, каждая вещь на своем месте – самый взыскательный боцманмат не придерется. Точно ее обитатели сказали себе: «Живем в нужде, так будем жить праведно». Эта же мысль была выражена в расхожем тогда изречении: «Что плоти во вред, то душе на благо». Праведность, однако, была не просто чистотой, лелеемой из чувства противоречия, но знаком духовного бодрствования, потаенной энергии, предвкушения перемен, нахождения всего сущего в состоянии туго

заведенной пружины. «Потерпим пока, будет и на нашей улице праздник». Чистота же сама по себе была не более чем удобопонятным символом, внешним выражением чистоты внутренней, неброской и суровой, подспудной готовности и муки принять, и вспылать воинственным духом. Недаром христиане – приверженцы благополучной господствующей церкви с подозрением косились на внешне скудную жизнь строгих и практичных сектантов-отщепенцев, так мы, бывает, сторонимся больных с явными признаками чахотки: нас пугает не их увядание, а то, чем оно грозит нашему «цветению».

Мужчине за столом лет тридцать пять, однако в волосах его уже пробивается седина. На нем широкая белая блуза, поверх нее кожаная безрукавка. Безрукавка да и обнаженные по локоть руки мужчины испещрены следами ожогов от бесчисленных кузнечных искр. Это и есть кузнец Джон Ли, проживающий на Тоуд-лейн. Правда, собственной кузницы у него нет; в последнее время он работает с материалом куда менее мягким и ковким: этот материал – души людей. Высокий сухопарый мужчина с безучастным лицом и пронизательными глазами. Судя по взгляду, мысли его так неспешны, что любая улыбка была бы для него слишком быстра: прежде чем рассмеяться или высказать мнение, он будет думать и думать до бесконечности. Сейчас он размышляет явно не о той, что сидит напротив – своей жене Ребекке. На Ребекке платье из грубой серой материи и белоснежный закрывающий уши чепец – простенький, скромный, под стать обстановке: ни кружев, ни оборок. Зато лицо, прическа все те же; несмотря на унылое платье и чепец, и сейчас можно догадаться, почему она недавно зарабатывала на жизнь тем, чем зарабатывала. Эти ласковые карие глаза, это непроницаемое выражение невинности, это терпение... И все же в чем-то она изменилась: ее кротость сделалась твердой, словно обрела навсегда закал – кузнец ли помог в этом или кто-то еще. Новый уклад и новые убеждения придали ее натуре и новое качество – мятежность.

Ребекка подвигает свою миску мужчине.

– Доешь лучше ты. Мне что-то не естся. Схожу в нужник.

– Боишься?

– Бог не без милости.

– Мы с твоим отцом встанем на улице, чтобы видеть все своими глазами, и будем молиться. Захотят побить тебя камнями за былые грехи – все снеси.

Помни: ты новорожденное чадо Божие.

– Хорошо.

– Им тоже не уйти от суда после Его пришествия.

– Знаю, знаю.

Мужчина поглядывает на придвинутую миску, но, как видно, думает о другом.

– Имею я нечто тебе открыть. Было мне в ночи видение. Я только будить тебя не решился.

– Доброе видение?

– Видел я, что бреду по дороге, а навстречу – некий человек, весь в белом. В одной руке посох, в другой – Библия. И сказал он мне такие слова: «Теперь будь терпелив, ибо час твой близок». Он стоял передо мной, я слышал его и видел так же ясно, как вижу теперь тебя.

– Кто же это мог быть?

– Кто как не Иоанн Креститель, хвала Всевышнему. Но это еще не все: он улыбнулся мне как другу и доброму слуге.

Ребекка окидывает его сосредоточенным взглядом.

– Час близок?

– Все как сказывал брат Уордли. «Будь крепок в вере, и дастся тебе знамение».

Ребекка поглядывает на свой округлившийся живот, поднимает глаза и улыбается уголками губ. Встав из-за стола, она удаляется в соседнюю комнату и появляется оттуда с железным ведром в руках. Затем направляется к двери, отпирает нижнюю половину и выходит на улицу. Только теперь кузнец подвигает к себе миску с остатками похлебки и принимается за еду. Ест, но вкуса не разбирает: мысли его по-прежнему заняты ночным видением. В миске – оставшееся от вчерашнего ужина жидкое овсяное варево, в котором плавают два крохотных кусочка соленого бекона и несколько темно-зеленых листиков лебеды.

Покончив с едой, он берется за книгу, открывает, и книга словно сама собой распахивается на шмуцтитуле с надписью: «Новый завет». Книга – старая Библия издания 1619 года; самая зачитанная ее часть – Четвероевангелие. На каждой странице сверху коротко указано, о чем здесь говорится, заглавия эти заключены в рамку в форме сердечка; они не напечатаны, как положено, красным цветом, зато вместо этого жирно подчеркнуты красными чернилами. Вокруг располагаются гравированные миниатюры с изображением святынь: Пасхальный Агнец, шатры, в которых красуются символы пророков, портреты апостолов – из них самые крупные четыре евангелиста. Кузнец на миг задерживает взгляд на миниатюре с Иоанном Богословом: это усач с внешностью джентльмена времен правления короля Якова, он сидит за столом и что-то пишет, а

рядом жметса ручной дронт – нет, орел. Но Джон Ли и не думает улыбаться. Он открывает Евангелие от Иоанна и находит пятнадцатую главу: «Я есмь истинная виноградная Лоза, а Отец Мой – Виноградарь».

Слегка склонившись над книгой, он начинает читать. Чтение, видно, дается ему с трудом: он водит пальцем по строчкам и беззвучно шевелит губами, как будто, чтобы уразуметь прочитанное, он должен не только понять смысл слов, но и произнести их про себя.

«Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есмь Лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не может делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают».

Кузнец на мгновение отрывает глаза от страницы и смотрит на рассветное зарево, потом переводит взгляд на золу в очаге. Затем снова склоняется над книгой.

Между тем Ребекка с ведром спешит к нужнику. Бойкая легкая походка – ни за что не догадаешься, что идет беременная. Вид Тоуд-лейн никак не способен настроить на такой бодрый лад. Промышленная революция началась лишь недавно, но Тоуд-лейн уже приобрела тот облик, который позднее для жителей многие крупных городов стал привычным зрелищем. Некогда симпатичная улица превратилась в жалкую трущобу, ряды домишек-развалюх, где каждое семейство снимало по одной комнате, и их задворки сделались рассадниками болезней. Признаки этих болезней заметны там и сям: изрытые оспой лица, золотушные язвы на шеях, рахитичные ноги, последствия недоедания, цинги... Но все это резало бы глаз только нашему современнику.

На свое счастье, бедняги и не подозревают, какое сострадание могут вызывать. Жизнь для них была именно такова, изменения казались маловозможными. Конечно, прежде всего не надо падать духом. Каждый выживает, как может – или как должен. В это время дня дома и на улице были только женщины и дети (пяти-и шестилетние); мужчины и дети постарше – те, кто имеет работу, – уже разошлись. Кое-кто из прохожих поглядывает на Ребекку косо, но причиной тому не она сама, не надобность, за которой она вышла из дома, а платье, столь явно выдающее ее принадлежность к секте.

Нужники выстроились рядком, отвернувшись от улицы, почти в самом ее конце – на общественной земле. Пять ветхих зловонных будочек, в каждой – не менее зловонная яма. Между ними и в вырытой пониже канаве

– кучи нечистот. Ребекка привычно выплескивает туда содержимое ведра. Тут же растет неизменная в таких местах лебеда: ее еще называют «навозный бурьян». Все нужники заняты, и Ребекка терпеливо дожидается своей очереди.

Будочки служат местным жителям почти пятьсот лет – как и стоящая неподалеку водокачка.

К Ребекке присоединяется женщина постарше. Она одета почти так же, как Ребекка, голову облегает такой же простенький белый чепец. Ребекка улыбается ей как старой знакомой и произносит слова, которые в этих обстоятельствах можно счесть и условным знаком, исполненным глубокой важности, и дежурной фразой:

– Любви тебе, сестрица.

В ответ – те же три слова. Совершенно ясно, что на самом деле никакие они не сестры: больше женщины не произносят ни звука и даже не подходят друг к другу. Как видно, это не более чем обыденное приветствие, которым обмениваются соседи-единоверцы – что-то вроде «с добрым утром». Однако у квакеров такое приветствие не принято: на этот счет обычно безукоризненно осведомленный чиновник мистера Генри Аскью (кстати, именно сейчас стоящий у полуподвала вместе с Джонсом) ввел патрона в заблуждение.

Через четверть часа Джон Ли в поношенном черном сюртуке и шляпе без позумента, а с ним Ребекка выходят из подвала и направляются к двум ожидающим их мужчинам. Те не отворачиваются, не притворяются, будто заняты разговором, они стоят и смотрят на супругов. Долговязый чиновник чуть кривит губы в язвительной усмешке, всем видом показывая, что ему такие поручения не в новинку. Зато Джонсу явно не по себе. Кузнец приближается к ним, но Ребекка замирает на полпути. Она видит перед собой только Джонса, который, смущенно уставившись в разделяющую их канаву, неловко сдергивает шляпу.

– Вот, пришлось. Как договаривались.

Ребекка не сводит с него глаз и словно не узнает. Не испепеляет, а словно одним взглядом охватывает его целиком, и душу и тело. Потом опускает глаза и произносит ту же фразу, которая уже звучала сегодня у нужника:

– Любви тебе, брат.

Затем она быстро подходит к Джону Ли, который уже остановился и смотрит на пришельцев пристальным взглядом, выражающим что угодно, только не любовь. Ребекка притрагивается к его руке, и они идут дальше. Помедлив мгновение, Джонс и чиновник поворачиваются и следуют за

ними, как два лиса, выследившие беззащитного ягненка.

ДОПРОС И ПОКАЗАНИЯ РЕБЕККИ ЛИ,

Данные под присягою октября 14 числа, в десятый год правления Государя нашего Георга Второго, милостью Божией короля Великой Британии, Англии и прочая.

Я прозываюсь Ребекка Ли, в девичестве Хокнелл. Я старшая дочь Эймоса и Марты Хокнеллов. Родилась января пятого дня 1712 года в городе Бристоле.

Состою в браке с кузнецом Джоном Ли, имеющим жительство в городе Манчестере на Тоуд-лейн. До мая сего года была я простой лондонской проституткою и носила прозвище Фанни. Я беременна на шестом месяце.

В: Вам известно, для чего вас сюда призвали?

О: Известно.

В: И что я расследую исчезновение некого высокородного джентльмена, имевшее быть в мае сего года?

О: Да.

В: Не случилось ли вам за время, прошедшее с мая первого числа, иметь встречи с Его Милостью, получать от него известия либо вступать в иные с ним сношения?

О: Нет.

В: Не имеете ли вы верных либо гадательных сведений о его кончине, приключившейся от какой бы то ни было причины?

О: Не имею.

В: Можно ли то, что было сказано вами о Его Милости, отнести и до слуги его Дика? Или о его участи вам известно больше?

О: Нет.

В: Вы показываете под присягой.

О: Знаю.

В: Хорошо же, мистрис Ли, хорошо, праведница моя новоявленная. О вашем прошлом разговор впереди, теперь же мне желательно узнать, какая вы есть в настоящем. И ответы извольте давать под стать своему платью: простые, без причуд. Да удержитесь от напыщенных речей о божественных предметах, а то я не посмотрю на ваш раздутый живот. Понятно ли?

О: Свидетель мне Иисус.

В: Добро. И предупреждаю: помните, что передо мной показания Джонса, где говорится о вас. А равно и показания бывшей вашей хозяйки и многих других. Итак, в который день мая приехали вы сюда из Бристоля?

О: В двенадцатый.

В: И нашли своих родителей?

О: Да.

В: И они простили ваше прегрешение?

О: Бог милостив.

В: И вы открыли им, чем промышляли во время своего отсутствия?

О: Да.

В: И они от вас не отвернулись?

О: Нет.

В: Отчего так? Или они свою веру худо хранят?

О: Очень хорошо, потому и простили.

В: Этого я понять не умею.

О: Кто от чистого сердца покался, от того они не отвернутся.

В: А разве прежде они от вас не отвернулись, не выгнали из дому?

О: Это потому, что я тогда была распутна и каялась не от чистого сердца. Вот и избрала себе потом такой промысел. Теперь я вижу: они были правы.

В: Стало быть, вы открыли им все? И то, что случилось в Девоншире перед вашим возвращением?

О: Нет, об этом умолчала.

В: Отчего?

О: Там я никакого греха не совершала, потому и не стала тревожить их понапрасну.

В: Вы главная свидетельница и пособница гнусных и безбожных преступлений – и вас это ничуть не тревожит? Что не отвечаете?

О: Это не преступления.

В: А я говорю – преступления. И вы им потворствовали и споспешествовали.

О: Не правда.

В: Осмелитесь отрицать то, что доказано?

О: Осмелюсь, раз меня делают без вины виноватой. Есть и повыше тебя законник. Думаешь, Иисус такой негодный весовщик, что не измерит вес искреннего раскаяния в душе человеческой? Низко ты Его ставишь. Скоро весь свет узрит величие Его.

В: Молчать! Придержи язык! Кому тыкаешь?

О: Таков наш обычай. Так должно.

В: Знать не хочу, что там тебе должно.

О: Это не от непочтительности. Все мы братья и сестры во Христе.

В: Молчать!

О: Но это правда. Пусть не в звании, но в этом мы равны. Вольно тебе корить меня за то, что я радею о своем праве и слове Божиим.

В: Твое право, слово Божие! Вишь, проповедница выискалась!

О: Они суть нераздельны. Кто отбирает у меня мое право, тот обирает Христа.

В: Какие у тебя, отъявленной потаскухи, права! Дурак бы я был, когда бы поверил в твое новообретенное благочестие. По глазам видно, что бесстыжая шлюха да еще и горда этим.

О: Я больше не блудница. Тебе ли не знать – ведь ты все про меня разведал. Один Иисус мне и господин и госпожа. И горда я лишь тем, что сподобилась служить Ему.

В: И это вся цена, какую ты заплатила за отпущение грехов? Право, недорого – как в Риме <нарек на торговлю индульгенциями>.

О: Ты незнаком с нашим учением. Каждый вздох мой вплоть до последнего исполнен покаяния. Иначе я умножаю свои грехи.

В: Не познакомиться бы тебе с плетью, если станешь и дальше потчевать меня своим святошеством.

О: Я не хотела тебя уязвить.

В: Ну так умерь наглость.

О: В доме терпимости я поняла: кто обходится с нами, ровно с лошадьми или собаками, тот себе вредит, те же, кто добрее, уходили утешенными.

В: Уж не должен ли я перед тобой кланяться да расшаркиваться? А может, прикажете величать вас «мадам», в карету под ручку подсаживать?

О: Хмурься и бушуй, сколько заблагорассудится. Я-то знаю, что злоба твоя не столько от души, сколько для вида.

В: Она, извольте видеть, знает!

О: Да, это так. Полно, не гневайся. Я не в первый раз имею дело со стряпчим, да и судей навидалась. Знаю: сердце у них не камень. Но ни один не бранивал меня за то, что я оставила путь порока. Точно было бы лучше, чтобы я снова сделалась блудницей.

В: Диво, если после таких проповедей они ложились с тобой в постель в другой раз.

О: Тем досаднее, что я не говорила им проповедей.

В: Вижу, отец напичкал тебя своим ядом.

О: И отец, и мать. Она тоже живет во Христе.

В: И похоже, презирует чины и звания мирские и законы учтивости?

О: Да, если чины, звания и учтивость мешают нам вольно исповедовать свою веру.

В: Это не дает тебе права вольничать в своих ответах.

О: Так перестань поносить мою веру.

В: Мы даром теряем время. Мне желательно узнать о вашем замужестве.

Когда вы поженились?

О: Второго августа.

В: Муж тоже из вашей общины?

О: Мы больше не квакеры. Он пророк.

В: Какого рода пророк?

О: Французский пророк. Он исповедует учение тех, кто переселились к нам из Франции пятьдесят лет назад. Иные называют их «белыми блузами».

В: А, камизары <участники протестантского восстания, происшедшего во Франции в 1702-1715 гг.; получили название от своей одежды – полотняных блуз (лат. *camisa*)>. Неужто они еще не перевелись?

О: Нам, как и им, было пророчество о скором пришествии Христа. Нас таких человек сорок с лишком.

В: Стало быть, ваш муж природный француз?

О: Нет, англичанин.

В: И ваши родители тоже подались в пророки?

О: Да. То же и мой дядя Джон Хокнелл. Он приятель брата Джеймса Уордли, нашего старейшины и вероучителя.

В: Не довольно показалось квакерских причуд?

О: Зато теперь я точно знаю, что новое пришествие близко. Но хулить «друзей» не стану. Добрые они люди.

В: Мужу было известно о вашем позоре?

О: Да.

В: И что он идет к алтарю, украсившись рогами, тоже известно? Знал он, что вы имеете во чреве?

О: Не рогами он себя украсил, но христианским милосердием.

В: Воистину святой пророк. Попросту говоря, он взял вас из жалости?

О: И по совершенной любви. И Иисус сказал: «Я не осуждаю тебя» <слова Иисуса, обращенные к женщине, обвиненной в прелюбодеянии (Иоанн, 8,11)>.

В: Не вы ли уверили Джонса, что о замужестве не помышляете?

О: Тогда я еще не ведала, что ношу дитя.

В: Выходит, вы затеяли учинить этот брак ради своего ублюдка?

О: Ради спасения его души. Или ее души, если это девочка. И своей тоже.

В: Истинный это брак или только по форме, не скрепленный должным соединением?

О: Я не понимаю, про что это.

В: Муж имеет с вами плотское соитие?

О: Он на свою участь не жалуется.

В: Это не ответ. Извольте ответить: имеет или не имеет? Что не отвечаете?

О: Совесть не позволяет.

В: Нет, я непременно должен узнать.

О: Только не от меня. И не от мужа. Он дожидается на улице. Хочешь – призови сюда. Он все равно не скажет.

В: Опять за дерзости? Вы обязаны мне ответить.

О: О Его Милости спрашивай что угодно: на все отвечу. Но об этом – нет.

В: Остается заключить, что бедный простофиля взял над вами попечение, но к постели вашей не допущен.

О: Думай что хочешь. Что недостойнее: мое запирательство или твои нескромные вопросы о том, что до тебя не касается? О прошлом своем я готова рассказать все: той нечистивице, какой я была, такое наказание впору. Какова же я теперь – до этого ни тебе, ни какому другому мужчине нужды нет.

В: От кого этот ублюдок?

О: От слуги Его Милости.

В: Верно ли?

О: Во весь тот месяц мной больше никто не обладал.

В: Ой ли? Чтобы публичная девка – и ни с кем больше не спала?

О: У меня были регулы, месячные, а потом я оставила бордель и уж ни с кем, кроме как с Диком, не сходилась.

В: Разве Его Милость вы не удовлетворяли?

О: Нет.

В: Что это еще за «нет»? Ведь он вас нанял.

О: Не для такой надобности.

В: А сам дьявол в Девонширской пещере? С ним вы разве не спознались?

Что молчите? Так показал Джонс, притом с ваших, как он уверяет, слов.

О: Я рассказала ему такое, что могла вместить его вера.

В: Но не то, что произошло въявь?

О: Нет.

В: Солгали?

О: Да. В этом – солгала.

В: Для какой нужды?

О: Чтобы удержаться от дальнейших вопросов. И чтобы сделаться такой, какой я теперь сделалась – послушной дочерью и доброй христианкой. Больше поэтому.

В: И вы не подумали о близких Его Милости, которые уже отчаялись увидеть его живым?

О: Жалею об их горе и их неведении.

В: Не вы ли тому причиной?

О: Тому причиной воля Всевышнего.

В: А разве прощает Он тех, кто без зазрения совести пренебрегает христианским долгом? Отвечай.

О: Отчего же не ответить. Если кто утаит правду, которой все равно не дали бы веры, такого человека Он простит.

В: Что же это за не правдоподобная правда такая?

О: Ее-то я и пришла тебе открыть. Увидим, согласишься ли ты.

В: Увидим, сударыня, увидим. Но если не поверю, берегись. И ведь не поверю, когда станешь опять хитрить да изворачиваться. Итак, точно ли вам ничего не ведомо об участии того, кто зачал этот сгусток мяса у вас во чреве, – о Дике?

О: Истинно так.

В: И вы подтверждаете это под присягой?

О: Подтверждаю.

В: Так я вам расскажу. Он мертв.

О: Мертв?

В: Наложил на себя руки, найден удушенным в трех милях от того места, где вы с ним расстались.

О: Я не знала.

В: И больше вам прибавить нечего?

О: Господи Иисусе Христе, прости его душу грешную.

В: Подите вы с молитвами. Так вы говорите, не знали?

О: В последний раз я видела его живым.

В: Не писал ли к вам Джонс после вашего расставания в Бидефорде?

О: Нет.

В: А иные лица из числа ваших бывших знакомцев не давали о себе

весточки?

О: Вот только Клейборн.

В: Клейборн? Вот так так. Она под присягой показывала, что не знает, где вас искать.

О: Стало быть, солгала. А сама подослала сюда своего присного. Есть у нее такой Иркулес Скиннер. Числится лакеем, а на деле головорез.

В: Проставьте так: «Геркулес». Когда он сюда заявился?

О: В конце июня.

В: Что же, показал он, что недаром прозывается Геркулесом? Вздумал поди увести вас силком?

О: Хотел было, да я подняла крик. Тут прибежал муж и сбил его с ног. А потом я пошла к брату Уордли – он грамоте знает – и просила написать Скиннеровой хозяйке, что я всем про нее рассказала, и если со мной случится беда, то ей мои слезы отольются.

В: С той поры она вас не тревожила?

О: Нет.

В: Завидные, видать, кулаки у вашего мужа – не в пример его умению выбирать жену. Где он нынче работает?

О: Где придется. Он работает на пару с моим дядей, как и мой отец. Куют решетки и задники для каминов, сами и прилаживают. А полки каминные – это по отцовой части: он у нас плотник. Мастера искусные, а вот работу им дают неохотно – из-за нашей веры.

В: Так вы бедствуете?

О: На жизнь хватает. У нас говорят, что всякий верующий должен получить свою долю от мирских благ. Мы и живем по этому правилу: кто богаче, делится с тем, кто беднее.

В: А теперь, мистрис Ли, извольте рассказать про ту роль, которую вам выпало представлять в апреле сего года, не упуская ни единой сцены. Когда Его Милость впервые пожаловал к вам в заведение Клейборн?

О: Около начала месяца. Числа не помню.

В: Прежде вы его видали? Хоть где-нибудь?

О: Нет. Его привел лорд Б.

В: Вы знали, кто он таков?

О: В первый раз нет. Но скоро узнала.

В: От кого?

О: Клейборниха взялась у меня о нем выпытывать. А как я рассказала, она и открыла, кто он есть.

В: Что она еще о нем говорила?

О: Что его не худо бы пообщипать. И велела мне привязать его к себе

покрепче.

В: Ну а Его Милость? Находил он приятность в постельных шалостях?

О: Ничего этого между нами не было.

В: Как не было?

О: Едва мы вошли ко мне в комнату и я потянулась его обнять, от отвел мою руку и объявил, что все мои старания будут напрасны. И что он пошел со мной лишь затем, чтобы не попасть на зубок лорду Б. И прибавил, что хорошо заплатит за молчание.

В: И вы не пустили в ход свои хваленые уловки и кунштюки?

О: Нет.

В: Вас это не удивило?

О: Я много знала таких примеров.

В: Неужто?

О: Да. Правда, мало кто делал такое признание с порога, наперед не попробовав. Кто мог, покупал наше молчание, а иные покупали даже похвалы.

В: Похвалы их удалству?

О: Был у них такой обычай при расставании. Да мы их и сами из корысти наущали. А между собой посмеивались: «Кто похвальбой берет, тот к делу не льнет». Сдается мне, что такое не только в борделях водится.

В: Очень мне надо выслушивать твои бордельные прибаутки.

О: Это больше истина, чем прибаутка.

В: Довольно. Итак, он не пожелал или не смог. Что было дальше?

О: Его Милость поставил себя со мной учтиво. Он рассказал, что лорд Б. очень меня нахваливает. А потом стал расспрашивать про мою распутную жизнь и любопытствовал, по нраву ли мне это занятие.

В: Он держался без стеснения или робел?

О: Как будто это все ему в диковину. Уговариваю лечь рядом – отказывается, даже сесть не захотел. Потом все-таки присел на краешек кровати и рассказал немного про себя. Что никогда еще не знал женщины, и эта мысль причиняет ему душевное сокрушение. И еще он терзается оттого, что принужден это скрывать от родных и друзей. И что он отверг уже несколько выгодных партий и домашние не оставляют его попреками, потому что он в семье младший сын и больших надежд иметь не может. Мне сдается, он был огорчен много сильнее, чем показывал. Говорит и отворачивается, точно от стыда, что некому и душу излить, кроме такой, как я.

В: Что же вы на это?

О: Я, как могла, стала утешать. Сказала, что он еще молод: мало ли я

знавала мужчин в таком же положении, а теперь все при них. Отчего бы нам теперь же не сделать испытание? Но он и слушать не захотел. Вдруг вскочил с кровати и, когда я пыталась его вновь усадить, сказал: «Довольно. Оставь меня», – будто досадует на мою неотвязчивость. И тотчас бросился просить прощения и уверять, что виной всему не моя неискусность, что я честно употребила все свое старание, что надо быть мраморной статуей, чтобы не растаять от таких поцелуев и много чего еще. А под конец сказал, что, если у меня достанет терпения, он бы не прочь еще раз испытать себя при следующем свидании через два дня, а то в этот раз он должно быть насадил душу в ожидании, ибо не знал ни меня, ни обычаев этого места; теперь же его опасения улеглись, и он уверился в моих прелестях, пусть и не имел еще случая узнать их близко. Вот и все.

В: Вы уговорились о втором свидании?

О: Да.

В: Он расплатился?

О: Перед уходом швырнул на кровать несколько гиней.

В: Мне желательно узнать следующее: были ли эти расспросы и любезности несходны с повадками прочих сладострастников при подобных свиданиях?

О: Нет.

В: Разве не в обычае у джентльменов, получив удовольствие, незамедлительно от вас уходить?

О: Бывают и такие, но много больше получают удовольствие и от нашего общества. Поговаривают, что таких приятных бесед, как у Клейборн, во всем Лондоне не ведется. Девиц, которые только в постели речисты, она у себя не держит.

В: Так вам и другие особы делали признания в этом роде?

О: Всяк на свой лад. Иную тайну они и жене поверить не решатся, а перед нами, прости Господи, можно не таиться.

В: Добро. Пришел ли он к вам в другой раз?

О: Пришел.

В: И что же?

О: То же самое и повторилось: не захотел он меня. И тут он объявил свое желание, чтобы этим делом, которое никак ему не дается, занялся со мной его слуга, а он тем временем станет на нас любоваться. Он только боялся, как бы я не отказала, посчитав эту прихоть непонятной и ни с чем не сообразной, и потому с готовностью обещал мне хорошее награждение.

В: Не делал ли он такого предложения при первом вашем свидании?

О: Нет. Точно помню – нет. В этот же раз он подвел меня к окну и

показал Дика, который дожидался на улице.

В: Что вы ответили?

О: Поначалу я воспротивилась и объяснила, что нанята для улаждения Его Милости, а не слуги его. Мистрис Клейборн нипочем не разрешит: у нее на этот счет строго. Тогда он заметно приуныл, как будто лишился последней надежды. Слово за слово, и он открыл мне, что кроме прочего задумал испробовать это средство по совету одного ученого врача. Мне же помыслилось, что эти резоны придуманы лишь для того, чтобы меня уломать. И все же было ясно, что он непритворно моим отказом огорчен. Жаль мне его стало, и я снова принялась упрашивать его прилечь рядом. И опять он не пожелал, а вместо этого пристал ко мне с уговорами. Рассказал кое-что и про Дика: что хоть наружностью и званием они несхожи, но Дик ему как родной брат, они и родились в один день.

В: Вы не почли это за странность?

О: Воистину так, но этому рассказу я поверила больше, чем истории про врачей. Только должна тебе сказать, что после узнала про них нечто куда более странное. Свет не видал таких людей, которые были бы столь же различны меж собой, однако душа у них была едина. Как мужчина и женщина: чем обделен один, тем наделен другой, даром что оба мужчины. Хоть и от разных матерей, а ровно братья единопутробные.

В: Об этом успеется. Словом, он убедил вас исполнить его причуду?

О: Не вдруг, а лишь в третье посещение: он пришел ко мне еще раз.

Теперь я признаюсь тебе в том, что утаила от Джонса. Хочешь верь, хочешь не верь, а только это чистая правда. Ты, должно быть, видишь во мне отъявленную блудницу. Спору нет, я и вправду была такой. Господи Иисусе, прости мою душу грешную. Да, я была великой грешницей, и сердце мое ожесточилось и сделалось тверже камня. Ожесточилось, но не омертвело – не вовсе омертвело, ибо совесть шептала мне, что я грешна и нет мне прощения.

Сестры мои, служившие в этом доме, почти все были слепы, они не ведали, что творят. Я же все понимала. Я видела, что этот путь ведет в ад и у меня нет иных причин следовать этой стезей, кроме своего упорства в грехе – а это причина вовсе не извинительная. Одни грешат оттого, что находят в этом удовольствие, другие – такие, как мы, – еще хуже: они грешат, самый этот грех ненавидя. Не своей охотой, а как бы по обязанности: так раб покорствуется воле хозяина, хотя и хозяин и воля его ему постылы. Я тебе это объясняю с тем, чтобы показать, в каких путях я пребывала, когда появился Его Милость. Оттого и грешила я так бесстыдно, что душа моя влеклась прочь от греха. И чем больше я в мыслях

прилеплялась к благочестию, тем отчаяннее грешила. Вспомни: ведь мы, женщины, с молодых ногтей приучены исполнять волю мужчины. Мужчины, верно, скажут, что это Ева заманивает их в блудилище. Но кто удерживает их в блудилище, как не Адам?

В: Много есть и таких, кого Адам побуждает блюсти себя в чистоте. Избавь меня от пустословия.

О: То-то ты глаза прячешь; знаешь, стало быть, что я права. Как узнала я Его Милость, так и поняла: вот он, ключ от моей темницы. И взыграло во мне великое желание переменить свою жизнь. Когда же он открыл мне свое намерение увезти меня на запад, в мои родные края, сердце мое затрепетало и снова просиял мне свет надежды, и я догадалась, что теперь имею способ бежать из этого места.

В: Иными словами, вы решили, что бы ни случилось, к Клейборн не возвращаться?

О: Да.

В: И от греха отступиться?

О: Я тебе расскажу, от чего я хотела освободиться больше всего. К бесконечному стыду моему, мне надлежало в угождение самым распутным изображать добродетельную девицу, чтобы они имели особую приятность от своей победы. А в помощь моему притворству мне давали Священное Писание, и те, кому я служила, имели случай показать, как они не веруют в Бога и глумятся над словом Божиим. Ибо в самый тот миг, как им мною овладеть, я воздевала Библию, как бы заклиная их остановиться, им же полагалось вырвать ее у меня и отшвырнуть прочь. И хотя, сохраняя в душе последние крупички совести, я понимала, что совершаю мерзейшее святотатство, но так велела Клейборниха, а с ней не поспоришь. В эту-то пору и принялась я в минуты одиночества постигать букву священной книги, которую давала на поругание.

В: Что вы разумеете – «постигать букву»?

О: Ну, грамоту постигать – разбирать, про что написано. Мне это давалось легко: кое-что оттуда я еще в прежние годы запомнила с голоса, когда при мне читали или вели об этих предметах беседы. Да только к тому времени я уже много лет, прости Господи, ни чтения, ни таких бесед не слыхала. Но Господь и тут меня не оставил, и чем больше я читала, тем больше просветлялся мой ум; я стала понимать, что совершаю великий грех, что делами своими как бы распинаю Его сызнова. И все же я не находила в себе довольно сил исполнить то, что мне надлежит – а что мне надлежит исполнить, я с каждым новым своим блудодейством видела все яснее и яснее.

Больно уж дорожила я мирскими благами и вечно отлагала исполнение должного на завтра. Но знай, что это с каждым днем причиняло мне все горшие мучения, как ссадина или гнойник на совести, который, если не вскрыть, может сделаться причиной смерти.

В: А не сказывала ты Его Милости про тот гнойник, что свербит меж твоих вечно раздвинутых ляжек?

О: Нет.

В: Хорошо. Довольно о нежных чувствах. Какой он выставил предлог для путешествия?

О: Первое – давешняя его просьба касательно меня и Дика: исполнять ее вдали от борделя будет много удобнее. Потом он сказал, что желает испробовать на себе новые воды, которые, слышно, приносят исцеление людям с таким изъязом. Там мы сможем испытать враз оба средства.

В: Не называл он эти воды?

О: Нет. Потом он прибавил, что отец и все его домашние, видя, как старательно он уклоняется от женитьбы, заподозрили худшее и учинили за ним тайный присмотр. Так что если мы пустимся в путь в своем истинном виде, за нами, не приведи Господи, увяжутся отцовы соглядатаи. Но он уже все обмыслил и нашел способ.

В: А именно?

О: Выдумка про увоз невесты. Мне же следовало выдать себя за горничную, которая едет пособлять ему в этом обманном замысле.

В: Так ли он представил эту затею Клейборн?

О: Нет, ей было сказано, что Его Милость отправляется на празднество в Оксфордшир и берет меня с собой. И будто бы каждый гость привезет туда по такой же девице.

В: И за это он положил ей изрядное вознаграждение, не так ли? Не обещал ли он наградить тебя еще щедрее?

О: Он обещал, что я не пожалею об этом обмане, и мне вообразилось, что дело идет о добрых барышах. Но все обернулось иначе. Ей-богу, я и не подозревала, какую награду он сулит.

В: Вы думали, он разумеет деньги?

О: Да.

В: Что же он разумел на самом деле?

О: Что я сделаюсь такой, какая я теперь.

В: Должен ли я понимать, что вы сделали такой стараниями Его Милости?

О: Дальше сам увидишь.

В: Добро. Но сперва проясним одно обстоятельство. Он не определил,

какую награду получите вы за труды?

О: Нет.

В: А сами вы не спрашивали?

О: Не спрашивала. Он давал мне способ бежать – может ли быть награда больше этой? А деньги за блуд – мне они не надобны.

В: Не подало ли вам такое нагромождение обмана каких-либо подозрений?

О: Что ж, тут и правда было отчего встревожиться, но я тогда в размышление не входила. Я видела лишь, что эта затея мне на руку. И даже потом, когда мною помыкали и делали мне обиды, я утешалась тем, что этой ценой доставляю себе случай переменить свою участь и очистить душу от скверны.

В: Не имели вы до приезда в Эймсбери подозрений, что Его Милость ложно представил вам самую цель путешествия?

О: Ничего похожего.

В: Побуждал ли он вас решиться на это путешествие? И что он для этого употреблял: уговоры или угрозы?

О: Побуждать побуждал, но силком не тащил. Я открыла ему, что скоро у меня регулы, и он согласился, что до их окончания нам лучше не трогаться с места.

В: Вы разумеете, что срок отъезда зависел не более как от ваших месячных?

О: Да.

В: Не с тем ли он был выбран расчетом, чтобы в первое число мая вы оказались в Девоншире?

О: Я про такой расчет не слыхала.

В: Теперь, сударыня, вот что. Верно ли, что особы вашего ремесла, много преуспевшие в этом развратном городе, только и мечтают оставить блудилище и перебраться на содержание к знатному господину, который станет их употреблять для своей лишь утехы?

О: Делали мне такие предложения. Но я не пошла.

В: Что так?

О: Таких у нас прозвали «партизанщина», а сами мы почитались строевой командой. А из борделя нам ходу не было: Клейборн никого на волю не отпускала.

В: Или те, кто вас сманивал, были недостаточно могущественны, что не могли вас защитить?

О: Ты никогда не жил в этом мире антихриста. Она грозилась, что и в аду нас сыщут. И сыскала бы, чертовка.

В: Однако с Его Милостью она вас отпустила?
О: От золота и железо тает.
В: Он был так щедр, что она не устояла?
О: Думаю, щедрее, чем она мне представила.
В: Сколько она вам назвала?
О: Две сотни гиней.
В: Не сказывали вы Клейборн или своим товаркам или еще кому-нибудь в доме про недуг Его Милости?
О: Ни звука.
В: Куда он вас отвез сразу по выходе из блудилища?
О: На Монмут-стрит, что в приходе святого Эгидия. Купить мне у старьевщика платье, в каких ходят крестьянки.
В: Его Милость сам вас доставил?
О: Нет, меня, как было условлено, отвез Дик в закрытом экипаже. Экипаж наемный, без герба. А оттуда – за город, в Чизик. Там, в летнем домике, Его Милость меня и ожидал.
В: В какое время дня это происходило?
О: Ближе к вечеру. Когда мы добрались до места, шел седьмой час.
В: И каков вам показался Дик при первом знакомстве?
О: Я его толком не разглядела. Он сидел не со мной, а с кучером на козлах.
В: Какой прием нашли вы в Чизике?
О: Его Милость, похоже, моему приезду обрадовался. Ужин был уже приготовлен.
В: Не было ли в доме иных персон?
О: Старушка, что подавала на стол. Только она рта не раскрыла. Помню, принесла ужин и удалилась, и больше я ее не видела. Поутру, когда мы уезжали, она тоже не показывалась.
В: Что еще произошло в тот вечер?
О: То, про что был уговор. Касательно Дика.
В: И Его Милость наблюдал?
О: Да.
В: От начала до конца?
О: Да.
В: Где это было?
О: В верхних покоях.
В: И что же, произвело это чаемое действие?
О: Не знаю.
В: А сам Его Милость не сказывал?

О: Нет. Ни слова. Как только все совершилось, он вышел.
В: И нисколько не распалился?
О: Я же сказала – не знаю.
В: А по видимости – не догадались?
О: Нет.
В: Не случалось ли вам прежде выполнять такое перед публикой?
О: Случалось, прости Господи.
В: Что было дальше?
О: Это до тебя не касается.
В: Извольте отвечать. Можно ли было заключить по поступкам Его Милости, что его при этом зрелище разобрала похоть?
О: Нет.
В: Хорошо. А Дик?
О: Что Дик?
В: Будет вам, мистрис Ли. С вашей-то опытностью в таких делах. Все ли он исполнил настоящим образом? Что молчите?
О: Все исполнил.
В: Настоящим образом?
О: Сдается мне, что он никогда до той поры женщины не знал.
В: Не жаловался ли Его Милость при последующих оказиях, что вы его плохо сдерживаете?
О: Жаловался.
В: Что же вы на это?
О: Что он зелен как трава. Не успеет взлезть, как уж и слазит – вот тебе еще одна бордельная прибаутка.
В: Однако после вы вновь возымели охоту с ним порезвиться, разве не так?
О: Это я из жалости.
В: Ваши спутники показывали другое.
О: Пусть их. Велика беда, что я обласкала горемыку, который так маялся от своих природных изъянов. Все равно я была тогда блудницей. Грехом больше, грехом меньше.
В: Он знал про ваше занятие?
О: Я от него видела не такое обращение.
В: Какое же?
О: Другие смотрели на меня больше как на плоть, для их утехы купленную, а этот почитал своей подругой, своей любезной.
В: Из чего вы это вывели? Он ведь не говорил и не слышал.
О: Не все же люди словами изъясняются. Он, к примеру, не переносил,

когда я беседовала с Джонсом. А как он на меня глядел: женщины такие взгляды очень хорошо понимают. И угождал мне как только мог.

В: И на глазах Его Милости тоже угождал? Не изъявил ли он тем свое к вам презрение? Разве истинно любящие не погнушались бы обращать свои любовные улады к такой низости?

О: Я же говорю: он был не такой, как все. Он так мало знал свет, точно прежде жил на Луне, а в этом мире не умеет шагу ступить без водительства Его Милости. Не сказывала ли я тебе, что меж ними была такая близость, что они обходились без слов? Мне почти воображалось, что хоть Его Милость и бежит моего прикосновения, а все же услаждается моими ласками: ему передается наслаждение Дика.

В: В то утро, когда вы отбыли из Чизика, были вы предуведомлены, что в путешествии вас будут сопровождать еще спутники?

О: Его Милость накануне вечером сказывал, что на завтра к нам присоединятся еще двое, мистер Браун и его человек. Мистер Браун станет выдавать себя за негоцианта из Сити, а по правде он тот самый врач. Но Его Милость велел мне и вида не показывать, что мне это известно. Я и не показывала. А на самом деле я видала его в театре два месяца назад, лицо и голос запомнила, вот только имя запаматовала. В тот же день в пути ко мне подъехал Джонс, и я по его нехитрым обинякам догадалась, что он подозревает меня в притворстве. Я перепугалась и при первом удобном случае рассказала Его Милости, что меня, кажется, разоблачили.

В: Что же он?

О: Велел таиться и дальше, а пристанут – огрызаться.

В: Он не растерялся, не встревожился, не показал еще каких-либо чувств?

О: Бровью не повел. Сказал, что все мы не то, чем кажемся. И что если Джонс вновь станет мне докучать, чтобы я ему донесла.

В: Не открыли вы ему, что также узнали мистера Брауна?

О: Нет. Потому что, правду сказать, чем дальше мы были от Лондона, тем отраднее делалось у меня на сердце. Точно я покинула Содом и Бристоль был мне Сионом. Я вот как рассуждала: раз Его Милость меня обманывает, тем легче будет и мне, выждав удобного часа, его обмануть. А до той поры благоразумнее помалкивать.

В: Хорошо. Теперь о ночлеге в Бейзингстоке. Его Милость заставил вас исполнить то же, что и прежде?

О: Да.

В: Где это происходило?

О: В его покое.

В: А сам наблюдал?

О: Он нашел, что все совершилось чересчур скоро. И винил меня.

В: Он выговаривал вам при Дике?

О: Нет, Дика он отослал.

В: Его Милость был разгневан?

О: Он имел такой вид, словно мнил себя одураченным.

В: Ваша хваленая сноровка его разочаровала?

О: Не знай я его, подумала бы, что судит искушенный распутник.

В: Вы пробовали оправдаться?

О: Только так, как я сказывала: что Дик еще зелен и удержу не знает.

В: Что же отвечал Его Милость?

О: Что теперь я в его власти и, если не отработаю сполна, он меня так приструнит – куда Клейборнихе.

В: Точно ли он такое сказал?

О: Точно.

В: И что вы на это?

О: Я ничего. Приняла на себя смиренный вид, но в душе не смирилась. Мне подумалось, что он ко мне очень переменялся. Сам же видел, что вытворяет Дик: наскочил на меня, как животное неразумная, будто ни о чем другом и думать не может – как такого удержишь? Так что напрасно Его Милость меня виноватит. Но это мне тогда так казалось, нынче я знаю, что на самом деле он желал мне добра. А прежде я этого не понимала.

В: Что значит «желал добра»?

О: В свое время объясню.

В: Я хочу услышать теперь же.

О: Нет. Все в свой черед – как в Библии. Как у нас говорят, «одним махом все снопы не вымолотишь». Дослушай до конца – вот и узнаешь, как обернулось дело.

В: Ночью Дик втихомолку прокрался к вам?

О: Да.

В: И вы ему не отказали?

О: Не отказала.

В: При том, что он был ничем не лучше неразумного животного?

О: Потому и не отказала. У него все же достало разума понять, что просить о таком он не вправе. Знал бы ты, мистер Аскью, сколько лордов и герцогов у меня перебивало. Да что герцоги – принц крови захаживал. Но ни один не приступал ко мне так, как Дик: опустился перед кроватью на колени, склонил голову на покрывало, будто дитя, и ждет, какова будет моя воля, а не норовит приневолить, как другие. Ты, верно, скажешь, раз меня

купили, то у меня и воли своей нету, что блуднице не положено.

В: Я скажу, что ты изрядно искусилась в проклятом суемудрии.

О: Вот уж нет. Просто ты выучен одной грамоте, а я другой – только и всего. И я должна читать по своей. Сказать ли, почему я сжалась над Диком? В этом не было ни любви, ни похоти.

В: Всю ту ночь вы провели вместе?

О: Так и заснули. А когда я пробудилась, его уже рядом не было.

В: То же и на другую ночь?

О: На другую – нет. Лишь на третью.

В: Расскажите о той другой ночи, в Эймсбери. Были вы предуведомлены о том, что должно там произойти?

О: Только по приезде. Или нет, позже: в восемь часов или в начале девятого. Мы уже отужинали, и я дожидалась у себя в комнате. И тут явился Дик с приказанием идти к Его Милости и захватить с собой епанчу. Я не знала, какая тому могла быть причина, и встревожилась. А когда вошла к Его Милости, он объявил, что ночью мы в великой тайне отъедем с постоянного двора. И тогда я встревожилась еще пуще и спросила, для какой надобности, но он вместо ответа, как и в прошлую ночь, отрезал, что я нанята исполнять его приказы.

В: Во весь тот день он к вам не обращался?

О: Ни разу. Это прежде все выходило, что он мне обязан. Тогда он держался со мной довольно обходительно, благодарил за соучастие в его затее. А теперь отчитывал, как господин нерадивую служанку – хоть по грехам моим я это и заслужила. Потом дозволил поспать у него на кровати, пока не разбудят. Я прилегла, да только от страха сон все не шел. С горем пополам вздремнула, а там и разбудили.

В: Чем был занят все это время Его Милость?

О: Сидел у камина, доставал из сундука бумаги и читал.

В: А Дик?

О: Он удалился, не знаю куда. Потом воротился. Он-то меня и разбудил.

В: Когда вас разбудили?

О: В полночь. На постоялом дворе было тихо, все спали.

В: Что дальше?

Ребекка Ли не отвечает. И впервые за время допроса опускает глаза.

Стряпчий повторяет:

– Что же было дальше?

– Сделай милость, вели подать мне воды. Голос не слушается.

Аскью смотрит на нее долгим взглядом и, не отрывая от нее глаз, приказывает писцу, сидящему в конце стола:

– Воды.

Писец откладывает карандаш (сейчас он вопреки обыкновению пишет карандашом, а не пером) и тихо выходит. Коротышка-стряпчий в задумчивости разглядывает Ребекку, все так же по-птичьи склонив голову. За его спиной тянется внушительный ряд высоких окон, а Ребекка сидит лицом к свету. Она поднимает глаза и смотрит на него в упор:

– Благодарствую.

Аскью молчит и даже не кивнет в ответ. Он изучает ее не одними глазами, а как бы всем своим существом. Стряпчий явно хочет ее обескуражить, показать, что не верит в искренность этой подозрительно неуместной просьбы. Этот пристальный взгляд говорит о его воспитании, положении, житейском опыте и знании человеческой природы. Отчасти такое разглядывание – один из давно выработанных приемов и уловок, к которым он прибегает при допросах трудных свидетелей и которые, как и его высокомерные наскоки, имеют целью придать важность его тщедушной фигурке. Ребекка с удивительной стойкостью выдерживает этот взгляд – как и в продолжение всего допроса. В остальном ее вид выражает полное смирение: простенькое строгое платье, чепец, руки сложены на коленях. При этом, отвечая на вопросы, она ни разу не опустила голову, не отвела глаза. Юрист нашего времени поневоле восхитился бы тем, что свидетель держится так открыто, однако Аскью далек от восхищения. Манеры Ребекки лишний раз подтверждают его давнее убеждение, что мир катится в пропасть: люди низкого звания совсем стыд потеряли. Тут мы опять сталкиваемся с подспудной *idée resue* <расхожая идея (фр.)> той эпохи: перемены означают не прогресс, а (по выражению человека, которому было суждено родиться годом позже) упадок и крах <имеется в виду название труда английского историка античности Эдварда Гиббона (1737-1794) «Упадок и крах Римской империи»>.

Неожиданно Аскью поднимается, подходит к окну и устремляет взгляд на улицу. Ребекка смотрит ему в спину, затем опускает глаза и дожидается, когда ей подадут воды. Вернувшийся наконец чиновник ставит перед ней кружку. Ребекка пьет. Аскью даже головы не поворачивает, он сосредоточенно разглядывает площадь под окнами гостиницы, многочисленные лавки, выстроившиеся посреди площади лотки, оживленную толчею: все, что происходит в комнате, сопровождается несущимся с площади гомоном. Аскью уже заметил троих мужчин, которые замерли на углу улицы, выходящей на площадь. Они стоят как раз

напротив окон и не сводят глаз со стряпчего, не обращая внимания на толчки спешащих прохожих. По их небогатой одежде и шляпам Аскью успел догадаться, что это за люди, но тут же словно утратил к ним интерес.

Теперь он наблюдает за какой-то дамой и ее дочерью. Сразу видно, что они принадлежат к знатной и почтенной фамилии: на них модное выходное платье, путь им расчищает высокий лакей в ливрее. Он несет корзину с покупками и бесцеремонно машет свободной рукой, разгоняя замешкавшихся прохожих. Те с готовностью расступаются. Кто-то прикасается к шляпе, кто-то отвешивает поклон, но дамы на приветствия не отвечают. Аскью провожает их глазами, но размышляет совсем не о них. Дамы – особенно молодая: самоуверенная жеманница – своим видом напомнили ему о прочитанном недавно литературном произведении. Оно появилось в августовском выпуске «Журнала для джентльменов» за подписью Р.Н. Скрывшийся под этими инициалами сатирик и явный женоненавистник, по всей видимости, относился к породе *abbe mondain* <моралист – букв, «светский аббат» (фр.)> английской церкви. Вот это произведение, написанное в форме вопросов и ответов – ну чем не допрос, который Ребекка только что прервала своею просьбой.

Произведение показывает, что и более благополучные особы ее пола имели представление о ее прежнем образе жизни. Легко убедиться, как не похожа эта жизнь на ту участь, которую вольно или невольно избрала Ребекка теперь. Этот памфлет можно было бы озаглавить «Вечная женщина известного сорта», однако мистер Р.Н. не был настолько прозорлив.

КАТЕХИЗИС ХОРОШЕНЬКОЙ БАРЫШНИ

В: Кто вы?

О: Прелестная девица девятнадцати лет.

В: Сие уж слишком мудрено, а посему благоволите дать некоторое о том понятие.

О: Товар, могу вас уверить, портящийся весьма скоро. «Засиделая девица – что протухшая рыба»: стара пословица, а ничуть не устарела.

В: Не от такого ли о себе понятия происходят все ваши поступки?

О: Именно так. В шестнадцать лет начинаем мы задумываться, в семнадцать влюбляться, в восемнадцать кукситься, а в девятнадцать, если повезет привести мужчину в нужные мысли (добиться же этого, к слову сказать, куда как трудно), я тотчас: «Прощайте, папенька!» – и только меня с моим кавалером и видели. Ибо, едва юность наша начнет отцветать, как нам грозит достаться скверному, негодному, ничтожному старикашке с

прегадкою физиогномией.

В: Объяви же мне свой символ веры.

О: Первое: верую, что произведена на свет матушкою, но никакой признательности ей за то изъяслять не обязана. Далее, считаю за нужное (но не за должное) ни в чем из ее воли не выступать, а равно повиноваться старому скопидому, всем моим расходам расходчику, зовомому моим отцом, – но повиноваться для той лишь причины, что, стоит заупрямиться, ходить мне еще полгода в этих дрянных шелковых нарядах, которые – о стыд и поношение!

– уже два месяца как из моды вышли. И последнее: что надлежит до мужа, какового я впоследствии соблаговолю себе изловить, свято верую, что никакой власти он надо мною иметь не может, а посему, хоть бы и сделала я своею религией кадриль, а воскресною молитвою прелюбодейство, хоть и растрянжирила бы его состояние по театрам да маскарадам, по модным, мебельным и прочим лавкам, хоть бы даже произвела я собственного дворецкого в его совместники, он мне слова поперек сказать не смеет. Вот наисущественнейшее в моем символе веры, каковой я чту и от коего не отступлюсь до смертного часа.

В: Не имеете ли еще каких правил?

О: Всякую свою фантазию, дурную ли, добрую, исполняю я без всякого отлагательства, употребляя к тому свои прелести; я следую всякой новой моде, сколь бы вздорной она ни была, безоглядно предаюсь тщеславию, удовольствиям и мотовству, молюсь не чаще, чем лорды отдают долги, и чаще бываю в театрах и иных увеселениях, чем в храме, ходящих же к церковной службе поднимаю на смех, видя в этом лицемерие. И все сие для меня столь же обыкновенно, как для павлина – распускать свой хвост.

В: Положимте что так, но ведь известно же вам о воздаянии, ожидающем всякого за гробом. Не надлежит ли вам почаще направлять свои мысли к сему?

О: Нисколько, оттого что такие размышления обыкновенно приводят в меланхолию и дамам негоже забивать себе голову серьезными материями. Их исповедание веры имеет основанием единственно их собственную прихоть.

В: Означает ли сие, что они никакому определенному исповеданию не привержены?

О: Как можно! Статочное ли дело так пренебрегать модою? Жизнь без разнообразия несносна, и вот почему иной раз, пробыв с полчаса христианками, мы затем делаемся язычницами, иудейками, магометанками

или еще кем-нибудь – смотря по тому, к чему клонится наша выгода.

В: Каковы же те правила, которые, будучи строго соблюдаемы, делают жизнь дамы сносною?

О: Ни в чем не отказывать ни себе, ни обезьянке своей, ни комнатной собачке, злословить и вышучивать ближних, участия ни в ком не иметь, но плутовать и мошенничать против бедных и сводить счеты с богатыми, не щадя при том доброго имени своего мужа. Нежиться в постели до полудня, а ночь коротать в упоительной кадрили.

В: Постойте, постойте, надобно вам познакомиться с чином венчания: в нем сказано, что долг жены почитать мужа и повиноваться ему – или хотя бы уважать и угождать.

О: Чин венчания, долг! Благодарю покорно! Чины эти выдумали священники, что мне в них? Дамы принимают в уважение лишь параграфы, составленные законниками: договоры о предоставлении средств на булавки, о выделе жене содержания и о том, как приличным образом истребовать к ним прибавку.

Делать же простофиле-мужу угодность – это вовсе не по моде; нынче, напротив, такая мода, чтобы в возмещение всех мужниных попечений делать ему все новые неудовольствия.

В: Но есть ли для такой моды резон?

О: О да, и преизрядный: мы оттого ищем при жизни удовольствовать все свои желания, что по смерти желаний иметь не будем.

Мистера Аскью это произведение покорило. Он понимал, что памфлет точно отражает умонастроения, свойственные многим дамам из родовитых семей и зажиточного нетитулованного дворянства. Такие настроения широко распространились и среди людей более простого звания – в том сословии, к которому принадлежал Аскью. Но его покорило другое: то, что об этом, не стесняясь, говорят вслух. Именно этим обстоятельством была вызвана и та неприязнь, которую стряпчий изначально питал к профессии Лейси (Аскью еще не знает, что скоро сможет вздохнуть с облегчением: пройдет всего несколько месяцев – и театр будет отдан под начало всесильного цензора, лорда-гофмейстера, чья диктатура установится на 230 лет) <в 1737 году был издан указ, согласно которому новые пьесы (и добавления к уже поставленным) не допускались на сцену без разрешения лорда-гофмейстера; этот порядок был отменен лишь в 1968 году>. «Катехизис» ясно показывал, что религия и брак – не говоря уже о главенстве мужчины перед женщиной – теперь вызывают насмешку. Такая же насмешка, как ему казалось, проступала во взгляде

Ребекки и некоторых ее ответах: откровенная болтовня о распущенности знати привела к тому, что она передалась уже и низшему сословию. Это прямой путь к установлению самой чудовищной формы правления, демократии, – а она малым лучше анархии. Стряпчим владело чувство, досадливее которого не бывает: он готов был радоваться тому, что стар.

Аскью оглянулся и увидел, что писец вновь занял свое место, а Ребекка утолила жажду и дожидается продолжения допроса. Весь ее вид изображал терпение и безропотную покорность. Однако Аскью не спешил сесть в кресло.

Первые вопросы он задал, стоя у окна, и лишь немного спустя вернулся на прежнее место напротив Ребекки. И вновь в него уперся прямой, неотрывный взгляд – такой прямой, что Аскью понял: сколько бы лет ни прошло, теперь он вечно будет вспоминать этот взгляд и удивляться.

В: Добро, сударыня. Что было дальше?

О: Спустилась я тихонько во двор, Дик вывел двух коней, сели мы на них – и рысцою в путь. Едем и молчим. Проехали с милю и очутились возле каменных колонн. Шагов за сто от того места привязали коней к столбу. Ночь была хоть глаз выколи – ни луны, ни звездочки, но камни я разглядела: как бы огромные могильные плиты. Я от страха чуть ума не лишилась: зачем, думаю, они меня сюда завезли в такую пору? Ведут они меня, а у меня ноги не идут. А в отдалении огонь: костер горит, как будто бы пастухи расположились на ночлег. Хотела позвать, да больно далеко, не услышат. И вот подошли мы к камням, вышли на самую середину.

В: Вы разумеете, что вышли на середину втроем?

О: Да.

В: Но Джонсу вы сказывали, что Дика с вами не было.

О: Сейчас я рассказываю всю правду. Его Милость остановился близ лежащей на земле каменной плиты и сказал: «Теперь, Фанни, преклони колена на этом камне». И тут я не выдержала. Мне помнилось, что они умышляют недоброе: в чародействе упражняются или задумали войти в сношения с нечистой силой или еще что-нибудь, и ознобило меня великим холодом, сильнее ночной свежести, точно я вмерзла в лед и мне приходит конец. От холода и страха я не то что встать на колени – слова вымолвить не могла. А Его Милость опять: «Преклони колена, Фанни». Тогда я собрала с духом и отвечаю: «Грешное это дело, милорд, не для того я нанята». А он: «Тебе ли говорить о грехе? На колени!» Я и тут не послушалась. Но они схватили меня за руки и силком повергли на колени. А камень жесткий, стоять больно.

В: Джонсу вы сказывали, что они принудили вас лечь.

О: Нет, только на колени поставили. И сами опустились на колени по сторонам от меня.

В: Как так?

О: А вот так.

В: Что же, и руки сложили, как при молитве?

О: Нет, рук не складывали, но головы склонили.

В: На них по-прежнему были шляпы?

В: Только на Его Милости. Дик ходил без шляпы.

В: В какую сторону они смотрели?

О: Как будто на север. Ехали мы на запад, а в капище вошли с правой стороны.

В: Дальше.

О: Я в мыслях обратилась к Господу с молитвой и учинила обет: если Он умиосердится и спасет меня от беды, оставлю блудный промысел навсегда.

Мне представлялось, что я попала в лапы к существу дьяволу, что это изверг лютее наилютейшего гостя у Клейборн, что он готов без жалости надругаться не только над моим телом, но и над самой душой.

В: Оставим это. Твои чувства угадать нетрудно. Долго ли вы так стояли?

О: Минут пять или чуть больше. И вдруг в небе раздался громкий шум, точно крылья плещут или ветер ревет. Испугалась я, подняла голову – ничего не видать. И ночь тихая, ни ветерка.

В: Его Милость тоже поглядел в небо?

О: До него ли мне было.

В: И сколько он – этот плеск, этот рев ветра – продолжался?

О: Несколько мгновений. Не дольше, чем как до десяти сосчитать.

В: И все то время шум делался громче?

О: Точно что-то из поднебесья падает прямо на нас.

В: Не через все небо, подобно стае перелетных птиц?

О: Нет, сверху.

В: Точно ли?

О: Истинный Бог.

В: Что дальше?

О: Нежданно-негаданно все смолкло, и наступила тишина. И сделалось в воздухе такое благоухание, что я и выразить не умею. Словно повеяло духом скошенных трав и летних цветов. Удивительно – в таком холодном, неприветливом месте. И пора не летняя. А потом – опять

нежданно-негаданно – сверху на нас просиял свет. Много света, как от солнца, – видно, что не человеческих рук произведение. Ярко-преярко: я едва взглянула вверх, так чуть не ослепла и тут же отвела глаза. Вижу – шагах в пятнадцати меж камней стоят двое, молодой и старик. И смотрят на нас.

В: Вздор! Лгать вздумала? Вот я тебя!

О: Все правда.

В: Как же, правда! Ишь какой сказкой решила меня одурачить! Ты и пророчишка твой. Ручаться готов, это он тебя надоумил.

О: Нет, он к этому непричастен. Я ему ничего не рассказывала.

В: Причастен или непричастен, а ты лжешь.

О: Да нет же. Истинно тебе говорю – я их видела. До них было немногим дальше, чем длина этой комнаты. Но я, ослепленная сиянием, плохо их разглядела.

В: Как они стояли?

О: Просто стояли и смотрели. Молодой поближе, старый чуть позади.

Молодой указывал пальцем вверх – туда, откуда лился свет, а взгляд, казалось, был обращен на меня.

В: Какие чувства изображал этот взгляд?

О: Не разобрала: не успела моя слепота пройти, как свет померк.

В: А что старик?

О: Старик имел белую бороду, и ничего другого я не заметила.

В: Какое на них было платье?

О: О старике мне сказать нечего, на молодом же был передник, как у каменщика или плотника.

В: Вы разумеете, то был дух какого-нибудь из язычников, строителей капища?

О: По платью – точь-в-точь нынешний мастеровой, как мой муж и отец.

В: Не были ли то нарисованные изображения?

О: Нет, люди из плоти и крови. Не видение, не сон.

В: Не отличались ли они рослостью или дородством?

О: Нет, сложением люди обыкновенные.

В: Сколько времени продолжалось сияние?

О: Очень недолго. Не то чтобы и правда сияние, больше похоже на вспышку молнии. Всего на короткий миг.

В: И за короткий миг, да еще при вашем ослеплении они так крепко впечатлелись у вас в уме?

О: Да.

В: Не каменные ли то были столбы?

О: Нет.

В: Не раздавался ли при этом гром, глас Вельзевула?

О: Нет, этого ничего не было. Только то теплое дуновение, сладостное, точно дыхание полей летней порой. А на душе от того духа вдвое сладостнее.

Все исчезло, а он остался. И страха как не бывало, и уверилась я, что не лукавый меня смущает, а все это явлено мне с тем, чтобы ободрить меня и утешить. Да-да, меня будто другой свет озарил – озарил и разогнал мои тревоги. Я почти опечалилась, что он так скоро померк и я не успела его в себя воспринять, не успела довольно насладиться им зрение. Зато теперь я могла устремить к нему упования, ибо – истинно говорю тебе – он не знаменовал ничего дурного и те, кто меня привел, к дурному расположены не были. Это совершенная правда.

В: Совершенная правда то, что я тебе не верю.

О: Дай досказать – согласишься. Право, согласишься.

В: Да уж не прежде, чем назову тухлую баранину живым ягненком, сударыня. Но вернемся к этой твоей тухлятине. Откуда исходило это сияние, которое освещало явленную тебе картину?

О: С небес.

В: И заливало все вокруг? Подобно солнцу, обратило день в ночь?

О: Нет, дальше все так же простирался мрак.

В: А свечей вы в этом летучем фонарище не заметили?

О: Нет, он был белесый, как летнее солнце. Очертанием круглый, подобный розану.

В: Он висел в небе над капищем?

О: Да.

В: И с места не двигался?

О: Нет.

В: Сколь высоко?

О: Не умею сказать.

В: Так ли высоко, как солнце и луна?

О: Пониже. Не выше как те тучи. Примерно на высоте круглой крыши собора Святого Павла.

В: Шагов на сотню вверх?

О: Я же говорю – не разобрала.

В: Что же, по вашему разумению, удерживало светильник подвешенным на этой вышине?

О: Вот не знаю. Разве большая птица.

В: Или большая лгуня. Вы сказывали, прежде чем полился свет, раздался не то плеск крыльев, не то вой ветра. Плеск или рев – тут различие.

О: Лучше изъяснить не умею. Больше похоже на шелест крыльев.

В: Или свист плети. Услышишь и его, коли поймаю на вранье. Этот работник с указующим перстом и его старик – имели они что-либо в руках?

О: Ничего.

В: Его Милость с ними заговорил?

О: Нет, но шляпу скинул.

В: Как так? Снял шляпу перед обыкновенным плотником и старым хрычом?

О: Все было, как я говорю.

В: Что же они, тоже приветствовали его? Ответили как должно на это изъяснение учтивости?

О: Я такого не заметила.

В: Не слышали вы по угашении света, чтобы кто-нибудь пошевелился?

О: Нет.

В: Не различили вы, все ли они стоят на прежнем месте?

О: Нет, ослепление мое еще не прошло.

В: А шум в небесах? Он продолжался?

О: Все было тихо.

В: К чему же вы все это отнесли?

О: Как я и сказывала, мне подумалось, что Его Милость не тот, за кого я его почла. Спустя мало времени он поднялся и помог мне встать наземь. И руки пожал, как бы в знак благодарности. А потом, хоть было темно, поглядел мне в глаза и молвил: «Вот такую, как вы, я и искал». Поворотился к Дику – тот уже тоже поднялся с земли, – и они обнялись. Не как хозяин со слугой – по-братски, словно бы радовались доброму исходу дела.

В: Не делалось ли между ними каких знаков?

О: Нет, просто прижали друг друга к груди.

В: А дальше?

О: Его Милость вывел нас из каменного круга. Тут он остановился и вновь заговорил со мной и велел никому не открывать, что я видела этой ночью.

Что мне от этого никакого вреда не приключилось и не приключится. И что, хоть по виду это чудеса, но страшиться их нет причины. При этих словах он опять пожал мне руки, еще сердечнее, словно бы желая уверить, что его любезное обращение более сродно с его истинной натурой, чем

кажется.

В: Что вы ответили?

О: Что буду обо всем молчать. А он сказал: «Хорошо. А теперь ступай с Диком». И мы удалились, а Его Милость остался. Ненадолго: не успели мы доехать до постоянного двора, как он нас нагнал.

В: Вы не обращались к нему за разъяснениями?

О: Весь тот короткий остаток пути до постоянного двора он ехал чуть позади нас. А как въехали во двор, сейчас же пожелал мне доброй ночи и поднялся к себе, оставив Дику расседлать его коня и поставить в конюшню. Я тоже прошла в свой покой.

В: А Дик, управившись с конем, за вами?

О: В ту ночь я его больше не видела.

В: Хорошо. Ответьте мне теперь вот на что. Первое, вы уверили Джонса, будто Его Милость представил-таки вам причину, для которой вы отправились на капище, – а именно, что он, следуя непристойному суеверию, имеет в предмете познать вас телесным образом на этом месте. Далее, вы насажали Джонсу про арапа, соколом слетевшего на каменный столб и чуть было на тебя не прыгнувшего, про смрад падали и не знаю про что еще – словом, изобразили совершеннейшее дьявольское видение. Так ли?

О: Я солгала.

В: Она солгала! Касательно лжи, сударыня, можно сказать неложно: солгавший единожды и в другой раз солжет.

О: Теперь я не лгу. Я показываю под присягой.

В: Что же ты Джонсу наплела таких беспримерных небылиц?

О: Поневоле пришлось: мне нужно было внушить ему, что его вовлекли в очень скверное дело, и тогда из боязни, как бы его не причислили к злоумышленникам, он станет обо всем молчать. Я про это еще расскажу. И отчего солгала, расскажу.

В: Расскажите, всенепременно расскажете. Нашли вы на другой день, что Его Милость переменил свое обхождение?

О: Я эту перемену видела от него лишь один раз – когда он оборотился, подождал нас, придержав коня, посмотрел на меня со вниманием и спросил:

«Все ли с вами ладно?» Я отвечала: «Все», – и хотела продолжить разговор, но он вновь поехал вперед, как бы показывая, что беседовать дальше не имеет охоты.

В: Что вы подумали о зрелище, будто бы виденном вами среди камней?

О: Что на этом месте лежит заклятие, что здесь некая великая тайна. Что мне было явлено знамение, но оно не предвещает дурного. Я же говорю: я уверилась, что оно не дьявольского порождения, и страхи мои пропали.

В: А к чему вы отнесли слова Его Милости, будто бы сказанные вам после – что такую, как вы, он и искал?

О: К тому, что во мне он нашел то, что чаял найти.

В: Что же?

О: Что я грешила и должна отжениться от греха.

В: Как так? Не сам ли он побуждал вас ко греху и любодейству?

О: С тем лишь, чтобы я яснее это увидела.

В: Стало быть, он искал не того, про что мы думаем, – средство от своего бессилия?

О: Он искал того, что и случилось той ночью.

В: Надеялся, что обыкновенная шлюха вызовет чудо, превосходящее всякое вероятие? Вы это разумеете? И чудесные пришельцы удостоили посещением не его, а вас? Не стоял ли и он коленопреклоненный подле вас – у ваших ног?

О: Так только представлялось, что это я их вызвала. Ведь я оказалась там не своей волей, но его произволением. Я была у него в услужении.

В: И кто, по вашему суждению, были эти незнакомцы?

О: Этого я тебе пока не открою.

В: Довольно юлить! Вы, сударыня, перед лицом закона, а не на радениях у своих пророков. Больше я дальних отлагательств не потерплю.

О: Придется потерпеть, мистер Аскью. Если я расскажу теперь же и открою намерение Его Милости, ты лишь посмеешься и не дашь мне веры.

В: Нынешнее твое упрямство еще несноснее прежнего блудодейства. Что ухмыляешься?

О: Право же, я не над тобой.

В: Все равно тебе, сударыня, от моих вопросов не увернуться.

О: Как и тебе от Божией десницы.

В: Что же Дик? Он тоже на другой день переменился?

О: Только не со стороны своей похотливости.

В: Как она проявилась?

О: В дороге.

В: Что в дороге?

О: Его Милость уехал вперед, а Браун и Джонс отстали.

В: И что же?

О: Этого я не скажу. Его обуяла похоть, которая уподобила его скоту

или нераскаянному Адаму.

В: И вы ее удовольствовались?

О: О прочем – ни слова.

В: Где-нибудь в кустах при дороге?

О: О прочем – ни слова.

В: Что приключилось в Уинкантионе?

О: Его Милость меня к себе не призывал. Один только раз, вскоре по прибытии. И потом еще велел мне передать Джонсу, что сей же час желает с ним говорить.

В: Вам известно, о чем?

О: Нет.

В: И больше Его Милость вас в тот вечер не тревожил?

О: Нет.

В: Дик опять с вами уединился?

О: Да.

В: И вы с ним легли?

О: Да.

В: Не утомили вас его домогательства?

О: Я им уступала, как и прежде, но уже не как блудница.

В: Иными словами, из сострадания?

О: Да.

В: А не распалил ли он твое женское сластолюбие?

О: Это не твоя забота.

В: Стало быть, распалил, так? (Non respondet.) Долго ли он пробыл у вас в почивальне?

О: Как обыкновенно. Когда я пробудилась, его уже не было.

В: На завтра вы добрались до Тонтона. Его Милость в тот день был разговорчивее?

О: Только раз заговорил. Вышло так, что в пути он с нами поравнялся, но ехал в некотором удалении. И тогда он спросил, как мне путешествуется, не измучила ли меня езда. Я отвечала, что измучила, потому что я верхом ездить непривычна. А он сказал, что конец нашего путешествия уже недалек и скоро я смогу отдохнуть.

В: Он держался обходительнее?

О: Да. Почти как поначалу.

В: Не полюбостыжались вы, что же произошло тогда в языческом капище?

О: Нет.

В: Отчего же вы упустили такой удобный случай?

О: Я рассудила, что он, когда захочет, тогда и расскажет. А не захочет – не расскажет. Я совсем уверилась, что пребываю под его защитой, и только былая его суровость и показное безразличие до сих пор препятствовали мне понять, как я ему дорога. Я лишь не могла взять в толк почему.

В: В тот день в пути вы вновь утоляли похоть Дика?

О: Нет.

В: Не делал ли он к тому покушений?

О: Я не захотела.

В: Он не раздражился? Не пробовал употребить силу?

О: Нет.

В: Положил дожидаться ночлега?

О: Тогда тоже ничего не было. В Тонтоне не нашлось ни единой гостиницы, где мы могли бы устроиться по своему вкусу, пришлось расположиться на постоялом дворе поплоше, из тех что ближе к окраине. Меня положили с другими горничными, Его Милости и мистеру Брауну определили на двоих один тесный покойчик, а Джонс и Дик спали на сеновале. Ни с Его Милостью, ни с Диком я уединиться не могла, даже если бы они того пожелали. И во всю ночь меня никто не тревожил, только вши да блохи.

В: Положим, что так. А на другой день?

О: Весь тот день мы были в дороге и проехали, пожалуй, самый длинный против прежних дней путь. А как миновали Бамптон, так с большой дороги свернули и пустились тропинками. Проезжих там редко-редко встретишь.

В: Не вы ли уверяли, будто положили на мысль к Клейборн не возвращаться, а податься в Бристоль и разыскать родных?

О: Верно.

В: Для чего же было заезжать так далеко на запад? Будто из тех мест, через которые вы ехали, добираться до Бристоля не удобнее?

О: Все так. Только я не находила в себе довольно решимости и не видела к тому способов. В душе я, прости Господи, была еще шлюха. Поживешь в борделе – лишь в разврате заматереешь, во всем же прочем изнежишься. У нас и прислуга была своя, и все-то было там поставлено на такую ногу, чтобы мы ни в чем нужды не имели: редкая леди видит такую о себе заботу. А от всего этого мало что заражаешься своеобразием, но и перестаешь думать о завтрашнем дне. Не было под ногами крепкого основания, не было и веры, чтобы помогла вооружиться против завтрашних невзгод. Я и правда помышляла бежать в Бристоль и переменить свою жизнь, но в ту пору мне и без того было не худо: Лондон, что ни день, то

дальше, а Его Милость пусть себе блажит. Припала охота куражиться – вольному воля, до Тонтона, так и быть, потерплю. А там выжду еще денек – и конец. Посмей тогда меня выбранить – не обрадуешься.

В: Будет. Довольно об этом.

О: Нет, еще слово. Иначе не поймешь, каким путем влеклась моя душа. И душа Его Милости. Не прогневайся: говоря лишь об одном, все истину до конца не представишь. Подлинно, что я спозналась с Диком сперва по принуждению, но продолжала его удовлетворять из жалости. Скоро я нашла, что он умеет доставить немалое наслаждение. Ни один мужчина – ни даже тот первый, которого я узнала еще девчонкой, безрассудно пренебрегши родительскими наставлениями, – никто не в силах был усладить меня так, как Дик. В греховном искусстве любви он не смыслил аза в глаза, но я бы не променяла его ни на какого искушенного знатока. Так он меня любил – крепко любил, всем своим непонятным сердцем, только что не умел высказать эту любовь словами. А мне это его немотствование говорило больше, чем все въявь произнесенные речи. Не через телесную связь, не в совокуплении, от нашего скотского начала происходящего, – нет, в другие минуты. Когда я в дороге дремала у него на груди, когда наши взгляды встречались – да разве все упомнишь? Тогда я слышала, что он хочет сказать, даже яснее, чем если бы он изъяснялся вслух. В тот последний вечер он пришел ко мне в почивальню и овладел мной, а потом лежал у меня в объятиях и плакал. И я плакала вместе с ним, потому что постигала причину его слез. Точно мы с ним заточены по разным казематам: видим друг друга, за руки беремся, а больше ничего не можем. Называй это как тебе заблагорассудится, но я от роду ничего непонятнее и слаще этих слез не знавала. С ними выходил из меня мой блуд, грех, зачерствелость моя – все, что поселилось во мне с тех пор, как я утратила невинность. Все эти годы я жила во мраке и была словно каменная; не знаю, сделалась ли я доброй христианкой, сподобилась ли спасения, одно могу сказать: раскаменела. Хочешь верь, хочешь не верь – это чистая правда.

В: Вы любили этого человека?

О: Любила бы, сумей он совлечь с себя Адама.

В: И что вам слышалось в его безмолвных речах?

О: Что он, как и я, разнесчастнейший из смертных, только от другой причины. И что он так обо мне и понимает. И за то еще меня любит, что я не извожу его насмешками и презрением.

В: Хорошо. Не случилось ли вам в тот последний день путешествия поудалиться вместе с Его Милостью от остальных?

О: Мы въехали на гору при дороге. С вершины было видно на много миль вперед.

В: Верно ли, что Дик при этом указал в некоем направлении? Что то было указание на некую местность?

О: Мне подумалось, это он для пущей важности: хочет показать, что хорошо знает окрестности.

В: Просил ли Его Милость о таковом указании? Не предварялось ли оно какими-либо знаками?

О: Нет.

В: Не указал ли Дик в направлении пещеры, к которой вы приехали на другой день?

О: Этого я не разобрала.

В: Пещера имела свое положение как раз в той стороне, не так ли?

О: Может быть, и в той. Он указывал на запад – вот и все, что я поняла.

В: Далеко ли вам оставалось до места вашего ночлега?

О: Часа два езды или чуть больше.

В: Не случилось ли в дороге еще что-либо достойное примечания?

О: Его Милость рассерчал из-за фиалок. Они так славно пахли, и я сунула пучок себе за шарф под самым носом. А Его Милость, не знаю почему, посчитал это за дерзость. Но все это он мне высказал после.

В: Осерчать без причины? А других поводов, выключая букетов цветов, вы ему не подавали?

О: Точно не подавала.

В: Что же он вам потом высказал?

О: После ужина он прислал за мной Дика. Я было решила – опять для той же надобности, но едва я к нему вошла, как он Дика отпустил. Его Милость велел мне раздеться донага. Я сделала по его слову и ожидала, что он наконец испытает на мне свои силы. Но он вместо того приказал мне сесть подле себя на скамью, точно как для покаяния, и припомнил мне эти самые фиалки. Отчитал за дерзость, обругал шлюхой – как только не честил. Сам себя в лютости превзошел, словно с цепи сорвался. Даже заставил опуститься на колени и клятвенно подтвердить, что все его слова про меня правда. А потом нежданно-негаданно заговорил на иной лад, уверил меня, что, напротив, он мною весьма доволен. Вслед за тем он завел речь о тех, кого называл хранителями вод, – нам предстояло увидаться с ними завтра. И я, оказывается, была привезена сюда с тем, чтобы их ублажать, а за это Его Милость обещал мне награду. Только я должна отбросить лондонское жеманство и держаться с ними попросту, без затей и

виду не показывать, что взята из борделя.

В: Разумелись те воды, о коих он рассказывал в Лондоне?

О: Те самые.

В: Что еще было сказано об этих хранителях?

О: Что они чужеземцы и на английском языке не говорят, ни также на прочих языках, употребляемых в Европе. Что о публичных женщинах не имеют понятия. Что мне надлежит во всем явить себя невинной девицей, не познавшей греха, и в вольности не пускаться, но хранить смирение.

В: Не приводил ли он еще каких побочных? Не называл страну или земли, откуда прибыли эти особы?

О: Нет.

В: Не обмолвился ли, откуда о них уведомлен?

О: Он лишь сказал, что всем сердцем ищет с ними встречи.

В: Стало думать, прежде он с ними не встречался?

О: Выходило, что так. Но напрямик он этого не объявлял.

В: Не почли вы за странность, что Его Милость, точно сводник, замышляет отдать вас другим?

О: Да, меня это несколько удивило.

В: Несколько? И только?

О: Я уже привыкла, что он обыкновенно говорит загадками.

В: Не сделалось ли вам страшно, невзирая на ваше убеждение, будто происшествие на Уилтширском капище не заключает в себе ничего опасного?

О: Но ведь я видела, что Его Милость хоть и суров, но не злонамерен.

Да, я его не понимала, но пуще всего боялась лишь этой своей непонятливости.

В: Мне желательно узнать об одном обстоятельстве более общего свойства.

Известно ли было Его Милости про ваши амуры с его слугой? Делалось ли это за его спиной или с его ведома?

О: Он все знал. За то и пенял, что я слишком млею в объятиях Дика. Он на это смотрел как хозяин: я, мол, тебя купил для собственного услаждения, а ты сама услаждаешься с другим. И фиалочки, которыми я себя украсила, он в этом смысле и понял.

В: Ему было известно, что вы сходились с Диком не только по его приказу, но и втайне?

О: Я исправляла должность, для которой была нанята, всего дважды, а больше меня не просили, как будто Его Милость в этом средстве изверился и нужды в нем уже не видел. И все же его задевало за живое, что я нахожу в

этом приятность.

В: Вы разумеете, что ваши блудные занятия не приблизили исполнение означенной цели и Его Милость махнул на вас рукой?

О: Имел он и другую цель, и несравненно против первой величайшую.

В: Благоволите объяснить.

О: В свое время объясню.

В: Тогда – о том вашем разговоре. Не странно ли, что Его Милость вменяет вам в должное ублажать важных чужеземцев, а чтобы воздержаться от утех со слугой, и речи не ведет?

О: Слов нет, странно. И все же сущая правда.

В: Стало быть, его воля, по вашему суждению, состояла в том, чтобы вы, буде потребуется, сделались при этих господах шлюхой, но между тем хранили вид невинности? И больше ничего?

О: Так я его поняла.

В: И эта его воля имела вид приказа? Должны – и все тут? Угодно вам, нет ли – сие в уважение не принималось?

О: Такова была его воля, и мне оставалось повиноваться.

В: Больше Его Милость ни о чем с вами не говорил?

О: Нет.

В: С запинкой отвечаете.

О: Я силилась припомнить.

В: И все-таки «нет»?

О: Все-таки нет.

В: Не нравятся мне, сударыня, ваши ответы. Не то дразните, не то загадки загадываете. Смотри у меня: дело нешуточное, не время бы загадки подпускать.

О: Не я их загадываю: мне их загадали. Не я тебя путаю: меня запутали.

В: С тем Его Милость вас и отослал?

О: Да.

В: И до самого утра вы его не видели?

О: Нет.

В: А потом к вам в покой пришел Дик?

О: Когда он пришел, я спала.

В: Не подумалось ли вам тогда: «Завтра мне придется обнимать другого»?

О: Тогда я, благодарение Богу, еще не чаяла, что будет завтра.

В: Довольно отлагательств. Мы уже почти добрались до этого самого завтра.

О: Знаю.

В: Не имели вы каких-либо предвестий, что Джонс этой ночью вас покинет?

О: Нет, никаких.

В: Он с вами об этом не говорил?

О: Мы с ним мало разговаривали.

В: Отчего же?

О: Больно он с самого начала любопытничал. И все-то норовил показать, будто знает про меня такое, чего по правде не знал. И выходило, что я должна быть ему благодарна за молчание.

В: Разве же это не правда?

О: Ну и пусть. Он даже Дику проходу не давал – все потешался над его глухотой и немотой. Куда как приятно мне было слушать! Слова в простоте не вымолвит – и так всю дорогу.

В: Было ли вам ведомо, что мистер Браун также должен в скором времени с вами разъехаться?

О: Нет.

В: Вас это удивило?

О: Нет. Чему удивиться? Они, видать, свое дело сделали.

В: Добро. Итак, мистер Браун уехал прочь, и вы пустились по бидефордской дороге. Что дальше?

О: Ехали мы, ехали и скоро заехали в лесную глушь. А через дорогу бежит ручей, и нам надо перебраться на другой берег. Тут Его Милость остановил коня – он ехал впереди, а мы следом. Остановил он коня, оборотился к Дику и поднял указательный палец. А другой указательный палец вот этак с ним скрестил. Дик в ответ указал вперед. Не на дорогу – дорога за ручьем поворачивала, – а на склон холма или горы, откуда сбегал ручей.

В: В каком смысле вы это поняли?

О: Что Дик дорогу знает, а Его Милость нет. Или знает, но нетвердо.

В: Делались ли еще знаки?

О: Его Милость расставил руки, словно бы меряет что, а Дик поднял два пальца. Тогда мне было невдомек, а сейчас думаю, Дик хотел показать, что до места еще две мили. Больше никаких знаков они не делали, но и с места не сдвинулись. Смотрят друг другу в глаза как замороженные, не пошевелиются. И вдруг Его Милость поворотил коня и поехал меж деревьев вверх по склону – куда указывал Дик.

В: К вам он не обращался?

О: Слова не сказал. Даже не поглядел. Будто меня здесь и нет.

В: Случалось ли вам прежде замечать, чтобы они так друг друга разглядывали?

О: Раз или два случалось. Но чтобы так долго – ни разу.

В: Не как хозяин и слуга?

О: Больше похоже – как двое ребяташек.

В: Это как же: с видимой враждебностью?

О: Да нет, не так. А как-то необычно: будто разговаривают, не шевеля губами.

В: Хорошо. Итак, вы въехали в долину. О ее местоположении я уже слышал от Джонса. Расскажите, как вы сделали первую остановку.

О: Скоро нам пришлось спешиться: кони чуть не падали. Дик взял за повод нашего коня и вьючную лошадь и пошел вперед, я за ним, а Его Милость со своим конем позади всех. Бредем по-над ручьем, молчим, только копыта по камням постукивают. Шли так с милю, может, больше. Вдруг Дик остановился и примотал поводья к колючему кусту, а как подошел Его Милость, то и его коня привязал. Потом принялся отвязывать от рамы большой сундук Его Милости.

В: Это Его Милость приказал ему остановиться?

О: Нет, он сам. Как если бы он лучше знал, куда мы едем.

В: Продолжайте.

О: Его Милость приблизился и заговорил со мною. Он объявил, что платье на мне для встречи с теми особами не весьма нарядно. А у него есть другое, более приличествующее такой okazji. И я должна его надеть сейчас, потому что мы почти на месте. Я спросила, нет ли туда дороги поудобнее. Он отвечал: «Нет, только эта. Но ты не тревожься: станешь делать, что скажут, – никакого лиха не случится». А сундук между тем поставили наземь и открыли, и Его Милость передал мне новый наряд – он лежал поверх прочих вещей.

В: Что же это был за наряд?

О: Исподница, юбка, платье из тонкого белого полотна. Манжеты у него батистовые, плетеные, и еще по рукавам розовые ленточки, стянутые в узелки.

Потом чулки из тонкого ноттингемского шелка, со стрелкой, тоже белые.

Башмачки белые. Все белое, все с иголочки либо только что из стирки.

В: Словом, точно для майского праздника?

О: Да, какие крестьянки в праздники носят. Только на крестьянках-то платья из канифаса, а это из тонкого полотна, отменной работы, что и леди надеть не зазорно.

В: Впору ли оно пришлось?

О: Сидело изрядно.

В: Прежде вы об этих вещах не ведали?

О: Нет.

В: Что дальше?

О: Дальше Его Милость сказал, что, прежде чем надеть новый наряд, надлежит мне омыться.

В: Омыться! Скажите на милость!

О: Очистить тело от всего, чем я запятнала себя в прежней жизни. Он указал в ту сторону, откуда мы шли: там неподалеку ручей в одном месте делался несколько глубже. Получался вроде как пруд, только что не такой широкий и помельче: ручей сам по себе был не так чтобы глубокий.

В: Что вы на это подумали?

О: Что вода больно студеная. Он же возгласил, что поток этот должен стать мне Иорданом.

В: Так прямо и выразился: «Пусть этот поток станет тебе Иорданом»?

О: Так и выразился.

В: Уж не в шутку ли он это?

О: А вот увидишь, в шутку или нет. В тот миг и правда недолго было почесть его слова за шутку, да только мне было не до шуток.

В: И вы таки омылись?

О: С грехом пополам. Вода едва достигала до колен, пришлось присесть – а вода ледяная.

В: Вы купались нагишом?

О: Да, нагишом.

В: И Его Милость смотрел?

О: Я видела, что он поворотился ко мне спиной. Тогда и я отвернулась.

В: Что потом?

О: Обсохла я на берегу, надела новое платье и села на припеке обогреться. Тут Его Милость опять ко мне подошел, а в руке у него нож, который носил Дик. Подходит и говорит: "Нынче майский праздник, вон и ты цветешь как майский день. Будешь ты у нас, Фанни, майской королевой.

Только уж корону себе изволь приготовить сама".

В: Он снова пришел в доброе расположение духа?

О: Хмуриться перестал, а все же что-то его томило. Отошел он и стал глядеть в ту сторону, куда удалился Дик.

В: А когда он удалился? Прежде чем вы вошли в воду?

О: Как только открыл сундук и привязал коней поудобнее. Перешел ручей, полез по склону и скрылся из глаз.

В: Так, стало быть, коней успели отвязать?

О: Да нет. Когда я шла купаться, Дик их распряг, расседлал и пустил на длинной привязи пощипать травку и попить из ручья. А конец привязи примотал к кусту.

В: Это показывало, что вы задержитесь тут надолго?

О: Да.

В: И вы не заметили наблюдавшего за вами Джонса?

О: У меня была своя забота, ни Джонс, ни кто другой на мысль не шел. Я, как умела, делала себе венок. А тут воротился Дик, увидал, что Его Милость дожидается, и подал ему знак.

В: Вот так?

О: Нет, не так.

В: Джонс показывал, что знак был такой.

О: Да нет же. Джонс не доглядел. И что он мог видеть из своего укрытия?

В: Какой же тогда?

О: Вот как: руки сцеплены перед грудью. Я его и прежде видала, а знаменует он: «Дело сделано» или «Все исполнено по вашему слову». А при той okazji понимай так: «Те, кого мы ищем, ожидают наверху». Его Милость тотчас воротился ко мне и объявил, что пора идти. И мы пошли. Но вначале меня несли на руках, а то склон крутой, кремнистый, и Дик подхватил меня в охапку.

В: Не выказывал ли он, вернувшись к вам, волнения или радости?

О: Нет.

В: Добро. На этом пока остановимся. К пещере, сударыня, за тобой не полезем. Мой человек сведет тебя в отдельный покой обедать. Ни с супругом, ни с кем иным – ни слова. Ясно ли?

О: Так и быть. Стану говорить с духовным моим супругом, с Иисусом.

Долговязый сутуловатый писец открывает дверь и пропускает свою пленницу. Однако, оказавшись в коротком коридорчике, он выходит вперед и ведет ее за собой. Коридор заканчивается другой дверью. Чиновник и молодая женщина проходят в комнату. Женщина оборачивается к нему, и лишь тогда он нарушает молчание:

– Эля, сударыня, или еще воды?

– Воды.

– Из комнаты ни шагу.

Она покорно кивает. Чиновник смотрит на нее долгим взглядом, словно не слишком верит ее молчаливому обещанию, потом выходит, прикрыв за собой дверь.

Тесная комнатуха с единственным окном служит, по-видимому, спальней. У окна стоит стол и два стула. Но женщина к окну не подходит, она направляется к кровати, нагибается и, откинув покрывало, глазами ищет что-то на полу. Наконец нужный предмет найден. Женщина достает его из-под кровати, поддергивает юбки и садится на него.

Снимать прочие предметы туалета ей нет необходимости – по той простой причине, что в описываемую эпоху англичанки какого бы то ни было сословия ничего под юбки не надевали: эта мода появится еще лет через шестьдесят.

Смутные и малоизвестные факты, касающиеся нижнего белья – или его отсутствия, – это материал для целого очерка. Итальянки и француженки к тому времени давным-давно исправили это упущение, англичане мужского пола тоже. Другое дело англичанки. Все эти ослепительно элегантные и величественные светские щеголихи в выходных туалетах, на разные лады запечатленные живописцами XVIII века, ходили, грубо говоря, без трусов.

Более того, когда эта мода и в Англии наконец взяла верх (точнее, низ), когда в начале XIX века исподние штаны, а затем и панталоны стали носить женщины, это воспринималось как вызов, брошенный мужчинам, и уже, конечно, поэтому-то они так быстро и сделались *de rigueur* <привычное, распространенное (фр.)>.

Облегчившись, Ребекка встает, задвигает глиняный ночной горшок обратно под кровать и поправляет покрывало. Затем не спеша подходит к окну и озирает просторный задний двор гостиницы.

В дальнем конце двора стоит запряженная четверней карета. Судя по тому, что коней еще не выпрягли, она подъехала совсем недавно. На дверце красуется родовой герб владельца: геральдический щит, который поддерживают лев и дракон. Рассмотреть его подробно и прочесть девиз с такого расстояния невозможно, в глаза бросаются лишь два красных ромба в поле щита. Пассажиров и кучера нигде не видать, у кареты дожидается лишь мальчишка – подручный конюха, должно быть, оставленный присматривать за лошадьми. По двору, выклеывая корм из щелей между булыжников, расхаживают куры, бойцовый петух и пара белых голубей,

прыгают воробьи. Прислонившийся к карете мальчишка швыряет им зерно. Время от времени он выбирает из горсти зернышко покрупнее и отправляет в рот. Внезапно Ребекка опускает голову и закрывает глаза, словно у нее нет сил наблюдать эту невинную картинку. Губы ее шевелятся, однако слов не слышно. Без сомнения, речь ее обращена к тому самому супругу, право на беседы с которым она только что себе выговорила.

Но вот губы замерли. Из коридорчика доносится стук башмаков по деревянному полу. Ребекка открывает глаза и поспешно опускается на стул, отвернувшись от двери. Дверь отворяется, и на пороге вырастает все тот же чиновник. Какое-то мгновение он смотрит ей в спину. Ребекка не оглядывается. Чуть погодя она словно спохватывается, что, судя по звуку, в открывшуюся дверь никто не вошел, и поворачивает голову. Но вопреки ожиданиям в двери она видит не злорадного чиновника, а совсем другого человека. Это джентльмен преклонного возраста, в сером костюме, невысокий, но довольно грузный. Он стоит не в коридоре, не в комнате, а именно в дверях: застывший на пороге неумолимый рок. Ребекка поднимается, но больше никаких знаков почтения не показывает. На незнакомце простая черная шляпа, в правой руке он держит что-то непонятное. На первый взгляд – пастушья клюка, однако незнакомец на пастуха не похож, а навершие клюки, на которую он опирается, не из дерева, не из рога, а из сверкающего серебра. Это уже не обычная клюка, а скорее символ власти – больше всего она напоминает посох епископа.

Необычен и взгляд незнакомца: он рассматривает Ребекку с таким видом, будто оценивает корову или кобылу. Кажется, еще немного – и он без всяких церемоний объявит, чего она стоит. Этот взгляд человека высокопоставленного и высокомерного, которому нет дела до простых смертных; человека, который стоит выше всех законов. И все же в его глазах читается чувство, которому появляться в этом взгляде непривычно, даже неловко.

Внезапно незнакомец заговорил – но, хотя взгляд его был по-прежнему прикован к Ребекке, обращался он не к ней:

– Пусть приблизится. Свет в глаза, никак не разгляжу.

За спиной незнакомца в коридорчике показался чиновник и требовательным жестом подозвал Ребекку: два молниеносных движения согнутым пальцем.

Женщина подошла поближе. В тот же миг конец клюки с серебряным навершием оторвался от пола и удержал ее на расстоянии. Ребекка остановилась в шести футах от незнакомца. Его тяжелое лицо не выражало никаких чувств – ни добрых, ни дурных, и, что уж совсем удивительно, в

нем не было и следа любопытства. На нем лежала разве что тень угрюмых сомнений, иными словами, меланхолии. Но заметить ее было не так-то просто: весь вид незнакомца говорил о другом – о сознании безграничности своего права как в обыденном смысле, так и в понимании самодержцев былых времен. К этому примешивалась внешняя бесстрастность, которая вошла в плоть и кровь и намертво спеленала все чувства. Теперь он не осматривал Ребекку как выставленную на продажу скотину, а глядел ей прямо в глаза, словно силился сквозь них прочесть в ее душе, что же именно она собой воплощает. Ребекка не прятала лица и, сложив руки на животе, отвечала таким же пристальным взглядом – не почтительным, не дерзким, но открытым и в то же время непроницаемо-выжидательным.

Рука мужчины медленно скользнула вниз по клюке, он вытянул ее перед собой – не угрожая, а едва ли не с осторожностью, – и серебряный крюк прикоснулся сбоку к белому чепцу. Легонько повернув клюку, мужчина потянул женщину к себе. Он действовал так бережно – при других обстоятельствах можно было бы сказать «робко», – что, когда серебряный крюк зацепил ее за шею и повлек за собой, она, не дрогнув, повиновалась. Наконец она почувствовала, что ее больше не тащат вперед, и остановилась. Незнакомец и Ребекка оказались лицом к лицу. Однако между ними по-прежнему лежала пропасть: их разделял не только пол и возраст, но и то, что они люди двух бесконечно чуждых друг другу пород.

Незнакомец обрывает эту безмолвную беседу так же внезапно, как и начал.

Клюка отдергивается и твердо упирается в пол. Отвернувшись с разочарованным видом, незнакомец удаляется. Ребекка успевает заметить, что он сильно припадает на ногу: посох с крючковатым навершием он носит не столько из щегольства, сколько по необходимости. Еще Ребекка видит, как чиновник, согнувшись в низком поклоне, отступает в сторону. Отдает поклон и мистер Аскью – правда, этот кланяется не так угодливо и бредет вслед за своим патроном. Чиновник подходит к двери и чуть насмешливо поглядывает на женщину. Неожиданно его правое веко подергивается – это он едва заметно подмигивает. Он исчезает и вскоре возвращается с деревянным подносом, на нем – холодный цыпленок, кубок и кувшинчик с водой, кожаная пивная кружка, потемневшая от времени, миска маринованных огурцов, солонка, два яблока и булка. Чиновник расставляет все это на столе и достает из кармана нож и пару двузубых вилок. Затем стаскивает камзол и швыряет на кровать, Ребекка неподвижно смотрит в пол. Присев к столу, чиновник хватает цыпленка и берется за нож.

– Вам, сударыня, надобно подкрепиться.

Стряхнув оцепенение, Ребекка садится напротив, у окна. Чиновник протягивает ей отрезанную грудку, но женщина лишь качает головой:

– Сделай милость, отошли лучше на улицу, моему супругу и отцу.

– Э нет. Покормите хоть своего ублюдка. Если самой не хочется.

Возьмите.

Он отрезает кусок хлеба, кладет на него грудку и подвигает Ребекке:

– Берите же. Пока вы носите ребенка, виселица вам не грозит.

Его правое веко снова дергается, словно ему не дает покоя неудержимый тик.

– Муженек-то ваш и отец обедают не так сытно. Что ж, вольному воля.

Распорядился я отнести им хлеба с сыром. И что же? Не берут. Говорят:

«Дьявольское угощение». И валяется теперь это угощение на улице прямо перед ними. За свою же доброту в грешники угодил.

– Что ты, какой тут грех. Дай тебе Бог здоровья.

– И тебе, сударыня. За отпущение грехов.

Как и в те минуты, когда она в одиночестве творила молитвы, Ребекка вновь наклоняет голову и, помолившись, принимается за еду. Не отстает от нее и чиновник. Подцепив вилкой несколько пикулей, он обертывает их большим куском хлеба, в другую руку берет куриную ножку и поочередно кусает то одно, то другое. Уплетает он жадно, не разбирая вкуса. Сразу видно, что жизнь его не балует: не каждый день удастся наесться досыта, и, если видишь такое изобилие, тут уж не до церемоний. Ребекка наливает в кубок воды, затем вонзает вилку в огурец. За ним второй, третий.

Сотрапезник молча протягивает ей еще кусочек грудки, но женщина отказывается и берет яблоко. Она все смотрит на сидящего напротив человека и, когда тот наконец расправился с цыпленком и выпил эля, спрашивает:

– Как твое имя?

– Имя, сударыня, у меня королевское: Джон Тюдор.

– Где же тебя выучили так прытко писать?

– Скорописи-то? Сам выучился. Дело немудрящее, только руку набить.

Переписываешь иной раз ясным почерком и наткнешься на такое, что сам не разберешь – ну и пишешь, что вздумается. Захочу – пошлю на виселицу, захочу – помилую. И вся недолга.

Правое веко опять дергается.

– Читать я умею. А писать – только свое имя.

– Тогда у вас одной докукой в жизни меньше: писать не приходится.

– А я бы все равно не прочь выучиться.

Чиновник не отвечает, но лед уже сломан, и Ребекка продолжает разговор:

– Ты женат?

– Женат. И без жены.

– Как так?

– Жена мне попалась такая вздорщица – хуже вас. Что ни слово, то поперек. Ни дать ни взять из побасенок Джо Миллера <Миллер, Джозеф (или Джосайас, 1684-1738) – английский актер и юморист; в 1739 г. был издан сборник его анекдотов, имевший огромную популярность>. А поди цыкни на нее: такой голос окажет, сам не будешь рад. И вот как-то задал я ей трепку. За дело. А она не стерпела и ушла из дома. То-то разодолжила.

– Куда ушла?

– Уж это я, сударыня, не знаю и знать не хочу. Куда там обыкновенно уходит женщина – к другому либо ко всем чертям. Ну ее совсем, невелика потеря. Добро бы еще красавица. Вот ты иное дело. – Он снова подмигивает.

– Тебя бы я разыскивать стал.

– Так она и не вернулась?

– Нет. – Чиновник с досадой дергает плечом, как будто уже раскаивается в своей откровенности. – Ну да с тех пор много воды утекло. Тому уж шестнадцать лет будет.

– А ты постоянно состоишь при одном хозяине?

– Да уже давненько.

– Так ты, выходит, знавал Дика?

– Ну, знать-то его никто не знал. Такого поди узнай. Зато тебя он, похоже, познал. Бывают чудеса да свете.

Женщина опускает глаза:

– Что же он, не мужчина разве?

– Мужчина, говоришь?

Ребекка робко поднимает голову. Она чувствует в вопросе насмешку, но не понимает, чем она вызвана. Чиновник бросает взгляд в окно и снова поворачивается к ней:

– Ты что же, не слыхала про таких, когда этим делом занималась?

– Каких таких?

– Полноте, сударыня. Не все же вы были святошей. Вы нынче прямо показали, со всей достоверностью, что мужчин знаете как свои пять пальцев.

Так-таки ничего не заметили?

– Я тебя не постигаю.

– А грех-то против естества, величайшее беззаконие? При коем слуга может заступать место хозяина, а хозяин слуги.

Женщина устремляет на него долгий взгляд. Чтобы уничтожить последние сомнения, чиновник едва заметно кивает, веко опять легонько дергается.

– Я не знала.

– Неужто и намека не было?

– Нет.

– Ну хоть в мыслях вы такое допускали?

– Да нет.

– Что ж, сударыня, дай вам Бог и вперед сохранять такую невинность.

Только сами-то вы про это молчок, разве что спросят. Да не выдумайте, если жизнь дорога, повторять это где-нибудь еще.

Со двора доносится цокот копыт, натужный скрежет обитых железом колес по камням и окрик кучера. Чиновник встает и выглядывает в окно. Лишь после того как карета выехала со двора, он, не оборачиваясь, как бы размышляя вслух, произносит:

– Такие толки для него нож острый.

Затем чиновник берет брошенный на кровать камзол и надевает.

– Теперь, сударыня, я вас оставлю. Делайте свои дела, а я скоро вернусь и отведу вас к мистеру Аскью.

Женщина отвечает легким кивком.

– Говорите одну только правду. И не бойтесь: он лишь с виду такой.

– Я и говорила правду, и дальше от нее не отступлю. Ни в едином слове.

– Эх, сударыня, правда правде рознь. Одно дело – то, что вы за правду почитаете, и совсем другое – правда истинная. От вас мы полагаем услышать первую, но доискиваемся-то мы второй.

– Буду говорить, как думаю.

Чиновник направляется к двери, но на пороге останавливается и бросает взгляд на Ребекку:

– Да, тебя бы я разыскивать стал.

Правое веко напоследок еще раз дергается, и чиновник уходит.

ДАЛЕЕ РЕБЕККА ЛИ

Показала, die at anno praedicto.

В: Продолжим, сударыня. И помните, что свидетельствуете под присягой. И вот что мне желательно узнать прежде всего. Известно ли вам, что есть содомский грех?

О: Известно.

В: Не случилось ли вам замечать, чтобы Его Милость и слуга его во все время вашего с ними знакомства хоть раз показали наклонность к этому греху? Не имелось ли знаков того, что они вместе ему предаются?

О: Нет. Верно говорю – нет.

В: А когда Его Милость впервые поведал вам о своей немощи, не имелось ли каких указаний, что недуг его происходит от этой именно причины?

О: Нет.

В: А впоследствии?

О: Нет.

В: Не приходило вам на мысль, что, какие бы объяснения он ни представлял, как бы ни таился, а истинная причина все же в том самом и состоит?

О: Я знавала иных, о ком ходила такая слава, у них повадка другая. В том месте, где я греховодничала, про них чего-чего ни знают. Прозвание им – «петиметры» <от фр. *petit malt re* – щеголь, вертопрах> и «смазливцы».

Расфуфырены так, что на мужчин не похожи. Уж такие хлыщи, такие кривляки.

Только и занятий, что строить козни и злословить. Люди говорят, это оттого, что они сами себе противны: видят, что им вовек из грязи не выбраться, ну и марают грязью всех без разбора.

В: И Его Милость был с ними несхож?

О: Ни капельки.

В: Когда Дик сходил с вами у него на глазах, не понуждал ли он вас совершать соитие противоестественным образом?

О: Ни словом, ни поступком не побуждал. Молчал как каменный.

В: Добро, мистрис Ли. На ваше суждение о сем предмете воистину можно положиться. Вы, стало быть, знаете за верное?

О: Знаю, что по ухваткам он ничего общего с теми господчиками не имел и слухов таких о нем не ходило. На что уж у мистрис Клейборн любили перемывать косточки гостям – бывало, распустим языки и ну пересказывать, какой у кого изъян да какие о ком толки. Но про Его Милость в этом смысле никто не поминал. Тоже и лорд Б. у меня про него выпытывал, – а это такая ехидна, другой во всем Лондоне не сыскать. Услыхать худое о приятеле – большей радости для него нету. Но и тот не

давал никакого намека на такой порок. Только прохаживался насчет холодности Его Милости – что он свои книги и ученые занятия ни на какие женские стати вроде моих не променяет.

И все допытывался, не победила ли я в нем эту страсть.

В: Что же вы на это?

О: Что он в Его Милости обманывается. Тем самым его самого обманула.

В: Хорошо. Теперь – про пещеру.

О: Только знай, мистер Аскью: я стану говорить правду.

В: А я по своему усмотрению поверю или не поверю.

О: Правда – верь или не верь – останется правдой.

В: Тогда мое неверие ей не в убыток. Рассказывайте.

О: Стали мы подниматься к пещере, но самой пещеры еще не видели – она скрывалась от наших глаз за взгорком. И тут откуда ни возьмись дорогу нам заступила леди в серебре.

В: Как – в серебре?

О: Наряд на ней был преудивительный – словно как из серебра. А узоров на нем не было, ни цветочных, никаких. А еще удивительнее, что она носила узкие штаны – вот как носят поверх коротких панталонов моряки и северные жители. Я как-то видела одного такого, когда он верхом ехал по Лондону. И на ней были такие же, только уже. В обтяжку, как лосины. И курточка, тоже в обтяжку и из такой же серебристой материи. А на ногах сапожки из черной кожи – вроде мужских для верховой езды, только что голенища пониже. И смотрит она так, словно нас-то и поджидала.

В: И вы положительно утверждаете, что она будто из-под земли выросла?

О: Похоже, она до поры хоронилась в укрытии.

В: Отчего же вы взяли, что она непременно леди?

О: Видно, что не из простых.

В: Имела она сопровождение? Был ли при ней грум или слуга?

О: Нет, она стояла одна.

В: Молодая или в летах?

О: Молодая, пригожая. Волосы не собраны. Пышные, прямые, ни завиточка.

И черные что вороново крыло. На лбу выстрижены ровно, как по ниточке. Так чудно!

В: А шляпа или чепец?

О: Ничего этого она не носила. И знаешь, у нее не только наружность

была диковинная, а и повадка. Стоит ли, ходит ли – все не как леди, а будто бы молодой джентльмен из тех иных, что всегда держатся просто, без принужденности, а чванство да церемонии ни в грош не ставят. И приветствовала она нас странным манером: сложила руки перед собой, точно при молитве – вот так – и тут же опустила. Сделала она это походя, вот как махают рукой приятелю при встрече.

В: Была ли она удивлена вашим появлением?

О: Нисколько.

В: Как отвечал на это Его Милость?

О: Тотчас пал на колени и обнажил голову, как бы изъявляя почтение. Дик за ним. Пришлось и мне тоже. Но к чему это и кто эта леди, мне было невдомек. Она же в ответ улыбнулась с таким видом, будто вовсе этой учтивости не ждала, но находит ее для себя приятной.

В: Она что-нибудь произнесла?

О: Рта не раскрыла.

В: А Его Милость с ней не заговорил ли?

О: Он только стоял на коленях, опустив голову, словно бы показывал, что не смеет глаз на нее поднять.

В: Не показалось ли вам, что прежде они уже встречались?

О: Я только то разобрала, что Его Милость, как видно, знает, кто она такая.

В: Не имел ли Его Милость от нее какого-либо знака или приветствия, лишь ему предназначенного?

О: Нет.

В: Из какой материи был сшит этот чудесный наряд?

О: Я такой сроду не видывала. Блестит точно наиотменнейший шелк, но при движении заметно, что мягкостью шелку уступает.

В: Леди, говорите, молодая?

О: Не больше как моих лет.

В: Далеко ли от вас она Стояла?

О: Много если за полсотни шагов.

В: Какова она была наружностью: природная англичанка или же иноземка?

О: Нет, не англичанка.

В: Из каких же тогда?

О: Да вроде той, какую два лета назад показывали в балагане близ Мэлла – по прозвищу Корсарша. Ее взяли с корабля, захваченного в Западных морях.

Лютостью, сказывали, всех морских разбойников превзошла, даром

что была у корсарского капитана в любовницах. Тот был вероотступник, его в Дептфордском порту повесили, а ее пощадили. Мы, которые за погляд деньги платили, стоим вокруг, а она жигает глазами: когда бы не оковы, всех бы порешила. А собой статная и красоты неописанной. Клейборн подумывала откупить ее к себе в бордель для ретивейших распутников: им ее укрощение будет кровь горячить. Да что-то не сошлись в цене. Притом хозяева ее сказывали, она такого срама не перенесет и скорее наложит на себя руки, чем даст собой овладеть. Нет-нет, ты не думай, это не она стояла тогда на тропе. У этой леди лицо было не свирепое, а доброе.

В: Женщина из балагана – она кто была? Арапка? Турчанка?

О: Вот не знаю. Глаза и волосы черные, лицо смуглое впрожелть. Ни румян, ни белил. Немного походила на евреек, которых мне случалось видеть в Лондоне, только те все больше застенчивые и боязливые. А про эту, в балагане, люди говорили, будто она не истинная корсарша, а обыкновенная цыганка, нанятая корсаршу изображать... Это я рассказываю, как оно мне представлялось тогда, на тропе, при первом ее появлении.

В: Отчего вы сказали, что она повадкой походила на молодого джентльмена?

О: Оттого что не манерничала вроде лондонских дам – не было ей нужды доказывать свою знатность модными нарядами и жеманством. А когда мы преклонили колена, она заметно смешалась – видно, почла это за лишнее. А потом с озадаченным видом уперла руки в бока: совершеннейший мужчина.

В: Разгневалась?

О: Вовсе нет – улыбнулась: мы ее, похоже, забавляли. И вслед за тем неожиданно отвела руку назад, как бы приглашая войти в дом или в комнату.

Ну как хозяйская дочка, пока родители не вышли, сама встречает на пороге гостей.

В: Не выражал ли ее вид злобу или угрозу?

О: Что я про нее Джонсу наплела, это все, прости Господи, поклеп. А по правде, я лишь то разобрала, что платье и манеры у нее не наши, что она чудо как хороша и простодушна. Хоть ни Англии, ни обычаев наших не знает, зато держится так свободно и нестесненно, как ни одна англичанка не умеет.

В: Что же было дальше?

О: Она вновь сложила руки вот так, а потом повернулась и пошла прочь.

Идет как ни в чем не бывало, точно гуляет на досуге по своему саду.

Сорвала цветик, понюхала – и дальше. Про нас будто и думать забыла. Тогда Его Милость встал с колен, и мы поднялись туда, откуда она появилась.

Тут-то нам это место и открылось, и пещера показалась. А у пещеры стоит та самая леди и указывает на озерцо, будто бы велит подождать возле. И исчезла в темной пещере.

В: Тропа, которой вы поднимались, казалась торной? Часто ли по ней хаживали?

О: Едва-едва заметная: одно название что тропа.

В: Не любопытствовали вы у Его Милости, кто такая эта леди?

В: Я спросила, и он ответил так: «Дай Бог, чтобы она сделалась тебе подругой». Только и сказал.

В: Дальше.

О: Подошли мы к озерцу, к стоящему, где пещера, камню. Его Милость остался в сторонке, а я опустилась на колени у самой воды. Умылась, напилась – а то ведь солнце пекло, мочи нет как жарко.

В: А что, сударыня, не пошатнулся ли у вас разум от хождения по такой жаре? Я не говорю, что вы лжете, однако ж не могло ли стать, что вы в смятении ума увидали не въявь случившееся, но то, что показало вам разгоряченное воображение?

О: Нет тут никаких сомнений.

В: Женщина, мало того, знатная дама и в придачу иноземка – и вдруг совсем одна в этой глуши. Я таких примеров не припомню.

О: В этой истории будет много еще беспримерного. Дай досказать и суди сам.

В: Что ж, досказывайте.

О: И вот Его Милость подошел ко мне и промолвил: "Пора, Фанни.

Хранители ожидают". А надобно тебе знать, что, пока мы пребывали в этом месте, у меня на душе вдруг сделалось тревожно. Не понравилась мне эта мрачная пещера: не путь к целебному источнику, а сущие врата адовы. И я призналась Его Милости, что мне боязно, и он отвечал: «Поздно теперь бояться». Я просила его дать мне слово, что эта затея не обернется для меня бедой, но он на это пригрозил, что за послушание меня ждет беда и того злее. Я стала выведывать про хранителей вод, и тут он вышел из терпения и прикрикнул: «Довольно слов!» – и потащил к камню, где стоял Дик, и принудил надеть майский венец. Дик ухватил меня за руку и повел к пещере, а Его Милость следовал несколько позади, как бы из почтения. Но мне в тот миг с перепугу вообразилось, будто это на тот случай, если я вздумаю убежать. Иду ни жива ни мертва. Господи помилуй, думаю, не

бесы ли это в человеческом обличье? А воды, о коих речь, – не те ли воды, в которых кипят грешники в бездне адовой? А хранители их, которых я вот-вот увижу, – уж не сам ли это дьявол? И как ударило мне это в голову, так я тотчас бросилась на колени и взмолилась, чтобы Его Милость открыл мне правду. Подлинно, что я грешна, но мало ли на свете есть людей грешнее меня? Неужели же он не умиосердится, не избавит меня от неведомой кары? На это Его Милость в сердцах обозвал меня малоумной: если я думаю, что они хотят ввергнуть меня в ад, то для чего мне страшиться адских мук? Напротив, там меня приветят как родную: большую я аду службу сослужила. Не я ли была верной приспешницей нечистого? Уж если мне чего и бояться, так скорее гнева небесного. Сказал – и потащил дальше.

В: Не грозил ли он вам шпагой?

О: Нет. Шпагу достал, это правда, но угрозы никакой не делал. Он не злобился, а словно бы досадовал, что я не в ту сторону принимаю его замысел.

В: Вернитесь немного назад. Прежде чем Его Милости к вам подойти, не получил ли он из пещеры какого знака о том, что время пришло? Может, женщина в серебре его поманила или слуга?

О: Не знаю. Я тогда была отвлечена своими страхами и недоумениями, а на пещеру и не смотрела.

В: А не заметили вы подле пещеры выжженного места?

О: И верно. Забыла рассказать.

В: И как оно вам показалось?

О: Пепелище свежее, но пепла мало наберется. Кругом выжжено, как после большого костра.

В: Хорошо. Дальше.

О: После солнечного света я сперва ничего в пещере не видела – тени какие-то. Шла, куда Дик ведет. И вот поворотили мы налево, а там...

В: Что же вы запнулись?

О: Червь.

В: Какой такой червь?

О: Висит на воздухе посреди пещеры как бы раздутый белоснежный червище преогромной величины.

В: Что за притча!

О: Да-да. Видом совершенный червь, хоть и не вправдашний. Смотрит на нас сверху, глазище горит. У меня кровь в жилах заledenела. Я ведь тогда не понимала, что это за тварь. Не удержалась и в крик. Тут Его Милость вышел вперед, взял меня за другую руку. Подвели они меня ближе

и поставили на колени.

В: Только вас или все опустились?

О: Все, точно в храме. Или как тогда на тропе.

В: Расскажите-ка пространнее про этого червя. Какой он имел вид?

О: Весь белый. Да не из плоти, а точно как покрытое лаком дерево или свежелуженое железо. Три кареты одну за одной поставить – вот какой большой, если не больше. Голова и того огромнее, а в ней свет извергающий глаз. И вдоль боков глаза, и тоже горят, но как бы через зеленоватое стекло. А у другого конца черные-пречерные впадины – исторгать из чрева ненужное.

В: Не имел ли он зубов, челюстей?

О: Не имел. И ног не имел. Снизу было только шесть черных отверстий – шесть пастей.

В: Он, говорите, не на земле лежал? На чем же он был подвешен?

Приметили вы канаты, балки?

О: Нет, ничего такого.

В: Как высоко?

О: Выше двух человеческих ростов. Не мерила я: не до того.

В: Отчего же вы называете его червем?

О: За такого я его вначале почла. Все как у червя: голова, хвост. И цветом похож, и толстый.

В: Он шевелился?

О: Сперва, когда мы перед ним стояли, – нет. Просто висел на воздухе, точно воздушный змей, хоть и без бечевки. Или как птица, только что крыльями не плескал.

В: Толщиной каков?

О: Побольше человеческого роста. Чуть не вдвое больше.

В: А в длину больше трех карет? Уж это из веры вон! Завралась, сударыня. Может ли статья, чтобы этакая громада, которая ни в устье, ни в проход не влезет, оказалась внутри пещеры?

О: Может или не может – не знаю, а вот оказалась. А не веришь, так я и вовсе рассказывать брошу. Все, что ни есть на душе, стеснено, точно вода в запруде, излиться хочет – так стану ли я лгать?

В: Скорее поверю тому, что ты наплела Джонсу – про трех ведьм да про твои шашни с дьяволом.

О: На то ты и мужчина. Мужчины обо всех женщинах так понимают, как ты обо мне. Знаешь ли, мистер Аскью, что есть блудница? Блудница – это та, кого вашему брату угодно видеть во всякой женщине, чтобы было чем оправдать свое худое о нас мнение. Мне бы столько гиней заиметь,

сколько мужчин досадовало, отчего я не их жена или отчего их жена на меня не похожа.

В: Довольно. Сыт по горло твоими дерзостями. А что до твоих рассказней, то душу я тебе изливать не препятствую, но заливать не позволю. Этот пренелепейший червь – имел ли он на себе еще какие знаки?

О: Изображение колеса на боку, а дальше в ряд шли какие-то начертания.

То же на брюхе.

В: Что за колесо?

О: Краской выведено по белой коже. Синее, точно море летней порой. Или небо. А спиц в ступице множество.

В: А начертания?

О: Мне они неведомы. Стоят рядком, как буквы или цифры, – чтобы человек понимающий мог прочесть. Все одинаковой величины. Одно имело вид птицы: словно бы ласточка в полете. Другое – цветок, но не как в натуре, а как малюют на фарфоровых чайниках. А еще такое: круг, а внутри дугой поделен, одна половина круга черная, другая – белая, как луна на ущербе.

В: Буквы либо цифры имелись?

О: Нет.

В: А знаки, относящиеся до христианской веры?

О: Нет.

В: Производил ли он какие звуки?

О: Гул. Глухой, правда. Как от пламени в закрытом горне. Или как печь, когда для стряпни поспеет. Или еще на кошачье урчание похоже. И тут я, как тогда в капище, различила благоуханный дух и увидала, что на меня льется свет, что озарял нас сверху в ту ночь. И сердце мое успокоилось: я уверилась, что зрелище это лишь по видимости ужасно, а по правде, никакого зла от него не будет.

В: Как же это? Мерзостная диковина, ни с одним законом природы несообразная, – и вы от нее никакого зла не ждете?

О: Да, я по запаху догадалась, что она мне вреда не сделает, что это не более как труп львиный, имеющий внутри себя мед <намек на эпизод из библейской Книги Судей Израилевых (гл.13): рассматривая труп льва, растерзанного им несколько дней назад, Самсон обнаруживает в нем рой пчел и мед>. Вот ты сам увидишь.

В: Никак вы добро и зло по запаху разбираете?

О: По такому разберу. Потому что это запах невинности, запах благодати.

В: Экие, право, тонкости! Так растолкуйте мне, чем пахнут невинность и благодать.

О: Словами я выразить не умею, хоть и теперь его чую.

В: Как я – смрад твоей самомненной добродетельности: его и такими ответами не отобьешь. Вам говорю: опишите, каков показался бы этот запах тому, кто такой, как вы, благодати не сподобился.

О: Как собрание всего что ни есть лучшего во всех запахах.

В: А все же – нежный или по резче? Запах ли мускуса, бергамота ли, розового масла, мирра? Цветочный ли, плодовый или же как у искусственных вод: кельнской <"кельнская вода" – одеколон>, венгерской? Аромат ли курений или того, что от природы душисто? Что молчите?

О: Дух жизни вечной.

В: Вот что, сударыня, когда бы я спрашивал о ваших подозрениях и чаяниях, то такой ответ был бы еще извинителен. Но я сделал вам вопрос иного рода. Сами говорите, что и теперь слышите этот запах. Вот и славно.

И не смейте мне зубы заговаривать.

О: Тогда скажу, что более всего он сроднился с благоуханием розы, что растет в кустах на меже. Когда я была маленькой, мы ее звали «девичья роза», и если в пору ее цветения игралась свадьба, то невеста, идучи под венец, всегда украшала себя этим цветком. Век у него короткий: день-другой – и отцветает. А как распускается, то благоухает как сама чистота. И сердечко золотое.

В: А, так вы про белый шиповник?

О: Ну, роза, немощная такая, без подпоры все к земле клонится. Душистее садовых будет. Так вот точно и благоухало, только крепче, будто вытяжка, из этой розы добытая. А все же по запаху судить – все равно что угадывать душу человека по его обличью.

В: Не горел ли в пещере костер, о коем вы сказывали Джонсу?

О: Костер не горел, но костровище имелось – такое точно, как снаружи.

Уже старое, только потемневшая зола осталась.

В: Но при вас огонь не горел?

О: Давным-давно отгорел. Ни искорки, ни красного уголька.

В: Точно ли? И даже гарью не пахло?

О: Точно, точно. Не пахло.

В: Теперь, сблизив, не разобрали вы, что же именно, какое светило производит столь яркое сияние?

О: Не разобрала: глаз был укрыт от меня как бы млечным стеклом или плотной кисеей. Сколько живу, не видывала такого яркого фонаря ни

пламенника.

В: Какую же он имел величину?

О: Примерно фут в поперечнике.

В: Не больше?

О: Нет, как я сказала. Но при этом ярче солнца. Смотреть глазам больно.

В: На каком удалении стояли вы от этого висящего на воздухе предмета?

О: Не так чтобы далеко. Как от меня вон до той стены.

В: И вы положительно утверждаете, что то была машина, перелетевшая с капища в пещеру, что она имеет свойство взмывать в поднебесье подобно птице?

О: Да, и многое еще.

В: Без колес, без крыльев, без лошадей?

О: Дай срок, узнаешь, мистер Аскью. Я тебя понимаю. Тебе удобнее видеть во мне полоумную, обмороченную собственным бредом. Ты ждешь, что я снаряжу дыхание Божие колесами да крыльями. Ясное дело: женщина неученая, грамоте хорошо не знает, да еще из простых. Только вот что я тебе скажу: мне это было явлено не в бреду и не во сне, а по виду было больше как те диковинки, что выставляют в лондонских балаганах. Ты скажешь, балаганные чудеса не истинные, а сплошь обман, работа ловких искусников. Но в пещере я ничего этого не обнаружила.

В: Не заметили вы при всем том, как держал себя Его Милость?

Встревожился ли он при виде этого диковинного чудовища, перепугался ли?

О: Скорее, как бы ждал чего-то. А шляпу держал под мышкой.

В: Словно в присутствии высокой особы?

О: Так.

В: А что Дик? Тоже не показал испуга?

О: Его, должно быть, обуял священный трепет. Стоит и глаз от земли не поднимает.

В: Дальше.

О: Стоим мы, как я сказывала, на коленях, Его Милость шпагу уставил острием вниз, руки на эфесе – будто джентльмен из стародавних времен перед королем. Вдруг от летучего червя повеяло ветерком, и он начал опускаться.

Медленно-медленно, точно перышко. Опустился так низко, что едва не доставал брюхом до земли, и лишь тогда остановился. А из брюха выставились четыре тонкие лапы с большими черными ступнями. И едва

он на этих лапах утвердился, как в тот же миг сделалась в боку его отверстая дверь.

В: Как так – дверь?

О: Покуда он парил наверху, я ее не замечала, а как опустился, то различила я посреди тулова дверь. А от двери до земли откинулась складная подножка на хитрых петлях, как у кареты. Ступеньки три-четыре, серебряные, решетчатые. А кто ее откинул, я того не видала.

В: И что же вы усмотрели внутри?

О: Не сердце, не кишки, нет. А как бы стену, сложенную из блистающих самоцветов. Каких тут камней не было: изумруд и топаз, рубин и сапфир, коралл и хризолит и не знаю еще какие. Не самой чистой воды самоцветы, чуть затуманенные. А горят так, точно с оборотной стороны за ними поставлены свечи. Ну, сама-то я свечей не видала. Такие в колокольнях разноцветные окна бывают, только в тех стеклышки покрупнее.

В: Что-то я не совсем понимаю. Растолкуйте еще раз: то был не истинный червь, не одушевленная тварь, но рукотворное устройство, машина?

О: Да. И изнутри на нас еще ощутительнее пахло благовонным бальзамом.

И тогда Его Милость склонил голову, как бы давая понять, что те, кого он называл хранителями вод, сейчас будут здесь.

В: Эти лапы – откуда они выступили?

О: Из тулова, из тех черных отверстий, о которых я сказывала. Тонкие: я думала – подломятся. Ан нет, выдержали.

В: Какой они были толщины? Имели они икры, ляжки?

О: Да нет, толщины всюду одинаковой. Не толще молотильного цепа или жезла пристава. Но под такой тушей смотрелись совершенно как паучьи лапки.

В: Дальше.

О: И выступила из двери та, в серебре, которую мы видали, и в руках она имела букет белоснежных цветов. Улыбнулась, быстрым шагом сошла по ступенькам и остановилась перед нами. И тотчас оборотилась назад, а наверху, откуда ни возьмись, показалась другая леди в таком же наряде.

Постарше, волосы впросесть, а все же прямая и осанистая. И тоже нам улыбнулась, но со всевозможной величавостью, точно королева.

В: В каких она была летах?

О: Много если сорок. Не вовсе еще увядшая.

В: Продолжайте. Отчего вы замолчали?

О: Ты сейчас опять усомнишься в моих словах, но, видит Бог, я не лгу.

В: Бог, может, и видит, да я не вижу.

О: Придется тогда верить на слово жалкой рабе Его. Вторая леди также спустилась по серебряной лесенке, и едва ступила наземь, как появилась в дверях еще одна, как бы дама из свиты вслед за знатной особой. Эта была уже старая, в седирах, телом немощна. Оглядела нас, как и те две, и тоже сошла вниз и встала рядом с теми. Стоят, смотрят на нас, глаза у каждой ласковые. И тут – новое чудо: я вдруг увидела, что это мать, дочь и дочь дочери. Возрастом отличны, а черты ну так схожи, словно это одна женщина в разных летах.

В: Как были одеты две другие?

О: В те же престранные наряды, что и первая: серебристые штаны и курточки. Ты, верно, думаешь, неприличен даме в летах такой наряд, а как посмотришь – никакого неприличия. Сразу видно, к наряду этому им не привыкать и надет он не для смеха, не для забавы, а просто это платье приглянулось им за то, что оно простое и свободное.

В: Имели они на себе украшения, драгоценности?

О: Никаких. Только и было что три букета: у старой цветы темно-багровые чуть не до черноты, у младшей, как я сказывала, чистейшей белизны, а у матери ее, точно кровь, алые. Во всем же прочем все три – словно горошины из одного стручка, только что летами несходны.

В: Ну а жабы, зайцы, черные кошки – их вы, часом, поблизости не приметили? Или, может, воронье близ пещеры каркало?

О: Нет, нет и нет. И котлов с метлами не случилось. Ох, смотри, не знаешь, над кем насмехаешься.

В: Послушать тебя – только их и недоставало. И тебе летучий червяк на паучьих ножках, и женщины, обряженные ворон пугать.

О: А теперь, сударь, слушай такое, чему ты и подавно не поверишь.

Женщина средних лет стояла посредине, а молодая и старая – по сторонам. И вот эти две поворотились и шагнули к третьей, и уж не знаю каким чудом, но в тот же миг они с ней слились, точно как всочились в нее и пропали. Так призраки проходят сквозь стену. И где стояли три женщины, осталась одна – та седоватая, мать. Я это ясно видела, как тебя вижу. А букет у нее в руках уже не алый, как прежде, но разноцветный: из белых, алых и темно-багровых цветов – чтобы мы хоть так поверили, если не поверим своим глазам.

В: Ну, сударыня, уж этакой дичи не даст веры и самый легковверный дурак во всем крещеном мире.

О: Вот ты себе должность и определил. Ведь я тебе ничего, кроме

правды, рассказывать не стану, хоть бы эта правда и располагала тебя к подозрениям. Не хмурься, сделай милость. Конечно, ты законник, тебе надлежит приступать к моим словам не иначе как с пилой и молотком. Но помни: слова мои – внушение духа. Не извести бы тебе отменную доску на щепы да опилки. Такая трата тебе мудрости в этом мире не прибавит.

В: Там видно будет, сударыня. Плети дальше свои небылицы.

О: Эта леди – назову ее матерью – приблизилась к нам. Сперва к Его Милости: протянула руки и подняла с колен. А как он поднялся, заключила в объятия. И обнялись они, словно мать и сын, сей лишь час воротившийся из дальних странствий, словно она его целую вечность не видела-не обнимала. А потом она обратилась к нему на неведомом наречии, и голос у нее был тихий и нежности неописанной. И Его Милость отвечал на том же непонятном наречии.

В: Постой-ка, не спеши. Что это был за язык?

О: Я такого никогда прежде не слыхивала.

В: Какие же языки тебе доводилось слышать?

О: Голландский, немецкий. Еще французский. Малым делом испанский и итальянский.

В: И этот был не из их числа?

О: Нет.

В: И Его Милость изъяснялся без труда, точно язык этот ему знаком?

О: И очень знаком. А обычное свое обращение он переменял.

В: В какую сторону переменял?

О: Отвечал почтительно, с видом непритворной благодарности. Я же говорю: как сын, представший после долгой отлучки перед матерью. Ах да, вот еще какое диво: едва она подошла, как он отбросил шпагу, будто бы в ней нету больше надобности. И препоясание, и ножны – все отбросил. Словно бы путь его лежал через места, полные опасностей, но теперь он вновь под родным кровом и все его тревоги позади.

В: Вот вы, сударыня, говорите: «отбросил». Именно что отшвырнул как ненужную вещь или все же бережно отложил?

О: Отшвырнул назад, далеко отшвырнул. Будто и в мыслях не имеет когда-нибудь снова ее носить. Будто все они – и шпага, и ножны, и ремень – были ему не более как маскарадным нарядом и теперь уж отслужили свое.

В: Скажите-ка вот что. Не обнаруживали их взаимное приветствие и беседы, что они прежде уже встречались?

О: Будь они незнакомы, он бы показал больше удивления. Затем он оборотился к нам и представил нас этой леди. Первым Дика: тот по-прежнему стоял на коленях. Леди протянула ему руку, и он с жаром ее

схватил и прижал к губам. Тогда она и его подняла с колен. Наступил мой черед. А надобно сказать, что, покуда они беседовали на своем языке, я хоть речей Его Милости не понимала, но ясно услышала, как он произносит мое имя. Не Фанни, а истинное, крестное: Ребекка. До той поры он меня ни разу этим именем не называл. И как он его вызнал – Бог весть.

В: Вы ему своего имени не открывали? Ни Дику, ни кому другому?

О: Даже в борделе не открывала. Разве мамаше Клейборн.

В: Стало думать, от нее он и уведомился. Дальше рассказывайте.

О: Встала леди передо мной и улыбнулась, как давней подруге, с которой долгое время была врозь, а теперь наконец свиделась. А потом вдруг наклонилась, взяла меня за руки и подняла с колен. Стоит близко-близко, рук моих не выпускает и все улыбается. И смотрит мне в глаза пытливым взглядом, точно желает понять, сильно ли переменилась давняя подруга за годы разлуки. Потом, как бы в знак своей милости, протянула мне трехцветный букет. А взамен сняла с моей головы майский венец и принялась разглядывать. Но на себя не надела, а с улыбкой вновь возложила мне на голову. А возложив, ласково поцеловала меня в губы, как было заведено встарь, тем самым показывая, что она мне рада. Я совсем потерялась. Ну, присела учтиво – дескать, благодарствую за цветы – и ответила ей улыбкой.

Но куда моей улыбке до ее: она-то улыбалась, точно мы давно знакомы. Ну да, как мать или любезная тетушка.

В: Было ли при этом что-либо произнесено?

О: Ни слова.

В: Она и двигалась как леди – вальяжно, с изяществом?

О: С величайшей простотой, под стать своей дочери – а та, как видно, про всяческие принятые у нас ужимки знать не знала и знать не хотела.

В: И все же по виду представлялась особой знатной?

О: Да, и еще какой знатной!

В: А что цветы, которые она вам пожаловала?

О: Цветы были все одинаковые, различались только окраской. Вроде тех, какие среди лета привозят в Бристоль с Чеддарских скал. Их зовут июньские гвоздики. Но эти были крупнее и много душистее. Да и не цветут они так рано.

В: Вы такие прежде видывали?

О: Никогда. Но есть у меня надежда, что вновь их увижу и духом их надышусь.

В: Как – увидите вновь?

О: Дальше узнаешь. Потом леди опять взяла меня за руку и повлекла в недра червя. Ее-то я больше не робела, а войти внутрь было боязно. Я и поглядываю через плечо на Его Милость: как, мол, прикажете? Он же приложил палец к губам: «Молчи», – и кивнул на привечавшую нас женщину – на мать – в знак того, чтобы я ее слушалась. Я перевела взгляд на нее, и она, видно, угадала мой вопрос и точно как ее дочь сложила руки перед собой. И тоже улыбнулась – это, понятно, чтобы рассеять мои страхи. Я повиновалась.

Взошли мы с ней по серебряной лесенке, и она ввела меня в свою карету – или гостиную... Не знаю, как и назвать. Нет, не гостиная – чудо из чудес, покой со стенами из горящих самоцветов: тех, что я снизу заприметила.

В: Его Милость и Дик последовали с вами?

О: Да.

В: Но первой леди ввела тебя?

О: Меня.

В: Не дивилась ли ты, что тебе, шлюхе, – и такой почет?

О: Как не дивиться. Так дивилась, что слова вымолвить не могла.

В: Расскажите-ка еще про тот покой. Что за самоцветы его украшали?

О: Цветом все разные. Какие горели ярче, какие не слишком, иные граненые, иные круглые. И располагались они по всем стенам, а частью и на потолке. И многие несли на себе знаки, как бы показывающие, что всякий из тех камней имеет волшебные свойства или тайное назначение. Но мне эти знаки неведомы. А еще многие имели возле себя маленькие часы – не заведенные, правда: стрелки стояли на месте.

В: С обозначением каждого часа?

О: Были обозначения, да только не такие, как принято у людей.

В: Сколь пространен был тот покой?

О: В ширину – футов десять – двенадцать, в длину же был вытянут футов на двадцать. Высоты такой же, как ширины.

В: Как он освещался?

О: Были на потолке две большие плиты, через них и падал свет. Неяркий, не такой, как выпускало из себя око червя.

В: Плиты?

О: Как будто бы из дымчатого или, как я сказывала, млечного стекла, и что за ними было, что производило этот свет, не разглядеть.

В: Мебелей, шпалер не имелось ли?

О: Когда мы вошли, ничего этого не было. Но леди тронула пальцем один самоцвет, и дверь за нами затворилась – сама собой, как и

открывалась, каким-то невидимым устройением. А серебряная лесенка сложилась, и тоже будто по своему произволению. Тогда леди тронула другой камень – а может, прежний, – и от обеих стен откинулись не то скамьи, не то другие какие сиденья. Как это сделалось, не знаю: стало думать, не обошлось без каких-то пружин и петель, как у потайных ящичков в комодах. Она же пригласила нас сесть: Его Милость и Дика по одну сторону, меня – по другую. Я опустилась на скамью, а она обтянута белой кожей, нежнейшей шагренью, и седалищу моему было мягко, как на пуховой перине. А леди отошла в дальний конец покоя и притронулась к другому самоцвету, и растворился шкаф, а в нем – множество пузырьков и склянок дымчатого стекла. Совершенно как в аптекарской лавке. Верно не скажу, но в одних, похоже, были порошки, в других – жидкости. И достает леди одну склянку с чем-то золотистым наподобие Канарского вина и наполняет три хрустальные стопки. А стопки тонкого стекла, не граненые, чудо какие легкие. Наполняет она их и как простая прислуга подносит нам. Я сперва пить остерегалась: не зелье ли какое, а потом гляжу – Его Милость пьет и не боится, и Дик с ним.

Тут леди приблизилась ко мне и вновь улыбнулась, взяла у меня стопку и пригубила, как бы говоря: «Пей, не бойся». Тогда и я стала пить. На вкус – то ли абрикос, то ли груша, только слаще и тоньше. Вот когда я жажду утолила, а то горло совсем пересохло.

В: Не имело ли это питье спиртуозного вкуса? Не походило ли на бренди, джин?

О: Нет, на добытый из плодов сок.

В: Дальше.

О: Дальше она присела подле меня, протянула руку и коснулась синего камня в стене над моей головой. И в тот же миг света в комнате как не бывало. Сделалось темно, и просвечивало только в окошки, которые я вначале приняла за глаза. Да, забыла сказать: изнутри они виделись не так, как снаружи: стекло в них было не зеленое, а чистое-пречистое. Хоть бы где пузырек или трещинка. Я бы прямо умерла со страху, спасибо, леди обняла меня за плечи, а другой рукой нашла в темноте мою руку и пожала ободряюще: все силилась уверить меня, что никакого вреда мне не умышляет и не причинит. Держит меня как свое родное дитяtko, словно желает унять мой страх перед этими чудесами, которые не вмещаются в мое понятие.

В: Она прижимала вас к себе?

О: Как подругу или сестру. В борделе мы, бывало, в минуты досуга или ожидания тоже так сиживали.

В: Что было дальше?

О: И тут приключилось чудо против всех прежних величайшее. Вдруг в дальнем конце покоя, где у червя голова, сотворилось окно, а за ним показался большой город, и мы летели над ним точно птица.

В: Что?

О: Истинно говорю тебе, так и было.

В: А я говорю – не было. Уж это чересчур!

О: Господом Богом клянусь, так и было. Так мне виделось.

В: Что ваш расчудесный покой, изукрашенный самоцветами, порхнул из пещеры и, как глазом моргнуть, перенесся в большой город? Не почитаете ли вы меня за иного из своих желторотых гусенышей? Не на такого, сударыня, напали!

О: Если и есть тут обман, то обманывает мой рассказ, но не я. Я передаю, что видела, а от какой причины мне это увиделось, я не знаю.

В: Таким баснословием книжки для сброда наполнять, а человеку с понятием такое и слушать зазорно. Ты, как погляжу, так и осталась продувной шлюхой, хоть и толкуешь про пилы да молотки, щепы да опилки.

О: Мои слова – чистая правда. Ну поверь же ты мне! Ты должен мне верить!

В: Не стало ли причиной сказочного видения то зелье, которым вас угощали?

О: Меня не сон сморил, не истома напала. Я куда яснее видела, что мы летим над городом. И много еще чего видела – дальше расскажу. Хотя, правду сказать, не обошлось и без доброго чародейства, какое только во сне пригрезится. Через окошки поменьше было видно, что пещеру мы не покидали: как были за окошками стены, так и остались.

В: Какую величину имело то окно, за которым открылся город?

О: Высотой три фута, длиной четыре. Вытянутое в длину.

В: И вы положительно утверждаете, что машина, в коей вы помещались, пещеры не покидала?

О: Да.

В: Так и есть: либо ворожба, либо зелье. Либо то и другое вместе.

О: Пусть так, и все равно я знаю, что меня несло по воздуху. И что было за окном, виделось не так, как оно обыкновенно видится через простое стекло. Точно кто неведомый показывал нам вид из окна таким, каким хотел представить его нашим глазам: то покажет издали, это – сблизи, то с одного бока, это – с другого. Я бы и рада глядеть по сторонам или рассмотреть те места, что остаются позади, – рада бы, да не выходит.

Как ни задерживаю взгляд, а все равно вижу лишь то, что видит окно.

В: Окна, сударыня, видеть не умеют. То был один обман чувств. Над каким же городом вы будто бы пролетали?

О: Над городом красоты несказанной. Сама не видывала и от людей не слыхала, чтобы во всем свете был хоть один такой город. Строения сплошь белые с золотом. Куда ни глянь – парки и плодоносные сады, чудные улицы и аллеи, речки и пруды. Не то чтобы город, а больше пригород, где селятся богатые горожане. И таким от всего этого веет покоем!

В: Откуда вы узнали, что сады были именно плодоносные? Разве вы пролетали не на большой высоте?

О: Так мне показалось. Маленькие деревца, рядами посаженные, – я и рассудила, что это плодоносные сады. И меж них через всю окрестность протянулись великолепные широкие дороги, точно золотом мощенные, а по ним двигались люди и бегали блистающие кареты. Сами собой, без лошадей, а бегают.

В: Каким же это способом они бегали?

О: Не знаю. А люди по золоченым дорогам передвигались не сами, не пешим ходом – двигалась мостовая у них под ногами. Сама двигалась и их везла.

Хотя ходить пешком они умели не хуже, чем мы. Мы, как пролетали над полем, видели их пляшущими, девицы стояли двумя кругами, а мужчины на другом поле – рядами. И плясали. Попадались нам и просто прохожие: ходят совершенно как мы.

В: И как они плясали?

О: Плясали и, похоже, припевали. И девицы движениями показывали, будто пол метут. Преизящнейшим образом двигались и с ликованием запрокидывали головы. А мужчины взмахивали руками, будто сеют семена, а потом изображали, будто косят. Как взаправду, только что проворнее. Чистоте духовной в этой земле почет и уважение. Я многих там видала, которые, взяв помело или веник, по правде мели дорожки или золоченые аллеи и этим изъясняли, как несносна им неопрятность. Другие же стирали в ручьях белье.

А мужчины в пляске радовались щедротам Господним. И повсюду у них усматривался благостный порядок – и в садах, и в парках, и, без сомнения, в жилищах.

В: Наружность их была ли подобна нашей?

О: Как у различных народов. Иные белые, иные смуглые или желтые, а то черные, словно ночь. Всех я с вышины не рассмотрела. Мы глядели словно с маковки превысокой башни, которая двигалась на ногах.

В: А что их одежды?

О: Все были наряжены точь-в-точь как те три леди – в серебряные штаны и курточки. Что мужчины, что женщины. Я не все разглядела из-за нашей быстротходности. Едва начнешь к чему-то приглядываться, а оно уже скрылось из глаз и перед тобой новые виды.

В: А эти черные дикари – не нагими ли они ходили?

О: Нет.

В: Не попадались ли вам церкви?

О: Нет.

В: Не видели вы каких-либо символов Господа либо Его исповедания?

О: Таких, как заведены у нас, не видала. Все вокруг было таким символом. А священников, церквей и прочего в таком роде не имелось.

В: А языческих либо не знаю каких еще храмов?

О: Нет.

В: Ну а большие здания, дворцы? Биржи, лазареты, судебные палаты?

О: Ничего из этого не было. Дома же большие и красивые точно имелись, и люди, похоже, проживали в них все вместе и не делали между собой никакой разницы. И дома эти, ни заборами, ни стенами не обнесенные, не лепились друг к другу, но были разбросаны по зеленым полям. И едким печным дымом от них не разило. Славные дома, будто пребольшие фермы среди полей. И все-то там зелено, как в летнюю пору, и все залито солнцем, будто на дворе вечный июнь. Я теперь этот счастливый край, который нам открылся, так и зову.

В: Как зовете, сударыня?

О: Вечный Июнь.

В: Alias <другими словами (лат.)>, турусы на колесах. Из чего были сложены их жилища: из камня ли, кирпича ли? Имели они кровлю соломенную или из плитки?

О: Ни то, ни другое. Подобные жилища в нашем мире мне вовсе не встречались. Стены белые и все больше гладкие, как внутри у морской раковины, а кровли и двери золотые. А очертаниями дома друг от друга различествуют. Одни – как большие шатры, другие с плоской кровлей, а на кровле разбит чудесный сад, третьи – круглые, как большие головы сыра.

Есть и иные, многообразные.

В: Откуда вам известно, что двери, кровли и дороги сделаны из золота?

О: Доподлинно я не знаю, они имели такой вид. Посмотрела я эти большие дома, где они имели общежительство. Много в них людей жило, и не как у нас – одна-единственная семья, но все купно. И одни дома были

отведены лишь для женщин, другие – лишь для мужчин. И такое же разделение являло себя всюду. В одном месте мы усмотрели многолюдное собрание: все сидели под чистым небом и внимали державшему перед ними речь. Вот и там мужчины и женщины строжайше были разведены по сторонам: женщины сидели по левую руку, мужчины – по правую, точно им было определено, как живут врозь, так держаться порознь и тут.

В: И вы не видели нигде супружеских пар или там любовников, что ли?

О: Нет, не видала. В Вечном Июне такое не в обычае.

В: Что у них не в обычае? Уж не живут ли они на манер католических монахов и затворниц-монашек? А детей вы тоже не видели?

О: Дети были, да только не плотского порождения. Плоти и грехам ее туда доступа нет. Заведись они – не было бы Вечного Июня.

В: Видели вы, чтобы люди там работали?

О: Разве что в садах и в полях. Себе на радость.

В: Не имелось ли там лавок, уличных торговцев, рынков?

О: Нет, не имелось. Фабрик и мастерских тоже не видать.

В: А солдат, людей с оружием?

О: Там оружия не носят.

В: Ну, сударыня, уж это никак на правду не похоже.

О: В нашем мире – не похоже.

В: Что же подельвала ваша леди в продолжение воздушного путешествия?

О: Сидела на скамье подле меня и все обнимала. И я, не отводя глаз от окна, положила голову ей на плечо.

В: Исходила ли от нее телесная теплота?

О: Как от меня.

В: Пусть и загрезившись, как разумели вы об этом явленном вам фантазмическом городе?

О: Что это тот самый город, откуда родом эта леди, что он не от мира сего, но от иного мира, против нашего совершеннейшего, который имеет знания обо всем, что неведомо нам. Что жители его внешним образом с нами сходятся и не сходятся и более всего несходны с нами в том, что наружность у них выражает покой, и довольство. Нигде я там не нашла ни сырых, ни убогих, ни увечных, ни хворых, ни голодных. Не видала и таких, кто бы кичился роскошеством и богатством. И было заметно, что они довольны равенством своего состояния, оттого что при нем ни один человек не нуждается. И всеобщим целомудрием довольны, оттого что при нем никто не грешит. Не то что в этом мире, где алчность и тщеславие

оковали сердца мужчин и женщин железом, отчего всякий поступок и самая жизнь человека подчинены единственно его корысти.

В: Вам, сударыня, велено излагать, что вы видели, а не как о том трактует демократическое вольномыслие, каким вы с недавних пор заражены.

О: Демократическое? Я такого слова не знаю.

В: Демократия есть правление подлой черни. Я чую в тебе этот дух.

О: Нет, это дух христианской справедливости.

В: Оставим это. Называйте как хотите.

О: Верно тебе говорю: этот мир хоть и имел некоторое наружное сходство с нашим, но в нем я не увидела ни солдат, ни караульщиков, ни тюрем, ни скованных узников, ни иных знаков, что кому-то не по мысли тамошние порядки, что кто-то делает злое и его должно покарать или обуздать.

В: Довольно, тебе говорят!

О: Ты мне, понятно, не веришь, но я тебя в том извиняю. В то время я и сама не верила, потому что во мне еще крепко сидели понятия мира сего. Не могла я взять в толк, как это возможно, чтобы меж людьми был такой лад и согласие, когда тут, внизу, даже один народ внутри себя живет недружно – что уж говорить о разных народах. Там же не нашла я и следа войн и разрушений, лютой зависти – но увидела только жизнь вечную. И знаешь, я хоть и не вдруг, но разглядела, что мир тот сущее Царствие Небесное.

В: Царствие Небесное по вашим понятиям. Тут разница.

О: А вот слушай дальше, мистер Аскью. Мы летели все ниже, ниже, благодатный Вечный Июнь все приближался, и наконец мы опустились среди луга, поросшего травой и цветами. А близ дерева нас поджидали трое: двое мужчин и женщина. А за ними, на дальнем конце луга, я увидела мужчин и женщин, косивших траву и убиравших сено в стога. И детишки с ними. Но ожидавшие были одеты иначе, чем прочие: на тех одеяния разных цветов, а эти двое мужчин были одеты во все белое. И женщина тоже в белом.

В: Не вы ли сказывали, будто не видели никого за работой? Отчего же такое противоречие?

О: Работать они работали, да не как мы.

В: Что значит «не как мы»?

О: Не по необходимости, но по доброй воле.

В: Из чего вы это вывели?

О: Из того, что они при этом пели да радовались. А иные отдыхали

или играли с детишками. И тут я пригляделась к мужчинам в белых одеждах и узнала в них тех, старого и молодого, что являлись мне ночью на капище.

Молодой – которого я тогда почла за плотника, который указывал на небо, – держал теперь на плече косу, будто сей лишь миг оторвался от работы. А старец в белой бороде стоял под сенью дерева, положив руку на деревянный посох, и листва зеленела над головой, а из нее выглядывали яркие плоды наподобие апельсинов. Он имел вид человека предоброго и премудрого, и ясно было, что сам он не работает, но обзревает земли вокруг, как хозяин, и все должны смотреть на него как на своего отца и господина.

В: К какому народу можно было отнести старца по его облику?

О: Ко всякому. Не арап, не белый, не желтый, не бурый.

В: Это не ответ.

О: Другого дать не могу. А чудесам все не было конца. Женщина, которую я видела ожидающей нас за окном, была та самая, что сидела подле меня на скамье в недрах червя и которую я все держала за руку. У меня голова кругом пошла. Гляжу на свою соседку – а она тут рядом сидит как сидела. Ну не диво ли? И тут она – и там, за окном, она, только в белом одеянии. А та, что сидит рядом, смотрит и улыбается: вот, дескать, тебе загадка, ну-ка, разгадай. А потом вдруг склонилась ко мне и поцеловала в губы поцелуем чистейшей любви, словно бы убеждая не пугаться увиденного за окном: и ничего тут нету страшного, что она и держит меня за руку и стоит рядом со старцем под деревом. А тот еще протянул руку и подвинул ее ближе к себе. И этим он ясно изъяслял: «Она мне родная, плоть и кровь моя».

В: Разве то обстоятельство, что она находилась сразу в двух местах, не показывает со всей очевидностью, что это вам пригрезилось во сне?

О: Тебе доказывает, а по мне – все равно это не сон. Как не во сне я и сама точно брела тем самым лугом.

В: Что делалось при этом с Его Милостью? Не заметили вы, в каких чувствах наблюдал он видение за окном? Был ли он заморожен им, верил ли, не верил?

О: Я тогда о нем вовсе позабыла, и о Дике тоже – по крайности в ту минуту. А до того и правда бросила как-то взгляд. Его Милость смотрел не в окно, а на меня, словно больше любопытствовал узнать, каково покажется это зрелище мне. Как джентльмен в театре: сидит рядом с дамой и все больше не на сцену, а на нее.

В: Не показывает ли это, что зрелище уже было ему знакомо, что вас

привезли туда с намерением представить вам картину, виданную им прежде?

О: Этого я не знаю. А он поймал мой взгляд и улыбнулся, как бы разумея:

«Смотри не на меня, а вон на что».

В: Как именно улыбнулся?

О: Как никогда прежде. Как дитяте, убеждая его смотреть, если хочет понять.

В: А Дик? Что он?

О: Точно как я: глядел и изумлялся.

В: Хорошо. Что там было дальше на этом лугу?

О: И вот, как я сказывала, вообразилась я себе идущей по лугу. Вдыхаю благоухание цветов и скошенной травы, слышу, как дрозды да жаворонки поют-заливаются и косари тоже поют...

В: Что они пели? Разобрали вы слова, узнали напев?

О: Напев, сдается мне, старинный: я такой слыхала еще в младенческие лета, хоть родительская вера к музыке и не благоволит. Да, напев, похоже, был моему слуху не чужой.

В: Он и сейчас вам помнится?

О: Ах, когда бы так!

В: Рассказывайте дальше.

О: Иду, и мнится мне – попала я в рай, обитель жизни вечной и вечного блаженства, вдали от жестокого мира, лежащего во зле, от прмерзких моих прегрешений и суетности, за которые уже чаяла я себе скорого прощения.

Иду, а повсюду разливается свет без конца без края, и все вокруг свет, и тени в душе моей как не бывало. Иду к тем трем людям под деревом и чувствую – время течет по-особому, неспешно, как всякое движение, увиденное в сонном мечтании. И старец поднял руку и сорвал с ветки над своей головой один плод и отдал его той, матери, и она приняла его и протянула мне. Дар невелик, просто скромное угощение, но душа моя вся к нему устремилась. Хочу его взять, прибавляю шаг – ничего не выходит. И тут бросилось мне в голову, что тот, с косою в руках, – сын старца, и женщина имеет те же черты, и все они суть одна семья. Вот когда в первый раз в душе моей крохотно, радостно затеплился огненный язычок. И тогда открылось мне, кто эти трое под деревом. Что я теперь говорю тебе ясными словами, было в тот миг не больше как дрожь, гадательность, шепот – лучше назвать не умею. Я ведь тогда была как ты: всю эту великую странность брала под сомнение. Сам знаешь: я росла среди квакеров и не

мыслила божества таким – имеющим плоть, человеку подобным, а думала, что оно есть лишь дух и внутренний свет. Ибо «друзья» учат: «Нет истинного духа в образе и подобии, и образ и подобие – не от истинного духа». Да и смела ли я, великая грешница, надеяться, что удостоюсь такого? И приключилась тогда самая странная странность: тот, с косой, указал на не скошенную еще траву подле себя, и я, поглядев, увидала в траве во всем с ним сходного человека. Он лежал на спине и как будто бы спал, а рядом валялась коса. И был он, словно покойник, осыпан цветами. Но во сне он улыбался, и такая точно улыбка была на лице того, кто указывал. Довольно, не стану больше таиться! Да, да, тысячу раз да! Те двое были одним, и был это никто как один, не имеющий ровни, перед людьми совершеннейший, – Господь наш Иисус Христос, умерший за нас и воскресший!

В: Ба, да мы, никак, уже в небесах очутились? Из шлюх да в святые?

О: Смейся, смейся. И впрямь, не смешно ли, что я так поздно догадалась?

Что другие – святые – постигали в мгновение ока, я от смятения мыслей постигла не вдруг. Вот говорят, истина открывается в единый миг. Но случается ей и замешкать. Так и со мной. В пору самой посмеяться над своей непонятливостью. Теперь же я знаю, и знаю неложно, что предстала я, недостойная грешница, пред очи Отца и Сына. Да-да, вот кто были те двое, что стояли передо мной попросту, в образе двух работников в поле. Добро бы только их не признала, а то ведь не признала и ту, на чье плечо склонялась. Это уж верх непонятливости и слепоты.

В: Довольно загадок! Признавайся, кто была та женщина!

О: Женщина? Нет. Та, кто выше всех владычиц земных, знатнее наивельможнейших дам. Та, без кого Бог-Отец не совершил бы дела Свои, кого иные называют Дух Святой. Сама Святая Матерь Премудрость.

В: Сиречь Пресвятая Богородица, Дева Мария?

О: Нет, еще совершеннее. Святая Матерь Премудрость, дух – возвеститель воли Божией, пребывавший от начала времен в единстве с Богом и имеющий исполнить все обетования Христа-Спасителя. Она не только мать Его, но и вдова, и дочь к тому же. Вот какая истина была мне представлена, когда три женщины при первом своем появлении сделались одной. И пребудет Она вовеки, и вовеки останется мне госпожой.

В: Кощунствуешь, женщина! В Книге Бытия ясно указано, что Ева сотворена от седьмого ребра Адамова.

О: А сам ты разве не матерью рожден? Когда бы не она, тебя бы не было.

Без матери ничего не бывает. Не будь Святая Матерь Премудрость при начале времен с Богом-Отцом, не было бы ни Эдема, ни Адама, ни Евы.

В: Ну и ну! И эта великая мать, эта magna creatrix <великая созидательница (лат.)> обнимает тебя на манер товарки-шлюхи в борделе? Так ты это изобразила?

О: Такова Ее милость и щедроты. И величайшему из грешников путь к спасению не заказан. Притом не забудь, что я в слепоте своей Ее не признала, не то Она увидала бы меня перед собой на коленях.

В: Оставим праздные домыслы. Что дальше?

О: Дальше придет Царствие Ее – Ее и Христово. И будет это скорее, чем мнится растленному миру сему. Аминь. Я свидетель.

В: Изволь-ка лучше сию минуту свидетельствовать конец своим пророчествам и проповедям об этой новоизобретенной истине. Что делалось дальше в пещере?

О: Страшное дело. Стократ горькое, оттого что воспоследовало за такой усладой. Бегу я по небесному лугу принять плод, что протягивает мне Святая Матерь Премудрость, в мыслях уже вижу его у себя в руках, как вдруг – тьма. Ночь кромешная. А когда вновь просиял свет, явилось зрелище, какое и врагу увидеть не пожелаю. Открылось передо мною поле, где кипел жестокий бой и воины разили друг друга с лютостью тигров. И шум его стоял у меня в ушах. Все перемешалось: лязг железа, проклятия, вопли, пальба пистолей, мушкетов, страшный гром пушек, стоны умирающих. Повсюду кровь, повсюду пушечный дым. Нету у меня слов передать всю эту лютость, все кровавые дела и мой при виде их ужас. А бой совсем рядом, и воины того и гляди ворвутся вовнутрь червя. И я в великом ужасе оборотилась к Святой Матери Премудрости, думая найти у нее ободрение, и тут объял меня ужас еще величайший: Святой Матери Премудрости со мной больше не было. И Его Милость, и Дик – все исчезли. И ничего, что было прежде, я не увидела, а была вокруг только большая тьма, и я в ней совсем-совсем одна.

В: Вы помещались в том же покойчике внутри червя? И явленную вам битву наблюдали так же через окно?

О: Да. А как они вышли, я не видела, не слышала, не ощутила. И осталась я заточенной в той престрашной темнице, в совершенном одиночестве. Нет, хуже, чем в одиночестве, ибо компанию мне сделал сам антихрист. И принуждена я была наблюдать такие злодейства, такую лютость, какие не думала, что бывают на свете. А зрелища следовали одно другого ужаснее.

В: Разве вам был явлен не один вид сражения?

О: Нет, не одно сражение, много всякого. Все какие ни на есть гнусные беззакония и грехи: и пытки, и смертоубийства, и избиение младенчиков.

Никогда еще я не видела антихриста столь ясно и не уверялась, что жестокостью человек превосходит дикого зверя и обращает ее на себе подобных тысячекрат неистовее, чем свирепейшие из хищников.

В: Это и есть то приключение, о коем вы поведали Джонсу, изменив лишь причину и обстоятельства?

О: Кое-что я ему открыла, но не все. Всего до конца не откроешь.

В: А что вы видели себя горящей в безбрежном пламени – вправду ли было такое?

О: Было. Из подожженного солдатами дома метнулась девчушка лет четырнадцати. Пламя ее жестоко попало, платье в огне. Сердце надсаживалось глядеть, как все вокруг, вместо чтобы тронуться ее муками, хохочут и потешаются. В клочья бы их разорвала! Девчушка – ко мне. Гляжу – а она точь-в-точь я до своего преступления. Вскочила я, бросилась к окну...

Имей я хоть сотню жизней – все бы отдала, лишь бы до нее дотянуться, помочь. А стекло между нами – ах, беда, беда – крепче каменной стены.

Господи Иисусе! Бью его, бью – не поддается. А бедняжка горит, горит в двух шагах от меня, плачет прежалостно, криком кричит. Вспомню – слезы наворачиваются. Как теперь вижу. Тянет ручонки: «Помогите!» – точно слепая. А я хоть и тут, рядом, но все равно как за тысячи и тысячи миль: помочь ей бессильна.

В: Это и прочие жестокие видения – не обнаруживали они зримых указаний, что события происходят в этом мире?

О: Совсем как в этом: любви нет и помина, одна лютость, смерть, боль. И подпадают этой участи все невинные, да женщины, да дети, и нет никого, кто бы положил этому конец.

В: Делаю вам прежний вопрос: не увидели вы среди этих картин привычного облика либо местности, относящихся до этого мира?

О: Что наш мир, не поручусь, но что такой мир возможен, знаю твердо.

В: Так, стало быть, не наш?

О: Разве что Китай: лица у людей как у китайцев, как их рисуют на фарфоровых чайниках и прочей посуде. Кожа пожелтее нашей, глаза узкие. И еще я видала, что побоище это освещают как бы три луны. Они в окне два раза мелькнули. И от их света все вокруг казалось еще ужаснее.

В: Три луны? Хорошо ли вы видели?

О: Одна большая, две малые. Усмотрела я злые дива и того

удивительнее: огромные кареты, что имели внутри себя пушки, бегали по земле резвее наирезвейшего скакуна; пребыстрые крылатые львы с рыканием носились по воздуху, будто разъяренные шершни, и бросали с высоты на врагов большие гранаты, делая несказанные разрушения. Целые города обращались в развалины – такой вид, сказывают, имел Лондон после Великого пожара <Великий лондонский пожар, происшедший в 1666 г., уничтожил половину города>.

Видала я высоченные башни из дыма и пламени, выжигающие все внизу; где они поднимались, делался ураган и трясение земли. Ужасающие картины, против такого и наш мир может похвастаться милосердным. Но я поняла, что злодеяния эти зачинаются от семени, лежащем как раз в нашем мире. И мы бы не уступили тем в жестокости, имей мы ту же бесовскую сноровку и ухищренность. Не своей волей человек творит беззакония, но произволением антихристовым. И чем дольше над нами его власть, тем горше наши бедствия, а в исходе всего – огненная погибель.

В: Все вы таковы: только и знаете каркать. Неужто ты из своего окна ничего, кроме бедствия, не увидела?

О: Лютость, одну лютость.

В: Так, стало быть, то был мир без Бога. Может ли статья, чтобы такой мир существовал? Спору нет, люди бывают всякие: попадают между ними и жестокие и не праведные. Но чтобы в целом свете лишь такие и водились, это прямой вздор. Примеров таких не бывало.

О: То было пророчество: таким может учиниться свет в будущем.

В: Господь не попустит.

О: Кто как не Он уничтожил за грехи и идолопоклонство Содом и Гоморру.

В: Всего два города среди многих! Тех, кто исповедовал веру истинную и верил слову Его, Он не тронул. Но будет об этом. Рассказывайте дальше про своего червя. «Червь!» Название в пору.

О: Так вот и горело невинное дитя у меня на глазах, и я, стоя у окна, принуждена была наблюдать ее гибель. Отчаяние отняло у меня силы, я опустилась на пол. Не стало больше мочи глядеть. А и пожелай – не смогла бы, потому что стекло затянулось непроглядным туманом, да и шум, благодарение Богу, стих. И вдруг покой озарился, и в дальнем конце я заметила Его Милость, но от необычности его вида едва-едва узнала. Платье на нем было, какое носят в Вечном Июне: такая же шелковая курточка, такие же штаны; притом теперь он был без парика. Он смотрел мне в лицо с грустью, но и с нежным участием, точно как желал выразить, что принес известие не о новых мучениях, но об избавлении. Он

приблизился, поднял меня на руки и бережно положил на скамью, а потом низко склонился надо мной, и взгляд его изображал такую сердечность и ласку, какие я от него не видела, сколько мы друг друга знали. "Помни обо мне, Ребекка, – молвил он.

– Помни обо мне". И нежно, по-братски, поцеловал меня в лоб. И все смотрит, смотрит мне в глаза, и мнится мне, будто лицо у него теперь – лицо Того, Кого я видала на лугу в Вечном Июне. Того, Кто прощает все грехи и посылает отчаявшимся утешение.

В: «Помни обо мне...» Я, сударыня, тебя тоже запомню, уж будь покойна.

Ну что, это последняя ваша байка? Его Милость возвеличился до Господа всех, до Искупителя?

О: Пусть будет так: по твоей грамоте ничего другого и не выйдет. Я же мыслю иначе. И восчувствовала я тогда такую радость, что преклонило меня ко сну.

В: Ко сну? Из ума надо выжить, чтобы заснуть при такой okazji.

О: Не умею объяснить. Мне чаялось, если, закрывая глаза, я буду видеть перед собой этот добрый взгляд, то души наши соединятся. Он, как любящий супруг, любовью своей навевал покой.

В: Только ли душами вы с ним соединились?

О: Стыдно тебе должно быть за такие мысли.

В: Не поднес ли и он тебе какого зелья?

О: Взгляд его – вот и все зелье.

В: А что твоя баснословная Святая Матерь Премудрость – не являлась она больше?

О: Нет. И Дик тоже. Только Его Милость.

В: И где же ты пробудилась? Вновь, поди, на небесах?

О: Нет, не на небесах, а на ложе скорбей: на полу пещеры, в которой мы оказались вначале. Хотя, пробудившись, я и точно мнила себя пребывающей в тех самых пределах, где я так сладко уснула и будто бы имела блаженнейшее отдохновение. Но скоро я ощутила, что у меня отнято некое великое благо и что тело мое продрогло и онемело, оттого что теперь на мне и ниточки не осталось от моего майского платья. Тут вспомнила я Святую Матерь Премудрость и поначалу, как и ты, подумала, что Она являлась мне в сонном видении. Но вслед за тем поняла: нет, то было не видение. Она ушла, и приключилась у меня горькая утрата, перед которой пропажа платья ничто: душа моя во всей наготе извергнута обратно в этот мир. Потом внезапно, точно гонимые ветром осенние листья, налетели новые воспоминания: о тех троих, кого я видала на лугу. И лишь теперь я

догадалась, кто были эти трое. А были это Отец наш, Его Сын, живой и убиенный, а с ними Она; косцы же их суть святые и ангелы небесные. Вспомнила и того, кто привел меня к познанию этой священной истины. И сердце у меня защемило, как почуяла я в сыром воздухе пещеры едва слышное летнее благорастворение Вечного Июня, и я совершенно уверилась, что то был не сон, а явь. Только подумать, кто сподобил меня своим явлением! А я и узнать их по правде не успела. И покатились у меня слезы. Я, глупенькая, почла эту утрату бедствием горше всех бедствий, какие были мне представлены. Оно понятно: я тогда еще была исполнена суетности, блудного духа, пеклась лишь о себе, вот и вообразила, что меня презрели, отринули, что я не выдержала сделанного мне великого испытания. Поверглась я на колени прямо на каменном полу и взмолилась, чтобы меня воротили туда, где мне спалось так сладко... Нужды нет, нынче-то душа моя вразумилась.

В: Оставь ты свою душу! Довольно ли света было в пещере? Сумели вы оглядеться?

О: Света было немного, но я все видела.

В: Червь пропал?

О: Пропал.

В: Так я и думал. Тебя обморочили ловким штукарством. Нельзя стать, чтобы такая машина протиснулась в пещеру и потом оставила ее. Все эти приключения разыгрались нигде как в бабьей твоей голове. Или, может, случился какой-нибудь пустяк, а ты его Бог знает во что раздула, и он разросся, как этот червячок у тебя в утробе.

О: Говори что хочешь. Объяви меня выдумщицей – все, что твоей душе угодно. От меня не убудет, и от правды Божией тоже. А вот тебе как бы потом горько не раскаяться.

В: Довольно. Не обыскали вы пещеру? Может быть, и Его Милость спал где-нибудь в уголке? Не оставил ли он каких следов?

О: Оставил. Как уходила я из пещеры, попалась мне под ноги его шпага.

Так и лежала, где ее бросили.

В: Не подобрали вы ее?

О: Нет.

В: Не предприняли вы отыскать Его Милость в пещере?

О: Он унесся прочь.

В: Как унесся?

О: В том покое, где мы с ним расстались.

В: Откуда вам это знать? Вы разве не спали?

О: Спала. Как узнала, самой невдомек, а вот знаю.

В: Станете ли вы отрицать, что Его Милость имел и иные способы покинуть пещеру, без посредства этой вашей машины?

О: По твоей грамоте, отрицать нельзя, а по моей – так можно. Отрицаю.

В: И вы, пожалуй, скажете, будто он подался в этот Вечный Июнь?

О: Не подался – воротился.

В: Как же это, однако: ваши благочестивые видения, точно обыкновеннейшие воры, обобрали вас до нитки?

О: Единственно, что отняла у меня Святая Матерь Премудрость, – мое окаянное прошлое. Но то было не воровство, потому что Она при этом назначила отослать меня обратно, украсив мою душу новым одеянием. И сделалось по Ее произволению, и теперь я ношу этот наряд и не сброшу его до самой той поры, когда предстану перед Ней вновь. Я вышла из духовного лона Ее как бы рожденная свыше.

В: И, едва повстречав Джонса, оплели его изряднейшей ложью?

О: Не со зла. Есть люди по природе душевной грузные, неповоротливые, как корабли, их и собственная совесть на иной путь не уклонит, не то что свет Христов. Джонс не скрывал, что не прочь употребить меня к своей выгоде, мне же этого не хотелось. И чтобы от него отделаться, я и была принуждена прибегнуть к хитрости.

В: Как теперь хитростью пытаешься отделаться от меня.

О: Говорю правду – ты не веришь. Вот тебе первейшее доказательство, что получить доверие своим словам я могла ничем как только ложью.

В: Прямая ложь или нечестивые басни суть одно. Ладно, сударыня, час поздний. Разговор наш не кончен, но я не хочу, чтобы вы с мужем тишком насочиняли новых басен. А посему ночь вы проведете под этим кровом, в комнате, где вам подавали обед. Ясно ли? Ни с кем, кроме как с моим чиновником, в разговоры не вступать. А он станет надзирать за вами зорче тюремщика.

О: Не прав ты. По крайности перед очами Господа.

В: Я мог бы упрятать тебя в городскую тюрьму, и был бы весь твой ужин корка хлеба с водой, а постелью – вшивая солома. Поспорь еще – сама увидишь.

О: Про это скажи моему супругу и отцу. Я знаю, они все дожидаются.

В: Снова дерзить? Ступай и благодари Бога, что отпускаю тебя так легко.

Ты этой милости не заслужила.

Десять минут спустя в комнате появляются еще трое. Они застыли у двери, словно не решаются пройти дальше из боязни подхватить какую-то заразу.

Совершенно ясно, что это депутация, пришедшая заявить протест. Ясно также, что Аскью теперь смотрит на вызывающее поведение Ребекки другими глазами.

Десять минут назад, когда девушка в сопровождении своего тюремщика удалилась, стряпчий вновь подошел к окну. Солнце уже закатилось, и, хотя сумерки только-только опустились, народу на площади уже заметно убавилось.

Однако кое-кто и не думал уходить: на углу противоположного дома прямо напротив окна по-прежнему стояли трое мужчин, мрачные, как эринии, и столь же непоколебимые. Рядом и позади них стояло еще десять человек, из них шесть женщин – три молодые, три пожилые. Все шесть одеты так же, как и Ребекка. Если бы не эта чуть ли не форменная одежда, можно было бы подумать, что эти люди оказались вместе по чистой случайности. Но объединяло их не только сходство костюмов: все тринадцать пар глаз были устремлены в одну точку – на окно, в котором появился Аскью.

Его узнали. Тринадцать пар рук быстро, хоть и не в лад поднялись и молитвенно сложились у груди. Молитва не зазвучала. Жест означал не мольбу, а заявление, вызов – правда, неявный, без выкриков и грозных или гневных потрясаний кулаками. Никакого движения – только собранные, строгие лица. Аскью воззрелся на застывшие внизу столпы праведности и, задумавшись, отошел от окна. Вернувшийся чиновник молча показал ему большой ключ, которым только что запер комнату Ребекки. Затем он встал у стола и принялся раскладывать по порядку листы, исписанные корявым, неразборчивым почерком, готовясь приступить к кропотливой расшифровке своих записей. Вдруг Аскью коротко и резко отдал ему какой-то приказ.

Чиновник не мог скрыть удивления, но в ответ лишь поклонился и вышел.

И вот перед Аскью эти трое. Посредине стоит портной Джеймс Уордли.

Самый низкорослый из всей троицы, он явно обладает наибольшим

авторитетом.

Длинные, прямые, как и у его спутников, волосы совсем седые, лицо отцветшее, морщинистое. Он выглядит старше своих пятидесяти лет. На вид человек он не улыбочивый и прямодушный – вернее, казался бы таким, если бы снял очки в стальной оправе. По бокам очков к дужкам прикреплены необычные темные стеклышки, защищающие глаза от света сбоку, и это устройство придает всему его лицу выражение подслеповатой, но настороженной враждебности – тем более что немигающие глазки за маленькими линзами глядят на стряпчего в упор. Все трое не потрудились даже снять свои широкополые шляпы – обычный головной убор квакеров; совершенно неосознанно они ведут себя так, как члены любых радикальных сект – и религиозных, и политических – при встрече с людьми более традиционных взглядов: чувствуя свою отчужденность от общества обыкновенных людей, они держатся скованно и вместе с вызовом.

Муж Ребекки выглядит еще более долговязым, чем прежде; он заметно сконфужен. Официальность обстановки повергает вдохновенного пророка в священный трепет: не потенциальный бунтарь, а хмурый случайный свидетель.

В отличие от Уордли он смотрит куда-то под ноги стряпчему. Такое впечатление, что ему не терпится отсюда убратся. Другое дело отец Ребекки. Это человек примерно одного возраста с Уордли. На нем темно-коричневый сюртук и штаны в тон. Крепкий, коренастый, он, кажется, готов стоять до последнего. На его лице написана решимость, которая в полной мере искупает растерянность зятя. Он не сверлит противника глазами, как Уордли, зато бросает на него дерзкие, задиристые взгляды, а опущенные руки сжал в кулаки, точно хоть сейчас готов пустить их в ход.

Главная причина, по которой Уордли выбрал эту стезю, – его неуживчивый характер и азарт заядлого спорщика. Конечно, в догматах своей веры, в реальности своих видений он не сомневается, однако, излагая или защищая свои убеждения, он с особенным удовольствием издевается над непоследовательностью противников (не в последнюю очередь – над их благодушным приятием этого чудовищно несправедливого мира) и с неменьшим удовольствием – о сладость желчи! – предрекает им вечную погибель. В нем живет дух Тома Пейна <Пейн, Томас (1737-1809) – американский просветитель (родился в Англии); участник Войны за независимость в Северной Америке и Великой французской революции> и других несчетных возмутителей спокойствия в XVIII веке. То, что он оказался именно «французским пророком», лишь мелкая биографическая

подробность: во все века люди подобного неугомонно-строптивного нрава находят разные поприща, где они могут отвести душу.

Унылый муж Ребекки – всего-навсего невежественный мистик, который зазубрил язык пророческих видений, но при этом убежден, что его устами вещает Дух Божий – другими словами, он поддался самообману или невинному самовнушению. Но представить дело таким образом значит допустить анахронизм. Как и многим людям его сословия в ту эпоху, ему недоступно понятие, которое знакомо даже самым недалеким из наших современников, даже тем, кто значительно уступает ему в уме: это безусловное сознание того, что ты – личность и эта личность до некоторой, пусть и малой степени способна воздействовать на окружающую действительность. Джон Ли не сумел бы понять положение «*Cogito ergo sum*» <"я мыслю, следовательно, я существую" (лат.)>, не говоря уж о его более лаконичном варианте в духе нашего времени: «Я существую». Сегодня "я" и так знает, что оно существует, для этого ему и мыслить незачем. Разумеется, интеллигенция времен Джона Ли имела более ясное, близкое к нашему, хотя и не совсем такое же понятие о личности, но, когда мы судим об ушедших эпохах по их Поупам, Аддисонам, Стилям <Аддисон, Джозеф (1672-1719), Стиль, Ричард (1672-1729) – выдающиеся английские писатели и журналисты>, мы, как правило, благополучно забываем, что художник – гений – это всегда исключение из общего правила, как бы ни хотелось нам верить в обратное.

Конечно, Джон Ли тоже существует, но существует лишь как орудие или рабочая скотина, в его мире все предусмотрено раз и навсегда, все как будто заранее изложено на бумаге, как события этой книги. Он узнает о том, что происходит вокруг, и постигает смысл происходящего с теми же чувствами, с какими исправно штудировал Библию: что проку одобрять или порицать, бороться за или против, это же просто-напросто данность – и всегда так будет, и должно так быть. Это как повествование, где не меняется ни одно слово. В этом смысле Джон Ли не похож на Уордли с его сравнительно независимым, беспокойным умом, которому не чужды вопросы политики, с его убежденностью, что человеку по силам изменить мир. Правда, в своих пророчествах Ли тоже предсказывает такие перемены, но и тогда он представляется себе не более чем орудием или ездовой лошадью. Как все мистики (и многие писатели – не в последнюю очередь автор этих строк), в реальном настоящем времени он теряется, тут он дитя; ему гораздо уютнее в прошедшем повествовательном или будущем пророческом. Он замкнут в том невообразимом времени, какого не знает грамматика: настоящем воображаемом.

Портной ни за что не признал бы, что учение «французских пророков» просто отвечает его натуре и дает ему возможность себя потешить. Тем более не склонен он задаваться вопросом, что случилось бы с ним, если бы он каким-то чудом из главы неприметной захолустной секты сделался главой государства: не превратился бы он в такого же безжалостного тирана, как тот, чей облик уже отчасти предсказан этими зловещими очками, – в Робеспьера?

На фоне своих спутников, людей на свой лад замысловато-ущербных, отец Ребекки, плотник Хокнелл, кажется человеком весьма незамысловатым и во многом наиболее типичным для своего времени. Его религиозные и политические взгляды определяются одним – его мастеровитостью. Хокнелл был плотник что надо, натура куда более земная, чем Уордли и Джон Ли. Сами по себе идеи его мало занимали, к ним он неизменно относился так же, как к украшениям на изделиях плотников и их собратьев-краснодеревщиков: праздная и греховная перед очами Всевышнего роскошь. Это характерное для сектантской среды подчеркнутое стремление к скупости отделки, эта установка на прочность, добротность, неброскость (за счет отказа от вычур, украшательства, ненужной пышности) – все это, конечно, имело своим истоком доктрину пуританства. К 30-м годам XVIII века (вернее, начиная с 1660 года) <в 1660 г. английский престол занял Карл II, сын казненного во время революции Карла I; это событие знаменует начало периода Реставрации> состоятельные и просвещенные круги уже с презрением отвергали эстетику богобоязненных пуритан, но Хокнелл и ему подобные смотрели на эту эстетику иначе.

Простота отделки стала у него мерилom праведности, и по этому признаку он судил не только о плотницкой работе. Главное – чтобы вещь, мнение, идея, образ жизни были простыми, дельными, ладными, крепко сбитыми, отвечали своему назначению и в первую голову не прятали свою сущность за праздными украшениями. То, что не укладывалось в эти нехитрые правила, взятые из его ремесла, объявлялось нечестивым или не угодным Господу.

Эстетическая простота выступала как нравственная правота, «просто» означало не только «красиво», но еще и «непорочно», а самым порочным, сатанински порочным изделием, чья истинная природа так и проступала из-под неуместных и чересчур богатых украшений, было само английское общество.

Хокнелл не доходил до крайностей фанатизма: по заказу и он соглашался соорудить нарядный стенной шкаф, приладить богато

изукрашенную резьбой каминную полку, но считал, что все это от нечистого. Ему не было дела до роскошных домов, роскошных нарядов, роскошных экипажей и множества подобных безделиц, которые заслоняли, представляли в ложном свете или не отражали коренные истины и повседневное зло. И важнейшей истиной он считал истину Христову, которая виделась плотнику не столько законченным изделием или зданием, сколько основательным запасом бесценных сухих досок, без дела лежащих во дворе. А смастерить из них что-нибудь путное – это уже дело таких, как Хокнелл. Из этого образного ряда он в основном и черпал метафоры для своих пророчеств. «Нынешнее здание обветшало и неминуемо рухнет, а под рукой вон какой отменный материал...» По сравнению с пророчествами зятя, который, похоже, запросто встречался и беседовал с апостолами и всякими персонажами Ветхого Завета, пророчества Хокнелла звучали более безыскусно. Плотник не то чтобы твердо верил, а больше надеялся, что Второе пришествие близко – или, подобно многим христианам до и после него, верил, что это так, потому что так тому и быть надлежит.

Действительно, как же может быть иначе? Ведь Евангелие можно легко истолковать и как политический документ, и не зря средневековая церковь так долго противилась его переводу на общепонятные европейские языки. Раз перед Богом все равны, раз в Царство Небесное может попасть всякий независимо от чина-звания, почему же они тогда имеют вес у людей? Какого бы тумана ни напускали богословы, как бы ни силились, надергав цитат, обосновать власть кесарей мира сего, вопрос этот оставался без ответа. А еще плотник не забывал о ремесле, которым занимался земной отец Иисуса, и эта параллель вызывала у него бешеную гордость, от которой один шаг до греха тщеславия.

В быту это был вспыльчивый, легко уязвимый человек, готовый насмерть стоять за свои права, как он их понимал. К ним относилось и патриархальное право распоряжаться судьбами дочерей, а тех из них, кто запятнает себя мерзостным грехом, отлучать от дома. Возвращаясь к своим, Ребекка больше всего боялась встречи с отцом. Она рассудила, что самое мудрое – сперва заручиться прощением матери. Мать простила – вернее, обещала простить, если позволит отец. Затем она взяла Ребекку за руку и привела пред очи отца. Тот навешивал двери в только что отстроенном доме. Когда Ребекка с матерью вошли, он, встав с колен, возился с петлями и никого вокруг не замечал. Ребекка произнесла лишь одно слово: «Отец...» Плотник обернулся и бросил на дочь такой убийственный взгляд, словно перед ним был дьявол во плоти. Ребекка кинулась на колени и опустила голову. Взгляд плотника по-прежнему горел гневом, но с лицом стало

твориться что-то непонятное, и вдруг оно исказилось болью. Он обхватил Ребекку дюжими ручищами, и отец с дочерью разразились рыданиями, какие были свойственны людям испокон века, задолго до сектантских брожений в Англии.

И все же привычка давать волю чувствам отличала именно сектантов, их повседневную жизнь и обрядовость. И очень может быть, что эта несдержанность проявлялась в пику традиции, идущей от аристократии, затем подхваченной переимчивым средним классом, а сегодня ставшей уже общенациональной чертой, – традиции пугаться открытого выражения человеческих чувств (в каком еще языке можно встретить выражение «attack of emotions»?). <наплыв чувств (англ., букв.: «приступ, нападение чувств»)»> В своем стремлении их обуздать англичане стали виртуозами по части невозмутимости, хладнокровия, скепсиса, преуменьшения как фигуры речи. Сегодня нам легко теоретизировать о психиатрической подоплеке истерического экстаза, рыданий, бессвязного "языкоговорения"

<"языкоговорение" (глоссолалия, «говорение на незнакомых языках») – в практике некоторых сект и религиозных течений состояние молитвенной экзальтации и транса сопровождается произнесением неизвестных, непонятных самому верующему слов, которые считаются свидетельством присутствия в молящемся Святого Духа> и прочих неистовств, которыми так часто сопровождалось радения первых сект. Но не лучше ли просто воскресить в воображении тот мир, где чувство самости у людей еще не совсем прорезалось или во многих случаях было подавлено, где живут люди, в большинстве своем напоминающие Джона Ли, – скорее, персонажи написанной кем-то книги, чем «свободные личности» в нашем понимании этого прилагательного и существительного?

Мистер Аскью отходит от стола и величаво шествует мимо посетителей к дверям. Вернее, шествует, изображая величавость, ибо ростом он еще ниже Уордли и до подлинной величавости не дотягивает, как нынешний бентамский петух не дотянет до староанглийского бойцового петуха с заднего двора гостиницы. Во всяком случае, стряпчий старается даже не смотреть в сторону сектантов и всем видом показывает, что ему самым возмутительным образом мешают работать. Чиновник взмахом руки

велит троице следовать за патроном.

Посетители повинуются, язвительный писец замыкает шествие.

Вслед за мистером Аскью все четверо гуськом входят в знакомую нам комнату с окнами на задворки. Аскью останавливается у окна и не оборачивается. Сцепив руки за спиной под фалдами расстегнутого сюртука, он озирает уже совсем темный двор. Ребекка стоит у кровати, словно только что с нее вскочила, и с изумлением смотрит на эту торжественную делегацию. Они не обмениваются ни единым приветственным жестом. На миг в комнате повисает неловкое молчание, обычное при таких вот свиданиях.

– Сестра, этот человек имеет намерение насильно удержать тебя здесь на ночь.

– Нет, брат Уордли, не насильно.

– Закон права на то не дает. Тебе и вину твою не назвали.

– Так мне велит совесть.

– Спросила ли ты совета у Господа нашего?

– Он сказал, так надо.

– Не имела ли ты от них какого вреда своему телу либо душе в рассуждении своей беременности?

– Нет.

– Правда ли?

– Правда.

– Не принуждал ли он тебя к таким ответам угрозами?

– Нет.

– Если станет насмешничать, или искушать, или как-либо силой склонять к отречению от внутреннего света, будь тверда, сестра. Говори всю правду и ничего, кроме правды Божией.

– Так и было. Так будет и впредь.

Уордли поражен: такого спокойствия он не ожидал. Мистер Аскью по-прежнему разглядывает двор – похоже, теперь он таким способом еще и прячет лицо.

– Убеждена ли ты, что поступаешь как лучше во Христе?

– Всем сердцем убеждена, брат.

– Мы станем молиться с тобой, сестра.

Аскью оборачивается. Оборачивается резко:

– Молиться за нее позволяется. Но не с ней. Она сама подтвердила, что ее не обижают – чего вам еще?

– Нам должно с ней молиться.

– Именно что не должно! Я дал вам случай расспросить ее о вещах

непраздных, тут вы в своем праве. Но учинять вдобавок молитвенное собрание я не позволял.

– Друзья, будьте вы все свидетели! Молитва объявлена вещью праздной!

Стоящий позади чиновник подходит к посетителям и берет ближайшего – отца Ребекки – за руку, намекая, что пора удалиться. Но его прикосновение словно обжигает Хокнелла. Обернувшись, плотник хватается его запястье, сжимает, точно в тисках, и с силой опускает руку. Глаза его налиты бешенством.

– Прочь от меня, ты... дьявол!

Уордкли кладет руку на плечо Хокнелла:

– Смири свой праведный гнев, брат. Им от грядущего суда не уйти.

Хокнелл медлит: он не слишком склонен повиноваться. Наконец он отталкивает руку чиновника и поворачивается к Аскью:

– Прямое тиранство! Нету у них права воспрепятствовать молитву.

– Как быть, брат. Мы среди неверных.

Хокнелл переводит взгляд на Ребекку:

– Преклони колени, дочь.

Вслед за этим коротким родительским приказом в комнате опять воцаряется молчание. Ребекка не двигается. Мужчины тоже: опуститься на колени прежде нее не позволяет достоинство. Муж Ребекки еще старательнее разглядывает пол и, видимо, только и думает, как бы поскорее отсюда выбраться. Уордкли смотрит куда-то мимо Ребекки. Женщина становится напротив отца и улыбается:

– Я твоя дочь во всем. Не бойся, в другой раз с пути не сойду. Ведь я теперь еще и Христова дочь. – И, помолчав, добавляет:

– Прошу тебя, отец, ступай с миром.

Но посетители не уходят: ну можно ли, пристало ли им в таких делах слушать женщину? Их взгляды обращены на Ребекку. На них смотрит лицо, исполненное врожденного смирения, но сейчас к этому смирению примешивается что-то еще: некая достигнутая ясность мыслей и чувств, рассудительность, чуть ли не способность судить об их поступках. Скептик или атеист заподозрил бы, что она презирает этих людей, что ей неприятно видеть, какими ограниченными сделали их вера и сознание мужского превосходства. Но это мнение было бы ошибочно: она вовсе не презирала их, она их жалела, а что касается веры, то любые сомнения относительно ее основ были Ребекке чужды.

Мистер Аскью, который до этой минуты не особенно следил за этой сценой, теперь глядит на Ребекку во все глаза. Наконец Уордкли выводит

всех из затруднения:

– Любви тебе, сестра. Да почиет на тебе дух Христов.

Ребекка ловит все еще не остывший взгляд отца.

– Любви тебе, брат.

Она берет отца за руку и подносит ее к губам. В этом жесте чувствуется потаенный намек на какие-то события прошлого, когда ей случалось укрощать его вспыльчивый нрав. Но тучи на лице плотника не расходятся, он присматривается к ее смутной улыбке, заглядывает в ее спокойные глаза, точно надеется найти там простой ответ на вопрос, почему она его понимает, а он ее нет. Как будто, дожив до этих лет, он впервые мельком увидел то, чему прежде не придавал никакого значения: нежность, ласку, последний отзвук ее былой жизни. Поди разберись в этих тонкостях, которые так далеки от привычных деревянных балок и суждений о добре и зле, по плотницкому прямилу размеченных.

Совсем иначе прощается она с мужем. Повернувшись к нему, она берет его за руки, но не целует их. Не целует и лицо. Вместо этого они обмениваются взглядом людей чуть ли не малознакомых, даром что стоят они не размыкая рук.

– Расскажи им правду, жена.

– Хорошо.

Вот и все. Посетители уходят, чиновник за ними. Оставшийся вдвоем с Ребеккой мистер Аскью продолжает за ней наблюдать. Ребекка поглядывает на него не без смущения и смиренно опускает глаза. Стряпчий еще несколько мгновений не отрывает от нее пристального взгляда и вдруг без единого слова удаляется. Как только дверь за ним закрывается, в замке поворачивается ключ. Шаги за дверью смолкают. Ребекка подходит к кровати и опускается на колени. Глаза ее открыты, губы не шевелятся. Поднявшись с колен, она ложится на кровать, руки ощупывают все еще едва-едва округлившийся живот. Ребекка вытягивает шею и старается его разглядеть, потом откидывает голову и, устремив взгляд в потолок, улыбается, уже не таясь.

Странная у нее улыбка – странная своим простодушием. Ни тени самолюбования или гордости за то, что все у нее сошло так гладко, никакой насмешки над неестественной скованностью трех своих братьев во Христе. Эта улыбка говорит, скорее, о какой-то глубокой уверенности, причем не приобретенной своими стараниями, а ниспосланной Ребекке помимо ее воли.

Ребекка и ее супруг, кроме общих религиозных убеждений, обладают еще одной общей чертой: жена, как и муж, имеет довольно расплывчатое

представление о том, что мы сегодня называем личностью, и свойствах, которыми она наделена. А улыбается она потому, что благодать Христова только что даровала ей первое в ее жизни пророчество: у нее будет девочка. Мы, люди нынешнего столетия, рассудили бы об этом по-другому: просто она только что сообразила, кого же ей хочется. Но тем самым мы бы совершенно не правильно истолковали образ чувств Ребекки. Человек, довольный собственным умозаключением, упивающийся простым личным открытием, так не улыбается.

Так может улыбаться лишь женщина, услышавшая благовестив – сама ставшая его скрижалю.

ДОПРОС И ПОКАЗАНИЯ ДЖЕЙМСА УОРДЛИ,

Данные под присягою октября 14 числа, в десятый год правления Государя нашего Георга Второго, милостью Божией короля Великой Британии, Англии и прочая.

Я прозываюсь Джеймс Уордли. Промышляю портновским ремеслом. Рожден в 1685 году, в Болтоне, что в этом графстве. Имею жену.

В: Итак, Уордли, час поздний, и беседа наша будет недолгой. Не стану затевать споры касательно ваших верований, а желаю лишь убедиться в истинности некоторых сведений, относящихся до Ребекки Ли. Вы считаете ее принадлежащей до вашей паствы, вашего собрания или как там это у вас называется?

О: Я не епископ и не приходской священник, чтобы считать души человеческие, как скупец свои гинеи. Мы живем братством. Она сестра и держится той же веры, что и я.

В: Вы проповедуете вероучение «французских пророков», не так ли?

О: Истину я проповедую, истину о том, что свет сей грехами приблизил себе кончину и что Иисус Христос грядет вновь совершить искупление. Что всякий, кто покажет веру свою в Него, кто живет светом Его, будет спасен.

Все же прочие подлежат вечному осуждению.

В: И по-вашему, осужденные эти суть те, кто не идет за вами?

О: Те, кто идет за антихристом, который имеет власть над миром с самой той поры, как не стало больше первоапостольской церкви. Те, кто не внимлет слову Бонсию, явленному нам милостью пророчества.

В: И поэтому вся идущая от той поры религия – порождение

антихриста?

О: Была таковой, покуда сто лет назад не объявились «друзья». Прочие же обуяны порождением нечистого, многовластным "я". "Многовластное "я", отженись от меня" – вот как у нас сказывают.

В: Верите ли вы, подобно кальвинистам, в предопределение?

О: Бог не верит, не верим и мы.

В: Что же ложного находите вы в сем догмате?

О: По нему выходит, будто человек не имеет средства переменить себя по образу Христа Живого или, буде пожелает победить плоть и отложиться от греха, как ему и должно.

В: Вы почерпнули свое учение из Библии?

О: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие» <речь, по-видимому, идет о фрагменте из Послания к Галатам Святого Апостола Павла (2, 12), который в русском Синодальном переводе читается так: «А если закон оправдание, то Христос напрасно умер»; соответствующее место в Библии короля Якова (перевод, который признан англиканской церковью каноническим) может быть буквально переведено на русский как «Христос мертв» (т.е. в настоящее время)>. Писание – изрядный свидетель и кладезь мудрости: но есть и кроме него. Так у нас сказывают.

В: Как «кроме него»? Не есть ли оно святая и непреложная истина?

О: У нас сказывают, Библию писали люди праведные и святые и, по их суждению, ни в чем от правды не уклонились: как разумели, так и писали. Но не все в их рассказах стоит вероятия. Это ведь не больше как слова, придет срок – слова изветшают. Господь не видел нужды прибегать к письму, и Библия не есть последний Его завет. Сказать же: «Он мертв» <Ин: 3, 3> – это ничто, как мерзкая ересь, насаждаемая антихристом, чтобы грешникам покойнее было грешить. Нет, Он не мертв, жив Он и все видит, и пришествие Его близко.

В: Я слыхал, вы не верите в Святую Троицу?

О: Что природа Ее сплошь мужская и нету в ней женского начала – в такое не верим.

В: И Христос может явиться в женском обличье? Правда ли, что вы возглашаете таковое богохульное измышление?

О: Что тут богохульного? Первейший и величайший грех – совокупление Адама и Евы, и грех этот поровну на них обоих. От чресл их произошли мужчина и женщина; оба могут обрести спасение, оба могут послужить спасению и мужчин и женщин. Оба могут сделаться подобием Христовым. И сделаются.

В: Верите ли, что Он уже сошел с небес и тайно показывается в мире сем?

О: Иисус не тайна. А правда ли то, что ты сказал, суди по делам мира сего. Если бы Он подлинно показывался, не был бы этот свет таков, каков он есть: всюду слепота и разврат.

В: Что имеете сообщить про Святую Матерь Премудрость?

О: Кто это такая?

В: Разве не прилагаете вы такое название к Духу Святому?

О: Нет.

В: Ну, не сами, так от других-то слышали?

О: Никогда.

В: А чтобы небеса, жизнь вечную именовали «Вечный Июнь»?

О: Накупил ты, сударь, яиц, что половина тухлые. В небесах одна пора другую не сменяет. Хоть июнем назови, хоть другим месяцем – там этих различий не знают.

В: Вы отрекаетесь от всех плотских утех?

О: Плотская природа – обитель антихриста, мы в нее не вступаем. И от уз его нам спасение одно: целомудрие. Вот как у нас сказывают. И стараются сколько возможно жить по этому правилу.

В: Теперь последнее. Правда ли, что по вашему учению плоть истинно верующих не уничтожается смертью?

О: Всякая плоть тленна, имеешь ли ты в себе свет, нет ли. Один дух воскреснет.

В: Это лишь ваши мнения или их исповедуют и прочие, объявившие себя «французскими пророками»?

О: Изволь разбираться сам. Прочти про Миссона, про Элайеса Мариона. Про Томаса Имса, тридцать лет как в бозе почившего. Также про сэра Ричарда Балкли. А то еще повыспроси доброго моего приятеля Джона Лейси, который по сию пору живет в этом графстве. Старый уже, семидесяти двух лет от роду.

Он начал свидетельствовать истину много раньше меня.

В: Хорошо, поговорим о предмете самонужнейшей для меня надобности. Вы твердо убеждены, что Ребекка Ли исповедует ту же веру, что и поименованные вами особы?

О: Да.

В: Не приняла ли она ее в угодность своему отцу, супругу либо обоим – как водится не только у ваших единоверцев?

О: Нет. Она обратилась в нашу веру по доброй воле. Я после сам ее расспрашивал. И супруга моя – она Ребекку понимает лучше моего.

В: Известно ли вам ее прошлое – что в Лондоне она была публичной девкой?

О: Она покаялась.

В: Спрашиваю вновь: сведомы ли вы о ее прошлой жизни?

О: Я говорил об этом с братьями, а моя супруга с сестрами, и все мы уповаем, что ей будет даровано прощение.

В: Всего лишь уповаете?

О: Один Иисус на Страшном Суде может решать, кто заслуживает спасения.

В: Вы полагаете, она от души раскаялась в прежних грехах?

О: Да, столь искренно, сколько нужно для спасения.

В: Попросту сказать, крепко набралась ваших верований и теперь дерзко в них упорствует?

О: На это отвечать не стану. Я пришел с миром.

В: Вы как будто и от квакеров отвратились из-за споров о мире? При том, что были квакером от самого рождения.

О: От самого рождения был я другом истины, таким и в могилу сойду. И мыслю, благодарение Богу, не как они: я за слово Христово в бой. И не стану я по их нынешнему обычаю мирволить врагам Христовым. Если кто из них в делах духовных станет делать мне утеснения, должно и мне отвечать тем же.

В: Верно ли, что здешние квакеры отлучили вас от своего молельного дома?

О: Мне туда ходить не возбраняют, но только если я буду там молчать.

Все равно что позволить человеку гулять где угодно, но не иначе как в оковах. Ради владыки моего Иисуса Христа не бывать тому.

В: Верно ли, что два года тому они силой прогнали вас со своего собрания?

О: Я было хотел пророчествовать Его пришествие, но им мои речи не по нраву. И слушать не стали.

В: Говорили вы, что людям вам подобным, кого мните вы истинными христианами, считаться с мирскими властями не пристало? И что сами власти мирские суть наочевиднейший пример нечестия, которое навлечет на этот свет гибель?

О: Я говорил, не пристало считаться с мирскими властями лишь тогда, когда они велят поступать или клясться против нашей совести. Противиться же им в иных случаях я не призывал. Когда так, разве пришел бы я сюда по твоему требованию?

В: Я слышал, будто вы желали бы обратить все богатства и имущество

в общее имение и возглашали это открыто.

О: Я пророчествовал, что таков будет порядок у тех, кто спасется, когда свершится отмщение Господне, а не предлагал установить его немедленно.

В: И вы положительно утверждаете, что таковое установление переменяло бы мир к лучшему?

О: Положительно утверждаю, что это установление переменит мир к лучшему. И по изволению Божию будет так.

В: Это через переворот-то мир сделается лучше?

О: Сам Христос учинил переворот. Мы имеем верное ручательство.

В: Мятежи и смуты умышляете?

О: Докажи. Нету таких доказательств.

В: Сколько же вас, «французских пророков», в этих краях?

О: Человек сорок – пятьдесят. В Болтоне, откуда я родом, тоже имеются.

И в Лондоне горстка.

В: Всего-то и войска?

О: По капельке море, по зернышку ворох. За Христом вначале шло меньше.

В: Не оттого ли и воздерживаетесь вы произвести возмущение, что не имеете довольно сил одержать верх, а будь вас больше, вы бы подлинно встали мятежом?

О: Нет, господин законник, меня лукавыми «если бы да кабы» в силки не заманишь. В мирских делах мы мирских законов не преступаем и никаких сокрушений людям не причиняем, разве что их совести. Правду говоришь, мы умышляем мятеж – против греха: против греха обнажим мы меч. А это деяние душеспасительное, ни одним законом не запрещенное. Но и когда силы наши умножатся, мирскому бунту не бывать, ибо все увидят, что мы живем во Христе, и придут к нам своей волей. И станет на земле мир и в человеках благоволение <слова из песни ангелов, возвестивших пастухам в Вифлееме о рождении Иисуса Христа (Лука, 2, 14)>.

В: Закон велит повиноваться господствующей церкви и ее пастырям, так или нет?

О: Так. Но ведь и Римская церковь некогда имела у нас господство.

В: Господствующая протестантская церковь нашего королевства столь же порочна и растленна, как и Римская? Вы это разумеете?

О: Я разумею, что всякая церковь есть собрание людей. Всякий человек есть плоть, а плоть по природе своей тленна. Говорить же, будто

все до единого в господствующей церкви люди растленные, я и не помышлял. Читал ли ты «Строгое увещание»? Вот ведь сочинитель его Уильям Лоу <Лоу, Уильям (1686-1761) – англиканский священник и богослов, автор трактата «Строгое увещание о праведной и святой жизни»>, из числа ваших пастырей, – не скажу чтобы дурной человек. Мало кто еще из вашей церкви с ним сравнится: к свету Христову слепы, как кроты.

В: Иными словами, недостойны своего сана? Такие речи – прямой призыв к бунту против нашего духовенства. В такие-то заблуждения вдалились, такой-то нетерпимостью воспылали и предки наши в прошлом столетии <намек на события Английской революции>. Не доведут вас эти рассуждения до добра. Сама история тому порукой.

О: И от твоих рассуждений добра не будет, коль скоро ты людей негодных, слепцов объявляешь достойными сана за одно то, что они этот сан носят.

Этак и дьявол у тебя выйдет благим и достойным. Мяса, поди, у негодного мясника покупать не станешь и к человеку моего ремесла, который шьет скверно, тоже не пойдешь, а не мерзишься слушать, как предают слово Христово, как перечеканивают его чеканом фальшивомонетчика. Прицепит беззаконник к воротничку ленточки, а к имени своему собачий хвост из буковок – ты его и числишь в достойных <один из атрибутов костюма англиканского священника – две белые полотняные полоски, которыми заканчивается воротник; при упоминании имени священника на письме рядом ставилось сокращение, обозначающее его ученое звание и форму титулования, отсюда – «собачий хвост из буковок»>. А что пьет, блудит, ни в чем себе не отказывает, тебе и нужды нет.

В: Так-то вы учиняете мир и в человеках благоволение? Придется довести это до мистера Фотерингея.

О: Так-то ты не желаешь затевать споры о моих верованиях? Что ж, пускай послушает да вразумится.

В: Довольно. Мне желательно узнать следующее. Не случилось ли Ребекке Ли пророчествовать у вас в собраниях?

О: Нет.

В: Не объявляла ли она, будь то в приватной беседе или во всеуслышание, что же подвигло ее вернуться на путь благочестия?

О: Рассказала лишь, что тяжко грешила и душа ее уязвлена жестоким стыдом за прошлую жизнь.

В: Не называла ли она какого-либо происшествия, которое сделало в

ней такую перемену?

О: Нет.

В: А время либо место оного?

О: Нет.

В: А иных особ, бывших с ней при этой okazji, буде такие имелись?

О: Нет.

В: Верно ли?

О: Она, как ей и подобает, блюдет смирение. И живет во Христе. Или чаёт жить во Христе.

В: Как, только ещё чаёт? Разве она не довольно ещё в вашей вере утвердилась?

О: Она ещё не имела побуждения к пророчеству. Дар этот усвоется нам благодатью Христовой, о ниспослании которой мы молимся.

В: Это чтобы и девица гремела пустыми словесами вместе с отборнейшими из вашей братии?

О: Чтобы и ей было дано говорить славным языком внутреннего света и возглашать его, подобно жене моей и прочим.

В: Пока же она показывает себя к этому неспособной?

О: Пока вот не пророчествовала.

В: Не оттого ли, что она перед вами лукавит?

О: Зачем бы ей лукавить?

В: Чтобы, оставаясь прежней в душе, уверить вас, будто переменялась.

О: Нынче она живет для Христа в надежде через то прийти к жизни во Христе. Их с мужем нужда заела, достатков у них – что травы на камне. Всех его заработков едва хватает на прожиток. Так какая же ей корысть лукавством обрекать себя на нищету, когда она могла бы жить иначе, в роскошестве и разврате, как и жила некогда в твоём Вавилоне?

В: Оказываете ли вы им вспоможение?

О: Когда имею чем. Братья и сестры во Христе их тоже не забывают.

В: Это им лишь изъявляют такое милосердие либо всякому, терпящему нужду?

О: Всякому. Ибо заповедано Джорджем Фоксом и первыми блаженными братьями: прежде чем внидет в душу свет истины, надлежит достойным образом одеть и напитать вместилище души. И вот почему так заповедано: они усматривали вокруг неисчислимое множество людей, пребывающих в нищете, в состоянии ничтожнее скотского; и видели других – тех, кому можно бы и должно подать помощь страждущим, потому что богатство их много больше, чем нужно для удовольствования себя и своих домашних в одежде и пропитании, но они от скарденности и

суетного себялюбия никому не помогают. И еще видели они, что немилосердие это смрадом падали достигает до Господа нашего Иисуса Христа и послужит слепцам к погибели. По-твоему, мы мятежники – что ж, пускай. Это и есть наш мятеж, и даяние свое мы почитаем стократ благим и братским, лучшим подражанием истинному благодаянию Христову. И если по-твоему мы мятежники, тогда и Он у тебя выходит мятежник.

В: Христос – иное дело! Он давал из сострадания, вы же своими подачками подбиваете людей малоискушенных отвращаться от подобающего им состояния.

О: Голодать и носить рубище – это им подобает? Прошелся бы ты по той улице, где живет сестра наша Ребекка. Оглядись вокруг, или у тебя глаз нет?

В: Как не быть. И глаза мои удостоверяют, что в вашем убогом городишке она имеет и стол и кров и надежно схоронилась за вашими серыми юбками.

О: Изрядно схоронилась, коли ты ее нашел.

В: Ее искали много месяцев.

О: Взгляни: вот гинея. Выручил не дальше как вчера за два камзола своей работы. Приложи к ней еще гинею от своих щедрот, и я отдам их людям с Тоуд-лейн – тем, кто, по твоему разумению, пребывает в подобающем им состоянии, а живет впроголодь, хуже нищих. Что, не желаешь? Такого ты, сударь, худого мнения о делах милосердия?

В: О тех, что пойдут прахом в первом же кабаке, – подлинно худого.

О: Как и о дне грядущем. Вон ты какой осмотнительный. Послушай, разве Иисус Христос не отдал за тебя то, что ценой много превосходит одну гинею?

Вообрази же, что и Он взял бы ту же осмотнительность и сказал себе: «Я, пожалуй, этого человека искупать не стану. Он слаб: Я за него кровь отдам, а старания Мои пойдут прахом в первом же кабаке».

В: Вы забываетесь! Оставьте свои дерзости при себе.

О: А ты – свою гинею. Мы и квиты.

В: О девице есть подозрение, что она повинна в страшном преступлении.

О: Что родилась Евой – вот единственное ее преступление. Ты не хуже моего знаешь.

В: Знаю, что она почти наверняка большая лгунья.

О: Да полно тебе. Я ведь слышал, какая о тебе слава. Ты, сказывают, человек справедливый и только что, исполняя хозяйское препоручение, берешь на себя строгость. Доброй славе обо мне ты веры не даешь – воля

твоя, не привыкать. Ты задумал сокрушить меня и единоверцев моих сводом законов.

Претолстая книжища, точно из железа выкованная, – на тот предмет, чтобы люди богатые имели чем отгородиться от бедных. Но какие бы ковы ты против нас ни строил, тебе нас не сломить – ни во веки веков. Хоть жезлами бей: жезлы твои что цеп, лучше будет умолот. Вот я тебе расскажу случай с моим отцом. Было это в восемьдесят пятом году, в год мятежа Монмута – в тот год я как раз появился на свет. Отец мой, благодарение Богу, был «другом истины», а стал он им от самой той поры, как познакомился в Суортмуре с Джорджем Фоксом – первым из увидевших свет – и с женой его. Как-то в Болтоне отца обвинили в мошенничестве и упекли в тюрьму. Там ему сделал посещение некий мистер Кромптон – магистрат, приехавший его судить. Пришел он к отцу и взялся его увещевать и убеждать, чтобы он оставил общество «друзей». Но отец явил твердость и в таких сильных словах изобразил ему свою веру, что под конец магистрат уже поколебался в своей и на прощание имел с ним разговор не для чужих ушей и сказал так: в мире сем два правосудия, перед лицом одного – Божиего – отец кругом невиновен, и лишь второе – человеческое – видит на нем вину. А три года спустя с этим магистратом приключилась громкая история: он сложил с себя должность и подался к нам, хоть от этого много в рассуждении мирских благ потерял. А как увидал среди братьев моего отца, то приветствовал его такими словами:

«Теперь, друг, твой черед судить меня, ибо я ткал негоже. Теперь понимаю: правосудие без света – что основа без утка, доброй ткани из нее не будет».

В: Счастье судейского сословия, что избавилось от такого. Стране, где не видят различия между нарушением закона и грехом, беды не миновать.

Преступление есть событие: было оно, не было ли – это можно доказать. А был ли грех – об этом судить лишь Богу.

О: Слеп ты к истине.

В: А ты слеп к иным мнениям и суждениям. Приравняй грех к преступлению – и воспоследует жестокое самовластие. Инквизиция у папистов – вот тебе самоочевиднейший пример.

О: Вот-вот, кому и поминать инквизицию как не тебе, господин законник.

«Мнения, суждения». Мнения чуть не всякий имеет. И все больше относящиеся до этой жизни, и все больше такие, чтобы удобнее грешить. А что до высшего суда, где всякому будет названа вина его, – о нем мало кто размышляет. Вот где ты увидишь, насколько грех страшнее нарушения

закона, установленного антихристом.

В: Довольно. Ох и горазд же ты спорить.

О: И дай-то Бог, не переменюсь, сколько буду оставаться христианином.

В: Завтра чтоб ни ты, ни сектанты твои мне тут воду не мутили, понятно ли? Под окнами не торчат. И сдержи свой зловредный нрав, не то вмиг позову мистера Фотерингея: ему известно, с чем я сюда прибыл и что расследование мое законно и не для пустой причины. Ступай.

На другое утро Ребекку чуть свет приводят к мистеру Аскью в ту же самую комнату. Комната эта – довольно просторное помещение – не переоборудована из спальни, а при необходимости превращается то в столовую, то в клубную комнату, то в кабинет для беседы с глазу на глаз. В комнате стоит массивный стол с пузатыми ножками во вкусе XVI века: Ребекку и ее собеседника разделяют шесть футов полированного дуба.

При появлении Ребекки происходит что-то непонятное: Аскью встает, точно приветствуя знатную даму. Правда, полагающегося в таких случаях поклона он не отвечает, а ограничивается коротким кивком и машет рукой в сторону стула. На столе перед местом Ребекки стоит костяной стакан с водой: об этой нужде, как видно, уже подумали.

– Хорошо ли почивалось, сударыня? Позавтракали?

– Да.

– Вполне ли довольны своим жильем?

– Да.

– Можете сесть.

Она присаживается, но стряпчий остается стоять. Он поворачивается к Джону Тюдору, который тоже уселся за стол почти в самом конце, и быстро делает знак: «Начало беседы не записывать».

– За вчерашнее хвалю. Правильно, что не дали потачки Уордли и супругу своему в их злокозненном смутьянстве. Добрый пример.

– Они ничего худого не умышляли.

– Я держусь иных мыслей. Ну да ладно, мистрис Ребекка. В чем бы вельможный родитель не отличался от отца незнатного, в одном их чувства схожи: когда дело идет об утрате сына. В такой беде всякий отец

заслуживает нашего участия, не так ли?

– Я рассказала все, что знаю.

Аскью заглядывает в ее неподвижные глаза, в которых мелькают удивление и растерянность от происшедшей с ним перемены. Услышав ответ, он по своему обыкновению чуть склоняет набок голову в парике, словно ожидает, не прибавит ли она еще чего-нибудь. Но Ребекка молчит. Аскью становится у окна и задумчиво смотрит на площадь. Затем поворачивается к женщине:

– Нам, законникам, мистрис Ребекка, пристала рачительность. Нам надлежит убирать свое жнивье чище, нежели чем прочие жнецы. Для нас и самомалейшее зернышко истины должно иметь неоценимую важность, тем паче в обстоятельствах, когда на истину недород. Мне желательно услышать от вас еще нечто о предметах, воспоминания о которых могут оскорбить ваше нынешнее благочестие.

– Спрашивай. Пусть мои грехи будут мне памятны.

Стоя у окна, Аскью рассматривает в льющемся из него свете твердое, застывшее в ожидании лицо.

– Не стану, сударыня, вновь приводить давешний ваш рассказ – он и без того свеж у вас в памяти. Прежде чем мы начнем, имею сообщить следующее.

Если, поразмыслив прошедшей ночью, вы желаете переменить свои показания, вам это в вину не причтется. Если вы утаили какое-либо важное обстоятельство, если, уступая страху либо по другой причине, изобразили свое приключение не таким, каково оно есть в самой вещи, то с вас за то не взыщут. Даю слово.

– Я ни в чем от правды не отступила.

– И вы подлинно верите, что все было так, как вы представили?

– Да.

– И что Его Милость был восхищен в небеса?

– Да.

– Ах, мистрис Ребекка, как бы мне хотелось – право, хотелось бы, – чтобы это была правда! Но я имею перед вами преимущество. Вы были знакомы с Его Милостью чуть более месяца, притом сами же признаете, что многое он вам так и не открыл. Я же, сударыня, знаю его не год и не два. И я, а равно и прочие его знакомцы видели его, увы, вовсе не таким, каким вы его нарисовали.

Ребекка не отвечает. Она будто не слышит стряпчего. Подождав немного, Аскью продолжает:

– Я, сударыня, под большим секретом поведаю вам нечто об этом

человеке.

Когда бы его друзья и родные прознали, что он устремил свои мысли к вам, они бы диву дались, ибо свет не видывал человека столь неблагорасположенного к женскому полу. Между ними ему дали прозвище «Вяленая Треска», оттого что в рассуждении женщин он имел вот именно что рыбью кровь. Притом, сударыня, в прежние годы, невзирая на свое высокое достоинство, он не показывал ровно никакого уважения к господствующей церкви. Застать его коленопреклоненным в храме было столь же невозможно, что и увидеть ласточек выпархивающими из зимней грязи. Могу поверить, что вы, имея охоту покончить с прежней жизнью, не обинуясь, приняли бы помощь от всякого, кто бы ее ни подал. Но чтобы эта помощь пришла к вам от Его Милости – к вам, обыкновеннейшей публичной девке, которую он еще месяц назад знать не знал, – хоть убейте, не поверю.

Стряпчий вновь умолкает и ждет ответа. Ребекка по-прежнему не отвечает.

Аскью подходит к столу и останавливается напротив нее, у своего стула. Все это время женщина неотрывно смотрит ему в глаза. Стряпчему, вероятно, хотелось бы прочесть в ее взгляде, что она колеблется, вот-вот начнет оправдываться, но это все тот же пристально-кроткий взгляд: женщина словно глуха к его увещаниям. Стряпчий продолжает:

– Уж я, сударыня, не говорю про множество иных происшествий, коим также не могу дать веры. Про то, как вы, быв приведенной в первейшее место языческого идолослужения, имели при самых непотребных обстоятельствах встречу с Господом нашим и Пресвятым Отцом Его. Про еще менее вероятное и почти столь же непотребное приключение в Девонширской пещере. Про то, как нищие мужья и плотники определяются в божества, а Дух Святой принимает женский образ – такого чуда, сказывал Уордли, даже ваши пророки не знают.

А равно и Вечного Июня вашего. Мистрис Ребекка, вы ведь не какая-нибудь невежественная простушка, не зеленая девочка. Что бы вы сами-то подумали, приведись вам услыхать из чужих уст историю, подобную вашей давешней? Не подала бы она вам подозрение, что либо вы, либо рассказчик не в своем уме?

Не вскричали бы вы: "Не верю, не могу поверить в эту богопротивную гиль!"

Нарочно, поди, городит хитрые небылицы, чтобы ими отманить меня от нехитрой правды"?

Казалось бы, тут Ребекке уже не отмолчаться, однако единственным

ответом стряпчему остается пристальный взгляд. На самом деле происходит то, что в ходе допроса случалось уже не раз: она слишком долго тянет с ответом. По ее глазам можно понять – по крайней мере предположить, – что причина ее молчания не в том, что она тушует, колеблется, никак не подберет слова. Нет, паузы словно бы вызваны куда более странной причиной: можно подумать, что Аскью говорит на чужом для нее языке и, чтобы дать ответ, ей надо прежде услышать его слова в переводе. Ничего общего с нахрапистой манерой Уордли, никогда не лезущего за словом в карман.

Временами кажется, будто Ребекка не высказывает свои мысли, а дожидается подсказки от таинственного советчика.

– Я тебе так отвечу: когда Иисус впервые пришел в мир, тоже мало нашлось таких, кто бы поверил и не усомнился.

– Ну-ну, сударыня, грех вам Бога гневить. Это вам-то не верили? Недаром Клейборниха говорила: вам бы не тем заниматься, чем вы занимались, а на театре представлять. Не сами ли вы признались, что сказали Джонсу не правду? Вы, верно, возразите, что лгали в силу обстоятельств, но ведь лгали же?

– Ложь моя на важные предметы не простиралась.

– Побывать в раю, повстречать там Бога Всемогущего и Сына Его – и это не важные предметы?

– Столь важные, что словами не выразить. Я и тогда не имела слов их изобразить, да и теперь не умею. Но что было, то было: да, мне было дано узреть Иисуса Христа и Отца Его, и лик их принес душе моей исцеление и величайшую радость – усладу выше всех земных усад.

– Однако – Господь Всемогущий в образе поселянина, Искупитель – работник на покосе... Прилична ли такая картина?

– Или Отец наш Небесный почитается Богом, лишь когда восседает на престоле в Славе Своей? Или Иисус Христос не Иисус, когда не стнает на кресте? Или ангелы не ангелы, когда я вижу их без крыльев, имеющими в руках не трубы и гусли, но серпы? Я тебе сказывала: мне сызмала внушали, что всякий зримый образ Божества есть обман, сатанинский соблазн. То, что я усматривала вокруг, было не больше как тусклый отблеск, представленный оку телесному, и лишь душою видела я истинный свет, любовь мою вечную и единственную.

– Коль скоро все видимое почитается у вас за обман, следственно, ваше зрение может изобразить вам все что угодно?

– Мое зрение представляет мне телесную вещественность, а не подлинную истину, истина – это свет и только свет. А правда ли, обман ли

то, что представляется моему телесному оку, – это мне ведомо не лучше тебя и иных прочих.

Аскью и бровью не ведет, хотя после таких ответов перед ним встает дилемма. Человек нашей эпохи ни на миг не усомнился бы, что Ребекка лжет или по крайней мере фантазирует. Сегодня божества уже оставили привычку являться людям, если не считать Девы Марии, которая нет-нет да и покажется неграмотным крестьянам где-нибудь на юге Европы. Собственно, во времена Аскью подобные явления чаще проходили по разряду католического шарлатанства, к которому правоверные протестанты относились с презрением: ничего другого они от католиков и не ждали. Однако в отличие от нас англичане того времени – даже люди круга Аскью – не были такими уж закоренелыми скептиками. Аскью, например, верит в привидения. Правда, своими глазами он ни одного выходца с того света не видел, но столько слышал и читал об их явлениях, что кое-какие из этих рассказов казались ему заслуживающими доверия – тем более что исходили они отнюдь не от старых кумушек или выживших из ума хрычей. Духи и призраки были в те годы не плодом праздного, падкого до фантазий воображения, они появлялись из вполне реальной ночи, еще не потревоженной ярким освещением, – ночи, которая окутывала отделенную от всего мира Англию, где проживало меньше народа, чем в каком-нибудь районе нынешнего Лондона.

Когда в том же году был отменен Закон о ведьмах (он сохранил силу лишь в Шотландии), Аскью приветствовал эту меру, но не потому, что не верил в ведовство. Главная причина состояла в том, что, наслушавшись о расправах над ведьмами, а в молодости даже став свидетелем таких случаев, когда подозреваемых в ведовстве сажали на «позорный стул» <вид наказания, существовавший в XV-XVIII вв.: осужденного привязывали к особому сиденью и опускали в воду>, Аскью пришел к заключению, что закон далеко не безупречен, а обвинения всегда малоубедительны. В душе Аскью допускает, что ведовство не выдумка, но, по его мнению, большой опасности оно уже не представляет. И вот теперь ему рассказывают, будто где-то в Девонширской глухомани до сих пор справляются богомерзкие шабаши по древнему обычаю...

Нет, очень и очень маловероятно. Стряпчий, должно быть, считает – впрочем, он так и считает, без всяких «должно быть», – что на девять десятых небесные видения Ребекки сочинены для сокрытия правды (он многое ведает о сыне своего клиента и давно прячет за внешним почтением к высокому званию этого молодого человека глухую неприязнь), однако при таком подсчете неизбежно остается еще одна десятая. И кто поручится, что

эта одна десятая не содержит в себе правды? Аскью и вида не показывает, но эта саднящая мысль не дает ему покоя.

– Так вы не надумали переменить показания? Повторяю: с вас за это не спросится.

– Не спросится и за правду. Ни слова не переменю.

– Добро, сударыня. Я думал сделать вам великое одолжение, какое, будь мы в суде, вам бы никто не сделал. Не желаете – воля ваша. Но если вас уличат во лжи, сами себя вините. Начнем допрос под присягой.

Аскью занимает свое место и бросает взгляд на Джона Тюдора, сидящего в конце стола.

– Записывать все.

В: Станем говорить лишь о том, что ты видела телесным оком, пусть бы оно и оказалось насквозь лживым. Верно ли, что вы впервые повстречали Его Милость у себя в борделе и никогда прежде его не видели?

О: Верно.

В: И ни от кого о нем не слыхивали?

О: Нет.

В: Гости ведь частенько уведомляли хозяйку загодя, что определяют вас для своего услаждения?

О: Да.

В: Так ли было с Его Милостью?

О: В Клейборнихиной книжице под моим именем стояло: «Приятель лорда Б.».

В: Задолго ли до урочного времени была сделана эта запись?

О: Клейборниха мне сказала лишь утром того дня, как ему прийти.

В: Она всякий раз так поступала?

О: Да.

В: И до той минуты вы эту запись не видели и слышали о ней лишь от хозяйки?

О: Я же говорю: я лишь после узнала, кто он такой.

В: Случалось ли вам выбираться в город? На званые, к примеру сказать, обеды, вечера, в концерты, в театры?

О: Случалось. Но в одиночку – ни разу.

В: Как же тогда?

О: При нас неотлучно была Клейборн со своими головорезами. Для подманки нас вывозили.

В: Что такое «для подманки»?

О: Залучать грешников в бордель. Кто нами прельщался и спрашивал о свидании, тем отвечали, что мы принимаем только в борделе.

В: Ни вы, ни ваши товарки не имели свиданий на стороне?

О: Клейборн за такое плутовство никому не спускала.

В: Вас наказывали?

О: Отсылали обедать с головорезами. Это так только называлось – «обедать». Нам от них было такое обхождение, что лучше б уж нас покарали по закону. Это Клейборн распорядилась. У нас было присловье: «Обед – злее всех бед».

В: И над вами это наказание тоже учинялось?

О: Я знала таких, над кем учинялось.

В: Но на людях вы, пусть и не одна, а все же показывались. Не могло ли стать, что тогда-то Его Милость и увидал вас в первый раз?

О: Коли так, то я его не заметила.

В: А Дика?

О: Его тоже.

В: А после знакомства не заводил ли Его Милость речей в том смысле, что прежде вас уже видал? Что давно ищет встречи – словом, признаний в этом роде?

О: Нет.

В: Пусть так, но ведь он мог узнать о вас и наслышкой? В городе-то, верно, ходили про вас толки?

О: На мою беду.

В: Тогда вот что. Не было ли случая, чтобы вы кому-либо открылись в том, что несчастливы в своей участи и желали бы оставить такую жизнь?

О: Нет.

В: Товарке какой-нибудь в задушевной беседе?

О: Я в товарок веру полагать не могла. Ни в кого на свете не могла.

В: Не почли вы за странность, что Его Милость, показав себя неспособным к обычным у вас наслаждениям, вниманием вас все же не оставляет?

О: Ему, казалось, сама надежда была наслаждением.

В: Не выразил ли он каким-либо образом, что выбрал вас для другой нужды, нежели чем якобы утешаться надеждой?

О: Нет, никак не выразил.

В: О прошедшем вашем не выспрашивал ли?

О: Сделал два-три вопроса и только.

В: Не спрашивал ли, как вам живется в борделе? Может, полюбопытствовал, не утомила ли вас такая жизнь?

О: Про жизнь спрашивал, но не про утомила или не утомила. Хотя из гостей очень многие делают этот вопрос. Все больше оттого, что боятся своего греха.

В: Как так?

О: Лучше ли, когда человек боится греха, но от греха не отступается?

Иные гости, как дойдут в своей скотской страсти до края, обзывали нас шлюхами или еще обиднее, другие давали нам имена своих любезных – даже своих жен и, прости Господи, матерей, сестер, дочерей. А были и такие, кто оставался скотом бессловесным, подобно тем, кого они имели. Всякий живущий по плоти осужден будет, но эти последние еще не суровее всех.

В: Вот изрядное учение! По-вашему, на том, кто грешит как грубая скотина, вины меньше, нежели чем на грешнике, сознающем свою греховность?

О: Господь пребывает в настоящем – или же Его нет вовсе.

В: Мудрено, сударыня, изъясняетесь.

О: Он судит людей, каковы они есть, а не какими хотели бы сделаться, и с грешащего от незнания Он спрашивает не так строго, как со знающего, но грешащего.

В: Никак, Господь посчитал за нужное открыть вам Свои помыслы?

О: Что дурного мы сделали тебе, мистер Аскью? Никакого лиха мы тебе не желали, так почему же ты хулишь нас, когда мы говорим напрямую? Да, верования наши от Бога, но мы не превозносимся, не объявляем, будто эти истины открыты нам одним. Они открыты всякому, с тем чтобы удержать людей от поклонения антихристу. Я же говорю: всякий живущий по плоти осужден, и что проку разбирать, кто сурово, кто не очень. Осужден.

В: Ближе к делу. Не имеете ли вы подозрений, что до вашего отъезда из Лондона Его Милость нарочно навел справки, дабы увериться, что вы способны послужить к достижению его цели – сиречь при случае не прочь будете оставить бордель?

О: До капища я ничего такого не подозревала.

В: И все же не мог он разве об этом уведомиться? Нравится вам это или не нравится, но не были ли вы, сударыня, им с особою целью избраны?

О: Не избрана: спасена.

В: Это одно. Не будь избрания, не было бы спасения.

О: Я тогда ни про избрание, ни про спасение не ведала.

В: Хорошо. Возьмем передышку. Мне желательно вернуться к тому, что вы говорили касательно Суда Божия. Когда мужчина и женщина пребывают в законном супружестве, то не позволительно ли им пожить несколько по плоти?

Что молчите? Не с тем ли и соединились они, чтобы произвести потомство?

О: Так не бывать им в Вечном Июне.

В: Разве не сказывали вы, что видели там детей?

О: Детей духовных, не плотского порождения, как мы. Вот тебе не по мысли, что мы мерзимся грехом плоти и ищем его извести. Но истинно говорю тебе: все увиденные мной в Вечном Июне были духи людей, которые в своей земной жизни ополчались на этот грех и теперь вознаграждены. И награда эта – святой залог истинности нашей веры.

В: Этому учат «французские пророки»?

О: И сам Иисус, жены не знавший.

В: И все утехи плоти – грех?

О: Наивеличайший, корень всех прочих грехов. Не изведем его – не будет нам спасения.

В: Спрашиваю снова: супруг ваш в одних с вами мыслях или, что скорее похоже на правду, рассуждает иначе?

О: А я тебе снова отвечаю: о том знать лишь нам с мужем да Христу, а до тебя это не касается.

В: Отчего вы не ответите: «Да, он со мной согласен, мы с ним живем во Христе»? Не оттого ли, что не можете по чистой совести это подтвердить?

(Non responded.) Добро, пусть ваше молчание само говорит за себя. К чему вы теперь относите вмешательство в вашу судьбу Его Милости? Почему, по вашему мнению, он избрал вас? Почему, если ему в самом деле была нужда кого-то спасать, он обратился не к кому другому, как к вам?

О: Я была в крайности.

В: Мало ли других – и ведь не греховодников, как вы, – в такой же крайности?

О: Я была тогда точно пепелище – в наказание за свою долгую добровольную слепоту.

В: Это не ответ.

О: Христос часто посещает милостью и тех, кто ее как будто бы

меньше всего достоин.

В: В этом, сударыня, спорить не стану.

О: И верно, мне эта милость дана не за прошлое мое и не за настоящее, хоть оно и лучше прошлого. А дана она мне за то, что я должна исполнить.

В: Что же такое вы должны исполнить?

О: То, за чем приходит в этот мир всякая женщина. Что исполняет она вольно или невольно.

В: Так все это делалось для того, чтобы вам зачать?

О: Дитя, что я ношу, – лишь знамение во плоти.

В: Знамение чего?

О: Что в мире станет больше света и больше любви.

В: Кто же принесет их в мир: дитя ваше или вы, дав ему жизнь?

О: Она, моя девочка.

В: Как, вы уже знаете за верное, что ребенок будет одного с вами пола? Отвечайте.

О: По твоей грамоте на это не ответишь.

В: Сударыня, грамота у нас с вами одна и только одна, мы оба говорим на английском языке. Отчего вы так уверены, что это будет девочка?

О: Отчего – не знаю, а только уверена.

В: А придет в возраст – без сомнения, начнет говорить проповеди да пророчества?

О: Она пойдет в услужение к Святой Матери Премудрости.

В: А не прочите ли вы ей еще более высокое положение самого вредного и кощунского свойства? (Non respondet.) Ага, разгадал я, что у тебя на уме?

Ходят же среди твоих пророков такие толки? Разве не исповедуют они нечестивейшее убеждение, будто Христос при Втором Своем пришествии обратится в женщину? Господи помилуй, и вымолвить-то грех! Так не уверовала ли ты в тайне, что носишь во чреве такого Христа-женщину?

О: Что ты, что ты! Видит Бог, нету во мне такого тщеславия. Никогда я такого не говорила, даже в сердце своем.

В: Говорить, может, не говорила, а вот что в мыслях имела, за это я о каком угодно закладе ударюсь.

О: Да нет же, нет! Статочное ли дело, чтобы столь великая грешница родила такое дитя?

В: Оно бы и верно, дело недостаточное, но коль скоро эта грешница возомнила, что возвысилась до святости... И как не возвыситься, когда она удостоилась лицезреть Самого Господа, и Сына Его, и Святого Духа в

придачу. Станете ли вы отрицать, что по учению ваших высокоумных пророков можно и впрямь ожидать пришествия такого Христа в юбке?

О: Что почитала свое дитя за такого Христа, отрицаю всем сердцем.

В: Ну-ну, сударыня, полно скромничать. Шутка сказать, какая вам честь вышла от Всевышнего. Отчего же вы про дитя свое думаете, будто оно от семени Дика? Подумали бы на кого-нибудь побожественнее.

О: Уловить меня хочешь? Знал бы, каково быть женщиной.

В: Я имею жену и двух дочерей, обе летами старше вас. Имею и внушек. И загадку эту – что есть женщина – я уже слышал и ответ знаю.

О: Какая загадка! Как шлюхой меня имели, так и теперь могут. И так со всякой женщиной.

В: Что? Всякая женщина – шлюха?

О: В этом – да. Что думаем, как верим, вслух выразить не решаемся: засмеют. А все оттого, что женщины. Объявит мужчина свое понятие о какой-то вещи – и слово его закон, изволь и мы следовать его мнению. Я не про тебя одного, все мужчины так, хоть весь свет обойди. А Святую Матерь Премудрость не видят, не слышат. Знали бы люди, что Она может принести в мир, если Ей не препятствовать.

В: Что Она принесет в мир, до этого мы касаться не будем. Я больше любопытен узнать, кого вы носите в утробе, сударыня.

О: Та, кого ношу я, будет больше меня, мне всего лишь досталось произвести ее на свет. Нет, она не Иисус грядущий: я тебе сказывала, что не имею в себе столько тщеславия и не вижу себя достойной. Но кто бы она ни была, я не буду через нее слезы проливать, а возблагодарю за нее Господа от всего сердца своего. А теперь пришло время открыть тебе еще нечто. Его Милость был господином не только в здешнем мире, но и в ином, куда более совершенном, но принужден был об этом молчать. Я хоть и не вдруг, но поняла: то, что мнилось мне суровостью, было на самом деле изъятием милости. И еще он этим показывал, что видит людей мира сего живущими в ночи антихристовой. Он, бывало, говорил с таким видом, точно эти его речи не для всякого, а единственно для просвещенных благодатью. Он имел повадку человека, который оказался во вражеском государстве и прячет свою преданность отеческой державе и приоткрывает кое-что единственно тем, в кого полагает веру и надежду. Ты не думай, я не говорю, что он Тот, про Кого рассказывает Священное Писание. И все же он человек Его духа, и что он делает, это все для Него и во имя Его. Я давеча про Его Милость и слугу обмолвилась, что они были как один человек. А теперь точно вижу: именно что один человек, Дик – несовершенная плоть, Его Милость – дух, как будто эта вот двуединая

природа, которую имеет всякий из нас, разделилась, да так и объявилась в двух лицах. И как испустило дух на кресте Христово тело, точно так же в недавнем времени умерло земное начало, несчастный нераскаянный грешник Дик. Умерло для того, чтобы второе начало через это получило спасение. Вот я и говорю: сдается мне, что то второе начало в образе Его Милости нам на этом свете больше не увидеть. Однако он не мертв, но отошел, как я сказывала, в Вечный Июнь и соединился с Иисусом Христом. Я тебе это ясно представила, яснее и короче некуда. А ты не поверил.

В: Вы понимаете, что Его Милость был унесен прочь червеобразной машиной? Что она Божиим произволением была послана забрать его из этого мира?

О: Да.

В: И это при том, что он вас нанял и употребил к делам распутнейшим?

О: Это чтобы я увидела, что такие занятия ведут в геенну огненную. Сам он в них ни участия, ни приятности не имел.

В: При том, что ее имело другое, телесное, как вы говорите, его начало – эта скотина Дик?

О: Оттого ему и суждено было умереть. А первое блудодейство обратилось не к низкой или бесстыдной утехе, а, как я и сказывала, к состраданию и сердечному участию – я сама дивилась, что они мне так ощутительны. Не могла я тогда взять в толк, что так и должно быть. А теперь знаю: этот человек, что плакал у меня в объятиях, – то самое падшее начало, плоть, тень против света, и оттого мучился. Так плакал Иисус, когда увидел себя оставленным.

В: При том, что все прочие – и это самое важное! – имели о них совсем иное мнение? Я вам уже доводил, что эти двое за люди. Хозяин пренебрегает всем, что определено ему знатностью рода, не уважает волю своего достойного родителя, не чтит Господа, бунтует в рассуждении долга перед семьей; слугу же скорее можно отнести к скотам, нежели чем к роду человеческому. Вот каковы они, вот каковыми знал их весь свет, выключая разве что вас.

О: Что мне до того, как понимали о них прочие? Я имею свое суждение и останусь с ним до самой смерти.

В: Вы сказывали, что Его Милость принужден был таиться и скрывать, кому он истинно служит – сиречь, что он имеет в себе... или имел дух нашего Икупителя. Разве сходно это с поступками Господа нашего? Помилуйте, найдем ли мы в Евангелии хоть полслова о том, чтобы Он таился и двурушничал, точно лицемерный лазутчик, из страха за свою

шкуру? Самая мысль об этом не прямое ли святотатство?

О: Фарисеи нынче в силе.

В: Как сие понимать?

О: Не может Он прийти так, как Ему благоугодно, покуда здешний мир еще черен от греха. Вот очистится свет от антихриста – тогда и придет Спаситель в Славе Своей. Когда бы нынче сделалось известно, что Он вновь среди нас и проповедует прежнее учение и, сверх того, пришел в женском образе, быть Ему в другой раз распяту. Ты первый, а с тобой и прочие станут хулить Его и насмехаться, возопят, что Евин пол Божеству не совместен, что это, мол, святотатство. Нет, Он придет не раньше, чем христиане снова учинятся воистину христианами, какими были вначале.

Тогда-то и придет Он – или Она – в этот мир.

В: А до той поры посылает наудачу своих подставных и доверенных, не так ли?

О: Все-то ты видишь в свете мира сего. Или не читал ты писания апостолов? «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия», «Видимое временно, а невидимое вечно» <Кор: 4, 18>, «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» <Евр: 11, 1>. Таким устроил Господь этот мир. Я в твоих глазах по-прежнему хитрая блудница, Его Милость непокорный сын, Дик – ничто как скот. Стало быть, так тебе на роду написано: не можешь ты перемениться. Коли не рожден свыше, то хочешь не хочешь, живи при этом свете.

В: От ваших слов, сударыня, разит смрадом гордыни, нужды нет, что приняли на себя уничиженный вид.

О: Я горда во Христе и никак иначе. И никогда не оставлю возглашать о Его свете, хоть и говорю нескладно.

В: Вопреки всем принятым и должным мнениям?

О: Что должно, то не от Царствия Христова. Всякое «должно» – не от Христа. «Блуднице должно оставаться блудницей» – не от Христа. «Мужчине должно властвовать над женщиной» – не от Христа. «Детям должно голодать» – не от Христа. «Человеку должно родиться для страданий» – не от Христа.

Все, что в свете мира сего объявляется должным, – все не от Христа.

«Должно» – тьма, гроб, в коем лежит мир сей за свои грехи.

В: Да ведь вы этим самым отбрасываете главное в христианском учении! Не указывает ли Писание, в чем состоит наш долг, как должно нам поступать?

О: Не как должно, а что во благо. Многие вон поступают иначе.

В: Что же, и Христа слушаться не должно?

О: Надо, чтобы прежде мы имели право Его не слушаться; Ему угодно, чтобы мы пришли к Нему по доброй воле, а потому надобно, чтобы не отнималось у нас и право прилепиться ко злу, греху, мраку. Где же тут «должно»? Вон как брат Уордли сказывал: Христос – Он всегда пребывает в дне завтрашнем, в уповании, что, сколько бы мы нынче ни грешили, сколько бы ни слепотствовали, завтра как бы чешуя отпадет от глаз наших и будет нам спасение. А еще брат Уордли говорит, что в том-то и состоит Божественная сила и тайна Его, что Он открывает нам: всякий способен перемениться по своей воле и по Его благодати и через это сподобиться искупления.

В: Так эти свои взгляды вы переняли у Уордли?

О: Я и сама в этом уверилась, как поразмыслила о своем прошедшем и настоящем.

В: Когда дело идет о душе, об искуплении, то мнение сие – что всякий способен перемениться – ни один человек с рассудком оспаривать не станет, но если приложить его к делам мирским, то не покажет ли оно себя негодным и губительным? Разве не подстрекает оно к братоубийственным войнам, переворотам, к низвержению законных установлений? Не превратится ли в зловерное убеждение, будто всякому человеку должно перемениться, и если он не желает по доброй воле, то его надлежит принудить к перемене посредством кровавого насилия и жестоких смут?

О: Такие перемены не от Христа, хоть бы и учинялись Его именем.

В: Не оттого ли ваши пророки разошлись с квакерами, которым вера не позволяет брать в руки меч?

О: Ну, в этом не больше правоты, чем в пшеничной булке черноты. Мы ищем побеждать не мечом, а единственно верой и увещеваниями. Меч – не Христово орудие.

В: А вот Уордли говорит обратное. Он вчера объявил мне, что готов обнажить меч против всякого, кто не разделяет его веры. Делал и другие мятежные угрозы против властей предержащих.

О: Он мужчина.

В: И смутьян.

О: Я его знаю лучше твоего. Когда среди своих, он человек добрый и участливый. И покуда ему не грозят гонениями, мыслит здраво.

В: А я тебе говорю – нету в нем здравого смысла, наживет он когда-нибудь беду. Ладно, будет с меня твоих проповедей. Поговорим теперь о Дике. Вы знали его короче, нежели чем прочие его знакомцы. Не кажется ли вам, что под внешней его убогостью пряталась более здоровая натура?

О: Ему было больно оттого, что он такой. Скот от этого не мучается.

В: Он понимал больше, нежели чем думали о нем прочие? Не это ли вы разумеете?

О: Понимал, что он человек падший.

В: Только ли это? Вы тут в самых лестных словах отзывались про его господина. Какое-то будет ваше суждение вот о чем: не было ли похоже, что должность путевода исправлял в то последнее утро никто как Дик? Что он лучше, нежели чем Его Милость, знал, где свернуть с дороги, где сойти с коней и продолжать путь пешим ходом? Не он ли, покуда вы с Его Милостью ожидали внизу, первым взобрался наверх?

О: Подлинно, что он имел некоторые знания, которые людям более совершенным, даже таким, как Его Милость, не даны.

В: Не имелось ли каких указаний, из коих можно было бы заключить, что он в этих краях уже бывал?

О: Нет.

В: И все же поступки его показывали, что местность ему знакома? Не догадываетесь ли, каким случаем он сумел о ней уведомиться?

О: Он уведомился о Боге не с чужих слов, но сердцем. Он находил дорогу, как животное, что заплутало вдали от дома и нету рядом человека, кто бы привел его обратно.

В: Вы все стоите на том, что этот ваш Вечный Июнь и ваши видения были ему все равно как родной дом?

О: Когда Святая Матерь Премудрость явилась нам, он приветствовал Ее, как верная собачонка, надолго отлученная от хозяйки, и теперь она к ней так и льнет.

В: Джонс показывал, перед тем как вам выйти из пещеры, Дик выбежал оттуда, точно его обуял великий страх и ужас и единственной его мыслью было унести ноги. Какая же собачонка, вновь обретя хозяйку, бросится этак наутек?

О: Такая, что не может изжить свой грех и не видит себя достойной.

В: Отчего же эта Святая Матерь Премудрость, показавшая вам такую ласку и участие, не обласкала и этого беднягу? Отчего допустила его бежать прочь и совершить великий грех *felo de se*? <самоубийство (лат.)>

О: Ты хочешь от меня ответа, какой под силу дать только Богу.

В: Я хочу от тебя ответа, какой заслуживал бы вероятия.

О: Такого дать не могу.

В: Ну так я подскажу тебе ответ. Не может ли статься, что он по неразумию своему был подвигнут на этот шаг такой причиной, которая одна лишь и похожа на правду: что Его Милость был на его глазах умерщвлен или похищен – словом, Дик увидел, что отныне остался без

покровителя?

О: Я не знаю, что там приключилось. Я спала.

В: Рассудите сами, сударыня. Сперва он приводит вас на место – а это подает к заключению, что он знал о том, что должно там впоследствии.

Однако же следствие было то, что он скончал свой век. Ну не темное ли дело?

О: Когда Господь захочет, всякое дело темно.

В: Как и не быть ему темным, когда ты, женщина, даешь такие ответы и самозванно производишь себя в заоблачные святые, не снисходя до такой безделицы, как здравый смысл? Я заметил, как вы приняли известие о гибели Дика. Другая, услышав о смерти отца своего не рожденного еще ребенка, стала бы плакать, убиваться, а вы? Точно чужой вам человек умер. А теперь объявляете, будто любили его как никого другого. И кто говорит: женщина, к которой любовники липли ровно мухи к тухлому мясу! И на все вопросы – «не знаю», «не умею сказать», «не суть важно». Как это понимать?

О: А так понимай, что я ношу его ребенка, но в сердце своем радуюсь его смерти. За него радуюсь, не за себя. Теперь он может воскреснуть из мертвых очищенным от грехов.

В: Такое-то оно, ваше христианское человеколюбие?

О: То-то и есть, что ты обо мне понимаешь как всякий мужчина обо всем женском поле. Да только я под это понятие не подхожу. Ведь я тебе толковала, что была тогда блудница и удовольствовалась его похоть. Таким уж он был: сама воплощенная похоть, прямой бык или жеребец. Как же ты не возьмешь в толк, что с той поры я переменилась, что теперь я не блудница, но произволением Христовым родилась свыше и видела Вечный Июнь? Нет, не подхожу я под твои понятия. «Верую Раав блудница не погибла с неверными»

<сокращенная цитата из Послания к Евреям (11, 31); история иерихонской блудницы Раав рассказана в ветхозаветной Книге Иисуса Навина; Раав укрыла у себя в доме израильтян, посланных Иисусом Навином на разведку в Иерихон; за это она и ее родные после взятия города израильтянами были пощажены>.

В: Ты хуже, чем раскаянная блудница. Ты епископия. У тебя стало наглости состряпать из своих бредней целое вероучение – из всяких досужих мечтаний. Тут тебе и Вечные Июни какие-то, и Святые Матери Премудрости...

Твоего ли ума это дело – выдумывать такие именованья, когда вон и сектантишки твои про них ничего не знают?

О: Я никому, кроме тебя, про них не говорила и не скажу. Прочие же названия и тебе не открыла и не открою. В здешнем мире они все не более как слова, но слова эти знаменуют то, что в мире грядущем всякие слова превосходит. Что же ты не объявишь вредными гимны да кантаты, которые распевают в ваших церквах? Ведь и в них радуются о Господе словесным образом. Или славить Господа только те слова годятся, которые одобрены правительством?

В: Говори да не заговаривайся!

О: Перестанешь ты, перестану и я.

В: Нет, какова дерзость!

О: Не я ее пробудила.

В: Довольно. Так, по твоему разумению, Дик порешил с собой от стыда за свое плотское вожделение к тебе?

О: Чтобы отринуть и истребить согрешившее плотское начало.

В: Это первый раз, что ты зачала дитя?

О: Да.

В: Хоть случаев к тому имелось предостаточно. Скольким гостям доставалось оседлать тебя в удачную ночь? (Non respondet.) Отбрось ты свое святошество, гори оно огнем! Отвечай! (Non respondet.) Нужды нет, догадаться не трудно. Что же твой ублюдок, которого ты повесишь на шею своему муженьку?

О: Мое бесплодие приключилось по воле Христовой, и Его же волей я сделалась такою, какая теперь. А дочь моя родится не ублюдком: супруг мой заступит ей место отца в этом мире, как некогда Иосиф стал отцом Иисусу.

В: А тот отец, что не от мира сего, – кто он?

О: Твой мир – не мой мир, ни также мир Христов.

В: Сколько, голубушка, ни финти – не отстану. Что говорит твое своевольное сердце: кто скорее может почесться отцом ребенка – Дик или Его Милость?

О: Его Милость – не больше и не меньше как Его Милость; и в этом мире он ей не отец.

В: Но в мире ином ты его таковым считаешь?

О: Почитаю отцом по духу, не по плоти.

В: Разве не заповедано свыше, что непокорство мужчине – грех перед Богом? И не было ли о том свидетельства в первом же деянии Всемогущего, равно как и в последующих?

О: Это всего-навсего толки. И идут они от мужчин.

В: Священное Писание для тебя ложный свидетель?

О: От одной лишь стороны свидетель. Но виной тому не Господь Бог, не Сын Божий, а мужчины. Ева сотворена от ребра Адамова – так во второй главе Книги Бытия. В первой же вот как: «Сотворил Бог человека по образу Своему, мужчину и женщину сотворил их». О том же говорит и Господь наш Иисус Христос в Евангелии от Матфея в главе девятнадцатой, и про ребра там ничего нет, а есть про то, что Моисей позволил мужчинам разводиться с женами. А сначала, говорит Иисус, не было так. Они были созданы равными.

В: Ох, не верю я в твое рождение свыше, ни вот на столечко не верю.

Чепец и юбка скромные, а сама все та асе. В том лишь отличие, что усвоила себе еще один порок: тешишь себя, умствуя против веры, которую внушили нам праотцы в премудрости своей. Вот каким злокозненным способом ищешь выместить свою низкую досаду. Ты ведь, когда была потаскухой, служила мужчинам для удовольствий, оттого теперь и мечтаешь поставить себя так, чтобы отныне они служили тебе, а старое отбрасываешь прочь, словно ленты, что еще в прошлом году вышли из моды. Для тебя, лукавой потаскухи, религия не больше как личина, средство получше устроить свою неженскую месть.

О: Я в эти твои силки не попадусь.

В: Вот на, силки! Какие силки?

О: Ты ведь ждешь, чтобы я признала, что все мои мысли заняты отмщением, как у какой-нибудь злыдни или сварливицы. Думаешь, тогда я остерегусь следовать благим побуждениям из боязни, как бы их не стали толковать в худую сторону.

В: Я твои мерзкие помыслы вижу ясно.

О: Так узнай, какие такие у меня мерзкие помыслы. Свет этот почти во всем устроен не праведно. Не Господом нашим Иисусом Христом он так устроен, а людьми. И умысел мой – его переменить.

Аскью впивается в Ребекку глазами. Теперь уже он отвечает собеседнице молчанием. Женщина сидит на деревянном стуле, выпрямившись, руки все так же лежат на коленях. Она пристально смотрит ему в глаза, словно видит перед собой самого антихриста собственной персоной. Ее взгляд все еще не лишен смирения, однако лицо напряглось:

ясно, что она готова стоять на своем и не возьмет назад ни единого слова. Наконец Аскью обретает дар речи, но его возглас – не столько обращение, сколько оценка:

– Лжешь! Ах ты лгунья!

Женщина точно не слышит. Джон Тюдор отрывается от записей и поднимает голову, как бывало всякий раз, когда в допросе происходила заминка.

Ребекка смотрит и смотрит, не отводя взгляда. Так пошло с самого начала: стряпчий наседает, Ребекка глядит ему прямо в лицо и с ответами не спешит.

Но терпение Аскью, как видно, на исходе. Накануне он решил сменить тон и побеседовать с женщиной приветливо, по-доброму, но мало-помалу убедился, что напускной приветливостью ее не возьмешь. Развязать ей язык не удавалось ни бранью, ни лаской: свою тайну – что же приключилось на самом деле – женщина хранила крепко. Раз или два стряпчий мысленно возвращался к тем дням, когда допросы велись настоящим образом – с дыбой, с тисками. Уж с их-то помощью недолго добыть истину. Но после принятия Билля о правах <принятый в 1689 г. документ, который наряду с другими актами составляет основу английской конституционной практики; значительно ограничивает власть монарха и гарантирует права парламента и личности> с такими методами в Англии покончено, исключения делались лишь для подозреваемых в государственной измене. Теперь этот обычай сохранился только в испорченных и нечестивых католических державах вроде Франции; Аскью же, при всех его недостатках, все-таки англичанин. Однако его английской невозмутимости приходит конец.

В отличие от наших современников, которые на месте Ребекки, конечно, возмутились бы, что рассказ об их религии встречают недоверием и насмешками, как раз это Ребекку и не задевало. К такой недоверчивости и нападкам ей было не привыкать, иное отношение к ее вере показалось бы ей необычным и до крайности подозрительным. Досадно было другое: допрос ведется так, что ей не дают изложить свое вероучение с начала до конца, привести доводы в его защиту, показать его истинность, его насущную необходимость, страстную созвучность времени. По сути, стряпчего и женщину разделяют не только возраст, пол, сословная принадлежность, степень образованности, место рождения и неисчислимое множество других несовпадений; главное различие между ними кроется много глубже. Они представляют две несхожие стороны человеческого духа, возможно, коренным образом связанные с разными полушариями

мозга, правым и левым. Каждое из них само по себе ни хорошее, ни плохое. Те, у кого более развито левое полушарие (и правая рука), обладают холодным математическим умом, любят порядок, ясно выражают мысли, как правило, осмотрительны и во всем держатся традиций; в основном благодаря таким людям обществу удастся существовать без потрясений – или вообще существовать. Что же касается тех, у кого лучше развито правое полушарие, то они, с точки зрения строгих мудрецов или благоразумного бога эволюции, куда менее стоящая публика. Им в удел следует оставить какие-нибудь второстепенные сферы бытия – искусство, религию, где склонность к мистике и отсутствие логики придутся к месту. Они, подобно Ребекке, не отличаются трезвостью мысли и часто страдают непоследовательностью. Чувство времени (и понятие о своевременности) у них нередко притуплено. Они живут и скитаются большей частью в бесконечно разросшемся настоящем; в отличие от честных, добропорядочных правшей, которые четко отграничивают это настоящее от прошлого и будущего и не позволяют им своевольничать, люди с правополушарным мышлением воспринимают «вчера» и «завтра» точно так же, как «сегодня». Беспорядок, смуты, перевороты – все это их рук дело. Вот что они за люди, эти двое, живущие в 1736 году. Они стоят на противоположных полюсах, и не важно, что физиологическую подоплеку их противостояния стало возможно обсуждать лишь сегодня, много лет спустя.

В эту минуту левша Ребекка сдерживает свою правополушарную натуру из последних сил. Наконец она прерывает молчание и, словно размышляя вслух, произносит:

– Эх ты! Слепцом прикинулся, слепцом прикинулся.

– Не смей так со мной разговаривать! Я тебе запрещаю!

Женщина понижает голос:

– Запрещай, запрещай. Туча ты черная, ночь ты, Люцифер ты, и вопросы твои дьявольские. Думал, цепи законника будут глаза мне застить, а только сам пуще меня слепотствуешь. Не видишь ты разве, что этот мир погублен без возврата? Не новыми грехами – старыми, которые от века. Ничто как ветошь, тысячекрат изодранная, измаранная, и всякая нить в ней – грех. И знай, что дочиста ее уже не отмыть и не обновить ни во веки веков. Ни тебе не обновить, ни твоей братии. И не обновить вам больше злых путей, на которые сворачивали вы невинных от самого их рождения. Или не замечаешь ты, что слеп вместе со своей братией?

Аскью порывисто вскакивает:

– Молчать! Молчать, тебе говорят!

Но с Ребеккой творится что-то невероятное. Она тоже поднимается и продолжает свою отповедь. Неторопливость сменяется скороговоркой, доходящей до невнятицы:

– Как чтишь ты Небеса? Тем, что учиняешь ад из века сего. Или не видишь ты, что единая твоя надежда – это мы, кто Христом жив? Отступись от путей своих, живи путями Иисуса Христа, ныне позабытыми. Твой мир – он насмешник, гонитель, только и ищет их истребить. Ты и братия твоя осуждены, непременно осуждены, и что ни день, то больше. И будет так: возродятся пути Его, и тогда увидят это грешники, и мы, люди веры, оправданы будем, а ты со своим легионом, проклятые во антихристе, за слепоту свою, за незаконные пути осуждены. Так победим мы. Истинно говорю: Иисус снова грядет, пророчество было. И свет Его просияет сквозь всякое дело и всякое слово, и мир сделается точно окно, и польется свет, и станет в нем видимо все какое ни есть зло, и покарается в аду, и ни одному подобно тебе осужденному против того не устоять...

– В тюрьму тебя! В плети!

– Нет, злой карла, напрасно ты покушаешься уловить меня в свои злые силки. Истинно говорю: не случилось еще примера, чтобы ушедшее воротилось, пустое ты затеял – его удержать. Этот день – нынешний, нынешний! Истинно говорю: грядет новый мир, и не станет греха, не станет вражды меж людьми, меж мужчиной и женщиной, отцом и сыном, слугой и господином. И никто больше не пожелает злого, не умоет рук, не пожмет плечами, никто не будет, подобно тебе, закрывать глаза на все, что смущает его покой, что противно его самоугодливости. Не станет судья судить бедняков, когда и сам на их месте не удержал бы себя от воровства. Не будет владычествовать корысть, ни суетность, не будет злобных усмешек и пышных пирований в то время, что люди голодают, ни утешных телу рубаш и башмаков в то время, что хоть один человек наг и бос. Разве ты не видишь, что скоро лев будет лежать рядом с агнцем <Ис.: 11,6>, что все станет истина и свет. Господи, ну как же, как ты не видишь! Нельзя стать, чтобы ты был так слеп к своей жизни вечной, нельзя тому стать!..

Аскью бросает взгляд на Джона Тюдора, который, склонившись над столом, строчит по бумаге:

– Эй, любезный, ты что, заснул? Заткни-ка ей глотку!

Тюдор встает и нерешительно топчется на месте.

– Истинно говорю тебе: вижу, вижу! Как же ты не видишь, что вижу я? Грядет, гря...

Тюдор уже было бросился к Ребекке, чтобы зажать ей рот, но тут же

застывает как вкопанный. Происходит неожиданное. При слове «вижу» Ребекка вдруг отводит взгляд в сторону. Теперь она смотрит не на Аскью, а куда-то левее. Там, в углу, футах в пятнадцати от нее, имеется небольшая дверь, ведущая, судя по всему, в соседнюю комнату. Глядя на Ребекку, можно подумать, что кто-то вошел в эту дверь и его-то появление и заставило женщину умолкнуть. Это ощущение настолько явственно, что Аскью и писец поспешно оглядываются на дверь. Закрытая дверь неподвижна и нема, в комнату никто не входил. Как по команде, стряпчий и писец поворачиваются к Ребекке. Женщина остолбенела. Она смотрит все тем же неподвижным взглядом, не в силах вымолвить ни слова. Но не изумление, не растерянность сковывают ей язык – вид ее показывает, что она покорила чьей-то воле и едва ли не благодарна за то, что ее прервали. Настороженное строптивное лицо, как по волшебству, преобразилось, на нем забрезжила улыбка. Трудно угадать, кого она видит там, в углу, однако ее взгляд, удивительно робкий, по-детски простодушный, полный ожидания, говорит о том, что перед ней внезапно предстал человек, с которым ее связывает любовь и доверие.

Аскью еще раз быстро оборачивается на дверь и переводит взгляд на Тюдора. Тот глазами отвечает на его невысказанный вопрос.

– Никто не входил?

– Ни одна живая душа.

Они застывают, уставившись друг на друга. Затем Аскью поглядывает на Ребекку:

– Припадок. Попытайся ее опаматовать.

Тюдор приближается к оцепеневшей женщине, но останавливается на некотором расстоянии и, протянув руку, с опаской, точно прикасается к змее или свирепому хищнику, трясет ее за плечо. Ребекка по-прежнему не сводит глаз с двери.

– Крепче, крепче тряси. Небось не укусит.

Тюдор заходит ей за спину, отодвигает стоящий позади нее стул и берет женщину за плечи. Ребекка остается безучастна, но он продолжает ее тормозить, и вдруг она глухо вскрикивает, точно от боли. И даже не от боли, а как бы от осознания нестерпимой утраты. Просто удивительно, как этот вскрик напоминает рвущийся из глубины души вздох, которым венчается сближение мужчины и женщины. Ребекка медленно обводит глазами комнату.

Увидев, что Аскью все стоит перед ней по другую сторону стола, она тут же закрывает глаза и роняет голову на грудь.

– Посади ее.

Тюдор подвигает ей стул:

– Извольте присесть, сударыня. Все уже прошло.

Ребекка безвольно опускается на стул и клонит голову ниже. Закрыв лицо руками, начинает всхлипывать – смущенно, как бы стыдится своего срыва.

Аскью подается вперед и упирается руками в стол.

– Что это было? Что вы там такое увидели?

Вместо ответа женщина всхлипывает еще громче.

– Воды. Подай ей воды.

– Не надо, сударь, не будем ее трогать. Это как при нервической горячке. Сейчас отойдет.

Аскью снова окидывает взглядом плачущую женщину и решительно подходит к закрытой двери. Пробует открыть, но дверь не поддается. Аскью с растущим раздражением дергает еще и еще. Бесполезно: дверь заперта. Стряпчий теперь уже не спеша возвращается к окну и выглядывает на улицу. Смотрит и ничего не видит. В глубине души, где рассудок бессилен, Аскью потрясен не меньше самой Ребекки – правда, ни за что не хочет в этом признаться. Он не оглядывается, даже когда женщина, отбросив смущение, разражается пронзительными рыданиями, сотрясающими тело, надрывающими душу. Но вот всхлипы раздаются все реже и реже, и лишь тогда он наконец оборачивается.

Писцу удалось-таки напоить женщину водой, и теперь он стоит, положив руку ей на плечо. Но Ребекка по-прежнему не поднимает голову. Помедлив немного, стряпчий идет к своему стулу, испытующе поглядывая на понурую фигуру, и взмахом руки отсылает Тюдора на место.

– Совершенно ли вы пришли в память, сударыня?

Женщина кивает склоненной головой.

– Можно продолжать?

Женщина опять кивает.

– Так что же это на вас напало?

Женщина качает головой.

– Отчего вы так вперились в эту дверь?

Только тут женщина, не поднимая головы, подает голос:

– Оттого, что я там нечто увидела.

– Да когда там ничего не было! Что молчите? Извольте, я вам все прощу – и ваши громовые проповеди, и дерзости, и поносные слова обо мне.

Расскажите лишь, что вы видели.

Стряпчий складывает руки на груди и ждет ответа. Все напрасно.

– Или вам стыдно того, что вы увидели?

Ребекка выпрямляется, поднимает на него глаза и вновь кладет руки на колени. На ее лице проступает скупая и все же отчетливая улыбка. Аскью потрясен. Эта улыбка запомнится ему надолго.

– Мне не стыдно.

– Отчего вы улыбаетесь?

Женщина продолжает молча улыбаться, словно эта улыбка и есть ответ на вопрос.

– То был человек?

– Да.

– Житель этого света?

– Нет.

– Тот, кого почитаете вы Господом нашим, Спасителем?

– Нет.

– Особа, именуемая вами Святой Матерью Премудростью?

– Нет.

– Да полно, сударыня, скрытничать! Вы глядели так, точно кто-то вошел в комнату и стоит позади. Верно? Признавайтесь же, кто это был.

Загадочная улыбка придает лицу женщины неуловимое выражение. Ребекка будто лишь теперь вспомнила, где она находится, узнала в собеседнике своего врага. Однако при дальнейшем допросе перед стряпчим уже другая Ребекка. Всякому ясно, что ей не победить – ни в этом историческом настоящем, ни в будущем. Всякому – но не ей.

О: Тот, кого вы ищете.

В: Его Милость? Вы положительно утверждаете, что видели Его Милость стоящим в этой самой комнате?

О: Все равно не поверишь.

В: С каким выражением он смотрел?

О: Как мой друг.

В: Какое на нем было платье? То ли, в коем он ехал в Девоншир, или как в вашем мечтании?

О: Какое он носил в Вечном Июне.

В: Вошел ли он, открыв и затворив за собой дверь?

О: Нет.

В: Так, стало быть, он пришел как призрак, как тень, не препятствуемый ничем, что непроницаемо для обыкновенной плоти?

О: Он пришел.

В: Говорил ли он?

О: Ему нет нужды в словах.

В: И вы не удивились такому его явлению? Ну же, сударыня, отвечайте. А может быть так, что вы уже имели с ним такого рода встречи после первого мая? Не так ли? Отвечайте: так или нет? Правду ли вы показывали, когда я при начале допроса спросил вас, не имели ли вы с ним после того дня каких-либо сношений? Может, было не так, как вы показали?

О: Все равно не поверишь.

В: Это не ответ. Ну, виделись вы с ним или не виделись? Пусть не так, как нынче, пусть хоть как-нибудь, чтобы можно было сказать: «Да, я с ним видалась».

О: Он теперь мой друг.

В: Иными словами, виделись?

О: Я знаю, что он пребывает близ меня.

В: То бишь, как сказал бы человек не столь затейливый, вы чувствовали близ себя веяние его духа?

О: Совсем близко.

В: Но видали ли вы его, как нынче, – словно бы во плоти?

О: Что есть плоть?

В: Не бесите меня. Вам ли не знать, что есть плоть.

О: Я видала его не во плоти мира сего, а как он есть сейчас.

В: При тех случаях, когда вы чувствовали близ себя дух Его Милости, не бывало ли, чтобы он к вам обращался?

О: Не словами. Духом.

В: И что же духом? Велел он вам: «Делай то-то и то-то, верь так-то и так-то»?

О: В душе.

В: Вашей душе указывают, как поступать и как верить?

О: Указывают, что она поступает и верит правильно.

В: А не было ли случая, чтобы дух Его Милости – или как это у вас зовется – рассказал о себе, открыл, где пребывает его тело?

О: Не говорил. Нужды нет.

В: Вы не сомневаетесь, что оно теперь в этом вашем Вечном Июне?

О: Да.

В: Не сообщали вы об этих беседах кому-либо еще, все равно хоть мужу, хоть родителям, хоть друзьям или единоверцам?

О: Нет.

В: И никто не может свидетельствовать, что вы имели таковые видения, духовные беседы или как вы их там именуете?

О: Никто, кроме как сам он и Господь наш Иисус Христос.

В: Часто ли вы их имели, считая от первого мая? Да не качайте вы, сударыня, головой. С меня довольно будет и общего понятия. Много раз или нет?

О: Всякий раз, когда у меня есть надобность.

В: Часто или редко?

О: Сперва случалось часто.

В: И чем дальше, тем реже?

О: Да.

В: У ваших единоверцев есть обычай объявлять свои видения в ваших собраниях, сим удостоверяя силу своей веры, не так ли? Отчего же вы, сударыня, об этом ничего не доводили?

О: Это явление такого рода, что они не поверят.

В: Разве не сказывали вы, что Его Милость – человек духа Христова?

Неужто им этого мало?

О: Он пока что незрим: время не пришло.

В: И открой вы им, что приключилось в апреле, они и тогда его не признают? Не поймут, за что вы его так возвеличили? Или ваши товарищи не имеют в себе столько прозорливости, сколько вы?

О: Я видала его в наших собраниях, ясно видала. А братья и сестры никого не заметили. Являться перед всеми он пока не желает.

В: А придет время – вы их уведомите?

О: Они сами уведомятся.

В: От кого же, если не от вас?

О: Правду не спрячешь. Все увидят. Выключая тех, кто осужден.

В: «Осужден»! Выговариваешь так, точно это слово тебе лакомо как кошке сливки. Разве по-христиански это – то и дело радоваться чужой гибели?

О: Я не радуюсь. Радоваться в этом мире все больше достается тебе и подобным тебе. Знай радуетесь, что ничего вокруг не переменить, что ты со своей братией для тех, кто ниже вас, учинили на земле ад страшнее ада загробного. А вот я предложу тебе простой вопрос: это по-христиански?

Известное дело, я женщина неученая, а ты хитроумный законник. Так как же ты со своим законом ответишь на этот простой вопрос? Знаешь ведь,

что это правда. Растолкуй же мне, почему так, какое тому есть оправдание.

В: По заслугам и награда. Так устроен свет.

О: А кто богаче, тому и награда богаче. Подлинно, что свет так устроен, да только не Божиим произволением, а произволением богачей.

В: Не будь на то Божиего произволения, Он бы не попустил.

О: Нынче попускает, а завтра, глядишь, и не попустит. Вольно тебе перетолковывать Его долготерпение в свое оправдание.

В: А вам, сударыня, Его гнев в отмщение за вашу обиду.

О: Милость Его – что заемный грош. Придет срок – с должников спросится, и горе тому, кто не сумеет расплатиться. И будет их участь такой страшной, чтобы другим не повадно. И обратится все в прах и пепел, и восплает пламя, какое было мне явлено.

В: Удержитесь вы пророчествовать. Вы толкуете о делах грядущего как о вещах уже совершающихся, и от этого речи ваши скорее показывают ваши нетерпеливые упования, нежели чем то, что произойдет в действительности.

Делаю вам прежний вопрос: каким способом мыслите вы переменить этот мир?

О: Живучи так, как нам надлежит и желается – словом и светом Христовым.

В: Коль скоро вы, сударыня, по всякому поводу упрямы и прекословите, то вот вам мое пророчество, что на вашу секту выйдет запрет.

И поделом. Нет-нет, не отвечайте, я не дам вновь вовлечь себя в пустословные препирательства. Пока что я в вас больше надобности не имею.

Прибавлю лишь следующее. Прежде всего должен наистрожайше вас предупредить касательно этого дела. О том, что здесь происходило, о прежних своих приключениях извольте молчать. Ни мужу, ни отцу, ни Уордли, никому иному ничего не рассказывать. Не смейте также для свидетельства своей веры объявлять эти обстоятельства в ваших собраниях, изображая Его Милость таким, каким он отнюдь не был. Упаси вас Бог хоть теперь, хоть после обратить это происшествие к тому, чтобы выставить себя пророчицей. Понятно ли?

О: Понятнее и царю Ироду не выразить.

В: Ни правды, ни выдумки чтобы никто от вас не слышал. О правде молчок, о выдумках тоже. На этом вы должны будете мне присягнуть и скрепить вот этот присяжный лист своей подписью. Достанет ли у вас грамотности написать свое имя?

О: Написать имя, какое носит моя плоть, сумею. И пусть ты со своей братией уверишься, что правду Божию в узах все равно не удержать.

В: Смотри у меня. И не надейся, что если в нарушение присяги развяжешь язык, то я не узнаю. Узнаю. И поступлю с тобой так, что ты у меня и день тот проклянешь, когда открыла рот.

О: Как и не проклясть, если не сдержу слова.

В: Это не все. Мне желательно получить от вас скрепленную подписью присягу, удостоверяющую то, о чем вы клялись при самом начале: что, будучи в здравом уме – не в видениях, не в духовных беседах, – вы с Его Милостью после мая первого числа не виделись, не говорили, сношений с ним не имели и никаких вестей о нем через третьих лиц не получали. Вам надлежит засвидетельствовать лишь одно: что с ним случилось, вам неизвестно.

О: Изволь, я подпишу.

В: Что это вы, сударыня, разулыбались?

О: О безделице хлопчешь, а главного видеть не желаешь.

В: Я желаю увидеть тебя в тюрьме. И увижу, если по твоей вине хоть что-нибудь выйдет на свет.

О: Я стараюсь о том, чтобы вывести к свету все и вся.

В: Последний раз предупреждаю. Если когда-нибудь обнаружится, что вы мне нагали, вас постигнет то самое, что вы сулите заемщикам, не заплатившим долг милосердия. На вас падет весь праведный гнев родных Его Милости, а равно и мой, и будет ваша участь такой страшной, чтобы другим неповадно.

О: И поделом.

(Засим прочитан был свидетельнице вышесказанный присяжный лист, каковой она скрепила собственноручной подписью, что надлежащим порядком было засвидетельствовано.) В: Добро. Теперь можете идти. Сегодня мне вас больше не надобно. Но не воображайте себя свободной. Если мне нужно будет сделать новые вопросы, извольте явиться по первому зову.

Ребекка встает. Сидящий в конце стола Джон Тюдор медленно поднимает глаза на своего господина, но хоть смотрит он на господина,

взгляд у него человеческий. Дело приняло неожиданный оборот, тут какая-то странность.

Ребекка собирается идти, но Аскью останавливает ее:

– Напоследок я имею еще одно препоручение, данное вопреки моим советам.

Моя бы воля, не миновать тебе плетей за все твои дерзости. – Он выдерживает паузу. – Мне велено в уважение твоей беременности передать тебе это.

Порывшись в кармане камзола, он достает гинею и рывком посылает золотую монетку через стол.

– Не нужна она мне.

– Бери. Так приказано.

– Не возьму.

– Это все твоя нынешняя гордыня и ничего другого.

– Нет.

– Сказано, бери. Больше уговаривать не стану.

Ребекка поглядывает на монету и качает головой.

– Ну так я предложу тебе то, от чего ты точно не откажешься.

Пророчество.

Взгляды стряпчего и женщины встретились.

– Болтаться тебе когда-нибудь на виселице.

Ребекка не отводит глаз.

– И у меня есть для тебя такое, в чем ты имеешь нужду. Любви тебе, мистер Аскью.

Она выходит. Аскью принимается собирать бумаги. Чуть погодя он протягивает руку к отвергнутой гинее и яростно зыркает на Джона Тюдора, точно собирается отыгаться на нем. Но почтенный канцелярист малый не дурак: он склонился над столом.

Манчестер, октября 10-го дня Милостивый государь Ваше Сиятельство.

Ваше Сиятельство, без сомнения, найдет вышесказанное в большей части своей не заслуживающим вероятия, однако ж осмелюсь доложить, что по моему разумению рассказ сей не есть сплетение мудреных и

немудрящих вымыслов, ни басня, какую могла бы изобрести обыкновенная мошенница для спасения своей шкуры; ибо, когда бы она подлинно имела в себе столько хитрости, то именно из опасений за свою злосчастную шкуру верно измыслила бы что-нибудь получше этой несусветной истории. Словом сказать, в рассуждении упомянутой Ли мы можем вслед за древним отцом церкви повторить: «Credo quia absurdum»

<"Верю, потому что нелепо" (лат.) – эта формула традиционно приписывается христианскому богослову Тертуллиану> – если и верить, то наипаче потому, что верить невозможно. Многое говорит за то, что Его Милость со своим слугою употребил ее доверенность в худую сторону и злоупотребление сие умножило и укрепило ту негодную досаду, которую вселила ей жизнь в борделе. Я убежден, что в совершенном смысле слова она почти не лжет, понеже представляет нам эти события, их природу и толк такими, какими они ей вообразились; *non obstante* я также убежден, что самое существо событий ее показания изображают превратно.

Тут должен я довести В.Сиятельству те обстоятельства ее припадка, каковые из записей не ясны. Припадок не показался мне злоумышленно подготовленным, ни также в чем другом сходствующим с тем, что, по ее рассказам, природно пустосвятам-сектантам ее разбора. Много больше подозрений подавала ее повадка после того, как она пришла в память, каковую перемену не знаю, к чему причесть. Она как бы вновь обнаружила свойство, которое оставалось до той поры потаенным: ту обычную шлюхам наглость, что увидал я в бывшей ее хозяйке Клейборн. В записях сказано, что Ли улыбалась, однако записи не передают плохо скрытого презрения, которым отозвалась она на мой вопрос, не стыдно ли ей увиденного. Но даже и такое несносное и явное презрение не отдавало притворством либо лукавством, показывающим, что она имеет в предмете меня провести. Мне скорее представляется, что припадок подстегнул беспокойную ее гордыню либо сделал то, что она забыла стараться, чтобы ее манеры не выдавали неуважения к производимому мною расследованию.

Что принадлежит до ее вероучения, то Вы, В.Сиятельство, сами убедитесь, что связности и здравомыслия в нем мало, а чаще нету вовсе, и, может статься, причтете мне в вину, что я не стал крепче припирать ее вопросами в обличение явных несуразностей и неразумия ее веры. Молю В.Сиятельство поверить: такого пошиба людей этим способом не обезоружить, они от этого лишь пуще прилепляются к своей отщепенческой вере, покуда не закоснеют в ней безнадежно. Такие, как она, неученые женщины мне хорошо знакомы: они скорее взойдут на костер, нежели чем прислушаются к чужим резонам или отступятся от

своих мнений; эти станут упорствовать до самого смертного часа, будучи безнадежно *opiniatre* <одержимые своей идеей (фр.)>, и хоть видом они женщины, хоть суждения их суть несмысленные, однако суждениям сим они столько же привержены и столько же за них ополчаются, сколько мужчина, радеющий о предметах не в пример более достойных. Они подобны людям, что очаровываются старинным преданием и, будучи неспособными разрушить сии чары, делаются их бездумными рабами. Уверить же их в неистинности предания никоим образом невозможно. Впрочем, как, должно быть, догадывается В.Сиятельство, Ли изъявляет сугубое упорство оттого, что *rota fortunae* <колесо фортуны (лат.)> вознесло ее много выше уготованного ей состояния, хоть она и была приведена к этому бесстыдством и пороком. Ей не было доведено общее женскому полу понятие о мудром Божием устройении, по которому женщине назначено не более как состоять в помощниках у мужчины, притом единственно в делах домашних.

Одним словом, могу уверить В.Сиятельство, что заставить ее отступить от нового образа мысли было бы делом отнюдь не простым. Вообще же, выключая упомянутый случай, манера ее при ответах показывала меньше дерзости и споролюбия, нежели чем можно вывести из записей, до того, что порою представлялось, будто она и сама не рада отвечать так вольно, однако принуждена к тому своею верою. Достоинство, по моему суждению, малозначащее и не перевесит всего прочего, как единственный грош не перевесит несчетного убытка. В целом же она настаивала на правоте своей с таким упрямством, какое В.Сиятельства покорный слуга редко в ком встречал, что видно из ее рассуждений о потаенных свойствах и нраве Его Милости, каковые рассуждения (кому как не В.Сиятельству известно) со всею очевидностью противоречат достоверным о нем сведениям. То же можно отнести и к ее упованиям в рассуждении ее ублюдка.

Все это если не прямое святотатство, то, без сомнения, граничит с оным.

Однако она почитает сие не лишенным вероятия (хотя и не поставляет, в отличие от заведомо помешанных, за совершенную истину). Вы, В.Сиятельство, можете посчитать, что такие ее притязания никак нельзя оставить безнаказанными, ибо легко увидеть в них гнусное оскорбление чистым правилам веры нашей. И все же я убежден, что само время не замедлит выставить ее изрядным примером преступного безрассудства и произвести над ней такое наказание, какое ее самомнение едва ли перенесет; притом смею полагать, что Вы, В.Сиятельство, по здравом

размышлении согласитесь со мною в том, что давать огласку столь неблагочестивым суждениям было бы неразумно. Как известно, такого рода вздорные лжепророчества быстро подхватываются праздной и легковёрной чернью. Стоит ли будить лихо, когда спит тихо? Мне нет нужды представлять В.Сиятельству, что может воспоследовать, если это лихо пробудится и пойдет гулять по градам и весям. Эдакие особы страшны не когда они суть простые еретички, подлое отребье человечества, *puellae cloacarum* <букв.: «дочери сточных канав»

(лат.)>, но как скоро украсятся мишурным благочестием.

Все единовёрцы ее, имеющие жительство в здешнем городе, люди, по моему суждению, неблагонамеренные. Так же разумеет о них и мистер Фотерингей, имевший случай узнать их короче. Гражданский закон чтут они не более как внешним образом, тогда как меж собою вменяют его ни во что – до того что объявляют его тиранством и рассуждают о его ниспровержении в грядущих временах. Сколько бы с ними ни спорили, как бы ни увещевали, ко всем внушениям они глухи и, как выражается мистер Фотерингей, точно по-прежнему остаются французами, живущими меж нас в изгнании и языка нашего не разумеющими. Об Уордли доносят, будто он учил, что вступать в прения о вере с христианами общепринятого исповедания не стоит труда, понеже все они невежественны, как турки, и будут за то осуждены.

Мистер Ф. имеет среди них своего соглядатая и держит их под неусыпным надзором, дабы, как он мне представил, при первом удобном случае взять их в узду – каковой случай, по твердому его убеждению, ждать себя не заставит. Однако ж, как может заключить В.Сиятельство из настоящего дела, народ они укрядчивый и в обиду себя не дают. Что же принадлежит до наших обстоятельств, то полагаю, что Ли при всех своих заблуждениях новообетенную веру свою хранит крепко. Она отвергла дар В.Сиятельства не с видом человека небесподверженного соблазну принять его, но как бы видя в нем (прости ее, Господи) бесовское подношение, а не дар сострадания. Не подлежит сомнению, что, сколько бы она ни брала на себя вид кротости, дух ее необорим. Когда Вы, В.Сиятельство, поглядев ее, отозвались о ней как об особе недюжинной, суждение Ваше было как всегда справедливо. Этим я свои мысли о ней и заключу.

Вы, В.Сиятельство, на прошлой неделе сделали мне честь изъявлением, чтобы я впредь доводил свои заключения по делу все без изъятий, происходящих от естественного уважения к высокому званию В.Сиятельства.

Исполняю волю В.Сиятельства, хотя и скрепя сердце. Не могу без слез

донести В.Сиятельству, что наивероятнейшим видится мне исход самый горестный. В коротких словах представлю его так: я хочу надеяться, что Его Милость еще жив, и все же поверить в это было бы несогласно доводам рассудка. Вывожу сие не только из того обстоятельства, о коем В.Сиятельство уже уведомились, – что, с тех пор как Его Милость видели в последний раз, он ни из денежного содержания своего, ни из доходов нимало не брал.

Я также принимаю в соображение гибель слуги Его Милости Терлоу.

В.Сиятельству ведомо, какую преданность показывал он хозяину всю свою жизнь. Не вижу, какая бы причина понудила его наложить на себя руки, кроме как следующая: обнаружив, что обожаемый хозяин мертв, сей верный пес в человеческом облике тоже не пожелал жить далее. Правда, что не иссох с тоски, как оно обыкновенно бывает, подле тела господина, и все же я полагаю, что к этому отчаянному концу подстрекнула его именно такого рода гибель. Место, где исполнилось злодеяние *de se* <букв.: «над собой», то есть самоубийство (лат.).>, было обыскано со всевозможным тщанием и, как я докладывал, в моем присутствии. Боюсь, мы представляли себе дело превратно, и теперь я склонен думать, что все совершилось вот как, с простотою дикарскою: увидавши в пещере гибель своего господина, Терлоу, как показывает Джонс, в величайшем ужасе бежал прочь, но позднее, как скоро девица и Джонс удалились или же не прежде следующего утра, вернулся удостовериться в том, чему в простоте ума своего не мог дать веры.

Обнаружив, что самые страшные его опасения подтвердились, он погребает тело господина тут же, в пещере, либо, что более вероятно, относит его в другое, неизвестное нам место. И лишь тогда, исполнив сей многоскорбный труд, он убегает и в отчаянии вешается. Осмелюсь положить эту печальную догадку основанием для своих мыслей о гибели Его Милости, каковые будут предложены ниже.

К сему имею прибавить еще одно доказательство, каковое, по существу, есть отсутствие доказательств, однако со временем будет делаться все уверительнее, – а именно то, что с недоброй памяти первого мая мы не имеем о Его Милости никаких известий, ни также о том, чтобы он взошел на корабль или живет ныне в каком-либо городе за границею. Можно на это возразить, что он имел способы тайно отплыть не из Бидефорда или Барнстапла, но из другого порта, где мы о нем не справлялись, и поселиться где-либо неузнанным. Но когда так, отчего было не взять с собою слугу? О предметах, которые мы не знаем с достоверностью, надлежит судить по их вероятию. То же, что Его Милость

скрывается теперь за границую, никакого вероятия не заслуживает. Как известно В.Сиятельству, на мои письма о сем предмете ни один из наших поверенных и посланников в чужих краях чаемого ответа не дал.

Буде В.Сиятельство поверит этой горестной догадке, обязан я также, во исполнение воли В.Сиятельства, представить свое мнение касательно того, что же привело Его Милость к столь печальному и злосчастному концу. Право же, В.Сиятельство, я бы охотно признал его гибель за гнусное убийство, но кто бы это поднял на него руку? Кто-либо из спутников? В такое я поверить не могу. Некто нам неизвестный? Поверил бы, будь в этом хоть сколько-нибудь вероятия или имейся о том свидетельства. Но Вы, В.Сиятельство, не хуже моего знаете, что таковых нет. Да и Терлоу, когда бы дело обстояло таким образом, не упустил бы броситься на защиту хозяина.

Horresco referens <страшно молвить (лат.)>, мне не остается думать ничего другого, как то, что Его Милость ушел из жизни по доброй воле. И в этом Терлоу, как бывало с ним не единожды, не больше как последовал по стопам господина.

Не стану лишний раз описывать все обстоятельства прошлого Его Милости, которые известны В.Сиятельству лучше моего и которые столь часто доставляли неудовольствия В.Сиятельству и терзали родительское сердце. Не могу, однако ж, не думать, что в них-то и следует полагать причину апрельских происшествий. Разумею не только философские занятия, в которых упражнялся Его Милость вот уже несколько лет – в противность желаниям В.Сиятельства, но и самый тот неистребимый дух противоречия, каковой попускал, если не побуждал Его Милость этим занятиям предаваться.

История знает множество примеров тому, как подвизающиеся в таковых занятиях, оставив стезю достохвальных и полезных исследований, покидали пределы благородного царства разума и углублялись в мрачные лабиринты Химеры, в предметы наиочевиднейше кощунские и столь же наиочевиднейше возбранные смертным. Склоняюсь думать, что именно так и приключилось с Его Милостью. Он имел нечестивое намерение проникнуть в некие темные тайны бытия; мало того, похоже, что сей великий замысел, как часто случается, так воспалил его своей неисполнимостью, что отнял у него всякое понятие.

Не скажу, чтобы рассказ, который Ли представила Джонсу, можно было почесть до конца достоверным, и все же он, как видно, стоит ближе к истине, нежели чем то, что она поведала теперь мне. Не скажу, что она представила мне намеренную ложь, но полагаю, что ее неведомым

способом ввели в обман, изобразив истинную подоплеку дела в видах совсем превратных. Вы, В.Сиятельство, спросите, что же это за способ, но на это я ответа не имею и лишь то могу сказать не ложно, что Его Милость, разглядев в Ли некие природные качества, расчел, что их можно употребить к достижению его цели.

Нет у меня сомнений и касательно существа его великого замысла. Не стану утомлять В.Сиятельство рассуждениями о том, сколь много в прошлом Его Милости показывает, что он всегда пребывал в плену неких кривосмысленных понятий и понятия сии отлучали его от истин, признавать которые рассудок и сыновняя почтительность вменяли ему в долг. И не только что признавать, но в уважение милостью судьбы носимого титула чтить и защищать. Всякому из нас случалось слышать из уст Его Милости слова и мнения, являющие и мудрость Божию, и отблеск ее, разлитый в дольном мире, – мудрость, сказал бы я, которая служит к наиразумнейшему ходу вещей и научает мир жить по его собственным законам, благоразумие в делах гражданских и политических. Полагаю, что одно лишь уважение к благородному родителю часто удерживало Его Милость от не в меру резких суждений в его присутствии. В иных обстоятельствах, чему я свидетель не был, он в таком роде высказывался, на что дамы, слышал я, замечали, что он просто щеголяет острым своим языком и ничего больше, а джентльмены объявляли его всего-навсего модничающим вольнодумцем, который страсть отличиться в благовоспитанном обществе ставит выше заботы о своей бессмертной душе. Еще более пронизательные судьи относили его мнения к тому, что он, будучи младшим сыном, втайне исходит от этого желчью (примеров тому не перечесть).

Здесь я могу привести слова, сказанные мне недавно в Лондоне сэром Ричардом Молтом, когда разговор коснулся до отмены Закона о вдовстве, о коем сэр Ричард промолвил, что, хоть старые ведьмы и почитаются сгинувшими, довольно есть у нас наглых вольнодумных философов, способных заступить их место. В Лондоне, В.Сиятельство, полно таких, кто не посовестится признаться, что верует единственно в удовольствия, доставляемые распутством, кто поступками показывает, что Религию и Церковь, Государя и Конституцию не ставит ни в грош, кто, взманившись высоким положением или особыми выгодами, учинится хоть магометанином. Но сэр Ричард разумел не таких: эти – не более как рабы пагубной моды нашего века. *Nos haec novimus esse nihil* <здесь – «Нам с этим не совладать»

(лат.)>, ибо есть и другие, хуже их, и много хуже. Они не соизволят

гласно объявить свои убеждения. То, что они, эти другие, истинно думают и что ищут учинить в делах гражданских и политических, прячется под личиною, а кто поуловчивее, выставляют себя так, чтобы и их почли за рабов моды. Сие относится и до Его Милости. Они с лисьей хитростью делают своею личиною наглость, дабы никто не разглядел, к чему клонятся их истинные намерения, какая черная крамола вынашивается в их душе.

Год тому назад случилось мне спросить у Его Милости, каков предмет его нынешних изысканий. Он отвечал, как мне тогда показалось, по своему обыкновению мрачною шуткою: «Да вот ищу средство обращать человека в жабу, а дурака в философа». На что заметил я, что, по моему суждению, он тем самым посягает на право, одному лишь Богу принадлежащее. Он же объявил, что я заблуждаюсь и что свет сей показывает, как легко обращать людей в жаб и дураков в философов, а посему право, на которое он покушается, принадлежит не Богу, но дьяволу. Нынче, В.Сиятельство, я заключаю, что тогда Его Милость приоткрыл мне свои душевные мысли, о коих высказался бы пространнее, не будь наша беседа столь мимолетной и малозначительной.

Правда же такова, что Его Милость почитает сомнительным все: знатность, общество, правительство, правосудие, – как бы разумея, что в некоем более просвещенном мире наши порядки и установления были бы найдены негодными и порочными. Однако выразить это напрямик Его Милость не имел в себе довольно решимости либо не хотел из хитрости.

Полагаю, В.Сиятельство, что это самое малодушие или боязливость и внушили ему замысел, каковой был исполнен в апреле. Выбрав особу не весьма в этих предметах искушенную и вдобавок легковверную, Его Милость задумал подтолкнуть ее к тому, чтобы она, поставляя предлогом свою крамольную религию, доказала ту мысль, которую сам он выговорить не отваживался.

Коротко сказать, ту мысль, что нынешним порядкам надобно учинить переворот. Если взять в соображение, что выбранная особа была женщина, да к тому же шлюха, то пустившегося в такое предприятие на столь жалком суденышке можно было бы почесть безумцем, однако суденышко, надо думать, было зафрахтовано лишь с тем, чтобы произвести над ним первое испытание и удостовериться, можно ли простую женщину для утех обратить в одержимую святобесием сектантку, что было бы сходно с тайными умыслами Его Милости.

Умыслы же эти суть таковы, что всякий человек с рассудком нашел бы их непохвальными, ибо они основаны на мнении, будто о том, который из людей достойнее, следует судить не по его положению, но по душевным

свойствам его, не по знатности рода, а по тому уже, что он человек. К тому же клонился и весь смысл речей нашей «французской пророчицы»: всех людей должно признавать равными. Особа же сия из таких, кто имеет способность поставить подобные опасные заблуждения на религиозное основание. Нет сомнений, что эти люди все до единого заражены духом политического буянства, природного площадному сброду, который готов поднять руку среди прочего и на священные законы о наследовании. Им нипочем разодрать в клочья и самую страну. Не похоже, однако, чтобы Его Милость хоть несколько брал к сердцу их веру, его душе были ближе другие их помыслы.

Теперь, В.Сиятельство, от тревожных мыслей о могущем случиться в будущем перейду вот к чему: задумав сокрушить сей мир, которым он был выпестован, которому был обязан всем на свете, не выключая и тех средств, что должны были послужить к достижению таковой цели, Его Милость сам сделался сокрушен. *Fiat experimentum in corpore vili* <да будет произведен опыт на малоценном существе (лат.)>, и, предприняв оный, Его Милость стал сам себе мерзиться: подорвался на своей же петарде. Показания о нем и поступки его во время путешествия заставляют думать, что его часто снедали тайные сомнения, что он начал терять надежду на добрый исход предприятия задолго до его завершения. Да и мог ли он не видеть, что променял поприще науки на пошлое штукарство, к какому прибег в Стоунхендже? Каким способом поднял он пламенник в поднебесье и устроил появление двух особ, святотатственно изображавших Господа Вседержителя и Сына Его, сие нам неведомо. По skonчании дела Он задержался на капище, конечно же, для того, чтобы расплатиться с двумя нанятыми пособниками и успеть до наступления дня спрятать следы своей проделки. То же и в пещере, хотя надобно признать, что об этом происшествии мы можем судить единственно из показаний Ли, в которых больше дикого баснословия, нежели чем правды; полагаю, что при сем случае Его Милость употребил не злоискусные приспособления и плутовство, а скорее, дурманное зелье или же какого-либо рода чернокнижие.

И тут, думается мне, укоры совести положили конец предприятию Его Милости, ибо он совершенно уверился в безумии своего замысла и увидал себя в дурном сообществе, противном всяким приличиям, а также понял, что его увлекли на этот путь лютая и нерассудительная ненависть и презрение не только к своему благородному родителю, но и к священным правилам, на коих зиждутся всякое почтенное общество и вера. Младшая сестра Его Милости как-то говорила мне, что брат ее подобен маятнику:

никогда не остается в покое, и расположение духа его меняется всякую минуту. Очень вероятно, что в мрачной Девонширской пещере маятник качнулся прочь от всего содеянного и, обуянный прежестоким раскаянием, коего сила была необычна даже для такой горячей натуры, как Его Милость, он с неменьшей жестокостью скончал свою злосчастную жизнь. В.Сиятельство, я не берусь поручиться за верность своей догадки, однако усматриваю ее наиправдоподобнейшею и имею предположить лишь следующее: когда открылась ему вся бездна его греховности, он не нашел иного способа искупить страшные свои беззакония, как поступить известным образом.

Смею надеяться, что В.Сиятельство простит мне смелость моих заключений, ибо я отважился представить их лишь в уважение воли В.Сиятельства. Как, должно быть, помнит В.Сиятельство, при одном случае Вы сами уверяли Вашего покорного слугу в том, что, когда бы не бесспорные свидетельства обратного и, не в последнюю очередь, явное физиогномическое сходство, Вы могли бы подумать, что Его Милость еще в колыбели был подменен. Боюсь, что Вы, В.Сиятельство, не ошибались и Его Милость во всем, выключая разве кровное родство, скорее может почестся подменным, нежели чем истинным сыном В.Сиятельства.

Вы, В.Сиятельство, также спрашиваете у меня совета о том, как лучше довести сие происшествие до Вашей досточтимейшей супруги. Осмелюсь заметить, что мы можем утешаться лишь одним обстоятельством – а именно тем, что наше незнание избавляет от обязанности объявить наихудшие предположения касательно участи Его Милости, о коих я сообщаю здесь скрепя сердце, но полагая их за наивернейшее. Беря в соображение прежнюю молву о Его Милости и свидетельства о нем домашних, мы не можем безоглядно дать веру рассказам Ли о том, кем был и кем сделался Его Милость; со всем тем, имея в виду успокоить материнское сердце. В.Сиятельство, возможно, рассудит за благо некоторым образом смягчить краски. Далее, исчезновение Его Милости можно приписать тому, что он, найдя себя недостойным называться сыном В.Сиятельства, положил освободить В.Сиятельство от своего присутствия. Нельзя ли изобразить его обретающимся, должно быть, в чужих краях, где он, дабы не быть узанным, носит чужое имя и где наконец восчувствовал, что причинил В.Сиятельству горькую обиду, отчего и не решается показаться ему на глаза? Нельзя ли также подкрепить надежду уверениями в том, что теперь он подвергает строгому разбору все свои беззакония и в свой срок вернется в Англию испросить прощения у В.Сиятельства?

Строки сии пишу я в некоторой спешке, дабы, как, верно,

догадывается В.Сиятельство, не мешкать отправкою письма. В.Сиятельство также поймет, какое владеет мною в эту минуту прискорбие и трепет, оттого что я обманул ожидания В.Сиятельства и (невзирая на сугубую рачительность) не привел дело к более успешному исходу. Природа человека побуждает его искать всеведения, но что должно быть ему открыто, а что сокрыто, это устанавливает никто как Бог, и в этом надлежит нам склониться перед великою Его мудростью и милосердием, понеже Он в заботе о нашем благе часто почитает за нужное положить предел нашему знанию. В сокровенности сей великой тайны и советовал бы я низайше В.Сиятельству искать себе утешение, земную же отраду искать в благородной супруге своей и в маркизе, благородном своем сыне (каковой, не в пример брату, в большой мере восприял достоинства родителя), а равно и в прелестнейших своих дочерях. Сколь ни горестно видеть, как цветок сохнет и увядает, но тем утешнее любоваться теми, что продолжают цвести.

Вскоре по получении В.Сиятельством этого донесения я и сам предстану перед В.Сиятельством, готовый к Вашим услугам. В заключение прошу В.Сиятельство принять мои почтеннейшие сожаления о несчастливом исходе следствия и наисердечнейшие уверения в неусыпном старании о всяком препоручении В.Сиятельства от покорнейшего слуги его.

Генри Аскью.

Из соседней комнаты доносится приглушенный гул голосов, большей частью женских. Собравшиеся тихо-мирно ждут какого-то события. Собственно, событие уже произошло – произошло сегодня, двадцать девятого февраля. Трое мужчин, находящихся теперь в этом доме на Тоудлейн, при нем не присутствовали: их на это время отослали на улицу. Ребекка в спальне одна, она лежит на жесткой кровати. Сейчас, когда все позади, ее осунувшееся неподвижное лицо смотрит едва ли не угрюмо. Валяться в кровати вроде бы не время: уже полдень. Ребекка и хотела бы встать, но знает, что не сможет, да и нельзя.

Внезапно голоса за стеной затихают: люди в соседней комнате прислушиваются. В дверях спальни вырастает тень. Ребекка с усилием

приподнимает голову. На пороге стоит Джон Ли, крепко прижимая правой рукой к груди только что спеленутого младенца. Вид его изображает полную растерянность. Это впечатление еще усиливается, когда он, помедлив, как бы нехотя снимает шляпу перед этой картиной, несколько похожей на сцену другого, куда более знаменательного рождения, которое, впрочем, произошло в столь же убогой обстановке. Ребекка не спускает глаз с существа, которое прижимает к себе муж. У Джона Ли такое значительное лицо, такой смущенно-сосредоточенный взгляд, точно он явился возвестить о светопреставлении. Снова помедлив, он выдавливает пресную улыбку.

– В добром ли ты здравии?

– В отменном.

– Я молился за тебя и ее новорожденную душеньку.

– Благодарствую.

Муж подходит ближе, обеими руками протягивает младенца, и руки Ребекки подхватывают нелепый, туго стянутый сверток. В просвещенном обществе чудовищный обычай «свивать» младенцев тогда уже почти вышел из употребления (благодаря философу Локку), но среди бедняков он, увы, еще сохранялся. Кузнец-пророк наблюдает, как жена укладывает сверток рядом с собой. Пристальный взгляд Ребекки, обращенный на младенца, выражает самые несоединимые чувства: тут и любовь и сомнение, близость и отстраненность, безмятежность и недоумение. Это взгляд матери, впервые увидавшей то, что вышло из ее нутра: существо, давным-давно канувшее в морской пучине, теперь поднялось оттуда и каким-то чудом цело и невредимо. Никакой божественности в нем не заметно, мордочка сморщенная, упрямая: все еще больше морской житель, чем обитатель суши. Существо открывает глаза, и в них отражается едва ли не потрясение: так вот он какой, этот мир, в который его забросила судьба, – убогий, сумрачный. Но еще в этих глазах проблеск лазури, просинь пустого неба. Придет время – глаза эти запомнятся многим, запомнится и горящая в них синезарная прямота, и животворящая истина – истина, в отличие от неба, далеко не пустая.

Джон Ли вновь надевает широкополую шляпу.

– А я вам обеим гостинец купил.

Оторвавшись от младенца, Ребекка переводит взгляд на мужа и слабо улыбается: ей с трудом верится, что он способен на такие суетные знаки внимания.

– Какой гостинец?

– Безделица: пташка. Показать?

– Покажи.

Джон Ли выходит в соседнюю комнату и тут же возвращается, неся за плетеную ручку какой-то прямоугольный предмет, который, как и младенец, закутан тканью. Кузнец поднимает его над кроватью, чтобы жене было видно, и стаскивает ткань. В тесной плетеной клеточке сидит щегол. Испуганно встрепенувшись, яркая птичка забила о бурые прутья.

– Ничего, приобвыкнет, петь станет.

Свободной рукой Ребекка робко притрагивается к крохотной клетушке.

– Ты его повесь возле двери, где свет.

– Хорошо.

Кузнец все рассматривает замершую в углу клетки пичугу, точно она для него важнее младенца, лежащего под боком у Ребекки. Налюбовавшись, снова закутывает клетку и опускает руку.

– Нынче ночью Господь указал мне, какое дать ей имя.

– Какое же?

– Мария.

– Я обещалась Господу наречь ее Анной.

– Покорись, жена. Дар отвергать негоже. То было ясное изъяснение.

– Я дара не отвергаю.

– Хочешь отвергнуть. Не дело это – в такой час. Откровение Божие должно принять со смирением.

– Что еще было тебе открыто?

– Что она увидит Второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа.

– Можно дать и два имени.

– Два имени – суетность. Довольно одного.

Ребекка молча взглядывает на мужа, потом, потупившись, рассматривает грубое одеяло, которым она укрыта.

– Истинно тебе говорю, Джон Ли, когда Иисус Христос явится в другой раз, Он будет Она. Кому как не матери знать Ее имя.

Кузнец не отвечает. Он никак не решит, отчитать ли жену за праздномыслие или счесть ее слова просто-напросто наивной фантазией, на которую в нынешних обстоятельствах можно посмотреть сквозь пальцы. В конце концов он склоняется над кроватью и кладет заскорузлую руку на плечо Ребекки. В этом жесте и благоговение, и прощение, а по сути, совершенное непонимание. Как многие прорицатели будущего, кузнец слеп к настоящему.

Он выпрямляется:

– Поспи. Как проснешься, сама увидишь, что надо покориться.

Он удаляется и уносит с собой клетку. Молодая женщина лежит в

темной постели, не поднимая глаз от одеяла. За стеной звучит тихий голос Джона Ли: должно быть, рассказывает про щегла. Но вот кузнец умолкает, и чуть погодя у двери на улицу раздается птичья трель, песенка щегла в полете; серебристый перезвон солнечным лучиком пронзает сумрак комнат, вонзается в душу, бередит совесть. Но Уильям Блейк еще даже не родился <образ птицы, заточенной в клетку, не раз встречается в поэзии Уильяма Блейка (1751-1827) как символ угнетения, насилия над природой, например, в стихотворении «Изречения невинности»: «Если птицу в клетку прячут, небеса над нею плачут»>.

Ребекка смотрит на крошечное существо в своих объятиях. В ее глазах чуть ли не удивление: вот еще кто ворвался в ее мир! Склонившись над малышкой, она ласково целует сморщенный розовый лобик.

– Любви тебе, Анна. Любви тебе, любовь моя.

Личико младенца начинает кривиться, девчушка вот-вот зайдется плачем.

Она уже было всхлипывает, но в тот же миг ее губы впервые в жизни чувствуют прикосновение материнской груди, и хныканье умолкает. В соседней комнате снова слышится негромкий говор. Ребекка кормит младенца, глаза ее закрыты, она без остатка поглощена своими ощущениями, в которых утверждается ее "я", – чувством, которое не описать никакими известными ей словами, да и знай она такие слова, не захотела бы его назвать. Лишь на миг она открывает кроткие карие глаза и всматривается в темный угол, будто кто-то оттуда за ней наблюдает. Накормив малышку, принимается легонько ее укачивать, и по комнате еле слышно разносится глуховатое пение. Ребекка медленно выводит колыбельную. Дитя затихает. Песенка самая незатейливая: всего две чередующиеся фразы:

– "Виве ей, виве вум, виве ей, виве вум, виве ей, виве вум..."

Но это, понятно, какая-то абракадабра, она ровным счетом ничего не значит.

ЭПИЛОГ

Те читатели, которые хоть немного знают, кем предстояло сделаться девочке из Манчестера в невыдуманной жизни, легко поймут, как далеко это повествование от исторического романа.

<"Девочка из Манчестера", о которой говорит автор, – основательница секты шейкеров Анна Ли. История, учение и обычаи шейкеров имеют непосредственное отношение к содержанию романа, поэтому стоит привести в сокращении статью о шейкерах из «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона: «Шейкеры – религиозная секта в Северной Америке. Начало ее нужно искать в Провансе и Дофине, где мы находим первых ее деятелей в XVIII в.; оттуда некоторые проповедники перебрались в 1716 г. в Англию, предсказывая близкий конец мира и требуя покаяния. Их приверженцы составили в Болтоне в 1747 г. самостоятельную общину, главой которой был Уордли... Собравшись вместе, они то сидели в молчаливом созерцании, то вдруг начинали трястись, от чего и получили свое название (от англ. слова to shake – трястись). В 1758 г. к общине их присоединилась Анна Ли. Она с юности отличалась серьезностью и строгой нравственностью, но легко впадала в крайнее нервное возбуждение. В 1770 г. за нарушение предписанного законом и обычаем покоя воскресного дня была посажена в тюрьму, где, по ее словам, ей явился Христос; около нее собрались верующие, которые называли ее Матерью Анной и считали одаренной пророческим даром... Учение шейкеров похоже на учение квакеров. Основные правила их жизни – безбрачие, общность имущества и неустанный труд всех членов общины. Общины управляются обыкновенно женщинами, которые считаются преемницами первой пророчицы, Анны Ли».> В действительности она родилась, кажется, за два месяца до начала моей истории – 29 февраля 1736 года. Про подлинные обстоятельства жизни ее матери мне ничего не известно, о Лейси, Уордли и других персонажах, также позаимствованных из реальной истории, мне известно совсем мало. Подлинны только их имена, все остальное – плод моего воображения. Не исключено, что в каких-нибудь книгах или документах я мог бы собрать о них более богатый материал, но к таким источникам я не обращался и даже не думал их искать.

Повторяю: это лишь «фантазия», я вовсе не старался достоверно воспроизвести события или стиль эпохи.

Я питаю огромное уважение к строго и тщательно документированной истории уже потому, что посвятил некоторую часть жизни ее изучению (пусть и довольно поверхностному). Но эта точная дисциплина, по существу, наука и по своим задачам и методам имеет мало общего с литературным творчеством.

На страницах этой книги я мимоходом упомянул Даниэля Дефо (умершего в 1731 году). Одна-единственная ссылка не выразит и малой

доли той любви и восхищения, которые я испытываю к этому писателю. И хотя «Червь» был задуман вовсе не как подражание Дефо – этот автор все равно неподражаем, – я все же охотно признаюсь, что использовал некоторые общие приемы и темы, характерные, на мой взгляд, для его романов.

Трудно представить, чтобы убежденный атеист вдруг посвятил свой роман какой-то разновидности христианства. Одной из причин создания этой книги была глубочайшая симпатия к «Объединенному обществу верующих во Второе пришествие Христа», больше известному как секта шейкеров, основание которой было положено Анной Ли. Сегодня слово «шейкеры» у большинства из нас скорее всего связывается со стилем мебели и крайним пуританизмом, внешне сходным с аскетизмом, который исповедовали крайние же силы противоположного религиозного лагеря – монашеские ордена (вроде цистерцианцев) <монашеский орден, ветвь бенедиктинского ордена; возник в XI в.; отличался крайней строгостью устава>. Ортодоксальные богословы всегда презирали шейкеров за наивность их учения, ортодоксальные священники – за фанатизм, ортодоксальные капиталисты – за коммунистические устремления, ортодоксальные коммунисты – за суеверие, ортодоксальные сенсуалисты – за отвержение плоти, а ортодоксальные мужчины – за откровенный феминизм. Однако мне движение шейкеров представляется одним из самых увлекательных – и пророческих – эпизодов в долгой истории протестантского сектантства в Англии.

Секта шейкеров интересна не только с социально-исторической точки зрения. Их взгляды и вероучение (в особенности убежденность, что святая Троица без женского начала не может считаться истинно святой), их необычные обряды и удивительно причудливый быт, их насыщенная образами речь и выразительное использование музыки и танцев – во всем этом проступает нечто такое, что всегда напоминало мне отношение литературы к реальности. Ведь и мы, писатели, добиваемся от читателей слепой веры, которая перед лицом обыденной реальности часто может показаться нелепой; мы тоже требуем, чтобы прежде всего читатели с головой ушли в мир наших метафор – истины, скрытые за этими иносказаниями, становятся ясными, «доходят» только потом.

Конечно, наиболее бурные религиозные брожения (и период самопознания нации) приходятся на более раннее время – 40-50-е годы XVII века: в историческом смысле учение Анны Ли немного запоздало. Всего через несколько лет после ее рождения, в апреле 1739 года, на холме Кингздаун недалеко от Бристоля звучала проповедь одного недовольного

своей церковью, но все же принявшего сан англиканского священника. Проповедь, которая, впрочем, больше походила на ораторское выступление, была обращена к случайно собравшейся здесь большой толпе бристольских бедняков, в основном из шахтерских семей. Многие слушатели не могли сдержать рыданий, другие, взволнованные и потрясенные до глубины души, застыли в трансе. Понятно, что воздействовать на толпу темных, необразованных людей дело нетрудное, случаи такого исступленного духовного очищения уже хорошо изучены физиологами и психологами. Однако то, что произошло на холме Кингздаун, объяснялось не только незаурядной личностью оратора. Просто слушающих его озарил свет. До этой минуты они жили точно слепые (многие шахтеры были слепыми в прямом смысле слова) или пребывали во мраке.

Мне думается, что все эти разноголосые рыдания и экстаз невежественной толпы имеют для нас не меньшую ценность, чем достижения трезвомыслящих философов и чутких художников. Для огромного большинства обычных людей – не художников и не философов – приобщение к неортодоксальным религиям было единственной возможностью показать, как росток личности мучительно пробивается сквозь твердокаменную почву иррационального, скованного традициями общества. Впрочем, при всей своей иррациональности оно отлично понимало, чем грозит ему посягательство на его традиции и потрясение его основ. Стоит ли удивляться, что появившаяся на свет личность (годы юности которой мы называем «эпохой романтизма»), пытаясь выстоять и выразить себя, часто избирала для этого средства столь же иррациональные, что и сдерживающие ее силы.

Мне ненавистно современное евангельское проповедничество с его приторными рекламными приемчиками и, как правило, отвратительным консерватизмом в политике. Оно, как нарочно, вобрало в себя все самое скверное, самое косное, что только было в христианстве, исподволь поддерживает самые ретроградные идеи и политические течения нашего времени и тем самым зачеркивает самое существенное в учении Иисуса. Не нравятся мне подобные веяния и во многих других религиях, таких, например, как ислам. Иное дело Джон Уэсли <Уэсли, Джон (1703-1791) – основатель и глава методистской церкви> (о его-то проповеди и говорилось выше), Анна Ли и другие личности того же склада, жившие в XVIII веке: просвещение, которое считается главной заслугой *siecle de lumieres* <века просвещения (фр.)>, затронуло умы (прежде всего умы среднего класса), но у этих людей оно озарило не только умы, но и сердца – едва ли не наперекор их просвещенным умам. Они ясно увидели, что же неладно в

этом мире: Уэсли – благодаря своей деятельной натуре и бесспорной твердости убеждений* Анна Ли – благодаря упрямой (и бесконечно смелой) целеустремленности и поэтическому дару – гениальному умению находить яркие образы. Анна оказалась наблюдательнее Уэсли – во-первых, потому что она была женщина, но самое главное, потому что не получила образования, а значит, мысль ее не была стреножена трафаретными мнениями, академической традицией и «просвещением ума». В душе люди, подобные Анне, были революционерами, сподвижниками самых первых последователей христианства и его Основателя.

Как водится, со временем начатое ими дело стало источником тупого фанатизма (особенно это относится к учению Уэсли), обернулось духовной тиранией, столь же мертвящей, как и те, в уничтожении которых или бегстве от которых эти люди видели свою цель. Но меня интересует другое: тот первый порыв, то горение духа, которое двигало ими вначале, пока религиозные обращения и массовая вербовка сторонников не превратились в конвейерное производство, отчего главный, глубоко выстрадавший пример и доблесть основателей поблекли и замутились. Вот вам один из самых горьких парадоксов в истории религий: сегодня мы дорожим и восхищаемся шейкерской мебелью и архитектурой, мы буквально падаем перед ней на колени, как Мис ван дер Роэ <американский архитектор (1886-1969), для стиля которого характерны простота, гармоничность, ясность конструкций; одна из самых известных работ – здание Сигрэм в Нью-Йорке> перед Круглым Амбаром в Хэнкоке <каменное сооружение в Хэнкоке, штат Массачусетс, одном из первых шейкерских поселений в Америке> – и при этом начисто отвергаем веру и уклад жизни, без которых эти творения никогда бы не увидели свет.

Шейкеры были исконно английской сектой, однако, спасаясь от преследований, они вскоре были вынуждены покинуть страну. В Манчестере историческая Анна Ли сперва работала на прядильной фабрике, потом кроила меха в шляпной мастерской, потом поступила кухаркой в лазарет. Она вышла замуж (и тоже за кузнеца, по имени Авраам Стэнли), родила ему четверых детей, но ни один не дожил до зрелого возраста. В 1774 году она отправилась в Америку. Ее сопровождала лишь горстка единоверцев. Едва ли не сразу после прибытия в Новый Свет муж Анны оставил ее. Но и на новом месте Анна и ее «семья» подверглись преследованиям, несколько лет они не знали покоя. Рост «Объединенного общества», его расцвет и упадок – все это происходило в Америке. В значительной мере догматика и обряды, получившие распространение в

шейкерских общинах, были установлены учениками Анны, такими, как Джозеф Мичем и Люси Райт, уже после ее смерти, которая последовала в 1784 году, однако отблеск неповторимой личности Анны Ли лежит на всей истории «Объединенного общества» (включая, конечно, его великое возрождение в 40-х годах XIX века).

Казалось бы, сегодня многое из духовного наследия Анны Ли не стоит принимать всерьез: выполненные по «внушению свыше» рисунки, написанные «под диктовку» песни и ноты, состояния транса – ну что это как не проявления чересчур наивной набожности? А в какой-то степени – и следствия полового воздержания, которым славились члены «Общества» (и опасность которого они сознавали: отсюда общие «собеседования» и другие обряды, введенные, чтобы хоть как-то утолить неудовлетворенную потребность). Такая же грубая и сомнительная набожность замечалась и раньше, еще у первых «французских пророков», чьи имена я вложил в уста Уордли.

Но если обратиться к более серьезным сторонам жизни «Объединенного общества», мы увидим, что ее пронизывает чувство, от которого уже не так легко отмахнуться. Это отчаянное стремление бежать от безраздельного господства науки и рассудка, от условностей, расхожих истин и общепринятой религии, поставив себе единственную цель, которая способна оправдать отречение от столь могущественных богов социального порядка – создать более человеческое общество. Воплотить то, что выражалось словами: «Любви тебе...» Анна Ли и первые шейкеры будто предчувствовали, что когда-нибудь в мире воцарится если не антихрист, то маммона, всеобщая корысть, стяжательство, страсть к наживе, и эта сила станет смертельной угрозой всему человечеству. Мир сегодня не слышит призывов Анны к простоте, благоразумию, самоограничению – он глух, как бедняга Дик. «Общинное» шейкерство прекратило свое существование: для Адама и Евы XX века вера шейкеров оказалась чересчур примитивной, их устав – чересчур суровым.

Однако я нахожу в шейкерстве и такое, что не утратило значения и по сей день.

Инакомыслие – явление общечеловеческое. Но вспышки инакомыслия, происходившие в Северной Европе и Америке, – это, по-моему, наш ценнейший вклад в мировую историю. Нам кажется, что чаще всего инакомыслие возникает на религиозной почве, и это понятно: всякая новая религия начинается с проявления инакомыслия, люди отказываются исповедовать ту веру, которую навязывают им власти предрешающие – навязывают самыми разными способами, от прямого насилия и

тоталитарной тирании до скрытого воздействия через прессу и установления культурной гегемонии. Но по существу, инакомыслие надо понимать шире: это вечный биологический или эволюционный механизм, а не отслужившая свой век сила, пригодная лишь для нужд ушедшей эпохи, когда религиозные убеждения представляли собой грандиозную метафору; это модель, по которой пытались преобразовать многие стороны жизни, не только религию.

Инакомыслие необходимо всегда, а в наше время – как никогда прежде.

Исторически развившаяся внешняя форма, приспособленная к определенным условиям, как, например" У растений и животных, в новых условиях обречена на гибель. На мой взгляд, об этом со всей ясностью свидетельствует история не только «Объединенного общества», но и всего западного общества.

Сегодня, вспомнив о том, что шейкеры осуждали, «искали извести» в мире и обществе, где им довелось обитать, мы, пожалуй, сочтем их порыв чудачеством и утопическим вздором, их рецепты – безнадежно неосуществимыми. Однако среди поставленных ими вопросов, заданных ими задач есть и такие, решить которые не удастся, по-моему, и по сей день.

По сравнению с XVIII веком человечество во многих отношениях ушло далеко вперед, и все же в решении краеугольного простого вопроса шейкеров – какая же мораль оправдывает вопиющую несправедливость и неравенство в человеческом обществе – мы не продвинулись ни на шаг. В первую очередь потому, что мы совершили очень серьезный грех: изменили отношение к понятию «посредственность», которое, в сущности, означало разумную и достойную умеренность. Достаточно проследить, как мы (по мере самоутверждения индивидуализма) перетолковывали и унижали само слово «посредственность», пока оно не приобрело нынешнее значение. Это плата, которую природа украдкой востребовала с людей XX века за осознание ими своего "я" – одержимость своим "я", ставшим чем-то вроде «дара данайцев».

Если биологический вид на своем жизненном пространстве не в меру разрастается, он не может приветствовать не в меру страстную тягу отдельной особи к излишеству, невоздержанности. Когда преизбыточность приравнивается к преуспеванию, обществу грозит суд пострашнее Страшного.

Я давно пришел к выводу, что всякая государственная религия – идеальный пример формы, которая создана для уже не существующих

условий. Если спросить меня, каким явлением жизни для блага настоящего и будущего лучше было бы пожертвовать, что следует выбросить на свалку истории, я без колебаний отвечу: все государственные религии. Я ни в коем случае не отрицаю их былой значимости. И тем более не зачеркиваю (да и кто из писателей стал бы?) тот начальный этап или момент в истории каждой религии, в какое бы дикое мракобесие она потом ни выродилась, – тот миг, когда стало ясно, что прежний, негодный уже остов пора уничтожить или по крайней мере приспособить к новой среде. Но сегодня мы сделались такими искушенными, что уже и не меняемся; мы слишком эгоистичны и слишком многочисленны, слишком закабалены, по выражению шейкеров, "порождением нечистого, многовластным "я", слишком равнодушны ко всему, кроме себя, слишком напуганы.

Я сожалею не о внешней форме, а об утраченном духе, доблести и воображении, которые заключало в себе слово Матери Анны Ли, ее Логос. Об утраченной, почти божественной «фантазии».